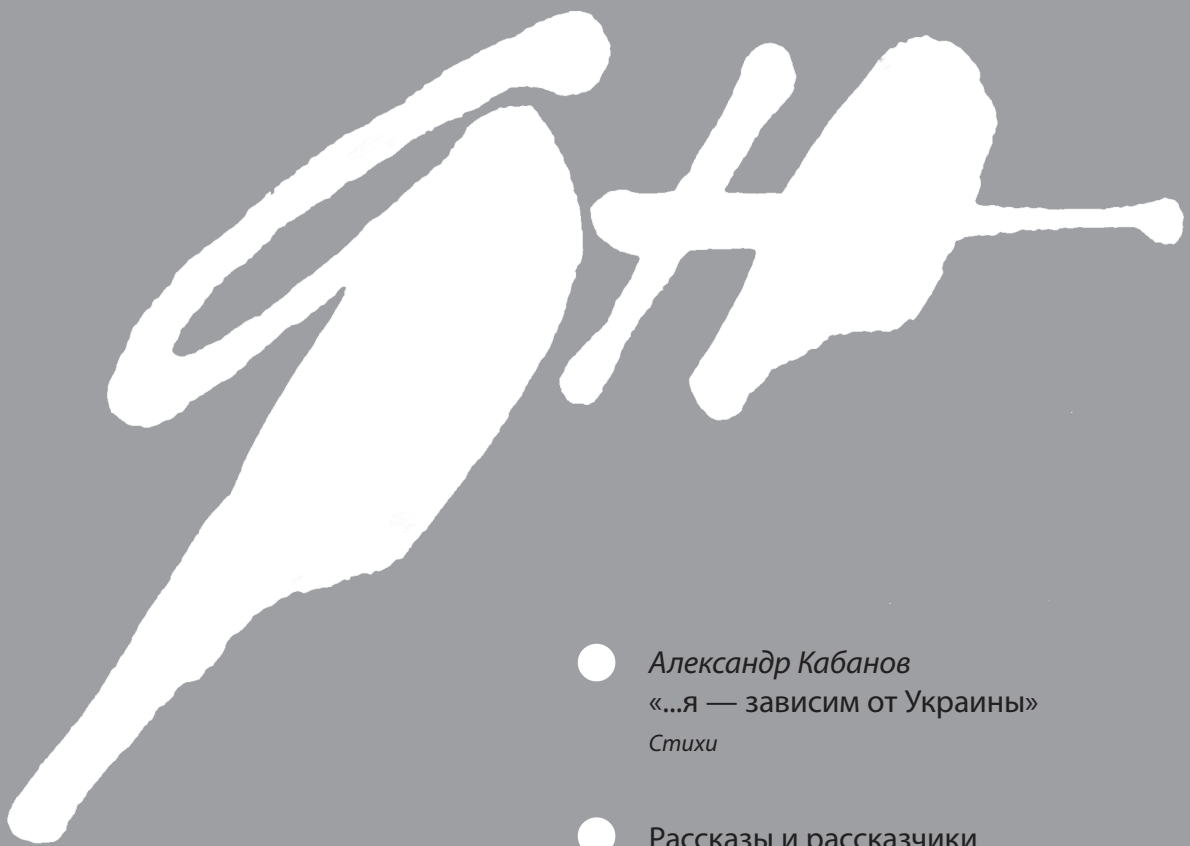
ISSN 00126 756

ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Александр Кабанов*
  «...я — зависим от Украины»
  Стихи
- Рассказы и рассказчики
  Бенефис жанра
- *Дмитрий Шеваров*
  Тень проходящего Петра
  Странички из дневника
- *Александр Тимофеевский*
  «Стихи часто приходили во сне...»
- «Хочешь, я покажу тебе чудо?..»
  Победители Международного детско-юношеского литературного конкурса им. Ивана Шмелёва

2'2017

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.12.2016.
Подписано в печать 27.01.2017.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 4820. Цена свободная.

Дружба народов

2'2017

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Лев АННИНСКИЙ

Ирина ДОРОНИНА

Первый зам. главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Зам. главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Алла ГЕРБЕР
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Александр КЛЯЧИН
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
Александр ЭБАНОИДЗЕ
ЭЛЬЧИН
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

16+

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Александр КАБАНОВ. «...я — зависим от Украины». *Стихи* **3**
Александр СНЕГИРЁВ. Я люблю. *О рассказах и рассказчиках* **7**
Андрей ЛАДОГА. Наши единственные любови. *Рассказы* **9**
Адель ХАИРОВ. Страстный поклонник. *Рассказ* **27**
Теймураз ТВАЛТВАДЗЕ. Лермонтов. *Рассказ* **32**
Елена САМОРЯДОВА. Один, два... *Рассказы* **51**
Зоя МЕЖИРОВА. Молчанья разговор. *Стихи* **65**
Игорь КОРНИЕНКО. Улыбки. *Рассказы* **68**
Алексей ИВАНОВ. Остров мёртвых. *Рассказ* **85**
Валерий ПИСКУНОВ. Ракоход. *Andante* **100**
Азамат ГАБУЕВ. Мальчик и пистолет. *Рассказ* **106**
Игорь КУЗНЕЦОВ. Гардеробщик. *Рассказ* **111**
Андрей РОДИОНОВ. Стихи из дневника **118**
Вадим ШАМШУРИН. И день сомкнётся на себе. *Рассказы* **121**
Артём РОГАНОВ. Беженец. *Рассказ* **132**
Полина ИВАНУШКИНА. Вечный вторник воскресенья. *Рассказы* **151**
Роман БОГОСЛОВСКИЙ. Умирающий. *Рассказ* **156**
Антон СЕКИСОВ. Родинка. *Рассказ* **164**
Елена НЕСТЕРИНА. Хроника празднования 8 Марта, составленная за десять лет наблюдений **170**
Галина НЕРПИНА. Пространство нежилое. *Стихи* **185**

Проза.doc

Дмитрий ШЕВАРОВ. Тень проходящего Петра. *Странички из дневника* **187**

Нация и мир

Лиана АЛАВЕРДОВА. Как поживают Белинский и Гоголь по ту сторону Атлантики **207**

Первые стихи

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ. «Стихи часто приходили во сне...» **216**

Фестивали и конкурсы

«Хочешь, я покажу тебе чудо?..» *Гости «ДН» — победители Международного детско-юношеского литературного конкурса им. Ивана Шмелёва* **218**

Критика

Писатель и читатель в мире, потерявшем будущее. *Литературные итоги 2016 года.* Николай АЛЕКСАНДРОВ, Ольга БАЛЛА, Ольга БРЕЙНИНГЕР, Борис КУТЕНКОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Александр ЛЮСЫЙ, Юлия ПОДЛУБНОВА, Алексей САЛОМАТИН **228**

Литературный барометр

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Литература при минус тридцати **248**

Подробное чтение

Илья ФАЛИКОВ. Пятнадцатый?.. ..... **251**

Эхо

Точка взлёта. *Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* **262**

© «Дружба народов», 2017

Александр Кабанов

...я — зависим от Украины

* * *

Комиссары нюхали кокаин,
отвыкая от солонины,
больше в мире не было украин,
потому что кончились украины.

День мерцал фонариком на корме,
отплывая в залив Биская,
я тогда сидел третий год в тюрьме —
на поруки бороду отпуская.

Говорят, что завтра придёт весна,
и, опухнувшая от пьяни, —
на майдан подтянется матросня,
а за ней — приползут крестьяне.

Затекая в рифму — прольётся кровь,
и туда ей теперь дорога,
что такое, братец, твоя любовь –
это зрада и перемога.

Треугольный народ соберут в кружок
бородай, парубий, ефремов:
желтоватый, гибельный порошок,
раздавая из пыльных шлемов.

Кабанов Александр Михайлович — поэт. Родился в 1968 г. в г. Херсоне. Окончил журфак Киевского университета. Пишет на русском языке. Автор 10 книг стихотворений. Главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры». Лауреат «Русской премии», Международной Волошинской премии, премии «Antologia» и др. Живет в Киеве.

* * *

Как женщина — пуста библиотека,
исчадие Днепровского района,
а выйдешь в сад и встретишь человека,
тоскующего в позе эмбриона.

Он стар, небрит, он нынче много выпил,
хмельные слёзы слизывают слизни,
его лицо — багровое, как вымпел,
как подлость этой жизни, этой жизни.

Сожжённых книг врачующее слово,
бессмертье с перемётною сумою,
и мой сурок мне говорит сурово:
не я с тобой, а это ты — со мною.

Херсонская разграбленная область,
трещат полей арбузные поленья,
и человек уверовал, что подлость —
сильней и милосерднее спасенья.

* * *

Человек засиделся в гостях,
средь немых, средь глухих и незрячих,
человек — это храм на костях:
осетровых, свиных, индюшачих.

Это злое тамбовское бро —
подставлять беззащитный затылок,
и душа у него — серебро
из украденных ложек и вилок.

Но, когда он проснётся вчера,
саблезубую память раззявив,
посреди доброты и добра,
в окружении мёртвых хозяев.

* * *

Первый бомж подарил мне божью коровку,
а второй завернул хитро:
выводи себя, как выводят татуировку,
третий сплюнул и шмыг в метро.

Я её кормил шаурмой из вальса,
за окном светился мурал,
улететь на небо тренировался —
кубик Калашникова собирал.

Ох, не мудрено потерять сноровку
в дебрях страшного ремесла,
я б возненавидел божию коровку,
но она — ползла.

* * *

За окном троллейбуса темно,
так темно, что повторяешь снова:
за окном троллейбуса окно
чёрного автобуса ночного.

Как живёшь, душа моя, Низги,
до сих пор тебе не надоело:
мужу компостировать мозги,
солидолом смазывая тело.

Правый поворот, районный суд,
караоке на костях и танцы,
то сосну, то ёлочку снесут
в зимний лес коварные веганцы.

Так темно, что не видать снега,
ветер гонит угольную пену,
я — троллейбус, у меня рога:
родина, спасибо за измену.

Открытка

А вот кофе у них дерьмо, — говорил пожилой монгол,
да и вся земля — это будущие окопы,
и любовь у них безголова, как богомол,
мысли — белые, помыслы — черножопы.

То ли наша степь: полынь, солончак с икрой,
где парят над подсолнухами дельфины,
хорошо, что я — поэт не первый, поэт — второй,
хорошо, что я — зависим от Украины.

Как бессмысленна в здешних краях зима:
бадминтон снегов и набитый солью воланчик,
а вот мясо у них — ништяк, шаганэ моя, шаурма,
сердце — ядерный чемоданчик.

А когда меня проклянут на родной земле,
ибо всякий прав, кто на русский язык клевещет,
надвигается осень, желтеет листва в столе,
передай, чтобы выслали деньги и тёплые вещи.

* * *

Если б было у меня много денег,
чтоб сходить с тобой с ума понарошку,
я бы выбросил в окно старый веник,
целовал бы я кота на дорожку.

Словно конник, оседлав подоконник,
я сидел бы и смотрел в подстаканник,
выбирал бы: или джин, или тоник,
а на закусь: лишь чак-чак да паланик.

Собирал бы я каменья пращою,
будто ангелов чертовски опавших,
я кричал бы из окна: всех прощаю,
от моей большой любви пострадавших.

Если б, если б — помечтать — не работа,
позвонил бы, но лишен подзарядки,
старый веник, если встретишь кого-то,
передай, что я в порядке, в порядке.

Кошер

Время — это огнемёт и водомёт
над гнездом воронки,
рана — рано или поздно заживёт
на своей сторонке.

Сгинут наши и не наши вороги,
феникс — многоразовая птаха,
одноногий встал не с той ноги
в эпицентре праха.

Сгинут гаджеты и книги до зари,
сгинут лайки, теги,
мы тогда с тобою встретимся, Мари, —
в газовом ковчеге.

Обессмыслен доктор в колбасе,
сплавились медали,
сгинут все и даже слово «все»,
чтоб не начинали.

Будет пахнуть кашемиром пустота,
белый свет — торшером,
самым первым — я придумаю — кота,
назову Кошером.

* * *

Я споткнулся о тело твоё и упал в дождевую
лужу с мёртвой водой, но ещё почему-то живую,
дай мне девичью память — крестильные гвозди забыть,
ты спасаешь весь мир, для того, чтоб меня погубить.

Я споткнулся о тело твоё — через ручку и ножку,
в Гефсиманском саду, где шашлык догорал под гармошку,
дай ворованный воздух — в рихонские трубы трубить:
ты спасаешь весь мир, для того, чтоб меня разлюбить.

Сколько праведных тел у судьбы — для войны и соблазна,
сосчитать невозможно, и каждая цифра — заразна,
дай мне эхо своё, чтоб вернуться, на зов откликаясь,
или минное поле — гулять, о тебя спотыкаясь.

Александр Снегирёв

Я люблю

О рассказах и рассказчиках

Я люблю рассказы. Нет ничего наивнее, чем начинать с «я», но моя любовь к рассказам столь сильна, что иначе написать не могу. Люблю рассказы продолжительные и совсем короткие, люблю многоглубинные и легкие тоже люблю. Люблю написанные на русском языке и переводные. Сам жанр рассказа содержит все то, что мне так нравится в литературе: насыщенность, умеренность, мысль. Можно, конечно, накропать рассказ пустой, размашистый, без единой идеи, но это сразу будет обнаружено. Бестолковый рассказ куда проще идентифицировать, чем бестолковый роман. В рассказе все нараспашку, не прикроешься стилем, слогом и концепцией. Рассказ выявляет автора: или ты есть, или ты — пустое место.

Рассказ может быть устроен как угодно. Например, автор рассматривает какой-нибудь случай, как в шедевре «И эти губы, и глаза зелёные». Сэлинджер превратил эпизод из жизни неверной супруги в целый космос, в бездну, которая вызывает у читателя чувства несравнимо более мощные, чем если бы его просто познакомили с фактом адюльтера. Исаак Башевис Зингер строит свой «Кафетерий» по классическому принципу передачи истории. События, описанные в рассказе, растягиваются на годы, герои существуют не только в настоящем, прошлом и будущем, но и в мистическом, потустороннем мире. Деловитый писатель вырастил бы из «Кафетерия» роман, только не Зингер — исписывать кипы страниц там, где можно выразиться коротко, не в его стиле. И, наконец, Михаил Булгаков, великий мастер рассказа, особенно любимый мной за «Ханский огонь». В Советскую Россию под видом туриста приезжает беглый аристократ, добирается с экскурсией до своей бывшей усадьбы и сжигает ее. Вот, собственно, и все. Какой глаз у писателя, какое понимание страсти, какой выбор сюжета. Булгаков демонстрирует суть призвания рассказчика — разглядеть прямо под ногами и предъявлять читателю эссенцию бытия. Неясную, иррациональную, жуткую и прекрасную.

Я перечислил три текста трех разных великих писателей, которых я выбрал не случайно. Эти трое кое-что символизируют. Один писал в России, другой в Штатах, а третий родился в Российской империи, а прославился за океаном. Мы знаем замечательных мастеров рассказа из Латинской Америки, знаем непревзойденного Мопассана и элегантного Мериме, знаем, наконец, Апулея,

его «Золотой осёл» — чистейший роман в рассказах. Но все же основными, на мой взгляд, державами рассказа являются Россия и США. Громадные пространства, ежедневное выживание, суровые нравы, столкновение христианства с язычеством, привычка принадлежать к сверхдержавной мощи и постоянно подвергаться нападкам. Может быть, эти свойства, а может, еще какие-то сформировали наибольшее количество рассказчиков.

В последние годы в России жанр рассказа снова стал набирать обороты. Многие писатели по старой привычке сетуют на то, что издатели и слышать не хотят о рассказах, но картина изменилась. Крупнейшие издательства одно за другим выпускают сборники рассказов. Самые разные авторы объединяются под одной обложкой и без труда находят своего покупателя. А ведь еще недавно ситуация была совсем иной. Думаю, причина — в стремительных переменах на рынке интеллектуального досуга. Все дело в нашей лени и видео, к которому мы все успели привыкнуть. Забавные, страшные, познавательные и неизменно короткие видеоролики заменили нам все: телевидение, кино, чтение. Их так много, они доступны, они бесплатны, они очаровательны. Мы подсели на короткий нарратив. Нет, нужда в длинных историях не отпала, но человеческий ум уже настолько искушен, так много знает, что часто предугадывает все писательские трюки еще на первой странице. Состязание писателя с читателем все больше напоминает игру в шахматы с компьютером, которому известны наперед все возможные комбинации. Однако не стоит отчаиваться, обыграть читателя, поразить его еще можно на поле рассказа. Короткий, сжатый, стремительный, как набег кочевников, текст может сбить читателя с ног. Потому рассказы и стали покупать столь активно; читать хочется, но уже привыкли к разнообразию, к палитре, один длинный текст проигрывает набору из десяти коротких.

Февральский номер «ДН» отдан рассказам. Авторы — из «самотека» и наши постоянные, именитые и начинающие, из Москвы, Петербурга, Калининграда, Ангарска, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Нижнего Новгорода, Казани... Все рассказчики — со своим голосом, и взгляды на мир у них разные, но есть и общее: они любят рассказывать короткие истории и пишут по-русски. Не удивлюсь, если однажды мы выпустим подборку рассказов, целиком написанных значками эмодзи, но пока предлагаем вам старые добрые буквы. Заскучать не успеете, а прочитав этот номер, никогда уже не будете прежними.

Андрей Ладога

Наши единственные любови

Рассказы

Зачётные рубли мертвеца

Эмигрировавший из зауральского Кургана в Москву бывший учитель русского языка и литературы, а ныне внештатный сценарист студии «NEO» Володя Писарчук за семь лет жития в Первопрестольной так и не обзавелся московской регистрацией. Однажды, собравшись с духом, Писарчук подошел было к зданию милиции, но увидев плотно сомкнутые ряды «коренных гостей столицы», жаждущих получить разнообразные разрешительные документы, подумал с облегчением: «Пустая затея, мне не пробиться, уйду в подполье». И Писарчук стал жить нелегально...

Всякий раз перед выходом из своего съемного жилья Володя прислушивался к тому, что происходило в секции. За годы существования в Москве выработались и другие полезные навыки, которые стали рефлексами: прячась от румяного жадного участкового, он открывал дверь только на условные звонки; не доверяя родному, отчасти колониальному правительству, менял гонорарные рубли на доллары США; едучи в метро, он делал вид, что читает заученную наизусть поэму Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Пассажиры с «живыми» книгами, вымирающий класс «подлинной полуинтеллигенции», меньше обращали на себя внимание милиции. Словом, в родной стране Писарчук выучился жить почти невидимым эмигрантом...

Поздним августовским вечером Володя стоял на балконе не своей скромной квартиры, пил чай со льдом и с привкусом рассказа размышлял над сценарием рекламного ролика с пошлым названием «Всегда улётная погода», где речь шла о сказочных путешествиях. Жизнь, меняющаяся в иллюминаторе лайнера, сахарный песок океана, чайный душистый бриз, тесный купальник шоколадной незнакомки на пляже — чужой набор обманчивых ожиданий... В финале подумалось о том, что неустроенный быт, беспросветная временная жизнь в чужих квартирах дают ощущение долгой молодости, после которой, верно, наступит неожиданная старость...

Обжигаясь ледяным чаем, Володя отшатнулся — мимо в жутком безмолвии стремительно пролетел человек. Вслед обреченному плавно промелькнула сторублевая купюра. Невзрачная лоскутная цена жизни, — пронеслось в голове, — проклятая профессия сценариста...

Внизу послышались истошные бабьи крики мужчин.

Купюра невесомо и обессиленно опустилась на балкон Писарчука...

Андрей Ладога — сценарист, режиссер. Окончил архитектурно-художественную академию. Автор четырех книг прозы. По трем из них был снят сериал «Оплачено смертью» (канал «Россия»). Публиковался в журналах «Волга», «Человек читающий» («Homo Legens») и «Новый Континент» (Чикаго, США). Член Союза журналистов России. Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Володя мгновенно погасил свет. Проверил, надежно ли заперта входная дверь. Затем, опустившись на карачки, он подполз к распахнутому настежь балкону и, стараясь не смотреть на сторублевую бумажку, стал прислушиваться — третий этаж позволял это. Внизу образовалось базарное толковище, спустя несколько минут возникли полиция и «скорая помощь».

В подъезде забегали полицейские, бесстыдно распахнулись двери квартир, суетливо загомонили жильцы — дом наполнился резкими шумами возможных арестов, зычных приказов, отрывистых вопросов, задавленных виноватых ответов. Почудился предрассветный кошмар навечно памятной усатой эпохи.

Не забывая об отсутствующей регистрации, Володя замер, затаив дыхание, — в его дверь настойчиво позвонили. Он и не думал открывать — обязательная проверка документов сулила существенные траты, и это была меньшая из неприятностей. Как будто ожидая удара, Писарчук зажмурился — позвонили вторично...

Внизу, во дворе, послышались шуршащие, заикающиеся звуки рации, офицер полиции сообщил какому-то «товарищу майору» про то, что «данная смерть — это самоубийство». Потому что «так будет меньше формализма в рапортах». А что до обстоятельств, то, возможно, «крышевание... то есть крыша четырнадцатого этажа».

Вскорости «скорая» и полиция уехали. Народ, безмолвствуя, разошелся. Небольшая, в полчаса, драма закончилась ночной покойной тишиной. И только сторублевая купюра мертвеца, в ожидании, безвольно лежала на балконе Писарчука...

В сорок лет, бросив все, в том числе пожилых родителей, приехал из своего Зауралья в Москву. Ночевал на вокзале. Затем снял комнату. Подрабатывал в рекламных агентствах. Сделал несколько документальных фильмов. Снял квартиру. Познакомился с режиссером игрового кино. Написал сценарий сериала. Сериал сняли, но на этом все закончилось. За десять лет так ничего и не смог — все то же бесприютное съемное жилье и «одноразовые» отношения, бесконечные мелкие дни, наполненные попытками выжить. Похоронил отца и забросил состарившуюся мать. Сценарист-неудачник на грошовых подработках где только возможно. Пугающийся всего внештатный автор студии «NEO». Отгораживался от неприятностей маленьким бумажным Венечкой Ерофеевым. Издалека обожал высоких, недоступных ему брюнеток. В последнее время понял, что слово «рукоблудие» в сущности инквизиторское. Жил нелегально, без регистрации.

И в свое пятидесятилетие, решив, что жизнь проиграна, это ничтожество залезло на крышу моего дома и с облегчением шагнуло в скучную бесконечность вечности — Писарчук мгновенно увидел историю самоубийцы.

Завтра заплачу за телефон, подумал Володя, не пропадать же этой «небесной сотне», а потом позвоню Любови и скажу уже наконец, что люблю ее. Может быть, если я это сделаю на деньги покойного, ему зачтется?

Писарчук вдруг осознал, что он так и стоит на карачках перед балконом и напряженно прислушивается к тишине.

С облегчением перебрался на диван. Идти в ванную и раздеваться не хотелось. Не хотелось включать свет. Хотелось лежать в уютной летней темноте и ни о чем не думать. Вспомнил, что он так и не сочинил сценарий ролика с привкусом рассказа. Засыпая, попытался представить конец рекламной истории, но вместо этого увидел на крыше дома брошенную растрепанную сироту — поэму Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки».

Май—август,
2007—2014 гг.

Похоронная гитара В.А.Шукшина
(Картины маслом — с натуры)

— ...вначале были бабы, — закончил я. — Голые.

Марго посмотрела на меня сердито, даже гневно:

— Ты вообще можешь что-нибудь воспринимать в этой жизни, кроме голых баб?!

— Да, многое могу. Не могу об этом говорить. Тошнит...

— Черт!.. — Марго в сердцах махнула рукой и отошла от меня на два шага. Потом подумала и отшагнула и вовсе к «Одинокой берёзе», холст, масло, художник А.В.Пискунов-Четвёртый. (На табличке значилось именно это: «Четвёртый».) А я так и остался стоять рядом с «Купальщицей на берегу», холст, масло, художник А.Б.Иноков. Рельефные бедра, дражайшая грудь, разноцветные — зелено-голубые — глаза ее, прибрежной купальщицы этой, в натуральную величину. Что, думаю, плохого?

— Буфет тут есть? — спросил я. — Бар? Столовая? Харчевня? Ресторация?

Марго ничего не ответила, сосредоточенно и одновременно рассеянно она разглядывала березу на холсте, обе были демонстративно одиноки.

Подумалось с тоской, зачем я сюда поехал, на эту выставку художников-аборигенов? Очередное дежурное «мероприятие» в рамках телевизионного фестиваля в небольшом нефтеносном городке, в двух шагах от нашей гостиницы «Четыре зимы».

Тут мимо нас с Марго прошел, чуть пошатываясь, режиссер Немых. Я ощутил запах и понял, да, буфет есть. Пивных, Спиртных, — привычно додумались сами собой псевдонимы режиссера Немых, — Винных, Косых...

— Ты идешь? Я хочу горячего кофе...

Марго, опустив свои длинные ресницы, помолчала, выждав положенное...

— Иду...

— Пошли. А то режиссер Немых, уже побывавший в буфете, это серьезно...

— Нам все оставили, — сказала Марго. — Даже кофе твой пижонский, по-королевски. Я всех предупредила...

— О том, что мы придем?

— И о том, что бар посетит режиссер Немых...

Мы прошли мимо портрета Александра Пушкина. Поэт, по всей видимости, давно нашедший не только кружку, но и бутылку, раздваивался неадекватно веселой старушкой со щербатой улыбкой до иссохших, уже мертвых ушей. Вероятная няня национального гения, кроме кроличьего оскала, отличалась болезненно неуместными, паутинообразными бакенбардами. Возможно именно эта деталь по остроумному замыслу художника роднила Арину Родионовну с ее великовозрастным воспитанником. Ощущение складывалось такое, будто все, включая автора таинственного полотна «На троих», были «сильно пьяны». Но кто же третий? Зритель? Сам Мастер?.. Чудесная, во многом загадочная картина, холст, масло, художник Борщёв С.К. Очень своевременно, как раз перед буфетом...

Я замерз под кондиционерами на этой выставке умелых мастеров, и захотелось то ли выпить, то ли попить, то ли горячительного, то ли горячего. Изувеченный русский вопрос: что пить? Кофе? Коньяк?

За невменяемой няней и ее Сашей Пушкиным медленно проплыл многометровый портрет Льва Толстого абсолютного микеланджеловского размаха.

Главное, думал я, думал он, передать масштаб личности через наглядный размер — три метра на восемь, холст, масло, художник Песцов Г.В.

Лысый Толстой был в косоворотке, при штанах и в бороде. Классик был в сапогах, которые можно было бы назвать так: «Чем выбросить... От барона Иеронима фон Мюнхгаузена». Лев Николаевич был задумчив и сосредоточен. А на дальнем

плане, на фоне колючего проволочного кома леса жили-были маленькие деревенские дети без лиц, невзрачные пятнышки, размытые выцветшим вечерним светом осени...

Я вздрогнул, ознакомившись с неожиданным названием полотна: «Лев. Былые думы о школе». Школы, кстати, не было. Или она была, но за лесом. Видимо, были и думы, но, очевидно, уже в прошлом (былые?).

Вероятно, художник пытался охватить два космоса сразу: Льва Толстого и мыслителя-невидимку Александра Герцена...

Дальше, представилось по ходу, должен быть Н.В.Гоголь с гитлеровской челкой и семитским носом, в несоединимом соединении, холст, масло. Но случился портрет Шукшина В.А., масло, холст. Работа художника с приятной обеденной фамилией Ковригин Г.Г.

Ковригин, просмаковал я и вспомнил — через дефис — мастера Борщёва...

С неизменно босыми ногами В.А.Шукшин сидел на неуютно округлой родной земле. Шукшин сидел, отчего-то обнимая траурную лаковую гитару, которая была как в руках, так и в ногах писателя-режиссера. На грифе гитары имел место алый бант, отчасти похожий размером на странный капустный кочан. Мертвящий взгляд Шукшина, огибая раму картины, был направлен в мир все еще живых.

Я вздохнул... Очень точное название у выставки: «Экспозиция художников-умельцев». Точнее, думаю, и не скажешь — умельцы...

И только сидя в буфете и помешивая ложечкой кофе, я внезапно осознал очевидное — в имени Шукшина была допущена опечатка: В. А.

— А должно быть В.М., — сказал я Марго, — он же был Макарович.

— Макар*е*вич? И он из этих?!

— Макарович!

Но Марго только горько отмахнулась.

— Главное, что он босой, — сказала Марго, — и сидит где положено. На маленькой родине, стало быть, сидит, в Сростках. А как там его отчество в этой единственной букве, кого это волнует?

Да и правда, подумалось, кого? Я уже не говорю про загадочную его похоронную гитару...

— «М» там или «А» — ерунда. «А» мне, кстати, больше нравится. Хотя и так, и так хорошо, и «А», — Марго посмотрела на меня, — и «М».

— Ты еще ножом вырежи на скамейке: А+М=любовь...

— И вырежу!

О, Господи...

...Гоголя мы все же увидели, но косвенно, в факультативном порядке. Гоголь явился нам в образе Достоевского — внезапно! — холст, масло, художник И.Б.Скворечников. Федор Михайлович имел измученное чем-то — чем? — лицо. Маленькие его худенькие плечики, туго пеленая, обнимала черненькая шинель.

— «Шинелка»! Без мягкого знака, — сказала Марго.

Картина называлась строго, поучительно и отчасти модно: «Достоевский F.M. Все мы из шинелки Гоголя». И тут я понял, отчего у Федора Михайловича было плаксивое выражение припухшей и круглой, какой-то «Петровско-Первой» физиономии.

— Шинель жмет ему, — догадался я, — тесновата шинелька!

Марго обняла меня...

— Маловата, да. Он из нее вырос...

— Вышел, так точнее, — я вздохнул: — Первопроходимцы от живописи...

Словом, сказочная картина — как бы двойной портрет великих писателей через многоточия: Достоевский... шинель Гоголя... и сам Гоголь — призрачным фантомом.

— Шинелька тесновата, кольчужка коротковата, трусы узковаты, презерватив...

— Лучше без...

И тут мимо нас с Марго снова прошел, чуть пошатываясь, режиссер Немых — Пьяных, Худых, Бултых.

— Поехали отсюда, — говорю, — полдник и сон-час...

Марго призывно улыбнулась:

— Пьем ее и едим ее! Ресторан «Нефть» подойдет? Для полдника?

— Ресторан... «Нефть»? Ты серьезно?

— Абсолютно.

— Стадион «Циан», — вспомнил я, — конфеты «Радий», сериал «Две стороны одной Анны». Для разгона сойдет и «Нефть», хорошо, что не «Цемент».

Смеркалось, было часа четыре...

В послесловии подумалось, «без» лучше, Марго права, конечно...

Гостиница «Четыре зимы»,
нефтеносный городок, Север, Россия,
ноябрь 2008 г.

Зоркий с «Сокола»

— Напиши про меня, — просил Гоша Иннокентьевский. — Только придумай что-нибудь хорошее, чтобы жизнь моя прошла не зря.

Сосед мой, «потомственный вдовый алкоголик» Гоша Иннокентьевский, загадочный молодой пенсионер «примерно пятидесяти годиков», имел от всего «отличноё личноё мнениё».

— Вот был СССР и были вечные ценности: Леонид Брежнев, хоккей и Алла Пугачёва. Потом все умерли, да и хоккей наш уже какой-то не наш.

— Пугачёва же еще жива! — ужаснулся я.

— Да? — Гоша в сомнениях задумался. — Ну, это ей так кажется...

— А сейчас?

— А что сейчас? Кругом одни супермаркеты и никакой культуры...

Показывая ладонью свой небольшой рост, Гоша энергично говорил при этом:

— Мал клоп, зато вонюч!

...Так вышло, что одним июльским вечером на моем балконе задумчиво стояла и курила свои дамские сигареты чудесная девушка Вика. И мы, вероятно, думали друг о друге, готовые, возможно, сказать друг другу нечто важное. Именно в этот момент в соседней лоджии неряшливым фантомом возник Гоша и, по-ленински сощурившись, отчетливо выговорил:

— Вчерашняя моложе была, — и через паузу, смягчая: — но эта — красивее.

Подумалось: убью Гошу. Этой же ночью кончу!

— Вы с Сокола? — спросила, утверждая, Вика.

— Да. А что?

— Зоркий.

Гоша одобрительно кивнул мне:

— Она еще и умная! С такими не только спят, на таких еще и женятся.

Иннокентьевский — советский атеист. Но о Боге он говорил шепотом, вздрагивая и странно оглядываясь. Как будто страшась увидеть...

— Ты, главное, пиши это слово с большой буквы «Б», — советовал Гоша, — не перепутай. И букву тоже. А то — мало ли?

О любимой навсегда родине Гоша говорил кротко:

— В России все проживают не свои жизни. И, как правило, без любви. Это хорошо — без любви покойнее. Главное, чтобы была вера.

У Гоши есть Вера — дочь. Красивая, изнуренная абортами и разводами пожилая

девушка тридцати трех лет. Раз в год Вера «устраивает» папу в наркологический диспансер, где Гошу безуспешно пытаются вылечить от алкоголизма. Две недели Иннокентьевский в неравной схватке, в одиночку, скрывая гладиаторскую ярость, противостоит своим врагам — врачам, «убийцам в белых халатах салатного цвета». Гоша не говорит правду. Замалчивает ложь. Лицемерно изображает трезвость.

Объяснял он это со свойственной домотканым философам отстраненностью:

— Если, на, не пить, то можно, бля, задуматься. А там, на, рукой подать до, бля, дурдома. А я хочу околеть в здравом уме, чтобы понимать, на, как это — умирать, бля.

Порой Гоша полуинтеллигентно заменял обсценную лексику на «бля» и «на».

Однажды, находясь в особенно трезвом состоянии, Иннокентьевский с агрессивной угрюмостью попросил меня познакомить его с «одной из твоих».

— Смотри, — стал нахваливать себя Гоша, — я виртуозно отвариваю сосиски, мастерски варю растворимый кофе, идеально раскладываю нарезанный хлеб. Не притрагиваясь, храню вместе и гвозди, и молоток. Экономно трачу свою пособную пензию. Двадцать лет ношу одни и те же мемориальные джинсы. Словом, незаменимый в хозяйстве человек!

Содрогнувшись, я не пообещал даже подумать.

Когда подходит его очередь, Иннокентьевский моет полы в нашей секции в старых не тапочках, но тапках, в «пожилых портках» и в клетчатой рубашке — гардероб из магазина, который он называет «хенде хох» — second hand. При этом из кармана его рубашки торчит... чистый носовой платок.

Летом он здоровался со мной через лоджию. Зимой звонил по телефону и вместо «Привет», спрашивал:

— Ты с бабой? Нет? Я зайду.

Когда я не хотел его видеть, отвечал:

— С бабой.

Через какое-то время Иннокентьевский стал хитрить:

— Предъяви. Можно в одетом виде. Хотя...

И я предъявил. В одетом виде.

— Настя, знакомься, это — деда Гоша, пенсионер.

— Ты не только слово-, ты еще и телоблуд! — сказал он мне потом с огромной досадой.

Случайно выяснив, что Гоша все же знаком с грамотой, я дал ему томик Чехова с «Чайкой». Иннокентьевский «перебрал знакомые смыслы букв». Затем трактовал:

— Этот, матерый, ей, которая Чайка, сделал ребенка. И, ясное дело, бросил. А тот, начинающий литератор, все еще безнадежно влюбленный в Чайку болван, взял да и застрелился...

— Так тебе понравилось?

— Нет, — строго сказал Гоша, — мне вот это: «жизнь человечья что сюжет для небольшого рассказа» — не нравится. Категорически, на, я подчеркиваю. Сразу, бля, видно, чахоточный сочинял. От чахотки Чехов, совпадая фамилией, и зачах. Мне больше по душе Фёдор Достоевский и его: «Широк русский человек, надо бы, мать его, его обрезать...»

— Что-что-что?!

— Сократить, идиот, сузить! Мы с Фёдором это имели в виду!

Почесав в лысом затылке, Гоша задумчиво добавил:

— Надо же! Был Советский Союз и было ощущение страны, сейчас этого нет. Наверное, молодость, так и не наступив, прошла...

Почитав мои сюжеты, Иннокентьевский, наставляя, сообщил мне:

— Ты, думая, пишешь коротко, а надо наоборот, учти.

— Учту.

— Сочиняешь примитивно и ни о чем, но, что характерно, интересно.

В итоге Гоша вынес мне контрольный диагноз в упор:

— Писака ты более забавный, чем любопытный.

В последнее время я часто думаю, что бы я делал без него? И в самом деле — что?

...Той ночью, не подозревая об этом, Вика спасла Гоше Иннокентьевскому жизнь.

10 марта 2016 г.

Когда нет Веры...
(Интервью, не вошедшее...)

Вере, с надеждой на любовь.

— ...люблю твои рассказы, в них всё по-настоящему, не как в жизни.

Он приехал на полчаса раньше и удивился, увидев ее сквозь промытое снежным дождем окно кафе. Одинокая, она безуспешно упирала свои острые локти в стеклянный стол, как будто заранее ожидая каких-то неприятностей. Ерзая на стуле, озираясь вокруг, она неосознанно трогала предметы на столе: огромную, похожую на суповую миску, чашку кофе с жадными кровавыми следами губной помады; распятый блокнот вздыбленных страниц; вызывающе острый карандаш; компьютер, лишенный индивидуальности...

Прилизанные льняные волосы, кое-как собранные в хвостик пони, открывали беззащитно оттопыренные розовые уши. Щедро и с размахом намазанные красным тонкие недвижимые губы гармонировали с огромными, выражающими скорбь траурными очками, которые по совместительству замещали отсутствующие брови. Немигающие темные глаза смотрели на мир с надменным испугом.

Время от времени, горбя спину ягненка, она напряженно вглядывалась в монитор компьютера, затем, видимо, вспоминая об осанке, резко распрямлялась, поправляя плечики голубенькой блузки. Ее мини-юбка формой и размером была похожа на представительский, потешный пояс боксера. Чулки в крупную клетку вызывали амстердамские дамские ассоциации. Нелепо модную экипировку довершали замшевые ковбойские сапоги, неуверенно сидевшие на ногах...

Открывая дверь и входя в кафе, он подумал о том, что девушка будила странные, почти отеческие чувства. У нее, наверное, и скобки на зубах еще есть, зря я пришел...

Он развернул соседний стул, уселся верхом и посмотрел на нее, ощутив ароматы остывающего кофе и Miracle. Вблизи ее кожа казалась прозрачной, в сознании всплыло слово «малокровие». На тонкой шее он увидел крохотное тату — взъерошенную рассерженную толстенькую пчелку.

Через какое-то время, ощутив наконец его взгляд, она, вздрогнув, посмотрела на него, и он увидел двоих себя, отраженных в кривых зеркалах ее очков, как в комнате смеха.

— Вы знаете, — он улыбнулся потусторонним себе как можно нежнее, — есть три важнейших женских имени, и ваше — первое среди них.

— А вы Андрей?

— Вот и познакомились, — он откровенно вздохнул.

Вера часто-часто заморгала ресницами, он немного испугался, еще не хватало, чтобы она расплакалась, этой и повода не надо...

— Скажите, — он склонил голову к плечу, — а вы совершеннолетняя?

Одна обида тут же перекрыла другую, Вера, сморщив нос, поправила очки:

— Мне через восемь месяцев будет двадцать... три. Я курю. И пью водку.

— Да ну? — Он заулыбался вполне искренне, заминкой с возрастом эта маленькая лгунья выдала себя.

— Точно... — она неуверенно кивнула.

— Стало быть, половозрелая...

Под возмущенное сопение Веры он подозвал официантку, заказал кофе и водку «для вас».

— Даже не думайте! И водку вашу я пить не буду! Я на работе! — Вера попыталась скрыться за гигантской чашкой с кофе, схватив ее двумя руками. — Знаю я вас, — Вера осторожно выглянула из-за чашки, — мне говорили... меня предупреждали... словом, я в курсе, знаете ли!

— Предупреждали о чем?

— О том, что вы... — она прошлась по столику своими пальчиками, — ходок.

Он поднял левую ладонь и с акцентом Зурико Думбадзе, своего тбилисского друга, торжественно произнес:

— Мамой клянусь! Никакой постели! Никакого, вах, флирта с вами!

Вера скандально фыркнула:

— Это еще почему?!

— Потому, что вы мне очень понравились. А я не сплю с теми, кто мне очень понравился. Предпочитаю дивные ощущения без отношений, понимаешь... понимаете? Отношения — это страдания, что в моем возрасте уже противопоказано.

— А сколько вам? Тридцать... пять? Восемь? Девять?

— Скоро будет десять! А пока только сорок.

— Сорок лет — это кошмар! — Вера выглянула из-за своей чашки, скосив глаза, она поправила скрюченным запястьем очки. — По-моему, выражение: «Жизнь в сорок лет только начинается» — это уловка номер сорок для самообмана дураков. Лично я никогда не буду такой старой.

— Лично вы — никогда! И да, для дураков... А кроме прочего, я очень тяжелый...

— В смысле?

— В смысле — сто килограмм. Тебе... гм... вам будет тяжело. И дышать трудно...

— Еще чего! — Она немедленно задрала подбородок. И добавила свысока: — Размечтался!

Принесли кофе и водку.

— Скажите, а кроме женщин, кто или что вас вдохновляет?

— Соавтор.

— Со... автор? — она разочарованно вытаращила глаза. — А... с кем вы пишете?

— С Богом.

— Дурак! Отчего вы назначили мне встречу в кафе? — Торопливо меняя тему, Вера решила пококетничать. — Здесь шумно! — Звякнув подковкой, она топнула ножкой. — Шумно!.. Шумно!

— Я люблю это кафе. В этом доме родился Борис Пастернак. Но если вы хотите, мы поедем в буфет Московского метро, станция «Арбатская». Или, скажем, в колумбарий, там замогильно тихо.

— Не хочу! А в колумбарий особенно!

— Вы будете меня спрашивать о чем-то наиглавнейшем? Или я попью кофе, вы выпьете водку, и мы, прервав так и не начавшуюся пикантную связь, разойдемся?..

— Нет-нет! То есть, да-да. — Вера мягко захлопнула пухлый блокнот и, взяв в руку карандаш, сделала прихотливое дирижерское движение. — Конечно, я буду спрашивать. Вот скажите, вы в самом деле спали со всеми женщинами, о которых писали? Это наинаглейший... тьфу ты, черт!.. наиглавнейший вопрос, который интересует всех-всех-всех в нашем зачарованном женском серпентарии, то есть в редакции...

Он пододвинул к локтю Веры рюмку водки:

— Не выпьете — не будет интервью. Не будет интервью — вас уволят с работы. Уволят с работы — ваш сердечный друг вас бросит. Он вас бросит — скучные родители отвернутся от вас. От вас также отвернутся ваши собаки, кошки, хомяки и рыбки в аквариуме. Вы тут же заболеете нервной болезнью и никогда не найдете работу ни в Подмосковье, ни в Москве, ни в Нижней Салде. В итоге: ночлежка, беспамятство, выпадение всех ногтей и волос, включая ресницы, заикание и навсегда сложенные фигой пальцы левой ноги. Неужели все это нам надо?

Испуганно округлив глаза, Вера одним глотком выпила водку и зашлась в истеричном кашле.

Осторожно похлопывая, он погладил ее по горячей спине...

— Это был... шантаж, — пропищала Вера.

— Да, шантаж. Этих женщин вообще нет, я их придумал.

— Довольно достоверно и, главное, безопасно, — ни скандалов тебе, ни слез, — Вера вытерла слезы салфеткой, — ни абортов...

— Сила солнечного слова. Я и Буэнос-Айрес придумал. И Японию. И вас...

Вера, замерев, посмотрела на него заплаканным взглядом веселого доверчивого ребенка, вероломно обманутого в разгар увлекательной игры. Воспользовавшись паузой, он заказал еще водки. Шесть рюмок.

— Г*о*ните?

— Прости... те? — С *ты* он сбивался на *вы*.

— Обманываете? Я перевожу...

— А, да. Гоню, конечно, гоню!

— А я купилась...

— Что?

— Вы не рубите что ли в городском жаргоне? А еще писатель! Перевожу — я поверила.

— Двойная удача — Вера поверила! Пейте. — Он пододвинул следующую рюмку водки.

— А что мне за это будет?

— Я честно отвечу на любые ваши вопросы.

Гулко сглотнув, заранее сморщив порозовевшее личико, Вера выпила водку.

— Гадость какая... Скажите, а какого он у вас размера? Это, я поясняю, — пояснила Вера, — я заигрываю с вами.

— Не знаю, — он равнодушно пожал плечами, — я им пользуюсь, не измеряя. Но вы можете зайти ко мне домой. С линейкой.

Вера с пониманием кивнула.

— Все мужики — сволочи, извращенцы и лгуны! И вы, — она ткнула в него пальцем с выкрашенным алым, обломанным ногтем, — вы — первый!

— По третьей?

Взъерошенная пчелка на ее шее, став еще более опасной, покраснела...

— По третьей? Да... Нет! Черт! — Вера закрыла лицо руками. — Что происходит?!

— Мы пьем. То есть, я пытаюсь тебя споить. Давай, — предложил он, — выпьем на вы, на анти-брудершафт!

— Я не буду с тобой целоваться, не приставай!

— Это же анти-брудершафт. Когда пьют на «вы» не целуются, пощечины раздают...

Вера кивнула.

— Я понял. Я всё сообразил. Пощечину вы уже заслужили, но позже! А сейчас скажите лучше, кто такая Прекрасная Княжна? Я прочитала «Зелёную милю Империи».

— Это чудесная умная красавица из провинции. У меня с Княжной был роман

в письмах... Она замужем. Но при известных обстоятельствах она могла стать моей женой.

Вера выпила водку и мучительно свела вместе несуществующие бровки.

— А вы что же... расстались? Развели Прекрасную Княжну с ее мужем, а потом обманули? Вы всех вот так швыряете? Это больно, вы нах... вы не нах... одите? Вы и Марту бросили, а вы ей, между тем, посвятили «Лестницу с небес», я готовилась, знаю. И вы всем девушкам, с которыми расстаетесь, посвящаете свои рассказы, я поняла...

— Своими посвящениями пытаюсь подарить им крохотное персональное бессмертие. И я всегда прощаюсь с дамами, которые знают обо мне больше, чем я сам.

Вера, уронив очки в кофе, замотала головой:

— Я ни черта о вас не знаю! Ничего вообще!

— Тебе лучше без очков. И волосы, — поймав ее за хвостик, он потянул резинку, — надо распустить, более того, растрепать. И помыть, кстати, вот как очки...

Он выудил из чашки с кофе очки Веры, стряхнул, как градусник, протер салфеткой и сунул себе в карман.

— А ваша... твоя Даша, она настоящая? Или тоже придумана... ная? Как Марта и Княжна?

— Дарья настоящая... Замужняя девочка-женщина моя единственная, любимая.

— А я?

— Ты тоже моя... обожаемая.

— Это плохо. Ужасно. Потому что, — Вера мгновенно выпила водку, — когда говорят «обожаемая» вместо «любимая», значит, и не любимая вовсе. Наша замша... это у нас так называется заместитель главного редактора, она — старая тетка, ей лет тридцать пять, а то и все тридцать шесть. Облезлая местами местная наша львица Подмосковного уездного света... Это она, сука ископаемая, дала мне под зад... под... задание, напиши, мол, о нем... о тебе то есть... дай, мол, ему... тьфу, черт! Возьми! Возьми, мол, у него интервью... Или дай? — Вера сосредоточилась. — Давая, брать — золотая бабья долька, формулка счастьица. А ты вообще. — Она подперла рукой взлохмаченную голову. — Не хотите создать нормальную семь... восемь... ю?

— Хотел, сейчас нет.

— Климакс?

— Что-то вроде того... Поехали?

— По пятой?

— По четвертой — и ко мне. Через магазин канцелярских товаров...

— Зачем нам... — Вера тяжело задумалась на секунду. — Канцелярские, да еще и товары?

— Линейку купить. Ты же собиралась измерить мою решительную мышцу.

Вера улыбнулась, он облегченно вздохнул — скобок на ее зубах не было.

— Какой ты пошлый! — Она погрозила ему пальцем, увидела свой сломанный ноготь, стеснительно поменяла руку и продолжила грозить. — Знаешь?

— Догадываюсь... Я старый, мне можно. И у меня дома водка вкуснее. Поехали!

— Ты, прости меня, как какой-то скучный пыльный Джонатан Свифт. Никак не можешь выбрать между Мартой и Княжной... Стелла? Или Ванесса? Настя или Вика? Вот в чем ответ! Какая у тебя женщина, такой и ты. А если нет женщины, то ты — убогий импотент, двоеженец неженатый...

Допив оставшуюся водку, он расплатился. Собрал в охапку Верины вещи и саму Веру, и они, обнявшись, вышли из кафе.

— Веришь, так не хватает объятий, — говорила сама с собой Вера, — простых человеческих объятий. Хотя вот, например, есть объятия собаки, кошки... Хомяка. Рыбок. Ой, что-то я не то несу... Но отчего-то хочется, чтобы тебя нормально обнимали, прямо руками, знаешь... За плечи, за бедра, за... — она хихикнула, — за

грудь! Я вообще не помню, когда мне в последний раз делали массаж ягодиц... А ты? А тебе? Ты помнишь? Господи, какой же ты здоровый! Ты в курсе?..

Погрузив Веру и ее вещи на заднее сидение, он вырулил со стоянки.

Всю дорогу до его дома, решительно поджав ножки и мужественно сжимая кулачки, Вера бормотала:

— Родители — старые, как и ты, скучные, и в итоге — никакие. Карьера — ноль. Денег — крохи, а значит, их как бы и нет. Все мужчины в стране — импотенты, в широком смысле слова. Да и не в широком... Никому ничего, кроме денег, не надо, а я, между прочим, пишу прехорошенькие стихи, но перспектив — никаких. Всюду — пустота, мать ее так! Но ты не переживай, я сделаю с тобой и о тебе классное интервью, не волнуйся, все будет без сучка, но с задоринкой! Ты все равно лучше всех в этой хилой деревне под названием Москва... От одного только делается тоскливо — все твои рассказы очень и очень грустные... отчего так? Почему?..

Потому, что нет тебя. Не было и нет... И наверное, уже не будет...

Но сказал он совсем другое:

— Прехорошенькие стихи пишутся как раз между прочим...

— Идиот! Всё! Спокойной ночи, крепыши...

Вера затихла.

А он вдруг подумал о том, что самый мертвый из людей — это мертвый ребенок...

...В прихожей Вера с его помощью стянула сапоги и без разрешения протопала в ванную.

Он поставил чай, мимолетно подумалось — все уходит, как бы ни упирался локтями в зеркальный стол. Куда и на что ушли мои последние двадцать лет? И есть ли у меня то, чем я буду жить дальше? И надо ли дальше?

Но сейчас, когда рядом была Вера, эти вопросы не показались ему убийственными...

Не все пройдет, пройдет не это, что-то непременно останется...

Из ванной Вера вышла умытой и суровой, с белыми губами.

— Черт! Зачем ты меня напоил? Я же маленькая, мне пары рюмок хватает. Верни очки, сволочь!

— Хотел тебя соблазнить... — он протянул ей очки. — Держи.

— Сейчас уже не хочешь?

— Нет.

— Жаль...

— И мне. Выпей чаю, протрезвеешь.

— Я уже... Но чаю выпью с удовольствием...

Они сидели в кухне, пили чай, тихо разговаривали «ни о чем» и наблюдали, как над Москвой сгущались сумерки...

— А твои друзья? Я читала... Они тоже — придуманы? Лекарство от одиночества?

— Нет, не придуманы. Друзья — это незаменимое лекарство от жизни, я им для чего-то нужен, они мне — необходимы. Но почти все мои друзья уже переместились в лучший из миров — кто в Лондон, кто на Мальту, кто в Париж...

— А ты?

— И я, вероятно, за ними, вскорости...

— Черт, это грустно...

— Наверное...

— Только сейчас подумала — ты же всех описываешь! Ты и меня опишешь, да? Да?!

— А как же! Я и посвящение уже придумал... Вере, с надеждой на любовь.

— Не смей... и смеяться тоже! Подскажи лучше, что мне о тебе написать для нашей газеты?

— Напиши о моих творческих планах. Напиши о погоде. О ценах на говядину...

— Болван! До чего же я тебя уже знаю... Я хочу сесть к тебе на колени, можно?

— Нет, нельзя.

В коротком онемении, округлив глаза, она, напрягаясь, собралась с силами.

— Идиот! — закричала Вера. — Кретин!

Ему показалось, она хочет ударить его — та самая пощечина, обещанная в кафе.

Он даже зажмурился на несколько мгновений. В кухне возникла какая-то нервная, напряженная суета, потом краем уха он услышал, как в прихожей Вера, матерясь яростным шепотом, стала натягивать свои ковбойские сапоги. Среди прочего непотребного он различил: «импотент длинный», «писателишко задрипанный», «хам красивый». Затем под громогласное лестничное эхо: «Урод!!!» ахнула входная дверь. Улетающая пчелка-тату, верно, стала ядерно-малиновой от негодования и непонимания, вслед за пчелкой с приятной однобокостью подумалось: пока есть девушки — есть и жизнь.

В окнах дома напротив стали зажигаться огни, он вспомнил о родителях. Выйдет это глуповатое интервью, мамуле будет приятно, папуля скептически хмыкнет, а не выйдет — еще лучше...

Жизнь не качнулась окончательно в сторону смерти, и, видимо, поэтому одиночество пока не сделалось последней тоской.

Он налил себе остывший чай и чокнулся с пустой чашкой Веры...

— ...я придумала отличную фразу, с которой и начну наше интервью!

Coffeemania, Тверская — Сретенка,
26 ноября 2015 г.

К матери...

За два дня до своего отъезда из Кургана Володя Писарчук посетил Союз писателей Зауралья. Союз располагался на первом этаже пятиэтажного здания в однокомнатной квартире. Мутная полировка стола с неясным отражением потолка, железная кровать с голым матрасом, ненадежные решетки окон и мышиные запахи навевали грустные мысли о мелочности жизни. Володя с облегчением не увидел стула...

Встретил Писарчука хмурый человек непонятных лет.

— Ивановский. Николай. Н. Действующий литератор.

В финале представления он так и сказал: «Н».

— Писарчук. Володя. Сценарист... действующий.

— Хм... При такой фамилии вам и псевдоним не нужен!

Несмотря на теплый сентябрь Ивановский был в свитере, в штанах, похожих на галифе, при неряшливой бороде и в тяжких старомодных очках с толстыми линзами. Линзы придавали мужественному лицу Ивановского странно комичное выражение. На ногах литератора имели место негнущиеся сандалии из какого-то фанерного заменителя кожи. Сквозь бойницы сандалий виднелись недырявые носки — Писарчук удивился.

Ивановский, самостоятельно вызвавшись, сдерживая себя, рассказал Писарчуку о своей последней работе. Не помня точно, сколько томов «Мёртвых душ» сочинил Николай Гоголь, а сколько сжег, Ивановский сразу приступил к написанию третьего тома. Памятуя о совете одного большого и тяжелого писателя из столицы, Ивановский с особенной тщательностью сочинил первую и последнюю строчки своей поэмы. Вышло так: «Темнело». И: «Русь молчала».

— Актуально, — энергично выкрикнул Ивановский, — и, главное, эти строчки можно поменять местами! А?! Каково?!

Володя, вежливо кивая, взглянул на пухлую рукопись, которую Ивановский с

кряхтением извлек из ящика стола. На обложке значилось: «Мёртвые души. Поэма. Третий том. Николай Н. Ивановский».

Писарчук понял, что вступать в Союз писателей Зауралья с его жалким десятком рассказов, напечатанных в Московской периодике, и пятью уже снятыми сценариями нелепо.

— Именно так! — подтвердил Ивановский. — Вы еще... молодой... писатель, и вам необходимо набраться жизненного опыта, пройти достойный путь. Лучше, — Ивановский, сморщив малиновый вислый нос, поправил очки, — на заводе. Или на фабрике. Или...

— Или в совхозе имени Розы Люксембург, — уныло заулыбавшись, Писарчук предложил свой вариант.

— Да... В племя... именном совхозе... А я сейчас на даче тружусь, в Шепотках, — неожиданно доверительно, как бы приглашая, сообщил Ивановский, — картошка, свекла. И спится там хорошо. И воздух. Словом, — он почесал нос, — пишу всласть. Бороду вот отрастил, как у Льва Николаевича!

Писарчук спросил про Курганский драматический театр, но выяснилось, что Ивановский не «театральный человек», но зато «большой любитель живописи».

— В галерею сходите, — посоветовал Ивановский. — Там сейчас друг мой выставляется, отличный художник по прозвищу «Ка-Ка». Вы не подумайте дурного, просто у него всё на «Ка», Каблуков он, Кирилл Константинович. У Кирилла там и пейзаж, и портрет, и бабы голые... развесистые... получите удовольствие.

— Постараюсь.

— Постарайтесь! Кстати, у Каблукова есть ученики, он их называет подкаблучниками. — Пугая Володю, Ивановский вдруг замогильно засмеялся, вскидывая бороду. — Каково? А?!

У Писарчука перехватило дыхание, Ивановский был жовиален, ярок, остроумен.

Все талантливее меня, задушенно подумал Володя, включая, очевидно, подкаблучников Каблукова, я — последний...

— В Кургане вообще полно гениев, — сказал Ивановский, протягивая руку, — вот приехал Юрий Гальцев — курганский наш питерский комик из Москвы. А недавно увидел по местному телевидению — один умелец сплел из бересты кофейный сервиз. Каково, а?!

Писарчук содрогнулся, представив себе горячий кофе в берестяных чашках. Хотелось скорее выйти на воздух, Володя с облегчением пожал руку «действующего литератора».

— В кинотеатр повторного фильма сходите, — напутствовал Ивановский, — там сейчас идет французская драма «Мужчина и женщина». Или это комедия, не знаю... Режиссера не помню, но говорят, неплохая картина.

Торопливо отбежав от Союза писателей, Писарчук перешел на ровный шаг.

В ожидании, он прошел мимо родной 29-й школы, десять лет — как жизнь в один день.

Но ожидания не оправдались, воспоминания, легко возникая, исчезали, не оставляя послевкусия. Он отчетливо помнил ощущения первого хмурого дня — неприветливый сентябрь, свежий холодный ветер, вихры, волнения, банты, новенькие ранцы, цветы, солнце, май, платья-мини, передники, завивки, слезы, костюмы — выпускной. Вероятно, было еще что-то важное, но думать об этом не хотелось. Всё, оставшись, прошло — и этого довольно...

От школы он свернул к Детскому парку. Обозначенная остовом бортов коробка, где Писарчук в пятом классе играл в хоккей; небольшая эстрада, поразившая своим уже вечным одиночеством; навсегда застывшие останки качелей; редкие брошенные березы — все как будто истаивало, съеживалось, уменьшалось размерами.

Писарчук прошел сквозь руины воспоминаний парка, перешел улицу Гоголя и

оказался напротив ресторана «Сказка». В его детстве «Сказка» была кафе-блинной. В этом кафе, после лыжных прогулок по застывшему Тоболу, они с матерью ели горячие блины и пили обжигающий чай. С мороза они возвращались домой и видели мертвящий экран телевизора, бубнившего свое, «батареи» пустых бутылок из-под пива и сизое дымное облако от папирос «Беломор» — свои выходные отец проводил вот так. Именно в «Сказке» много лет спустя поминали отца, так отчего-то захотела мать. Тогда Писарчук записал на салфетке: «Сказочные поминки». Попросил карандаш у напористо услужливого официанта и записал. Злила фальшивая вежливость официанта, холодный неприглядный март за окном, смерть отца. Потом стало страшно, стыдно, все больше раздражаясь уже на себя, он смял салфетку...

Друзья отца умерли, и мать пригласила своих подруг. За невеселым комплексным обедом неспешно и тихо вспоминали даже не отца, а свои жизни. Прислушиваясь и запоминая детали, Писарчук пил кофе, есть он не мог. Устраивая поминки в «Сказке», мать, видимо, безотчетно пыталась, хотя бы и после смерти, но соединить их.

Он хотел, но так и не вошел в «Сказку», вспоминать себя на фоне умирающего отца было невыносимо. Вместо этого Писарчук вызвал такси и поехал в художественный салон, на Пролетарскую улицу, взглянуть на мастерство художника Каблукова.

Крохотный Курган был просторен, широк, прямолинеен. Город был наполнен архаичным солнцем и замедленным осенним временем. Не суетились ни люди, ни автомобили, даже собаки выглядели солидными.

Наверное, мать права. Всех, кто когда-то любил друг друга, Он соединит, где-то в районе звезд Ориона. Или Веги. А иначе зачем всё?

...На выставке Каблукова было пустынно. В центре зала интимно шептались две одинаково одинокие «молодые дамы средних лет», вероятно, служащие галереи. Женщины были одеты в похожие тугие блузки и обтягивающие юбки, которые, открывая колени, пикантно подчеркивали монументальные скульптурные объемы. При виде Писарчука дамы напряженно умолкли. Рассматривая неброские портреты современников, неяркие пейзажи Зауралья и бесстыдно прикрытые ню, Писарчук чувствовал на своем лысеющем беззащитном затылке настороженные взгляды. По всей видимости, зритель здесь был фигурой вызывающей и неуместной, отчасти лишней, нарушающей спокойствие. Всю жизнь ощущая себя виноватым, Писарчук стал еще и нарушителем.

Мысленно протестуя, он вдруг представил себе этих дам раздетыми. «Картинка» была такая ослепительная, что украдкой обернувшись, он зажмурился. Это было почти неприлично — две обнаженные женщины в центре пустого зала, увешанного живописным хламом. Он понял — это будет самое яркое впечатление от экспозиции.

С облегчением покидая выставку типового Каблукова, Володя думал о том, что он не был у матери семь лет. Он и сам не мог понять — как так вышло?

Месяц назад матери исполнился «восемьдесят один годик», она стала жаловаться на ноги, неизменно добавляя при этом про давление, «которым я горжусь». Мать всю жизнь гордилась «двумя волшебными явлениями»: своим давлением и любимым сыночком.

— Но ходить стала с тросточкой...

И Володя наконец решился. Думая о том, что жизнь в России ничего не стоит, но жить — очень дорого, Писарчук обменял отложенные на «черный день» пять сотен долларов на рубли. Паталогически страшась перелетов, поехал поездом, хотя было неудобно — выходило две ночи и день.

За время путешествия Володе несколько раз удалось связаться с матерью по сотовому телефону. После этих кратких разговоров Писарчук болезненно цепенел на своей полке — у матери был вялый старческий голос.

— Ты до туалета добираешься? — спрашивал Володя, набравшись мужества.

— Добираюсь, — мать улыбалась в трубку, — путешествую по стенам квартиры и ручкам мебели. Спасибо тебе за звонок.

В конце каждого разговора мать всякий раз благодарила сына...

Я не могу забрать ее в Москву, думал Писарчук, кто позволит мне жить на съемной квартире с пожилой матерью? Необходима регистрация, а кто нам ее даст? И как она будет получать в Москве свою пенсию? А вызвать доктора? Придется объяснять врачам про то, что «сами мы не местные». А если умрет? Придется везти ее на кладбище по месту регистрации, в Курган, к отцу под бок...

Писарчук взвешивал все это совершенно спокойно.

С другой стороны, остаться в Кургане я не могу, что я буду там делать? Работать грузчиком? Дворником? Альберт Эйнштейн мечтал быть смотрителем маяка, но в Кургане не было моря, была небольшая, местами уже пересохшая речка — Тобол. Да и я, вспоминал Писарчук, не Альберт Эйнштейн.

Бросать мать было нельзя, хотя он, кажется, это уже сделал, но и жить безработным на ее пенсию было невозможно. А почему невозможно? Многие так живут...

Нет, я не смогу жить жизнью матери. Чем дольше он думал об этом, тем отчетливее понимал — выхода нет. Не в дом же престарелых ее сдавать... Нанимать кого-то? Пустая трата денег, никто за ней не будет ухаживать по-настоящему, да и лишних денег у него не было. Но каждый должен где-то быть, придется мне быть в поезде Москва—Курган...

На рассвете вторых суток, обремененный беспомощными мыслями и скарбом, Володя с трудом вылез из вагона и ступил на перрон родного Кургана. Он ощутил запах паровозной гари... Откуда? Почему? Позвонил матери, она не спала.

— Жду тебя. Ты пешком?

Мать жила рядом с вокзалом, но идти вдоль заплывшего тиной болота с тяжелыми сумками Володе не хотелось.

— На такси, мам. Я скоро.

В такси, задыхаясь от пыльного полынного ветра, рвавшегося в открытые окна, он подумал о том, что не помнит, на каком этаже живет мать. Четвертый? Пятый? Шестой?

— Пятый, — закричала мать в телефон. — Пятый этаж!

Выйдя из лифта, он увидел сгорбленную, опирающуюся на трость незнакомую старушку. Другой рукой мать держалась за косяк распахнутой настежь двери.

— Вот так я теперь и живу, — сказала мать с бодрым вызовом. — По стеночке. И с тросточкой. Здравствуй, сыночек.

— Здравствуй, мама...

«Стеночка», «тросточка», «сыночек» — в чем-то мать не изменилась.

Он не знал, с чего начать — однокомнатная квартира матери была запущена, во всем чувствовался застарелый, уже равнодушный беспорядок. Мать была в том возрасте, когда всё, к чему прикасались старческие неверные руки, ломалось или пачкалось.

Вручив растрогавшейся матери подарки, составив длинный список необходимого, он вызвал такси и поехал по магазинам. Настороженные продавщицы и кассирши, мгновенно почувствовав чужого, не знали, как именно надо отвечать на вежливые слова Писарчука: «Добрый день!» Володя недоумевал.

Приводя квартиру в порядок, он мыл пол и окна, пылесосил, затем готовил обед, созванивался с электриком и сантехником. День приезда, оказавшийся бесконечным, прошел в мелких важных хлопотах, и некогда было думать о том, как им с матерью жить.

К вечеру Писарчук падал от усталости, но понял: мать не так плоха, как он себе представлял, — и голос у нее был вовсе не такой старческий, и по квартире она ходила

бойко. Приободрившийся Володя, прислушиваясь к размеренным, почти музыкальным звукам вокзала, уснул в некотором спокойствии, думая о том, что близкий вокзал — отличный драматургический сюжет, надо будет использовать в рассказе.

В прошлую субботу, сорок лет назад, самостоятельным дошкольником, заскучав, он уходил из родного двора, брел в сторону вокзала, карабкался на железнодорожный мост и смотрел сверху на прибывающие и уходящие поезда. Его поражали нескончаемые, от горизонта до горизонта, рельсы — зримый образ бесконечности. Его волновали большие незнакомые города, мимо которых шли увиденные им красивые составы. Его притягивала будущая, непременно яркая, иная жизнь...

Мать пугали «вокзальные» прогулки сына.

— Думала, ты сбежишь из дома...

В положенное время так и случилось. Наверное, бесконечные рельсы и предопределили цыганскую судьбу Писарчука, но меняя четвертый город, он нигде так и не смог стать своим, без надежды мечтая о том, что Москва станет его окончательным приютом, местом, откуда он не захочет убежать...

Надо же, удивлялся Писарчук, в детстве я был храбрым, умным и взрослым, а сейчас — всё наоборот...

Он попробовал на вкус эти слова: «Приют Москва». Надо будет запомнить...

Ночью приключилась неприятность — у матери поднялось давление, которым она так гордилась. Володя запаниковал и вызвал «скорую».

— Ничего страшного, — успокаивала его мать, — просто переволновалась из-за твоего приезда...

Врач — высокая, яркая брюнетка, неспешно торопясь, измерила матери давление, ловко поставила укол. Было ей чуть за тридцать, и несмотря на неурочный час, выглядела она ухоженной, отдохнувшей, совершенно благополучной. Не счастливой, но спокойной. Писарчук позавидовал этой женщине, сам он уже не помнил спокойного дня. Вероятно, такие дни были, просто он уже не помнил этих ощущений...

— Через десять минут, — изящно выгнув руку, она взглянула на часы, — померяем еще раз.

Мать тут же стала хвалиться сыном — он и режиссер, и сценарист, и писатель.

— И живет в Москве!

Покрасневший вдруг Писарчук почувствовал, на него посмотрели иначе — диагностируя возможные перспективы. Поговорили о погоде в Кургане и в Москве. Ощутив себя идиотом, он зачем-то рассказал ей о московских ценах на продукты. Она, понимая его, равнодушно удивилась. Измерили давление еще раз.

— Как у космонавта... со стажем! Очень хорошо! И я вам кое-что выпишу...

После ухода врача мать приободрилась:

— Я же говорила, это — случайность. Давление у меня — высший класс и...

— И ты им гордишься!

— Как и тобой! И я заметила, — мать серьезно улыбнулась, — вы оба обратили друг на друга внимание.

Промолчав, он подумал: мое семейное положение — общегражданский муж...

Этим же днем, несмотря на протесты Писарчука, они съездили к отцу на кладбище с неожиданным названием «Зайково».

— Я себя прекрасно чувствую, — твердила мать, — и у меня мое рабочее давление! Едем!

Мать с трудом влезла в такси и с еще большим трудом, с помощью сына, выбралась из автомобиля. Помогая задыхающейся матери, Володя намертво задавливал в себе тихое отчаяние...

— Малой каракатицей хожу, — оправдывалась мать, — извини, сыночек.

Среди неуместных мусорных куч, разбросанных тут и там, с трудом отыскали родной крест, могилу отца плотно «заселили» новые вечные «жильцы».

— Это для жизни не все, а для смерти — все годные...

Могила заросла травой, и Писарчук вдруг запоздало сообразил: надо было взять с собой нож. Господи, корил себя Володя, очевидные житейские вещи недоступны моему пониманию.

Но к счастью, нож, огромный пиратский тесак, оказался в хозяйстве у пожилого молчаливого таксиста, и Писарчук срезал сорняки на могиле отца.

Было солнечно и ветрено, сочно благоухали срезанные травы. Березка, что посадила мать у могилы отца, охотно выгибалась под порывами ветра, она прижилась, окрепла, заметно подросла. Недалеко тихо разговаривали посетители кладбища. Таксист деликатно гремел чем-то в багажнике — жизнь была наполнена подробностями до краев, Писарчук почти не ощущал пустоты.

Отца хоронили в начале марта, земля была промерзшая, тяжелая. Тут и там гробовщики жгли автомобильные покрышки, готовя землю для свежих могил. Писарчук запомнил отвратительный горячий запах горящей резины в еще зимнем холоде и жуткое сочетание слов: «Свежие могилы».

— ...рядом с отцом. Это мое желание, знай.

— Да, мам, конечно. Уже десять лет знаю — рядом с папой...

— Тебе что-то платят за твои сценарии, сыночек?

— Иногда платят. Иначе на что бы я жил в Москве?

— Как ты живешь в этой Москве? Я совершенно не понимаю...

И я, подумал в ответ Писарчук, и я не понимаю...

Вечером, лежа в постели и прислушиваясь к вокзальным объявлениям о жизни поездов, он думал о том, как исполняются и не исполняются желания. Хотел, чтобы вышли фильмы, и они вышли, но не так, как задумывались. Видимо, задумывались не фильмы, а «слава и деньги»? Хотел жить в Москве, и живу, но совсем не так, как мечтал. Видимо, мечтал не о Москве, а о «богемном благополучии»? Жаждал полюбить красивую высокую брюнетку и полюбил, но все вышло болезненно иначе. Видимо, имел в виду не любовь, а «собственность и подчинение»? Или просто мне была нужна другая брюнетка?

Вздрогнул от звука, к которому никак не мог привыкнуть, — мать опустила в керамический стакан вставные челюсти.

Формальную сторону желания Он всегда выполняет, что до содержания — то тут надо мечтать точно. А это немыслимо. Невозможно. И все делается так, чтобы было нескучно жить. Потом подумалось: «Войти в “Сказку”» — отличное название для рассказа...

...Перед отъездом Писарчук сходил в театр. Мать отказалась. Две недели прошли неприметно, этой ночью он уезжал в Москву, и мать заранее привыкала к расставанию.

Энергично жестикулируя, натыкаясь на стулья, актеры с шумом передвигались по сцене. Отчетливо выкрикивая реплики, они почти не перебивали друг друга. Сидя в седьмом ряду, Писарчук подумал о том, что, вероятно, все было слышно даже в фойе. И только «Дальше — тишина». Забывая текст, актеры, запинаясь, имитировали нервность, давая себе время вспомнить слова. Во всем, включая и эту нервность, ощущалось избыточное старание. Сочувствуя, Володя понял: актеры вынуждены были противостоять упрямому безразличию малонаселенного зала. Манера игры была настолько оригинальной, что в какой-то момент, увлекшись, Писарчук забыл, что именно дают.

Посещавший в Москве все премьеры, Володя вышел из театра озадаченным.

Прощаясь с Курганом, решил неспешно прогуляться.

Пересек площадь Ленина. По улице Гоголя дошел до гостиницы «Москва», свернул на Красина. Там было рукой подать до вокзала. Перешел железнодорожный

мост, гудящий от медленно проходившего бесконечного состава. Опять вспомнились его «поезда детства». Вдоль вечного болота вышел к дому матери...

...Сумки он собрал заранее. Ночью, сидя в кухне, сделал наброски рассказа. Планы сюжетов он всегда записывал карандашом в простую школьную тетрадь. Мать делала вид, что спит, но он слышал, как она обессиленно вздыхала...

Сварил кофе. Перечитал написанное. И захотелось жить другой жизнью, захотелось сейчас же, сию минуту. Хотелось сидеть на веранде их с матерью дачи, пить кофе, легко записывать любопытные истории, слушать скрип своих сосен и далекое эхо электричек. И чтобы чуть дальше было озеро с лодками, готовыми к зиме, без весел. И чтобы по участку дачи бегала, гулко гавкая, огромная немецкая овчарка Вега, настойчиво приглашая его не к прогулке, а к целому путешествию. Закрывать глаза, ощущать кожей свежесть осеннего утра и остро понимать прелесть обычной нормальной жизни...

Обмирая, как в дурном сне, Писарчук вдруг осознал: его рассказы — это и есть его реальность, и другой у него не будет. Мысль была как скальпель неопытного хирурга — простая, холодная и безжалостная, не оставляющая надежды.

Очнувшись, он посмотрел на часы, надо было вызывать такси, докучливо продолжая прежнее свое неизменное существование. Отчего-то он вспомнил кладбище, рядом с отцом места достаточно, хватит и мне, и матери. О смерти подумал с некоторым облегчением — слишком велик был контраст веранды, сосен, эха и неизбежного отъезда.

Он позвонил в службу такси «Миг-Курган».

Впереди был поезд, «Приют Москва», съемная квартира, нервный поиск работы для оплаты этой чужой квартиры и ежедневные звонки матери. Одинокая мать, одинокий я. Отчего это так? Зачем? Как можно прожить пустую, ненужную самому себе жизнь? Какое же это обременительное занятие — быть никем.

Мать, запахнув подаренный халат, стояла в дверях, опираясь на трость, и смотрела на сына. Все показалось бессмысленным...

— Мам, я вернусь. Скоро приеду опять, не плачь...

Вот черт, подумал Писарчук, для неудачника я совсем не талантливый. С другой стороны, даже крохотный успех для самого последнего меня — это огромное счастье.

— Все хорошо, сыночек.

Как будто бросая ребенка, ничего не видя, он вышел за дверь. Всем своим существом почувствовал — мать перекрестила его. Он не знал, когда снова навестит мать.

— Сыночек, все хорошо.

В такси он вспомнил врача — высокую яркую брюнетку. Водитель отвлек его каким-то пустяковым разговором про американцев, которые «закрыли, суки, все производства в Зауралье». Володя вяло соглашался, непатриотично думая о своем — своих сосен у Писарчука не было. Не было ни сосен, ни веранды, ни дачи, ему нечего было предложить яркой высокой брюнетке.

Но было это: «Войти в "Сказку"» — отличное названия для нового рассказа.

— Все хорошо, сыночек, все хорошо!

Москва — Курган, ресторан «Сказка» — Москва,
теплый сентябрь 2016 г.

Адель Хаиров

Страстный поклонник

Рассказ

В художке, куда его привел отец, любили рисовать гипс. Однорукий преподаватель-фронтовик ставил отрубленную кисть на зеленое сукно и уходил к себе за шторку. Он старался не греметь, но настольная лампа предательски била сбоку, проецируя профиль на бледные подснежники шторы. Цветочки — мятые от жирных пальцев.

Вот рука подносит к носу стакан. Держит, как кипяток. Стакан потихоньку светлеет. Темное содержимое перетекает в голову. Учитель выбирается наружу (как-то шторка задралась, обнажив нехитрый натюрморт из того, чем завтракают в обед вдовцы), и стоя за спинами учеников, дышит на них забродившим яблоком. Он, как трубач, надувает щеки — пытается остудить. Нос уже не краснеет, он был ошпарен на войне.

Но кисть Давида или античная стопа выставлялись редко, в основном конусы, шары и розетки. Карандаш тупил. Рустику хотелось облить эти неживые гипсы гуашевой краской, чтобы хоть как-то развеселить действительность. Лист ватмана тоже протестовал, сплевывал кнопки и скручивался.

За окном стылый гипсовый день, но тот хоть раскрашивался разноцветными мазками автомобилей и пятнами шныряющих шубеек. Если обмакнуть в баночку с гуашью беличью кисточку, то можно прямо по стеклу пририсовывать что-нибудь свое — например, гарцующего среди машин на рысаке гусара в красном ментике. Султан на кивере от мороза засахарился. Эполеты, как пышные пирожные, накрыты снежной салфеткой. В лайковой перчатке — надкусанная антоновка. Зубы крепкие, как у бобра. Конь ведет глазом, ожидая огрызка. Поблизости дамочка скользит. Муфточка отпрыгнула зайцем. Гусар кончиком шашки осторожно поддевает зайчика и протягивает барышне.

Пока Рустик мечтал — январь крепчал. И окно на глазах покрывалось седыми усищами, из-под которых струился трубочный дым и завивался в бороду.

Фронтовик разговаривал со своей тенью, та тучей ползала по подснежникам. Спорила с ним. Он пил и рисовал одной рукой — левой. Правая осталась в блиндаже под Харьковом. Подробности боя он иногда рассказывал.

Класс сопел и покашливал. По городу полз грипп. Мелким штрихом ложилась на ватман паутина, стерка старательно поедала неверные линии. И вдруг прилежная девочка Лиля уселась попкой на кнопки. Взвизгнула и толкнула столик с рукой Давида. Белые пальцы хрустнули. Фронтовик поперхнулся за шторкой. Пухлая ладошка Лили сдвинула тонкошеего Эдика вместе со стулом. Он сидел как раз позади нее. Подснежники заколыхались. После этого случая уже рисовали только конусы, шары и розетки...

Адель Ревович Хаиров родился в Казани в 1963 году. Закончил филфак КГУ. Работал в казанских газетах и журналах. Печатался в «Казанском альманахе», журналах «День и Ночь», Литературa, «Новая Юность», «Октябрь» и др. Лауреат премии «Русский Гулливер — 2015» в номинации «Проза поэта». Живет в Казани. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

Рустику было десять, когда он «гипсовал» в художке свой робкий талант, имеющийся почти у каждого мальчика из интеллигентной семьи. Как-то его оставили после уроков подметать класс. Не удержался и заглянул за шторку. Комната размером с купе. Хромая тахта с грязным лоскутным одеялом, которое можно было видеть на ранних картинах учителя, развешанных в коридоре. То оно соскальзывает с гладких боков рыжей бабы, то согревает кости древнерусской старухи. Одеяло живое, а люди — лубочные.

Рустик был в этой комнате всего секунд десять, но все успел разглядеть. На столике стоял гипсовый треугольник с неприличным словом. Рядом валялись слесарный нож и полоска мелкой шкурки. На стене фотоснимок из «Огонька» — русский Ванюша в телогрейке дает прикурить пленным эсэсовцам, те — в своих черных мундирах стоят, как побитые черти. Под тахтой ботинки, как щенки с высунутыми языками. Под столиком — бутылочный ксилофон. Среди горлышек кружит пьяная оса. Тяжело взлетает, таранит лбом столешницу и сваливается в штопор. Оса жужжит матом, поправляет скособоченные крылья и опять заводит моторчик.

Фанерный солдатик забит книгами. Еще бы одну впихнуть, и тогда его стошнит. Какой-то красный альбомчик высунул ухо. Рустик осторожно потянул и вытащил Сальвадора Дали. Чешское издание, листанное-перелистанное. Качество безупречное. Он провел пальцем по светящемуся плечу натурщицы, задумчиво поцеловал грудь с запахом горькой типографской краски. Грудь как будто была покрыта тончайшей пленкой какао, и пристала к губе. Альбом ошеломил. Он его стибрил.

Так Гала оказалась у Рустика в хрущевке. На подушке, под подушкой. Вся распахнутая — у него на лице, на груди, на животе — когда он спал и видел испанские сны. Не какая-то простонародная «Галя», а возвышенная «Гал*а*» с ударением на последнем слоге. Он ее изучал в подробностях и потихоньку влюблялся. Разговаривал, поглаживал. Гала начинала шуршать рядом. Чесала ему загривок, запускала любопытные пальцы в штаны. Она стала первой его женщиной.

* * *

А когда Рустик вдруг узнал из одной краеведческой книжки, что Гала родилась на соседней улице, то сначала умер минут на пять, потом сунул тяжелый портфель с учебниками в тайник под лестницей и побежал туда — как будто на свидание. Комлева — Лядской сад — Карла Маркса. В одноэтажном облезлом доме по указанному адресу была коммуналка. Пока кто-то выходил, Рустик прошмыгнул в щель. Притаился за сундуком в кромешной тьме. Сверху капало на кепочку. Вдруг обрушился водопад в уборной. Дверь распахнулась и по крашеным паркетинам размоталась дорожка солнечного света, по ней протопала старушка, стреляя резинкой рейтуз.

Затем в уборной закрылась женщина в белом халатике и железных бигуди. Рустик тут же юркнул в ее приоткрытую комнату с железной цифрой «8». И угадал! Краевед писал, что спальня Галы выходила во дворик, и ей одной во всем доме была видна лепная сова на торце соседнего особняка. Рустик оказался в комнате с окном, распахнутым прямо в куст забродившей от жары сирени. Сова по-прежнему заглядывала в спальню.

Глаза Рустика забегали. Вот, ползет по сизой скатерке гусеница коралловых бус. Десертная этажерка с миндальным печеньем и конфетами сама придвигается к нему. Темнеет чеканка с обнаженной вакханкой, покрытой сыпью от тонкого зубила. Шумит включенный телек с балериной, которая пытается выпрыгнуть из тесного экрана на подоконник, и далее — в сад! Глаза споткнулись о фотографию строгого дяди с аккуратной бородкой, который допытывался: «Тебе чего, мальчик?» Рустик схватил первое, что попалось под руку, и бежать. Во дворе майский горячий ветер приподнял его и перенес в Лядской сад — на лавочку. Губы были в крошках печенья, а рука сжимала черный бюстгальтер с ватными мячиками в чашах. Он прятал его от

родителей за батареей отопления в целлофановом пакете. Украдкой доставал, нюхал, мял в пальцах. Рустик не сомневался, что эта вещь из гардероба самой Галы!

* * *

В семнадцать лет он уже знал все картины Дали: каждый уголок, мазок, штришок. Вся его комната была завешана копиями. Юнцом даже пытался отрастить такие же тараканьи усы, подбривал пушок, но дальше щетки дело не пошло. Успешно закончил художественное училище, много выставлялся, а на свое тридцатилетие даже устроил персональную выставку, что тогда не каждому дозволялось. Правда, после нее один искусствовед написал в местном журнальчике: «Увы, молодого своеобразного художника "съел" Сальвадор Дали». Рустем не обиделся. Он сам залез в рот к сюрреалисту!

В конце 80-х, как только открыли границы, Рустем снял все накопления со сберкнижки и купил путевку в Каталонию, которой грезил еще с художки. Признаться, он давно уже обитал в старом доме с облезающей штукатуркой напротив замка Галы в Пуболе. Запивал паэлью белым вином с горчинкой. Бокалы были округлы и прохладны, как девичьи груди. Качал их на весу. Из заплечной сумки торчали бретельки лифчика. Гала скучала в башне, каждый день спускалась в кафе. Садилась за соседний столик, накрывая Рустема тенью от соломенной шляпы, ее черный веер обмахивал и его щеку тоже. Как-то задела локтем, извинилась по-испански: — Пердона. Силуэт ее головы прилег к нему на стол, и тогда он положил ладонь сверху. Поймал!

Вечером увидел ее на балконе. Ветерок наполнил снизу балахон юбки, сделав Галу беременной. Она сплюнула черешневую косточку, и та взбила черный фонтанчик в его чашке. Точное попадание!

Находясь в Казани, он гулял по Каталонии. Поэтому, когда оказался там, то особо ничему не удивлялся. Все было знакомо по снимкам и иллюстрациям.

* * *

Итак, он приехал в Пуболь часов в семь. Таксист укатил, и местность развернулась перед ним, как холст. Это был тот утренний час, когда испанские города превращаются в картины. Присев на рыжую солому, наслаждался пейзажем. Выцветший городок прилепился к холму. На краю виднелся низкорослый замок времен Дон Кихота с бурыми подтеками на стене и трещиной, расколовшей фасад. На башню карабкалось кривоногое деревце.

Он спустился в долину. Его походку можно было бы назвать благоговейной.

Огороды, напоенные с утра, изумрудно светились. «Бычьи сердца» свисали гроздьями, как внутренности в мясной лавке. Огурцы выползали на дорогу. Фасоль закручивала сальвадоровские усы. Черный козел чесал лоб о ржавый мотороллер с закрепленным на багажнике ящиком проросшей картошки. Картофелины выпрыгивали и бежали вниз по мостовой на белых паучьих лапках.

Вспомнил картины Дали — вот кошмары шагают на ходулях, деформируются, стекают слизью со стола в ясный солнечный день. Их не пугают прямые лучи, они не прячутся в склепы. Пожалуй, каталонец первый, кто изобразил жуть при ярком освещении.

Касса откроется в десять. Он поднялся по улочке до самого конца и увидел скошенное поле. Присел на камень и, макая кисточку прямо в лужицу, набросал акварельный эскиз. К этому времени фляжка с вином опустела.

Солнце стало припекать, и Рустем спрятался в тень двухэтажного дома. Заметил сбоку вход в продуктовую лавку. Дверь была заперта, на бумажке что-то написано по-испански. Рядом стояла тележка с хлебом и вином. Взял две бутылки, хлебец с тмином, оставил пятьсот песет и вернулся в поле. Перекусил на лавке под навесом. Там и уснул.

* * *

Тяжелое солнце оседало. Земля вибрировала от трещоток цикад. Изумрудная стрекоза была сплющена духотой — висела, как распятье. Футболка прилипла к телу. Рустем направился к замку, но по дороге взял еще вина из той же тележки.

Касса уже была закрыта. Он обогнул замок и увидел подстриженный сад с каменными слонами, которые стояли на хилых ножках кузнечиков. У розовых кустов шевелилась худая задница.

— Э-э, сеньорита, — крикнул он, пытаясь по ягодицам определить возраст. — Я хочу си бастион. Айм раша, ин Кезен. Волга риве...

Женщина разогнулась, прищурилась. Пощелкала вхолостую садовыми ножницами, сдунула прядь с глаз и сказала по-русски: — Залезай.

Он полез через изгородь, расплескивая красное вино на футболку. «Надо же, по-нашенски говорит!» Помял маргаритки, но она смолчала. Дорожку обрызгивал искусственный дождик. Пробежал. Рассохшаяся дверь в замок, как борт галеры, заскрипела уключинами.

Сумерки нехотя отодвинулись. Рустем шагнул внутрь, щель света слиплась, и он ослеп. Выставив руку, продвинулся вперед, прикоснулся к холодной шершавой губе, чуть не залез пальцем в ноздрю. Щелкнул зажигалкой и увидел морду белой лошади со стеклянным глазом. Запахло паленой щетиной.

— Подарок генерала Франко, — сказала садовница, запаляя свечу.

Рустем оглянулся — женщина оказалась старухой с птичьим носом. Она, прильнув к черному зеркалу, накрашивала треснутый рот помадой. Потом взяла с полки хлыст и неожиданно точным ударом зашибла зеленую муху над его ухом. И в этот момент показалась ему девушкой, одетой в костюм жокея. Стройное тельце, прыткие движения. Запахло свежим огурцом. «Как она похожа на Галу!» — вдруг осознал он.

В зале вместо рояля мерцал «Кадиллак».

— Когда я умерла, меня усадили на заднее сиденье и повезли в Мадрид на выставку Сальвадора. И там под ручки водили по залам...

Рустем покосился на старуху. Сел за руль, покрутил. Задел иконку Казанской Божьей матери, подвешенную к зеркальцу. Золотой блик испуганно заметался по салону.

* * *

Старуха кулачком подтолкнула Рустема в спальню. «Айда, что-то покажу». Окна были закрыты ставнями, фитилек толстой свечи тонул в воске, освещая полруки со стеклянным браслетом. Зеленые стекляшки стучали крыльями жуков. Сухие цветы в комнатах шуршали и высыпали из коробочек семена. Рустем ощущал, как много вокруг вещей. Они нависали, давили... Привыкнув к сумеркам, он начал их различать. Голова беззубого льва лыбилась над золотым троном, павлин распустил рыбьи косточки осыпавшегося хвоста, два десятка гипсовых Вагнеров выстроились вдоль стены. Повсюду — на мебели, шторах и гобеленах — сияла буква *G*. Пахло пыльным медом.

Рустем оступился и уселся на голубую кровать Галы. Она была бездонна. Она засасывала. Падая внутрь, высвобождался из одежд. Даже носки соскочили, как шкурки с сосисок. Кровать походила на карету Казановы. В тряском коробе невозможно было удержаться на ногах. Он ползал по стенам и потолку, как насекомое. Нащупал чьи-то гладкие молодые ноги. Добрался по хихикающим ногам до лица, и вдруг вытащил из слюней челюсть! Рустем беззвучно орал, как это бывает во сне.

Целый час карета носилась по ухабам. Потом притормозила и выплюнула любовников на колючий коврик. Рустем залез под стул.

— Теперь смотри, как надо делать шедевры! — потная старуха обтерлась уголком покрывала, выдавила четыре тюбика разной краски себе на седой лобок и принялась елозить по ватману, брошенному на пол. На листе как будто бы корчился осьминог.

Он сбежал от нее в окно. Но хлыстом она его напоследок все-таки достала. Метка горела. Нашел хилый фонтанчик и долго наполнялся.

* * *

...Казань менялась торопливо, безалаберно. За две недели, пока Рустема не было в городе, на старых улицах успели пооткрываться бутики, салоны, отели и кафе — все

с нэповским душком. Безвкусные вывески налезали друг на друга. Гремел шансон. Пьяные девушки в ботфортах приставали к мужчинам. Во дворах, на глазах приподъездных старушек, в иномарках, как в передвижных мотелях, парочки пыхтели и повизгивали. Отстреливались из окошек пробками и чинариками. Надували презервативы дымом и запускали в небо.

Рустем, наблюдая, как предприимчивые люди, позабыв про свои дипломы и профессии, резво бросились зашибать мани, тоже засуетился. Он продал бабушкину сталинку и открыл в отремонтированных кельях бывшего монастыря кафе. Расписал сюрреалистическими сюжетами стены и аркадный потолок. Монастырь стал похож на замок в Пуболе.

На первое время пригласил повара — настоящего испанца по имени Гуго — и сам прислуживал ему. Смотрел, запоминал. Втянулся, подсчитал затраты и уволил Гуго. Повесил в зале какой-то левый диплом и водрузил на свою голову сияющий колпак.

Три года о живописи даже не вспоминал — кисти в кувшинчике превратились в гербарий. На перламутровых визитках, которые он доставал из гробика визитницы, было написано: «Рустем Ютазинский, директор кафе "Гала"».

Лишь однажды, увидев из окна своего нефритового мерса учащихся художки на пленэре, вышел и долго стоял за их спинами, переминаясь, ловя ноздрями запах масла. Влажные мазки лоснились на солнце. Над ребятами шелестели стрекозы.

Потом вернулся домой и полез на антресоли, где лежал старенький мольберт. Не нашел. Только сплющенный тюбик лимонной краски. Странно. Ночью приснился сон, как он расставляет натюрморт из фруктов, кувшина вина и рыбы. Достает краски и начинает выдавливать из тюбиков на палитру: майонез, кетчуп, горчицу...

* * *

В семь утра погрустневший Рустем был уже в кафе. Покурил, походил. Потом надел колпак и подошел к плите. Загремел кастрюльками, сковородками и вдруг ему стало весело. Руки по локоть в муке, нос тоже. Процесс увлек. Рустем творил!

Одновременно готовил сразу несколько блюд. Натирал ананас с твердым сыром, затем выкладывал яркую кашицу на сочный бифштекс, кролика шпиговал морковкой, бананы жарил с судаком... — ни в какие поваренные книги не заглядывал, все придумывал сходу. Импровизировал.

Он насвистывал себе под нос, напевал, как вдруг замер. Оглянулся. В тишине хлопала на пару крышка. К двери кухни была пришпилена репродукция: «Гала с двумя ребрышками ягненка на плече, 1932», и дверь на сквозняке ныла петлями, как недовольная старуха.

— Какие сухие ребрышки у него получились, — ухмыльнулся Рустем. — Мои будут куда сочнее!

Он вытащил из холодильной камеры полтуши ягненка и оставил на столе размораживаться. В дверь кухни просунулась голова девушки.

— Можно?

— Я занят, а что хотели?

— Я — Галя. Вы сказали, чтобы я подошла к восьми...

Официанты в зале двигали стулья. Из проигрывателя пел Хулио Иглесиас. Практикантка сидела напротив него, поддерживая ладонями локотки. Волнистые волосы, модная прическа в стиле 40-х. Глаза — черные бусины, как у вороны. Он открыто разглядывал ее, как натурщицу, и поражался: «Если расстегнуть рубашечку и оголить левую грудь, то будет как на том портрете...»

И та поездка в Каталонию показалась Рустему неправдоподобной. Это был его больной сон — липкий и горячий. А молодая Гала и настоящий Пуболь оставались в Казани и ждали его возвращения. Он даже привстал и смял тортик колпака в лепешку. *Hola!* [*]

[*] Привет — *исп.*

Теймураз Твалтвадзе

Лермонтов

Рассказ

Лесистые холмы и извилистые голубые овраги, схваченные по осыпающимся склонам корнями еще не павших деревьев, и низину, частью поросшую хвоей, осинами, редкими дубами да еще чем-то, а частью — к реке и за ней, вправо от деревни — настоящую равнину, долгую ночь тревожило ветрами, густо заносило мелкими снежинками, заваливало проходы, лазы, валежник, мшистые пни, запахи, палые листья, бесчисленные следы — все, что напоминало о неудачной охоте. Когда снегопад перестал и потоки воздуха усилились, небо унесла темная вечность. В этот час хотелось спать в логове, в родном тепле и мечтать о еде, согревающей желудок. Но не было ни еды, ни тепла... — только ветр*а* и скрип тяжелых сосен, будто с них сорвало заснеженные паруса, и лесной мир безвольно перекатывался с холма на холм, как с волны на волну.

Засветло развеянное небо вернулось: оно наползало на лес, скользило полным ветряным животом по верхушкам деревьев — те гнулись, раскачивались, но утреннего света к земле еще не пускали. Лишь спустя много времени после моего пробуждения округа забелела на солнце голодной свежестью.

К полудню лес уже искрился, и ветвь огромной разлапистой темно-синей ели, заваленная снегом, покрывала меня целиком и покалывала уши. Я лежал под ней, на холмистом возвышении, словно погруженный в снежное облако, утыканное деревьями, и смотрел с него вниз на опушку, где наконец должны были появиться олени — один из них. Я ждал оленьего запаха, но когда ветер дул мне в ноздри, я боялся, что мой спасительный паривший невысоко островок отнесет прочь без надежды на добычу, — такую неуверенность внушили мне последние дни отчаянного недоедания.

Ветер теперь слабо проникал в чащу, находя воздушные пути по запаху безмолвия. Он пробирался в свободное пространство между стволами совсем немного: задыхался, наткнувшись на препятствие, и, как прирученный, опускался на снег. Затем снова взлетал, будто его сучковато-хвойный хозяин заснул и опасность миновала, проскакивал небольшое расстояние и поднимался с низины на холм, еле касаясь на синих и голубых деревьях светлых снежинок, отчего те едва вспархивали и причудливо пахли...

У всего на свете есть запах: у тишины, у снега... последним хотелось наесться — набить рот твердым, хотя и тающим холодом.

Такой был тогда голод! Такой, что от изнеможения я позорно обгладывал кору деревьев. Но я подбирался к нему — вкусному рогатому телу: небольшое стадо в поисках пищи появилось в нашем лесу несколько дней назад. Олени осторожничали — близко

Твалтвадзе Теймураз Александрович родился в 1963 году в Сухуми. Автор книги «Стихи из белой кожи. Проза» («Аспект-пресс», 2016). В литературные объединения и писательские союзы не входит, работает начальником отдела российской и зарубежной корсети ДИП Первого канала. Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

не подойти, а этот взял за привычку являться сюда. Я увидел его издалека и не поверил глазам: он стоял у опушки достаточно долго, чтобы запечатлеться в моей памяти. Да, он покрасовался за деревьями, разглядывая зимнюю природу, словно что-то в ней высматривая, и скоро удалился. На следующий день олень появился вновь: тогда я и залег на холме с противоположной стороны, поближе, на расстоянии прямой атаки, и пролежал сутки почти без движения, ожидая его очередного прихода. Сил во мне оставалось разве на «вдох-выдох». Очень хотелось есть.

Я лежал, с веселой грустью поглядывая из-под ели. Чудная картина...Особенно вон те высокие сосны, прищурившиеся на солнце, с застывшими по стволам слезами...

А на закате сосны замерзали, застывая багровыми лучами, как сталактиты. Словно не успевшие покинуть землю солнечные лучи.

Я думал еще, что и сам едва успел покинуть землю, взобравшись на «облачный остров», как навалилось с вечера ненастье, задышало одиночеством...

Помню, добравшись до широкой ели, я свалился под ней, и налетел снегопад, да мне было уже все равно: не логово — а надежно, и кругом меня по белому склону холма сторожила еловая стая. Мохнатые братья касались лапами снега и не шевелились. Такие волки-ели, и они тоже ждали прихода оленей! Я вспомнил сытые времена, когда ели казались мне большими синими ежиками.

Когда же!..

Со стороны опушки послышалось едва уловимое — вроде шороха, — и я заметил его раньше, чем учуял его невозможный запах — ветерок дохнул в мою сторону. Олень появился и встал за деревьями, втягивая ноздрями холодный воздух, — выдыхая его, согретый горячей кровью, чистым живым паром.

Он пришел один, и голод кипел во мне. Я через силу сдержался, измерил расстояние между нами и обдумал возможное поведение жертвы. Бежать он мог только обратно в чащу — больше некуда, — там наверняка зацепился бы рогами за ветви... Потому я и решил сохранить силы и атаковать, не прибегая к устрашению: к рыку, шерсти дыбом и прочая.

Обнажив пасть — свое клыкастое оружие, — я вырвался, как черт, из укромного места и тут же провалился передними лапами в какую-то зловредную ямку. Глупо ткнулся носом в снег и прокатился по холму, — лапы под тяжестью скользящего вниз тела согнуло под животом. Все. Уйдет.

Олень обернулся.

Я не увидел в нем лихорадочной мысли о бегстве, зато в его глазах словно играла ирония, может быть, из-за снега, облепившего меня со всех сторон, и глубокого следа, оставленного мной при скольжении.

Но я помнил, что передо мной олень, животное, не способное к чувствам. Я резко поднялся, крепко оттолкнулся от земли всеми четырьмя лапами (не подведи!) и стремительно бросился вперед, к опушке, взмывая над белым неровным ковром. Пересекая опушку, я мчался и слышал, как за моей спиной еловая ветвь, которую я задел, выныривая из-под нее, медленно покачивается, освободившись от зимнего груза. Я даже услышал носом, как под ветвью образовалась белая горка. Расстояние бешено сокращалось. Он не уходит! Прыжок. Я будто завис в воздухе, и время остановилось. От резкого звука деревья просыпали снег. Снег взметнулся, и на миг передо мной и оленем взбилась завеса — я получил жестокий удар рогами по оскаленной пасти.

«Не беда. Теперь он помчится прочь, и я его настигну», — спасительно подумал я, суматошно выбираясь наружу из сугроба, куда меня отбросило. Олень безучастно

побрел в чащу. Не метнулся куда глаза глядят, а нагло побрел, будто я не волк, а овца. В иное время я бы оценил случившееся, продумал следующее действие, но я погнался за ним, пробежал несколько метров, отделявшие меня от законной еды, при каждом прыжке глотая попадавшие в пасть белые комья рыхлого снега. Прыжок! И снова тяжелый удар — на сей раз в грудь. Я провалился куда-то глубоко, как убитый. Парализованный острой болью, я лежал не шелохнувшись.

Проклятый мечтатель

Ведь он обманул меня, спровоцировал — последний раз вообще показал спину, встал между стволами деревьев, развернулся и ударил наповал — в голове гудело.

Тяжело дыша, я наконец поднялся, слабо отряхнулся и замер в нерешительности. С ближней к нему ели упала подломленная ветка. И тогда он произнес это. Он посмотрел вниз, на снег, украшенный пушистой колючей синью, и произнес:

Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

Представляете, что и как он сказал! Непонятно по содержанию, но так мог говорить один я, не по-оленьи, не по-волчьи, — и я услышал сказанное отчетливо. Поразительно. Ведь мои сородичи, как и другие жители леса, своим невежеством вынудили меня поверить, что моя особая речь — это нечто болезненное внутри тела, вроде эха. Я жил с эхом внутри себя! Я убедил себя во лжи, ведь кто меня услышит и кого услышу я? И вот оно прозвучало.

Потрясенный, я стоял с полураскрытой пастью, и от гулкого биения сердца приминало снег под брюшным подшерстком.

— И пальма та жива ль поныне? — проговорил олень с расстановкой. — Как тебе это, тупое животное? Хочешь еще по зубам? — Олень усмехнулся, переводя взгляд с ветки на меня. — Нападай, сейчас я тебя прикончу.

— Ты кто?! — только и спросил я, почувствовав, что во рту у меня пересыхает. — Ты кто?! Я не атакую, успокойся, — сказал я, хотя успокоительные средства требовались именно мне. Я вновь отряхнулся: снежная пыль полетела во все стороны, как в полусне, и осела. Я опустился на снег, лег. — Я не нападаю.

Олень коснулся ртом снега, лизнул и сильно выдохнул. Легкий снежок взвился, припорошив его лицо.

— Повтори, — сказал он после маленькой паузы.

— Ты кто? — вновь спросил я. — Что ты сейчас сказал? Ты понимаешь смысл слов, которые произнес?

Он выпрямился, покачал головой и сделал шаг ко мне. Словно большое облако прикрыло солнце, и приятная тень легла на меня.

— Представь себе, понимаю. — У него было отменное самообладание, а тон — высокомерно-насмешливый. Олень внимательно заглянул мне в глаза, как в глаза душевнобольного. — А ты — понимаешь? — спросил он в ответ.

— Что?

— Всё.

— Разумеется.

— Нет, совсем не разумеется! — Тенистое облако откатило в сторону, и олень зажмурился, высоко держа рогатую голову.

— Так кто же ты?!

— Лермонтов, — бросил он с вызовом и стукнул копытом. — Ну?!

— Как это Лермонтов?

— Лермонтов.

— В каком смысле?

— В прямом. А ты кто нынче?!

— Как это?

— Ну, кто ты? — Показная надменность не покидала его. — Я вижу, что ты волк. Как тебя сейчас зовут?

— Меня? Иги. А почему сейчас?.. — Я вконец растерялся и понял, что останусь голодным.

Такая это была встреча, та встреча, когда мы с ним познакомились. Такой это был день, таким был он, назвавшийся странным именем Лермонтов, — именем необыкновенным, столь огромным для небольшого холмистого пространства, как если бы Господь волков решил разместить здесь одну из своих вселенных, масштабом много больше Млечного Пути! Но он так назвался, и так его звали на самом деле — чудно*о* и практически непроизносимо для волка, но я научился выговаривать его имя.

Сверху из облаков...

— Пойдем куда-нибудь, — свойски предложил мне Лермонтов, и я безропотно подчинился, хотя был уверен, что я живу «нигде», чтобы идти «куда-нибудь». Мы вошли в лес и побрели среди высоких вечносиних заснеженных деревьев, над кронами которых вспыхивали небесные зеленые искры.

Довольно долго мы шли, и я трепетал — не знал, с чего начать разговор. Я молчал и неровно дышал, забыв о том, кто я и для чего сутки пролежал в укрытии, а он шел спокойно, разглядывая то меня, то деревья так, будто между нами нет существенной разницы! Что сказать ему?.. Иги, это все правда?..

— Лермонтов, а что ты сказал тогда?.. — Я неуверенно оборвал молчание.

Лермонтов остановился и посмотрел на меня сверху вниз. Над его головой, покрытой широкими рогами, зеленело небо, в котором теперь плыли чистые нетленные облака, и мне показалось, что Лермонтов смотрит на меня сверху из облаков.

— Когда ветка упала и ты стал говорить, — уточнил я, словно тому, «когда ветка упала», предшествовала дружеская игра. Я взглянул на его высокое чело, в котором отразилась вся красота мира.

— Ты о стихах? Стихи слышал?

— Это называется стихи?

Лермонтов кашлянул.

— Вот ведь... Я не рассчитывал на славу, но... — он замялся, — меня ты не знаешь. Верно?

— Знаю, — ответил я, и Лермонтов, как показалось мне, побледнел. Или мне показалось, что он затаил дыхание? — Знаю, — повторил я, оставляя ненужные сомнения, — ты — как я, хотя мы внешне разные.

Лермонтов скривил рот.

— Ясно. Не знаешь... — с непонятным облегчением буркнул он. — Неудивительно. А ты слышал... в смысле... где ты мог услышать!.. — он поправился. — Ты знаешь что-нибудь о... Ну да... откуда... — он вновь сделал замечание самому себе.

— Что я должен знать?

— Слишком много новых слов. — Лермонтов неудовлетворенно поджал губы и задумался. — Есть такое понятие — поэзия, это когда пишут стихи, — заговорил он. — Тот, кто пишет стихи, называется поэтом, а сами стихи — это то, что я тебе прочитал, — коротко выдал он мне, как учитель, хотя, полагаю, я был старше его.

— Здорово! А зачем так читать?

— О! — выдохнул он. — Тебе не понравилось?

— Понравилось, но я не знаю почему. Скажи мне! — я восторженно смотрел на него, говорившего так странно.

— Почему?

Лермонтов закинул в небеса рогатую голову и опустил ее, будто оставляя на изумрудном своде светлый росчерк.

В изумрудном куполе

В тишине зимнего леса ветер серым зверьком скакал по деревьям и ворошил хвою, сбивая шишки, а Лермонтов долго и безуспешно ворошил мою темную память, тряс ее, допытывался, докапывался до меня. Его задели и моя общая неосведомленность, и то, что о нем я ничего прежде не слышал, но толку от меня было мало.

— Напряги память, — снисходительно еще раз попросил он, когда спрашивать уже было нечего: на все вопросы я отвечал покорным недоумением, — неужели имя Лермонтов тебе ничего не говорит?! Нет?

Мне стало стыдно. Я напряг память, как он попросил: в голове стало тесно.

— Ну же, неуч!

Я молчал. Я не помнил.

— Я очень хочу есть, — сказал я и вздохнул.

Вот такая это была встреча, о которой я вспоминаю и которой дорожу больше, чем своей жизнью. Можно сказать, что я берегу жизнь только для того, чтобы сохранить память о той встрече. Удивительно.

Небо загустело облаками, сделалось как моя шкура, но местами успокоенно вспыхивали в нем бледно-зеленые дали.

— Как же это с тобой случилось? — спросил Лермонтов. Вновь задул высокий ветер, отодвинув облака в сторону, как шторы.

— То, что я не знаю сл*о*ва «стихи»? — Я раздраженно заскрипел зубами. Мучительный голод напомнил о себе.

— Нет. Про стихи я понял. Как ты научился мыслить не по-волчьи?

— Ах, это! Не знаю. Может быть, сам попросил, бессознательно? — Я сказал первое, что пришло на ум. Кого я мог попросить, когда?! — Но я ничего не помню. Я не знаю, — пробормотал я.

— Сам попросил? Я так и думал. — Лермонтов был категоричен. — Не сомневался.

— Ну и тупица, — сказал он. Его фамильярность не оскорбила меня, — в нем было столько скрытой нежности! — Ведь с этим невозможно жить, — строго продолжил Лермонтов, — не с кем поговорить, объясниться — одна животная, впрочем, не такая уж и нудная, жизнь, как представлялось... Лично я ничего не просил — само произошло. Подожди, я поем.

Он сорвался с места и лихо пронесся между деревьями, взбил снежный ковер и резко остановился: фонтан снежинок взмыл перед ним.

— Эй! — эхо его голоса зазвучало в изумрудном куполе, как в колоколе, расходясь волной по всему лесу, так что вороны взмыли с крон, а две белки, копошившиеся под

сосной, быстро взбежали на ствол и процарапали по нему вверх. — Ловко я?! — Лермонтов опустил широкие рога и принялся за еду: освобожденную из-под снега растительную пищу. Тогда я вспомнил, что кроме того, что я тоже хочу есть, я еще и волк.

— Тебе хорошо, — проворчал я. — А мне что делать? Не тебя же, вкусного... — Я сказал это тихо, — чтобы он не услышал. Я стоял и ждал, когда он наестся, а Лермонтов ел и смешливо поглядывал в мою сторону. Негодяй. Я уже по-настоящему любил его.

— Поел, Лермонтов? — спросил я, когда он вернулся.

— Да что ты! Разве этим наешься... Хвоя надоела, а желудей здесь мало. А что твои родственники, волчишки? Как ты с ними? — перевел он тему разговора.

— Родственники? — Я вспомнил о родственниках. — Я с ними не живу. Волк-одиночка. Иги.

— Не совпали взгляды на жизнь? — Лермонтов ерничал, конечно же, выказывая мне свое расположение. — Немудрено. А волчицы?

— Безмозглые дикарки.

— А я люблю своих. Они забавные. Ты должен вернуться в стаю.

— Зачем?

— Да. Я вот живу с оленями — надо везде себя находить.

— Знаешь, — сказал я ему, — об этом и до твоего появления не могло быть и речи. А теперь и подавно... Я — другой.

— Ладно тебе, — возразил он, — ты не лучше своих сородичей, невежда, не знаешь, например, ничего о поэзии и о поэтах! Лучше бы ты меня съел или я тебя убил бы.

Он сказал это, и он был прав. Я не об убийстве — о тогдашнем моем невежестве.

Я хотел спросить его еще о стихах, если он придавал им столь высокое значение, но внезапно с ближнего холма в нашу сторону сдвинулись воздушные массы, и я насторожился. Почудилось?

— Волки! — вскрикнул я, и Лермонтов вздрогнул.

— Зачем кричать! — сказал он недовольно, будто речь шла о волках последнего пришествия, когда звери будут питаться травой, как и олени. Волки пересказывали этот ужас друг другу из поколения в поколение, но смысла сказки не понимали. Просто передавали односложными предложениями, добавляя всякий раз что-то: велик Бог волков! Помню, когда я осмелился задать дяде по материнской линии вопрос о значении «божественного послания», тот странно посмотрел, будто еще секунда — и он удавит меня, как гаденыша, повинуясь инстинкту борьбы за существование, будто нечто чуждое, опасное проявилось в моем характере. Я здорово тогда испугался. А сейчас — еще того больше — из-за Лермонтова.

— Это те самые твои сородичи? — Лермонтов казался безразличным.

— Они. К кому ты призвал меня вернуться, и их много. Надо бежать сквозь чащу и выйти в поле, на равнину. Скорей! — Я слышал волков, сбегающих с холма, уже явно.

— Оставь. Мне надоело...

— Бежим, говорю!

— Откуда ты знаешь, может быть, мне лучше быть съеденным сегодня твоими родственниками, если ты поленился...

— Бежим! — крикнул я вдохновенно. — Я тебя прикрою.

Как раз волки показались между деревьями и уже выскочили на опушку — они неслись на нас изо всех сил, взрывая наст. Вздохнув, Лермонтов скользнул в глубину чащи, и я побежал за ним. Позади нас раздались хрипы моей бывшей стаи. Они узнали меня.

— Иги! Он преследует оленя! Он сильный! Он вернулся! — Бежевые волки

пробежали опушку и ворвались за нами в лес, проникая в него, как во вражеские ряды. Больше всего я теперь опасался того, чего желал перед охотой на Лермонтова, — что он зацепится рогами за ветви. Но тот легко обходил препятствия. После недолгого беспорядочного мелькания перед взором сучьев, веток, стволов нас всех (волков и оленя) вынесло из леса в поле.

— Слышишь! — Пространство, разделенное по горизонту на белый и зеленый цвета, прыгало вместе со мной, уходило из-под ног и взмывало к небу. — Я не хочу с ними биться сейчас! Видишь там?!.. — Впереди длинным валом выпукло блестели сугробы, а между ними вела твердая узкая дорога, которой пользовались люди.

— Давай туда! Они думают, что охочусь на тебя, я прыгну и промахнусь... — сказал я, сглотнув слюну, и едва не прикусил себе язык. — Они натолкнутся на меня, задержат ход, и ты уйдешь — по твердой дороге они тебя не догонят!

Лермонтов кивнул мне. Быстрее, быстрее.

— А ты?! — Лермонтов учащенно дышал, поле под рыхлым снегом было еще очень тяжелое, вязкое.

— Ничего. Пусть думают, что я промахнулся! Я не хочу их кро-ови! — охнул я, чуть не растянувшись на кочке, увидев, что Лермонтов взял круто влево. Его копыта глухо зазвучали. Твердь! Мои лапы тоже почувствовали дорогу, и я повернул за Лермонтовым, оглянувшись на преследователей: мои соплеменники шли за нами наперерез по полю, тяжело выныривая из заснеженной грязи, и клацали челюстями, как сбежавшие компостеры, — голодные и злые, ободренные моим появлением после неожиданного беспричинного ухода. Уже через несколько мгновений они тоже выскочили на дорогу, и между нами было расстояние в два волчьих прыжка.

Пора. Я прыгнул на Лермонтова, взмахнул лапами, порвал зубами воздух, картинно упал, прокатившись вперед несколько шагов, и тут же вскочил, преграждая путь волкам. Они резко притормозили и заметались на месте: я стоял на их пути. Лермонтов уже набрал крейсерскую скорость, и его было не догнать.

— Привет, — сказал я добродушно хищникам. — Олень ушел...

Памятование смерти

— Убьем его. Он промахнулся, — рявкнули старшие волки, забыв про оленя, и пошли на меня. Увы, они не поняли происшедшего, но я промахнулся — и для них это теперь было важнее упущенной добычи. Волчица прыгнула первой.

Не желая убийства, я принял удар грудью и сбил ее с дороги на обочину, в сугроб, но от атаки старого дяди (того самого) увернуться было уже невозможно: я встретил его лицом к лицу и глубоко провел клыками по его шее. Снег пропитался кровью. Двое молодых самцов (щенки, подросли за зиму!) кинулись на меня, но я примял одного из них за загривок к земле — тот рабски распластался, а другого толкнул в бок — он отлетел на несколько шагов, но бегущий за ними волк, мой давний друг по охоте, неосторожно налетел на меня сверху и упал с разодранной шеей, забарахтался в снегу: я инстинктивно вспорол ему горло.

Волки попятились, оторопело глядя на окровавленные тела своих товарищей.

— Он сильный, он сильный, — заговорили они.

Я посмотрел вдаль, где по моему разумению Лермонтов должен был нестись как паровоз, извергая из легких клубы пара, но тот остановился.

— Ты вожак, ты — Иги! — Волки пытались еще что-то сказать мне.

— Уходите, — прорычал я, страдая, что убил своих, совершил предательство, и пошел прочь, а молодняк с волчицей уныло побрели обратно в лес, бессмысленные и голодные.

Лермонтов ждал меня. Он отбежал на безопасное расстояние и издали наблюдал за исходом поединка.

Я очень устал и еле доковылял до него — тот и не думал идти мне навстречу. Зато он встретил меня тем, что называл стихами:

— Гарун бежал быстрее лани! — прочитал он нараспев.

— Ты о чем это? — Я заподозрил в его словах недобрую насмешку.

— Ты не лань, и кто такой Гарун?! — воскликнул я. — Я за тебя мог жизнь положить.

— Спасибо! — Лермонтов мотнул рогами. — Не знал, что так произойдет. Ты не хотел крови, а видишь как...

— Я сам виноват. Пообщался с тобой, научился поэзии, а то, чему меня учили с детства, позабыл: самое страшное — промахнуться.

— Научился поэзии? — усмехнулся он. — Вот как!

— Ну, пусть не научился еще, но я спас Лермонтова!

— Большая честь для тебя! — дерзко ответил Лермонтов, хотя я ничем не заслужил его грубости. — Ты спас себя, — он надавил мне на психику, — чтобы было с кем провести время. Чтобы не скучно. Кстати, ты наверняка хочешь есть? — Он говорил черство, но душа его была как воск.

— Не обижай меня, — промолвил я, совсем не раздражаясь. — Я просто совершил хороший поступок. — И неожиданно для самого себя зло добавил: — Убил своего старого друга.

— Это ты можешь. — Лермонтов понятливо кивнул.

Лермонтов опустил голову, задев прозрачный зеленый лед небосвода, провел по нему рогами, и сверху посыпал снежок. Коженс лапысоп ухревс. Это если смотреть снизу вверх. А я сверху вниз, или справа налево, или задом наперед? Я кувыркался в снегу, возился в нем, счищая с лица и груди кровь, нагрузив снежинками мех.

— Ты не убивал никого прежде?

«Он не даст мне отдохнуть, зануда». Я поднялся.

— На охоте? Раз я жив, стало быть, убивал. Это законно.

— Я о другой жизни, законник. В этой — у тебя все сложилось. Ты весь в крови...

— Ты говоришь загадками! Что за другая жизнь?!.. — Из-за его вопросов в моей голове закрутились странные образы, обрывистые картинки... но что они означали? Я только что чуть концы не отдал!

— Да уж! — Лермонтов продолжал тиранить. — Представляю, кем ты был в прошлой жизни!

— Уйдем отсюда, волки могут пойти за нами следом. — Я грубовато прервал его, и он послушался, наверное, устал злорадствовать. Такой он был вредный. А как же его родное стадо? Мне захотелось показаться тактичным.

— Ты пойдешь к своим? — Ревность сжала сердце, но втайне я все же надеялся, что он меня сейчас не оставит.

Лермонтов, к моей радости, отмахнулся рогами.

— Нет. Потом. Позже. — Он не выбирал слова для ответа, как пищу: ел все подряд.

— Они далеко, на другом конце леса, — ответил он. — К тому же почуют ужасный волчий запах... им это ни к чему.

— Ужасный? — расстроился я. — А ты терпишь... Ну конечно же, как я не подумал!

— Ерунда, — кивнул он мне очень просто, — ты тоже многое терпел прежде... было время.

Чуткий, он сразу понял мою нелегкую жизнь.

Чтобы обезопасить себя на случай нового нападения волков, контролировать пространство и Лермонтову было бы что поесть, мы срезали угол к лесу и пошли с ним вровень в направлении реки, иногда заходя на территорию деревьев.

Пробуя босыми корнями…

Снегопад. Земной мир стал похож на огромного белого леопарда, который замер посреди мироздания, созерцая Вселенную, еще не готовый к прыжку в неизведанное и не понимающий слов: голод и сытость. А кто были мы?

Мы шли так медленно, будто лес сопровождал нас, шагал рядом, вслушиваясь в разговор, осторожно переступая деревьями, пробуя босыми корнями прохладную под снегом землю.

Я брел чуть позади Лермонтова и любовался его изящным телом: оно проходило сквозь снегопад, как корабль с изображением оленя на носу! Я смотрел на него и думал, что вот пришел некто и стал мне ближе любого из моей прежней стаи. Я даже тело его любил. Не в примитивном смысле, чтобы вкусить, съесть, — по-другому. Мелькнула мысль, что ради истинной любви нужно прогрызть его прекрасную плоть: голод, обыкновенное звериное желание сожрать ближнего нарисовали во мне обманную картину. Возможно, его разговоры о прошлой жизни не являются пустыми и я действительно был чудовищем.

— А волки знают, что они плохие? — спросил Лермонтов, важно ступая, и ухмыльнулся, мотая лицом, сбрасывая с него мохнатые липучие снежинки. Он остановился, разрыхлил снег возле случайной поросли кленов — тонкие деревца переминались в поле рядом с лесом, не приближаясь к семье великих деревьев.

Однажды, когда я проходил в этом месте в пору листопада, клены встретили меня фиолетовой полупрозрачной листвой. Некоторые листья сваливались с ветвей, и их уносило в коричневое поле, а остальные колыхались, освещая пасмурное осеннее небо. Клены были столь трогательны и красивы, что великие деревья казались мне на их фоне громоздкими и бесцветными.

— Извини, мне надо хорошо питаться, — пробурчал Лермонтов, — если кому-то есть чем питаться, он не должен... — Лермонтов задумался. — Я же не виноват, что ты этого не ешь. — И уткнулся лицом в снег.

Он ел молча, минут десять.

— Так как насчет волков? — переспросил Лермонтов с набитым ртом, не отрываясь от пищи.

— Надо подумать, — ответил я, глядя, как он поглощает растительность. — Это серьезный вопрос. – Кажется, больше самого Лермонтова я любил его вопросы! Кто мог у меня подобное раньше спросить?! «Хотим есть, Иги. Где олени, Иги?» — вот вопросы моих прежних примитивных товарищей.

Я размышлял, а он ел и нетерпеливо бил копытами. Я подошел к Лермонтову близко, почти лицом к лицу, хитро прищурив глаза.

— А ежики знают, что они хорошие?

Лермонтов прервал трапезу. Он сорвался с места и понесся по полю, бодая рогами невидимого врага.

— Ты меня насмешил! — воскликнул он и поскакал прямо на меня. За шаг до столкновения Лермонтов остановился.

— А почему ежики? Почему, например, не олени?

— Потому что, — сказал я ему, не сходя с места, — мне именно ежики пришли на ум, вот и все. А олени не могут быть плохими или хорошими. Они вкусные.

— А ты можешь быть злым! — Он сказал это с удовлетворением в голосе. — Узнаю,— добавил Лермонтов со значением.

— Нет. — Мягко ответил я ему. — Я могу быть только справедливым.

— Хочешь меня? — Он вновь заглянул мне в глаза, как в глаза душевнобольного. — Наверное, я самый вкусный олень?

— Ты меня обижаешь, Лермонтов, опять незаслуженно обижаешь... — попробовал я защититься, но у меня заурчало в желудке и потемнело в глазах. О, Лермонтов!

Нет-нет, я выброшу из головы ужасные мысли, я не такой!

— Вот еще, обижаю! Ты заслуживаешь худшего! — Лермонтов будто огласил Высший приговор.

— Почему?!

— Ну... ты ведь волк, хищник. И ты знаешь сам, что ты плохой.

— Если бы волки знали, что они плохие, — ответил я моему обличителю, — они были бы хорошими. А поняв, что они хорошие, — сразу стали бы снова плохими. Это раз.

Лермонтов с любопытством взглянул на меня.

— А если бы ежики знали, что они хорошие, то сразу стали бы плохими, потому что возгордились бы. И получается, что лучше ничего не знать, потому что, если будешь знать, сразу станешь хуже. Но если не знаешь, то... получается, что ты идиот. Это два. — Вот как я ответил.

— Ясно. — Лермонтов смотрел в небеса, в непроглядную муть падающих снежинок, словно его совсем не интересовали мои слова и он задавал вопросы, на которые не хотел получить ответа. Я сказал ему об этом, но он, не слушая меня, упрямо твердил свое:

— С вами все ясно.

— Волки просто хотят есть, — философски изрек я. — И на кого нападают волки? На Лермонтова, что ли?.. — Я посмотрел на него с преданностью и забрался в снег. — На Лермонтова я бы никогда не напал. — При этих словах Лермонтов сильно изменился в лице.

— Что с тобой? — спросил я, не вставая.

— Так. — Он не хотел отвечать — возвышенное существо. — А что ты разлегся, заболел? — В его голосе прозвучала забота — Лермонтов хотел съязвить, но не вышло. Это была настоящая забота, сострадание. И я преступно подумал: «А что, если?..»

— Есть хочу, — забросил я приманку. — Траву я не ем. Она мне как отрава. — Мозг учащенно заработал, открыв в себе преграды для всех мыслимых и немыслимых запретов.

— Лермонтов, — я прибегнул к душевности в голосе, — я просто хочу есть. Ради тебя я пошел на свою родню, а тебе наплевать. Разумеется, я сам все это начал, но тем не менее...

— А что я могу тебе предложить? — ответил Лермонтов с вызовом, и от голода меня опять стало мутить. Он так приятно пахнул.

— Кроме оленей — ничего. Их вон у тебя в лесу — целое стадо, — огрызнулся я. — А ты не ведешь меня к ним, потому что добрый, как ежики... Но знаешь ли ты об этом — вот вопрос!

— Мне тебя жаль.

— Действительно жаль?

— Да.

— Это легко проверить. — От голода я уже не боялся его обидеть. От голода я готов был сейчас сгрызть себе лапу, и я тихо захрипел. — Дай мне съесть кого-нибудь из своих, а? — предложил я и сам испугался своих слов.

— Как ты можешь! — Лермонтов выпятил грудь. — Они мои друзья!

— Лермонтов, они тупые животные... — Я не договорил, он боднул меня в бок, не сильно боднул, но чувствительно...

Как часто пестрым стадом окружен...

Вновь установилась тихая, безветренная погода.

Мы дошли до подмерзшей реки. Ледяная лента извивалась, выбираясь из-за холмов, огибала лес и уходила в волчью даль — когда ее было видно, но не сейчас, когда падал снег. Лермонтов ступил на лед и посмотрелся в него.

Я подумал, что он станет любоваться собой и хвастать, но ничего этого не произошло.

— Иди сюда, — сказал он.

— Зачем? — Я опасался воды, даже замерзшей.

— Иди же!

Я подошел и встал позади Лермонтова, боязливо подобрав передние лапы.

— Что же ты такой трус?.. А еще волк!

Пришлось сделать шаг вперед. Я пересилил в себе страх и встал рядом с ним — твердая вода делала ноги неверными, мягкими.

— Молодец, — похвалил он меня. — А теперь посмотри вниз.

Я наклонил голову и увидел странные наши лица, такие непохожие друг на друга.

Нечто возвышенное было во всем этом и чудовищное одновременно.

— Странно, да? — спросил он. — Мы с тобой единственные, кто говорит не по-звериному, но понимаем друг друга меньше, чем кто-либо.

— Почему же! Это не так, Лермонтов, я тебя понимаю или стараюсь понять, правда! — Я был предельно искренен. — Разве с оленями у тебя есть общий язык?

— Когда понимание на нуле — от него ничего и не ждешь, — пояснил Лермонтов. — А когда забираешься выше... мы с тобой как бы взлетели ввысь и поначалу были рядом, но потом оказалось, что наши пути чуть расходятся, и чем выше мы поднимаемся, тем дальше мы друг от друга.

— Видишь, какой ты умный! — сказал я, но он злорадно кивнул мне на мое отражение. — Тебе подошли бы сейчас белая папаха и большой кинжал!

— Что за папаха такая? — удивился я.

— Ты действительно одичал здесь. Папаху люди надевают на голову — раньше надевали, да и сейчас... некоторые. А кинжал — из железа, чтобы убивать или защищаться. Покрепче твоих клыков.

— А зачем надевать папаху?

— Для тепла. Но некоторые — для вида. У них и кинжал для вида, чтобы казаться сильнее, чем ты есть. Большой такой кинжал! — Он смотрел на мое отражение столь внимательно, будто следил, какое впечатление произведут на меня его слова. Такой он был странный.

— Большой кинжал! — повторил Лермонтов со значением, понятным одному ему. — Ты не злишься, Иги?

«Может быть, он испытывает меня, готовит к настоящей дружбе, жертве?» — подумал я и сказал ему об этом вслух, а чтобы повеселить его — больно он стал серьезным в ту минуту — некстати съехидничал:

— В жертву Богу ежиков! — Сказал и прикусил язык.

— Если Его нет, Бога ежиков, — произнес Лермонтов таким тоном, что мне стало неловко оттого, что я не ежик, — если такого Бога нет, то жизнь — просто ком грязи. И ты, и я — все это комья грязи. Но Он есть, я знаю, потому что мир красив.

— Зачем же Он так сделал, что мы, волки, едим вас, оленей? — Желание разобрать вопрос до конца вредило мне: я не учитывал настроение собеседника. Как с моим дядей по вопросу о значении «божественного послания волкам».

— Мы жертвуем телами ради вас.

— Ради нас, злодеев? Ты, прости, врешь.

— Волчья шкура мешает тебе или помогает...

— Ну, так если бы я был, к примеру, человеком, я бы тогда...

— Что?! — перебил меня Лермонтов. — Что бы ты тогда?!

— Не знаю, — уступил я его напору, горько усмехнувшись. — Пожертвуй оленем из своего стада.

Лермонтов снова боднул меня.

— Не делай этого, — заметил я, — не то получишь от мастера ближнего боя. — Он ведь больно меня ударил.

— Давай. — Лермонтов процокал немного вперед, к середине реки, развернулся и встал в боевую стойку.

— Не могу... я голоден. — Мне не хотелось биться на льду.

— Давай. Я сильнее! — гордо произнес Лермонтов, и я кинулся на него, на ходу придумав прием: вонзившись когтями в лед, я оттолкнулся, взлетел, вцепился мертвой хваткой чуть выше основания его рогов и закинул свое тело ему под живот, скользя по льду. Лермонтов, не выдержав груза, развел передние ноги, грохнулся, перевернулся, и я уже сидел на нем, обняв смертоносной пастью его шею. Клыки прижались к оленьей коже, и гортань почувствовала близкую жизнь. Я отпустил его.

— Понял? — выдохнул я, пытаясь поскорее отдышаться.

— Ладно, победил, — ответил Лермонтов, вяло поднимаясь.

— Они все равно тупые животные, и ты это знаешь.

Как же я хотел есть! До бешенства. И ощутил прилив злобы. Но тут же другие справедливые силы, словно в снежном космосе образовалась щель, хлынули в меня и подавили приступ отчаяния.

— А я и стихи могу писать не хуже тебя! — сказал я тихо. Безотчетное, непостижимое, — точно похожее на эхо, зазвучало во мне. — Я придумал о тебе стихи. Прочитать?

— Бедняга, — промолвил Лермонтов, изображая страдальческую муку. — Читай, Иги, читай, это ничего... — Он хотел рассмеяться мне в лицо до того, как я начну читать, но я опередил его смех.

Как часто пестрым стадом окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При звуках гона иль кормежки,
При диком чавканье и грохоте рогов
Проходят образы бездушные оленей,
Приличьем стянутые морды.

— Что это? — спросил Лермонтов изумленно.

— Стихи! Видишь, я тоже поэт! Талантливо? Завидуешь?

— Завидую? — Лермонтов был сражен. — А как ты... а что дальше, дальше прочти... — попросил он, уже в который раз заглядывая в мои глаза, как в глаза душевнобольного. Но силы небесные покинули меня. Я, признаться, до конца так и не понял, откуда взялись в моей голове эти стихи, словно не я их сочинил, а они были мне продиктованы Богом волков!

— Дальше я не знаю... извини. — Мое сердце пело. — Это случайно произошло.

— Правда? — Он не поверил.

— Честно. Еще вертится что-то... Когда ж, опомнившись, обман я узнаю... И это все. Но скажи, талантливо? — Я произвел впечатление, и мне было радостно.

— Дай осмыслить, — ответил Лермонтов и отошел в сторону.

— Ты скажешь что-нибудь? — не утерпел я, когда молчание затянулось. Лермонтов обернулся.

— Зачем ты так про морды... — с грустью спросил он, — некрасиво.

Такой он был, мой друг!

Кто мне скажет, почему нужно есть? И почему нужно убивать, чтобы питаться? Он даже ежиков заставляет поедать грызунов, будто все мы перед Ним провинились.

О, если бы Бог что-нибудь придумал и дал нам в пищу хотя бы камни... Увы, мы повсеместно счистили бы все у себя под ногами, уменьшив земляной шарик, покамест не стали бы толкаться и от немощи умолили бы Его даровать нам возможность кое-кого съесть, дабы стало чуть свободнее... Что же делать? В чем наша вина? Он придумал именно так. Когда же Он придумает другое?

И тогда я вспомнил о деревне, где жили люди с ружьями. С другом я пошел бы к ней, с другом я бы не испугался.

— Сходим к деревне. Там люди выбрасывают пищу, и ты наешься, — сказал Лермонтов, и я радостно заскулил.

— Километров десять. Но там собаки, — предостерег он меня, а я знал, что своей слабостью я совершил над ним насилие. Но я умирал от голода. И любовь разве не насилие?

— Пускай, — ответил я, — я и собаку съем. Мне все равно.

По дороге Лермонтов почтил меня похвалой.

— Ты можешь, при особом прилежании, писать хорошие стихи, у тебя образное мышление, ты схватываешь детали! — сказал он.

— Боюсь, это будут стихи исключительно про охоту, — ответил я, — о том, как я съедаю оленя или другую живность. — Лермонтов неодобрительно поджал губы.

— Иги, ты только о еде думаешь?

— Когда голоден — да. А сочинять стихи мне не хочется.

— Что ж, тогда я ошибся, и у тебя нет таланта.

— Талант есть, я тебе его уже продемонстрировал, просто мне не хочется.

— Это и есть отсутствие таланта. Ты думаешь, нет таланта — и, значит, ты тупица? Вовсе нет. Отсутствие таланта — это именно когда не хочется, — вздохнул он.

Как хорошо бывает на свете, когда рядом друг: мир справедлив, и ты все понимаешь и принимаешь.

— Иги, значит, герой, — сказал я Лермонтову без пафоса, но с достоинством.

Мы перешли реку...

Мы перешли реку и двигались уже довольно долго — река осталась далеко в стороне. Стемнело. Снегопад прекратился, облака рассеялись, и в небесах заледенели звезды. Луна ярко осветила равнину, залила ее красным светом.

Вдалеке показались огни деревни. Мы пошли тише, почти не издавая при ходьбе звуков. Вдруг я заметил две фигуры — их тени, длинная и поменьше, перемещались в сторону деревни. Это были люди. Женщина и ребенок. Они шли от нас в полверсты. Наверное, из лесу. Я ускорил шаг. Лермонтов, почувствовав недоброе, побежал за мной.

— Ты что собрался делать?

— Съесть их хочу.

— Это люди!

— Ну и что? Костистые, конечно, жесткие, но они мои!

Лермонтов побежал быстрее, обгоняя меня, но я тоже ускорил бег, подумав в бешенстве, что у него много жалости к ним и ни капли — ко мне. Соперничая, мы не заметили, как догнали людей. Они обернулись и увидели нас. Скорее, они увидели блеск моих глаз и замерли от ужаса. Мои светящиеся глаза показались им расщелинами ада, но пища всегда так ведет себя перед смертью. Они были потрясены, увидев меня, и страх спасительно раскрыл их легкие: люди завизжали.

Лермонтов скакнул вперед и загородил их собой.

— Ни шагу! — крикнул он мне.

— Отойди! — Я будто оглох от обиды.

— Ты меня не понял! — Лермонтов расширил глаза. — Ты меня не понял, мне их не жаль, но тебе нельзя! Тебе нельзя это! — Он запрыгал передо мной...

...раздались грубые голоса мужчин из деревни...

— Убьют. — Лермонтов замер, всматриваясь в даль. — У них ружья. — Только он сказал это, как сразу же раздались выстрелы и в темноте вспыхнули багровые языки пламени, осветив людей, вышедших из домов на крики о помощи. Не сговариваясь, мы все побежали: женщина с ребенком — к своим, а мы — прочь, скорее!

Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк — и, как орел,
Он кинулся... и выстрел снова!

— А? Что?! — лихорадочно спросил я на бегу. — Что ты говоришь? — Мы будто не бежали, а бессмысленно на одном месте передвигали конечностями в черной неподвижной мути: небеса снова наглухо закрылись.

И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины —
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!

Я остановился. Лермонтов промчался вперед, створки ночи раскрылись и захлопнулись: он исчез из моего сознания. Я бежал один. Через мгновение Лермонтов вернулся и вошел ко мне в черный куб.

— Что ты хотел сказать мне этими стихами, Лермонтов? — спросил я, остановившись.

— Так, вспомнил по случаю.

— По какому случаю?

— По этому. Мы как раз здорово пробежались.

— Ты ведь знаешь, что у них были ружья и нас убили бы.

— Стихи как раз о том, что смелые совершают поступки, даже если они могут быть убиты, а не наоборот.

— Хорошо, — ответил я Лермонтову и повернул обратно к деревне: сначала шагом, а затем побежал. Жить больше не хотелось.

— Это еще трусливее! — крикнул он мне вслед, но было поздно, я летел во всю мочь, бежал долго, а Лермонтов скакал вровень со мной, но в ночном снегопаде мы скоро заблудились и перешли на шаг.

Я шел глубоко оскорбленный. Лермонтов шел рядом. Мы не разговаривали.

— Прости, — сказал он.

— Ничего, — ответил я. Никто не знает, как плачут волки, но я знаю.

Луна выкатилась на равнину, и близко зачернел незнакомый лес. Нужно было устраиваться на ночлег.

Глубоко в лес заходить не стали и легли возле какой-то кочки, рядом с молодой сосной. Лермонтов заснул быстро, а я долго вздыхал, вперяя взгляд во тьму: мне снова казалось, что округа тяжело волнуется, а посреди холмистого океана есть только одно прибежище — эта кочка, и его единственный моряк — я, а на сосне вовсю бушует парус.

Наутро мы вышли из леса и бесцельно потолкались на равнине.

— Нет никакого стада.

— Нет и никогда не было, я все придумал. — Не было ничего, никогда. Это фантазия. — Лермонтов подставил лицо утреннему ветру, который снова погнал к земле снежинки.

Я разгадал тайну его мучений.

— Я знаю, Лермонтов, твой громадный ум подавил тебя, раздавил твое детское сердце. Поэтому ты страдаешь.

— Молчи, — сказал он. — Все намного проще.

— Может быть, ты не всегда был оленем? Может быть, ты много раз умирал и вновь рождался разными существами и запутался в том, кто же ты изначально! — заговорил я его образами, поддерживая не общение, а свою жизнь. Он был прав, он нужен был мне для себя.

— В этом дело.

— Правда?! — я слабо улыбнулся ему.

— Это ты был разными существами, даже один раз — человеком... А я всегда был Лермонтовым. В этом дело,— сказал он, и я пожал плечами. От истощения холод стал проникать мне под сердце.

Постояв немного, мы снова тронулись в путь. Шли недолго, и в снегопаде набрели на холм, обрывавшийся с нашей стороны скалистой кручей. Я никогда не бывал в этих местах. Что это за скала, откуда она взялась? Мне хотелось спросить, но от голода я не мог пошевелить языком. Я мог только вынужденно отвечать на его вопросы. Но разве любовь — не принуждение?

— Вот мы и пришли. — Лермонтов оглядел кручу. — Масштаб не тот и время года другое, но все равно сойдет.

— А как бы ты хотел? — Он заинтересовал меня, насколько может быть заинтересован волк, подыхающий с голоду.

— Я хотел бы, чтобы это была очень высокая гора и называлась она Машук, а кругом стояло лето, — промолвил он. — Ты все еще не вспоминаешь? — Он измотал меня неясными намеками. Он страдал отчего-то, но я не мог ему помочь, даже если бы и знал причину его страдания. Я почувствовал себя совсем несчастным.

— Ты не знаешь, зачем я нужен? — спросил я.

— Нужен для чего-нибудь. — Лермонтов нашел возле скалы какой-то кустарник.

— У всякого предмета есть инструкция, — сказал он, обгладывая куст, — такая бумажка прилагается. К утюгу, к микроволновой печи, даже к оленям — к оленине — как ее есть и в каком виде, даже к шариковой ручке прилагается инструкция, а к волкам — нет. Никто не знает, для чего вы нужны.

— Нужны ведь для чего-нибудь? — спросил я с надеждой, что муки мои прекратятся, если я сейчас умру. Я устало опустился на снег и тихонько подполз к Лермонтову.

— А я знаю ответ, — прошептал я вдохновенно, обдавая дыханием его сытое благородное лицо. — Волки нужны для того, чтобы терпеть голод.

Он поднял на меня глаза.

Посыпал снег, и я успокоился.

«Неужели это все!?» — думал я, глядя на полет кружащейся пятнистой вечности.

— Мы не знаем теперь, что делать, правда? — спросил Лермонтов и оставил кустарник в покое.

Есть небесный страх, а есть — земной. Небесный страх дается для того, чтобы избавить душу от страха земного. Есть силы небесные, а есть — земные. Но если я лишен земных сил, то где тогда силы неба?

Жертва

Лермонтов оглядел мир.

— Не оленем единым жив волк, — некстати вспомнил я слова из «Божественного послания волкам».

— Нет, пора кончать. — Лермонтов решительно замотал головой, с шумом рассекая воздух. — Все перемешалось, все стало неопределенным. Я тогда был виноват.

— Когда? О чем ты говоришь?

— Тогда... не надо было тебя злить, я дал тебе крест, который ты не мог нести. Я поиздевался над тобой, проверяя, способен ли ты ради...

— Ради чего? Кто, что нести? — Мне казалось, он бредит.

— А ты не вынес, потому что я сломал тебе мозг, я сломал твою волю и обрек тебя на позор и муки, которые ты терпишь. Зачем я это сделал?

— Странный ты, — ответил я, не понимая значения его слов. — Вместо радости — печаль.

— А где радость? Этот клубок не размотать. Ты волк, а я олень, — обрубил он. — Я вызываю тебя на поединок.

— Сдурел? — У меня и в мыслях не было драться с ним. — Бедный Лермонтов, у тебя от переедания начались галлюцинации. Ничего, волки могут терпеть долго. — Я жалел его, такого талантливого!

— Помнишь, я говорил тебе, что ни о чем не просил перед рождением, что со мной все случилось само собой? — Лермонтов посмотрел на меня, будто надел очки, чтобы лучше видеть. — Тогда, в миг нашей встречи? — Я кивнул ему: «Помню». — Я тебя обманул. Я просил. Я хотел тебя увидеть. Понимаешь? — Я отрицательно мотнул головой. Я не понимал.

— Ну, довольно, вдвоем нам нет места на земле. К барьеру, — заключил он.

Несчастный, как мне было его выручить!

— Послушай меня, Лермонтов, зачем ты? В тебе столько нежного чувства, но ты так тщательно скрываешь это от меня, как иные скрывают свои самые гнусные пороки.

— Я это уже слышал! Не повторяй чужих глупостей! К барьеру. Биться насмерть. — Сильнейшее возбуждение охватило его.

— Нет, — возразил я и внутренне нервно рассмеялся, но вслух от немощи только просипел. — Мои клыки на тебя не поднимутся. Да и что за блажь?

— Не так, — ожесточенно поправил меня Лермонтов, — скажи: мои клыки на этого дурака не поднимутся!

— Оставь, прошу...

— Зато мои рога на тебя поднимутся... так, кажется, ты мне ответил!.. — неистово проговорил он и бросился на меня. Я не сопротивлялся. Лермонтов нанес удар, и я отлетел на несколько шагов.

— Бей еще, — слабо сказал я, вставая.

Лермонтов разбежался и ударил меня рогами в голову. Я снова упал в снег, отброшенный тяжелым ударом. С окровавленного лица несколько капель крови попали мне на язык — единственная пища за последние недели, если не считать кровь сородичей, убитых мной, когда я спасал Лермонтова.

— Бей еще, — сказал я, и он снова ударил меня, лежачего. Я лежал, оскалив пасть, холодные снежинки освежали мне высунутый язык, я еле дышал. Лермонтов зарыдал.

— Не плачь, — сказал я ему. — Не плачь. Только не говори никому, что я погиб от оленьих рогов, ладно?

Я уже не понимал ни его, ни себя. Он подавил во мне все волчьи инстинкты. Я должен был защищаться, я должен был нападать, но что я мог поделать со своими чувствами к нему!

— Ладно, не скажу, подожди. — Молодой голос его обрел зычность и твердость: — Лежи здесь и не умирай, сейчас все будет хорошо.

Лермонтов ушел от меня, и несколько минут я его не слышал.

— Эй! — раздался его голос откуда-то сверху. — Ты видишь меня? — «Опять хвастает, а я умираю», — подумал я, обессилев даже мыслями. Лермонтов взобрался на кручу, посмотрел на меня сверху, и на его высоком челе в который раз отразилась вся красота мира. Через секунду он прыгнул вниз. Раздался глухой удар. Я вскочил, как подброшенный.

— Лермонтов! Лермонтов! Что ты наделал! Зачем?! Что?! Что?! Лермонтов, что?!. — Он не отвечал, а я прыгал через него, носился, как смерч, с окаменевшим взглядом. Ветер выл неистово. Буран обрушился на нас — снежный шквал сбивал меня с ног. Мир постепенно обретал очертания белого бессмысленного тесного куба. Я подбежал, упал, тут же залепленный белой кашей, подполз к Лермонтову...

Он открыл глаза, и мое неистовое возбуждение вдруг стало каменеть.

— Иги, самое важное... — Тяжелая дрожь все еще сотрясала меня. Скуля, я лег ему на грудь, чтобы прикрыть Лермонтова от ветра. Со стороны могло показаться, что волк свалил оленя и начинает долгожданное пиршество.

— Исполни мое последнее желание, — сказал он, ему было очень больно.

— Говори. — Железная маска окончательно стянула мне лицо. Я понял, что он сейчас умрет.

— Один из нас должен выжить. Съешь мое тело.

Кровь ударила мне в голову (О, Лермонтов!), а буран навалился тяжелой ношей, как на той ветке, под которой я лежал, высматривая добычу.

— Что ты говоришь?! — спрашивал я, но слышал ли Лермонтов, ведь гудел такой ветер!

— Слушай, Иги, ты не знаешь правды... я хотел тебя увидеть и увидел. — Он выдавливал из гортани слова. — Когда я тебя увидел, первое желание было убить тебя, отомстить, — но ты не понимаешь моих слов, но...— Лермонтов издал тяжелый стон. — Когда я увидел, какой ты несчастный, мне захотелось тебя спасти. Вытащить отсюда, а для этого нужна была жертва. Съешь меня, и я попаду в небесное царство оленей. Ради меня съешь мое тело. Это и твоя жертва, — сказал он и стал коченеть.

— Иги...— сказал он еще. — Прощай, Иги, это я, твой друг, Лермонтов.

Я опустил голову ему на грудь. Бог волков меня не слышал, потому что был справедлив, а Бог оленей требовал жертвы и получил ее.

И тут мои глаза расширились от ужаса, потому что я вспомнил.

— Я вспомнил, Лермонтов, вспомнил! — быстро заговорил я. — Сейчас, подожди!..

— Я вспомнил! — крикнул я ему в уши, потому что молния осветила мою темную волчью память.

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Лермонтова не стало.

Я не согласен

Снегопад прекратился, тучи рассеялись, и в небе появилась полная луна.

Я ел его бесподобное тело, меня рвало, но я ел, подчиняясь его последнему желанию; ел и жалобно выл на луну, низко и длинно...

Зиму я пережил только благодаря Лермонтову. Раз за разом я приходил к нему в ночи, раскапывал, насыщаясь другом, и закапывал вновь, покамест не оставил под луной одни его нетленные кости.

Да, я съел друга. Но, не умерев, я доставил ему радость, доказал, что его жертва была не напрасной. Я также твердо знаю, как он объяснил мне, что это была единственная возможность спасти и меня: вытащить из волчьего тела и помочь мне вернуться туда, где нет ни волков, ни оленей, ни даже ежиков, а только удивительные имена, — и он хотел этого.

Он действительно этого хотел, и я решительно отвергаю обвинения злодеев, утверждающих, что я не выполнил завета Лермонтова вернуться в волчью стаю. Где и когда он говорил что-нибудь подобное?

Еще эти злодеи-критиканы насмехаются, что весь мой рассказ — сплошное вранье, выдумки, а Лермонтова я просто-напросто убил, потому что был голоден.

Одни хулители говорят, что я убил его сразу на опушке, другие — после того, как он назвал мне свое имя, потому что я чего-то испугался. Мой мнимый испуг они связывают с именем некоего Мартынова, что откровенно смешно, потому что в лесу из разумных существ были одни только я и Лермонтов, а остальные — бессмысленное зверье и птицы, и никакого Мартынова и близко не было. Это истина.

Еще я читал глупейшее мнение, что я убил Лермонтова во время нашего игрового поединка, не сдержавшись, когда прихватил клыками его горло.

Иные утверждают, что я отдал его на съедение своей стае ради того, чтобы вернуться в нее, будто в свое время меня из этой стаи с позором выгнали, заметив, что я однажды обгладывал кору деревьев.

Некоторые «доброжелатели» даже изображают сочувствие, печалясь напоказ, что я как хищник не мог поступить по-другому — такова, мол, волчья природа, — и помешался рассудком от стыда за содеянное. Я бы сам пожелал им сойти с ума от стыда за сказанное в мой адрес, но им такое сумасшествие не грозит, потому что они — бесстыдники, у них нет совести, и я перестал с ними всеми общаться. А еще мнят себя разумными существами, подобными нам с Лермонтовым!

Я перестал с ними общаться — и примирился с жизнью.

Также я примирился с тем, что мне не с кем теперь по-настоящему поговорить, отчего происшедшее стало больше похоже на сон, чем на явь, я свыкся со своей волчьей природой, охотясь на зверей, правда, на оленей — никогда. За всю свою жизнь после встречи с Лермонтовым я не убил ни одного оленя.

Вот с чем я не примирился — так это с тем, что никогда его не увижу. Ведь допустить возможность того, что мы не встретимся, значит утверждать, что Лермонтова нет, но он-то был! Мне могут возразить: пусть он был, но теперь уже никогда...

Послушайте, разве бывает «никогда», если мир вечен?

Что я еще подумал о величии жертвы Лермонтова?

С детства всякое существо копит в душе и добро, и зло, причем, что есть добро, а что — зло, человек выбирает сам, независимо от дарителей. К середине жизни наступает пора отдавать накопленное, и хороший волк или, к примеру, олень возвращает добро, себе оставляя зло. Стало быть, чем больше ты отдал добра, тем больше места в твоей душе занимает зло, и с ним все труднее бороться — боль вдохновенных сердец. Оттого большинство гениев умирает молодыми — их съедает нерозданное зло. А Лермонтов отдал мне все свое добро, все, какое было, и остался один на один с накопленным злом. Вот на что он пошел ради меня! Это и есть высший смысл жертвы! Отдать весь свет, не боясь охватившей тебя тьмы!

К тому же я истинно верую в Бога волков, в Бога оленей и в Бога ежиков, и если в Его триедином мире нет больше Лермонтова, тогда получается, что Его мир — ком грязи, как говорил мой друг, а этого не может быть, потому что мир красив, ведь в нем был Лермонтов.

Итак, я знаю, что не только жертва Лермонтова была не напрасной, но и МОЯ ЖЕРТВА, когда я его ел — а это была именно жертва. Все это значительно и бесценно, так же бесценно, как если в один день над лесом взлетят горластые птицы и поднимутся лесистые паруса, в них забушует ветер, и всех нас, мыслящих и бессмысленных диких жителей отведенного пространства, понесет в океане, спокойно перекатывая по холмам, — а я буду всматриваться в даль, чтобы первым на горизонте увидеть корабль с изображением оленя и услышать прямо в уши под темным капюшоном принесенный ветром его голос: «Здравствуй, Иги, это я, твой друг, Лермонтов!»

...

Елена Саморядова

Один, два...

Рассказы

Полёт

Все детство Лена боялась стать инженером, потому что воспитательница в садике однажды спросила ее: «Кем ты будешь, когда вырастешь?». Папа Лены обычно лежал на диване в гостиной, а мама готовила на кухне или стирала в ванной, или уходила в магазин. Они почти не общались друг с другом. Маленькая Лена думала, что в ее семье так потому, что родители были инженерами, все в Советском Союзе были инженерами, и она, конечно, тоже будет.

Лена отвлеклась от воспоминаний, открыла глаза и посмотрела на себя в окно вагона метро. Растерянность на лице. Картонная коробка на коленях. Вокруг люди. Стоят, сидят, едут с головой, погружающейся в сон, как жертвы на эшафоте — еще немного, и они потеряют контроль над своим телом.

Рядом с Леной сидел помятый немолодой мужчина в заношенной одежде, при нем был старый поцарапанный кейс с кодовыми замочками. Двадцать лет назад, когда Советский Союз развалился и отец, потеряв работу на заводе, устроился в кооператив, он завел себе такой же. Это было признаком перехода на новый уровень, как первый кошелек у подростка. Ничего особенно ценного отец в кейсе не носил, но всегда со значением закрывал его на кодовые замочки. Так он как будто говорил: теперь у меня появилось что-то, что я готов защищать. Лена снова посмотрела на помятого мужчину. Он не выглядел победителем.

— Проснулись? — неожиданно обратился к ней мужчина.

— Я не спала, — отрезала Лена.

— Да, я видел. Далеко едете?

— А вам какое дело?

— Просто спросил. Что вы такая дикая? Обидел кто?

— До конечной.

Мужчина тяжело вздохнул.

— Не надо вам туда. Выходите сейчас.

Поезд остановился на станции, в вагон вошли туристы. Они ехали и в то же время не ехали вместе со всеми. Их не тяготили монотонность движения, шум, замкнутое пространство, туристы рассматривали пассажиров и трогали поручни, считая все это аттракционом. Им никуда не нужно было — ни на работу, ни домой, им нужно было только посмотреть, как это выглядит, когда здесь едут на работу или домой. Лена тоже

Саморядова Елена — сценарист, писатель. Родилась в 1983 г. в Калининграде. Окончила факультет географии и геоэкологии БФУ им. Канта и киношколу Cinemotion в Москве. В 2009 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Малая проза». Автор сценариев для телевизионных сериалов. Живет в Калининграде. В «Дружбе народов» печатается впервые.

почувствовала себя туристкой. Это было так странно. Как будто ей в палец впилась заноза, и она все пыталась вспомнить, когда последний раз дотрагивалась до дерева, и не могла.

— Чего не вышли? Я вам добра желаю, — сказал мужчина, когда поезд тронулся.

— Оставьте меня в покое, — попросила Лена.

— Что?

— Пожалуйста. Я вас не трогаю, и вы меня не трогайте.

— Чего захотела... Молодая еще, не понимаешь. Ты на дочь мою похожа, на Машку...

Лена промолчала, не зная, что сказать.

— Ты только постарше Маши. Двадцать четыре тебе?

— Двадцать три.

— Ошибся, значит, ровесницы. Ей тоже было двадцать три. Она в аварию попала год назад. В больницу отвезли, в реанимацию. Нас к ней не пустили. Я им говорил, только не оставляйте ее одну, только не оставляйте, а они оставили... И она ушла.

Мужчина поправил кейс на коленях. Лена ждала, что он скажет еще что-нибудь, но ему было не до этого. Мужчина боролся со своими эмоциями, часто моргая и хмуря лицо.

— Что у тебя в коробке? — спросил он, собравшись.

Лена придерживала ее двумя руками. На коробке не было опознавательных знаков.

— Уволилась, — пожала плечами Лена. — Ерунда там всякая: вещи, сувениры. Оставить было нельзя, а выбрасывать жалко.

— А чего? Сократили, что ли?

— Нет, сама ушла.

— И куда дальше?

— Не знаю.

— Ну, ты странная. И зачем было уходить?

В офисе она занимала стол у окна, за которым росли деревья и дымила труба. Труба не менялась, а деревья Лену пугали. Ветви, листья, длинные стволы были похожи на кровеносную систему великана, которого она никак не могла разглядеть.

Мужчина посмотрел на нее с любопытством.

— Темнишь... Чего улыбаешься?

— Все-то вам нужно знать.

— Ну точно Машка... Та тоже скрытничала, все говорила: «Папа, отстань»... Влюбилась она, я чувствовал. На свидание опаздывала, торопилась... Ну и авария... Парень тот к нам потом приходил, молчаливый такой, четыре ложки сахара в чай положил.

— В жизни может и не быть настоящей любви, — тихо сказала Лена.

— У тебя не было?

— Нет.

Мужчина хитро улыбнулся.

— Точно не было?

Лена отвела глаза. В офисе она делила кабинет с девушкой. «Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает, — повторяла про себя Лена, глядя на нее, — количество энергии неизменно, она только переходит из одной формы в другую». Потом рабочий день заканчивался, а Лена все думала: как же так? Школьный курс физики довольно долго спасал ее от глупостей, но ближе к весне помогать перестал, и она написала заявление на увольнение. «У лукоморья дуб зеленый... Дуб... Дуб... — твердила Лена, когда девушка неловко обнимала ее на прощание. — Златая цепь на дубе том...» Но вслух ничего такого не сказала, конечно.

— Чего молчишь?

У Лены было странное чувство, словно она осталась в офисе, а это все сон.

— Зачем вы задаете мне все эти вопросы?

— Переживаю за тебя, дуру.

— Не надо.

— Так и будешь сидеть? Я же сказал — выходи. Не твой это поезд, на следующем езжай.

Вместо ответа Лена встала и заняла место в другом конце вагона. Самым ценным в ее коробке был диплом инженера, лежащий на самом дне. Она забила коробку всякой ерундой, чтобы не нести его в руках, не дотрагиваться до него. Лена могла стать кем угодно, но решила не расстраивать родителей. Так она отвечала, когда спрашивали, но в глубине души Лена знала, что струсила. Ну какой из нее инженер, если всего нового она боится, как огня? Смех один. У Лены стала чесаться правая рука — не вся: ладонь и пальцы.

Мужчина поднялся. Лена скривилась, предвидя, как он подойдет и снова сядет рядом, но, к ее удивлению, мужчина остановился посредине вагона и вдруг обратился ко всем:

— Граждане, послушайте! У меня была дочь, Маша...

Сидящая рядом женщина в норковой шубке одной рукой прижала кожаную сумочку к груди, а другой дернула его за полу пальто.

— Денег не дам, — сказала она.

Мужчина продолжил, не обращая на нее внимания:

— Маша умерла. А когда мы с женой пришли забирать тело в морг, нам выдали чужое, не ее. По документам это была она, но мы-то знали, мы же родители... Что нам эти бумажки? Маше все надо было, она вечно куда-то лезла, стремилась. Мы с женой пытались ее защитить, но какое там... Маленькой я ее с деревьев снимал, а взрослую с карьерной лестницы разве снимешь? От такой жизни у нее на теле шрамы должны были остаться, а на теле девушки, которую нам выдали, их не было. Чистое-чистое тело. Я кричал, ругался, но это не помогло. Подал заявление в полицию — не приняли, в суд обратился — иск отклонили. В Москву писал президенту, в правительство, в Государственную Думу — никто мне не ответил. Сами посудите, как можно родителям дочь не отдать? Что это за звери? У жены моей инфаркт, похоронил, и вот что теперь делать?

Женщина в норковой шубке еще раз дернула его за полу пальто.

— Денег не дам, — настойчиво повторила она.

Вагон остановился между станциями. Свет погас. С десяток пассажиров, оставшихся в вагоне, сидели тихо, в послушном ожидании. Правая рука Лены по-прежнему чесалась. Она подняла ее и вдруг увидела несколько сияющих точек, зависших в двух-трех сантиметрах над ладонью. От испуга Лена сжала ладонь в кулак, и точки тут же исчезли, а когда разжала — вернулись ровно на то же место. Казалось, что у нее в руке кусок звездного неба. Раньше Лена ничего подобного не замечала. Когда свет в вагоне загорелся вновь, сияющие точки поблекли, но никуда не исчезли.

Включилась внутренняя связь.

— Сергей Петрович, не делайте глупостей, — вкрадчиво заговорил невидимый мужчина. — Мы выполним все ваши требования!

— Услышали меня теперь, да? — спросил Сергей Петрович, прижимая к груди поцарапанный дипломат. — Одно у меня требование, слышите вы? Одно!

— Прошу, будьте благоразумны, — продолжил невидимый голос.

— Где вы раньше были?!

— По факту прибытия на станцию выйдите, пожалуйста, из вагона с поднятыми руками. Мы гарантируем вашу безопасность.

— В гробу я видел вашу безопасность! — ответил Сергей Петрович и снова сел рядом с Леной.

Вагон осторожно тронулся.

— Ты не умрешь, — сказал Сергей Петрович.

— Вы о чем? — Она растерялась.

— Я ни во что не верю. Я все потерял. Но если есть здесь или там что-то важное, что-то, ради чего живут, зачем живут, ты спасешься.

Сергей Петрович заплакал. Лена как будто увидела море. Так бывает, когда поднимаешься на дюну и какое-то время перед тобой нет ничего, кроме песка, и только на самом верху тебе открывается огромная вода. Все мысли словно смывает, и ты смотришь вперед, чистый, ошеломленный.

— Пожалуйста, услышь меня. — Он глядел Лене прямо в глаза, но обращался не к ней.

Сергей Петрович повертел кодовые замочки.

— Я их просил, я очень просил...

Он открыл свой кейс — и все исчезло.

Лена пришла в себя на полу магазина «Детский мир». Она снова была маленькой, заплаканной и истошно кричащей: «Мама, ну купи! Мама!». Лена хотела крохотное игрушечное пианино, издававшее тихое пощелкивание. Клавиши на нем подбрасывали шарики, которые бились о пластмассовый корпус изнутри. Мама не понимала, зачем ее дочери нужна такая бестолковая игрушка. Взамен она предлагала куклу, раскраску, развивающий конструктор, но ничего этого Лене не хотелось, а хотелось только пианино, в котором для нее была сосредоточена вся прелесть мира. За прилавком стояла продавщица, отвернувшаяся от детской трагедии. Глядя ей в спину, Лена думала, что продавщица ничего не понимает в жизни, а если бы понимала, ни за что не стала бы продавать это пианино и играла бы с ним сама. Лена вдруг вспомнила, что игрушку ей так и не купили... И в этот момент в воспоминании появился человек, которого там раньше не было. Высокий, седовласый, в строгой белой форме с золотыми якорями, он вошел в ее память, как в комнату, и протянул Лене коробку с той самой игрушкой. Она узнала в нем капитана Гранта из старого советского сериала «В поисках капитана Гранта», благодаря которому однажды поверила, что, куда бы ты ни попал, везде тебя можно найти и спасти.

Взяв коробку, Лена перенеслась из воспоминания в кают-компанию парусника «Дункан», на котором дети капитана Гранта когда-то отправились на поиски отца. Она снова повзрослела, на ней была та же одежда, что и в метро, только вокруг щиколотки почему-то была повязана красная лента, какие обычно вплетают в волосы. «Дункан» уходил в космос, как в море. Иллюминаторы заполняла светящаяся тьма. В центре кают-компании стоял большой стол, на котором капитан Грант разворачивал карту. Лена склонилась над ней, но увидела только дождевых червей, ползущих по бумаге.

— Показывай, — сказал он.

Лена с удивлением посмотрела на него.

— Ты разве не поняла? Мы потерялись. Куда теперь?

Она снова склонилась над картой. На чистой бумаге все так же лежали дождевые черви.

— Я сплю? — спросила Лена.

— Ты сама как думаешь?

— Сплю, — соврала она.

— А что тогда спрашиваешь?

— Ну... Я же не умерла, да?

Капитан промолчал. Лена почесала правую руку.

— Что там у тебя? — спросил он.

Лена раскрыла ладонь, Грант внимательно посмотрел на сияющие точки, парящие над ней. Одна из них теперь была больше остальных.

— Интересно, — сказал он.

— Что же здесь интересного?

— Пойдем.

Они поднялись на палубу. Лена осмотрелась. Их окружал космос. Она не задыхалась, не чувствовала холода, невесомость не мешала ей передвигаться по палубе. Старинный парусник показывал себя идеальным космическим кораблем, чьи паруса, белые и хрупкие, как лепестки, несли судно, плавно покачивая. Лена понимала, что фантазирует, но это происходило как-то само собой. Она смотрела на свет, летящий во тьме, и неожиданно вспомнила деревню, где, будучи ребенком, одним жарким летним днем закрылась в сарае без окон, чтобы увидеть звезды — несколько дырочек, оставленных дрелью. И тогда, и сейчас Лена ощущала себя первопроходцем, как Фернан Магеллан или Афанасий Никитин. Пока капитан стоял, задрав голову вверх, Лена подошла к мачте и потрогала дерево рукой, в пальце осталась заноза.

— Нашел. — Капитан Грант показал вдаль.

Лена узнала сияющую точку вдали, она была такой же, как у нее.

— Летим туда. — Капитан взялся за штурвал.

— И что будет, когда мы прилетим? — спросила она.

— Ты родишься. — Грант посмотрел на нее. — Что-нибудь чувствуешь?

— Нет. А должна?

— Люди боятся смерти.

В детстве Лене очень хотелось научиться думать. Она копировала поведение размышляющих взрослых: молчала и смотрела прямо перед собой, в одну точку, но ничего не происходило. Она до сих пор помнила, как шла с мамой, держа ее за руку, и мама с гордостью говорила подруге: «Совсем взрослая, смотри — задумалась», а внутри Лены были только тишина и скука, вот как сейчас.

— Как-то это все...

— Не страшно? — подсказал капитан.

— Да.

— Вся твоя жизнь, все, что ты знаешь о себе сейчас... уйдет. Утонет в тебе, как в море. Вот это смерть.

Лену как будто обожгло. Она схватилась за штурвал. Корабль опасно наклонился.

— Ты что делаешь?!

— Нет! Мы туда не полетим...

— Ладно. — Грант отпустил штурвал. Лена встала на место капитана и направила корабль в другую сторону.

Все звезды вдруг погасли.

— Капитан! Капитан! — в панике позвала Лена, но он не отозвался.

Она стояла в полной темноте, вцепившись в штурвал и боясь упасть. От страха у нее подкашивались коленки. Когда Лена нашла в себе мужество оторвать правую руку от штурвала и раскрыть ладонь, то ей сразу бросилась в глаза огромная планета, парящая над ней. На свет раскрытой ладони из темноты вышел капитан Грант.

— Еле тебя нашел. Видишь выключатель? — показал он. — Ты его, наверное, случайно задела...

Лена заметила, что штурвал опутан пластиковым проводом, на котором болталась коробочка с выключателем. Выключатель был ей знаком, она вспомнила, что в детстве перед сном, чтобы включить ночник, пользовалась точно таким же. Капитан щелкнул выключателем, и все звезды разом зажглись. Большую часть обзора перекрыла огромная планета, к которой они стремительно приближались.

— Ты подлетела к ней с другой стороны, — констатировал Грант.

Когда они вошли в верхние слои атмосферы, корабль загорелся. Лена видела, как вспыхнули паруса. «Это все игра воображения, игра, игра», — подбадривала она себя.

— Возьми меня за руку, если хочешь, — предложил капитан. — Тебе станет легче.

Лена послушалась, его рука оказалась мягкой, уютной. Она вспомнила, что в детстве засыпала спокойно, только если вот так же держала отца за руку. Лена закрыла глаза:

— Раз, два, три...

— ...четыле, пять, — громко считал маленький Петя, демонстрируя свои знания маме.

Они только что вышли из вагона метро. Мама несла тяжелые сумки, Петя держался за одну из них, делая вид, что помогает. Станция была полна людей, они пугали, как ожившие глиняные фигурки. Он забыл, какая цифра идет следующей, и задумался, вспоминая. Кто-то грубо толкнул его, от неожиданности Петя отпустил сумку и остановился, а когда пришел в себя, мамы уже не было. Раньше он был неотделим от нее, они все делали вместе. Петя побежал, вертя головой во все стороны. Они приехали из небольшого городка, в метро он был впервые. Петя нашел два эскалатора: один вел вверх, в город, другой — вниз, еще глубже под землю. Он не знал, какой выбрала мама, и очень боялся, что она за ним не вернется. Потоптавшись у эскалаторов, Петя вернулся на место, где потерял ее. Никогда еще он не чувствовал такого одиночества. Люди все прибывали и прибывали, кружились вокруг, как секунды на часах. Время же лежало без движения, Петя чувствовал эту ни с чем не сравнимую тяжесть, но не плакал. Он пообещал себе, что не прольет ни одной слезинки, пока мама не вернется.

Подъехал еще один поезд. Петю накрыла новая волна людей. Когда они разошлись, на перроне осталась организованная группа из нескольких человек под руководством экскурсовода.

— Взрыв произошел там... — экскурсовод махнул рукой в темноту туннеля, в которой быстро уменьшался огонек удаляющегося поезда. — Четыре года назад.

Петя прислушался. Его интересовали ровесники. Он с неослабевающим любопытством рассматривал своих одногодок, пытаясь найти нечто общее у себя с ними.

— Погибли двенадцать человек, включая бомбиста, — продолжил экскурсовод. — После взрыва в полицию обратилось несколько девушек. Они рассказали, что бомбист разговаривал с ними и просил выйти из поезда.

— Спас их, что ли? — удивился полный юноша в очках.

— Ну как спас... Даже не знаю... — протянул экскурсовод. — Он по этой ветке туда-сюда катался с самого утра и скорее всего катался бы и дальше, если бы его не попытались остановить. Ну, вы знаете, был большой скандал... Руководитель метрополитена ушел в отставку.

— Можно вопрос? — спросила девушка, только что старательно фотографировавшая станцию на свой смартфон.

— Да, пожалуйста, — кивнул экскурсовод.

— Я смотрела видео в интернете, которое один из пассажиров выложил перед взрывом. Там бомбист рассказывал про свою дочь Машу. Я так и не поняла, что с телом-то? Это все потом решилось как-то?

— Что с телом, я не знаю. Этот вопрос не ко мне. Простите.

Никто больше ничего не говорил, но чувствовалось, что все задумались о чем-то своем, лежащим по ту сторону видимого мира уже известной Пете тяжестью. Общее молчание накрыло его, как черная вуаль, и тут же в голове Пети мелькнуло что-то. Он еще не знал, что такое смерть, но это была именно она. «Шесть», — вспомнил Петя.

Песня про великую Россию

«Этот день будет особенным», — подумал Женя, проснувшись с самым мощным похмельем в своей жизни.

— Евгений! — позвала его неизвестная женщина.

— Евгений! — позвала вторая.

— Евгений! Пить... — волнующе прошептала третья.

Женя не слышал своего полного имени уже несколько лет. Он с удивлением открыл глаза — рядом никого не было. Он один, и открытое окно — вот и всё. Чья-то нога в его голове изнутри ударила по глазам сапогом.

Женя встал, оделся и, только когда поднял воротник рубашки, обнаружил, что все его бабочки разбросаны по полу, порезанные ножницами.

— Дрянь! — он посмотрел куда-то в пустоту.

Накануне от него ушла жена.

В лифте по дороге на работу Женя с новым чувством повернулся к зеркалу. «Женя...» — протянул Евгений, глядя на лысеющего мужика с животом. — «Да, это я».

Женя был известным музыкальным продюсером, открывавшим новых звезд, как банки с консервированной кукурузой, — с ожидаемым и понятным успехом. Он не рисковал, его аудитория тоже. Содержание полностью соответствовало этикетке. Слушателя своей консервированной музыки он в этом смысле понимал, но не любил.

Женя зашел в приемную рука об руку с тошнотой, головной болью и головокружением. Перед ним уже высветилась взлетная полоса, ведущая на кожаный диван к стакану с виски, когда его остановила секретарша.

— Женя, к тебе пришли. — Она показала куда-то вбок.

— Здравствуйте! — послышался оттуда режущий вены женский голос.

Перспектива повернуть голову Женю не радовала совершенно, но положение его было безвыходным. Вздрогнув от боли, он посмотрел на свою гостью. Второй, нет, даже первый размер, ситцевое платье и тревога на лице.

— Завтра, — с трудом выдавил из себя Женя.

— Надя не уйдет, — ответила за нее секретарша.

Наденька подняла руку, на которой болтался браслет наручника. Она приковала себя к креслу.

— Надя очень хочет, чтобы ты ее послушал. Вот ее грамота за победу в районном конкурсе песни, — секретарша помахала перед его носом бумажкой.

Женя подставил лицо под ветерок.

— А это в областном, — продолжала секретарша, схватив грамоту побольше.

Женя зажмурился от удовольствия. Ветерок стал сильнее.

— А это всероссийская, — секретарша показала на внушительных размеров прямоугольник, стоявший у стены.

Женя недовольно открыл глаза. Секретарша протянула ему чашку кофе. От одного запаха он снова зажмурился и почувствовал себя добрее.

— Ладно, идите за мной, — сказал Женя, сделав несколько глотков.

Маленькая субтильная Наденька подняла тяжелое кресло и потащила за собой.

— Эй, куда вы его тащите? Оставьте! — возмутился Женя.

— Не могу! Они не снимаются, — в доказательство девушка подергала рукой с наручником.

— А ключ вам зачем?

— Какой ключ? — об этом она не подумала.

Подходящий ключ нашли у охранника на проходной, ее освободили, и Наденька наконец смогла зайти в кабинет Жени, где встала в позу начинающей певицы. В этой позе сквозь слезы в глазах все плывет.

— Пеня про ве... ах... ию. — Ее душили чувства.

— Что? Только не материтесь, пожалуйста. Сигарету?

— Я не курю! — Наденька обиженно набычилась.

— Ну ладно. — Женя закурил. — Минутку.

Он нажал на кнопку вызова секретарши.

— Купи мне бабочку.

— Какую? — деловито уточнила она.

— Ну, в каких я обычно хожу. Что, ты не видела?

Женя поднял глаза на Надю.

— Извините. Продолжайте, пожалуйста.

— Песня про Великую Россию!

Женя зажмурился. Тему Великой России, как табуретку, обычно использовали люди маленького или даже совсем незаметного таланта, их выступления вызывали особенно мучительную жалость.

— Вам плохо? — забеспокоилась Надя.

— Нет, все в порядке. — Он открыл глаза и потрогал нос, проверяя, не вырос ли.

Надя наклонила голову, оперлась на одну ногу и, как цапля в невидимой воде, застыла.

В детстве Жени были механические будильники, звучавшие темным зимним утром особенно жутко. Мама поднимала его сонного, натягивала холодные штанишки и тащила куда-то в ночь, против ветра, к большим белым женщинам, которые не любили его и погребали под собой целые дни, не оставляя маленькому Жене ничего целого, кроме комков в манной каше. Ему казалось, он никогда больше не услышит этот ужасный дребезжащий звук, пока Наденька не запела. Кровь из ушей, скажете вы... Но нет. Это было прекрасно. У него даже голова прошла.

— Вы очень талантливы, — сказал Женя.

— Спасибо. — Наденька покраснела.

— Я раньше не слышал эту песню, откуда она?

— Я сама написала. Еще давно, мне лет семь было.

Женя заметил, что она вдавила голову в плечи, на самое дно.

— Хорошая песня. С ней можно работать. — Женя повысил голос, чтобы Надя там, на дне, услышала его и вознеслась. — Пойдемте в студию. Мы вас запишем.

В студии Наденька еще раз спела песню про Великую Россию, кажется, даже лучше, чем раньше, после чего Женя попросил ее исполнить пару песен из репертуара других авторов. Вышло ужасно.

— Пойте свое, — попросил Женя.

— У меня только одна песня — про Великую Россию. Я ее на всех конкурсах пела.

— Может, Земфиру? — предложил звукорежиссер. — Она тоже такая...

— Сложная? — подсказал Женя, глядя на Наденьку, которая снова вдавила голову в плечи.

— Самобытная.

С Земфирой Надя тоже не справилась. Женя вышел в коридор, посмотрел в окно. Лето звучало ревом малыша, уронившего свое мороженое на асфальт. Мама обещала ему другое, но мальчику не нужно было другое, а только это, едва надкушенное и тут же безвозвратно потерянное. Из подъезда дома напротив вынесли рояль. Сверху казалось, что это кораблекрушение и он плывет, и только грузчики спаслись. В окнах второго этажа появилась растяжка с номером телефона и надписью «Продается». Там же на окнах, за которыми виднелись теперь только голые стены и кружилась пыль, все еще белели бумажные снежинки, вырезанные детской рукой.

— Евгений, — позвала вышедшая за ним Надя.

Женя не торопился поворачиваться. Он не знал, что ей сказать. У него снова заболела голова. Зачем вообще он потащил ее в студию? Сразу же было понятно, что

Надя не из его команды. У его звезд работали легкие, связки, горло. Сердце. С ними Жене было понятно, где и как рождается звук. В Наде даже это было загадкой. Спрашивается, как он может ей помочь?

Женя повернулся. Она стояла, опираясь на одну ногу и раскачиваясь как будто от сквозняка.

— Чего вы хотите, Надя?

— Спросить...

— Нет, вообще. От жизни.

— Певицей хочу быть.

— Как же вы будете певицей с одной песней?

— Я же с ней все конкурсы выиграла...

— И что дальше?

Наденька сердито засопела. У нее на глазах появились слезы. Женя преодолел желание сбежать, подошел и остановился рядом, почувствовав, что обнять не сможет.

— Надя, я не работаю с такими, как вы.

— Почему?

— С вами нужно заниматься, и не факт, что из этого что-то получится. У меня нет на это времени.

Он вернулся в свой кабинет, налил себе виски и сел за стол. На стене позади стола, там, где обычно вешали изображения царей, генеральных секретарей и президентов, у него висела фотография отца. Отец — молодой красавец, во фраке и бабочке, был запечатлен играющим на скрипке на фоне работающего экскаватора, который разрушал здание консерватории.

Тем же вечером Женя уехал в деревню. Пару лет назад он привел в порядок дом, доставшийся от родителей отца, и теперь, когда ему нужно было сбежать из города, он точно знал, где все пройдет. Деревня вокруг была старой и разваливающейся, но Женю это не беспокоило. Свой отремонтированный дом он окружил новым высоким забором. Первое время местные писали на нем гадости, портили замки и даже как-то влезли на территорию, но Женя быстро решил эту проблему. Он поговорил с участковым и за небольшую ежемесячную мзду получил полную неприкосновенность своей собственности. Помимо дома, у него был сад, спускающийся к реке, и мостки, стоя на которых он любил представлять, как ловит рыбу.

Женя поставил машину в гараж. Сидя в затихшем автомобиле, он вдруг с силой нанес несколько ударов по рулю. Женя вспомнил последнюю ссору с женой. «Ну и иди, — сказал он ей. — Иди... Иди!» И она ушла.

Женя вышел из гаража. Небо соскальзывало, держась за самые кончики трав. Быстро темнело. Проходя мимо сарая, Женя вспомнил, что его детская самодельная удочка все еще там, и возможно, когда-нибудь он возьмет ее и... Хруст. Женя повернулся на звук. Из кустов смородины на него смотрели глаза. Человеческие, испуганные.

— Выходи! — крикнул он.

Женя вытащил мобильный и зачем-то навел на кусты. Из них, неуклюже пригибаясь, выбралась девушка, одетая так, будто у нее там офис. Но еще больше его удивило, что она была чернокожей. «Афроамериканка у меня в смородине... Неужели война?» — растерянно подумал он.

— Не двигайтесь, — грозно гаркнул Женя. — Вы кто?

Девушка улыбнулась и так застыла.

— Вы кто? — повторил он медленнее, отчетливо произнося каждую букву. Женя знал английский, но применить его, стоя в саду, дома, в своей России, не сообразил. — Я — Женя, а вы...

— Маша, — ответила девушка.

— Маша?

— Маша Зарубина. Я представитель компании «Heaven»... Мы занимаемся биологически активными добавками... — Она говорила совсем без акцента.

— Не нужны мне ваши добавки! Совсем с ума сошли? — перебил ее Женя. — Я участкового сейчас вызову!

— Подождите, послушайте. Меня преследуют, я не знаю, что делать.

— Кто вас преследует? Продавцы средства от комаров?

— В конце улицы живет. Такой... в шапке.

— Стуков?!

Маша кивнула. Отношение Жени изменилось мгновенно.

— Пойдемте в дом.

Женя выбросил всю бабушкину мебель, сделал основательный ремонт, и от прошлого в его доме остались только стены. Но по ночам, ступая босыми ногами по новым полам, он все еще слышал, как скрипят старые половицы, и тут же переносился в другие ночи, гораздо более бездонные и таинственные, в которых сильнее всего он боялся разбудить бабушку. Женя и теперь останавливался и ждал, что она проснется, хотя это было уже невозможно.

— Я приехала сегодня утром, — сказала Маша, присаживаясь на диван. — Сразу по дворам пошла, стала показывать товар.

— Покупали? — Женя устроился в кресле.

— Americanskie biodobavki «Heaven» ostanavlivayut protses stareniya, — сделала серьезное лицо Маша, заговорив по-русски с акцентом. — Конечно! Я изображала американку, и мне верили.

— А вы?..

— У меня мама русская, а папа из Кении. Вообще я актриса. — Маша кокетливо улыбнулась. — Просто сейчас без работы, вот и приходится... Давно вы носите бабочку?

Женя растерялся. Он не ожидал такого вопроса.

— Давно, а что?

— Просто вы ее все время поправляете... Как будто, ну не знаю...

— Эта новая, еще не привык.

Женя подошел к бару.

— Виски? — предложил он, взяв стакан.

— Воды, если можно.

Женя вернулся к Маше, неся воду и виски. Он подсел к ней на диван.

— Спасибо. — Она взяла бокал. — Эти добавки действительно полезные. Не останавливают, конечно, а замедляют процесс старения. Ну там... укрепляют, поддерживают и все такое. Я их сама пью, мне же уже 26, сами понимаете...

Женю завораживала и волновала черная-черная Машина кожа... Он скользил по ней взглядом, как серфер.

— Что? — прослушал он.

Маша поймала его взгляд и поспешила встать с дивана.

— Я говорю, я толком и не обманывала. Так, чуть-чуть.

Она прошлась по комнате, встав за спиной у Жени. Он не двигался, понимая, что невольно оттолкнул ее, и не желал усугублять ситуацию.

— Стукову вы тоже что-то продали? — спросил Женя.

— Он бо́льшую часть товара взял.

— Ну вы даете...

— Я же не знала! — Маша снова принялась ходить по комнате. — Он так меня слушал, вопросы задавал. С виду нормальный. Только шапка эта... лето же... А потом с ножом прибежал. Я ему сумку свою бросила. Деньги, говорю, возьмите, только не

убивайте. А он все равно... Ну, я и рванула от него. Теперь у меня ни денег, ни телефона, ни документов... И ключи от машины тоже в сумке остались. А вы с ним хорошо знакомы?

Когда еще совсем маленький Женя впервые приехал погостить в деревню, Стуков уже тогда постоянно ходил в шапке и был главным деревенским хулиганом. Бабушка запретила Жене общаться с ним. Она сказала, что под шапкой он прячет рога, маленькие, такие под тканью не разглядеть, и почему-то именно эта их незаметность потрясла Женю до самой глубины души. С того момента он избегал Стукова.

— Ну так... — неопределенно ответил Женя.

— Вы же соседи.

— Что с того?

— Мне показалось, что вы его знаете.

Женя промолчал.

— Вы не против, я схожу в душ? — спросила Маша.

— Идите, конечно, — Женя снова подошел к бару. — Прямо по коридору, первая дверь.

— Не закрывается! — крикнула она из ванной.

— Не бойтесь, я не зайду.

— Обещаете?

— Обещаю, вы в безопасности.

Маша включила воду. Женя прислушался, представляя, как прозрачные капли катятся по ее черной-черной коже, но удовольствия это ему больше не доставляло. Он выпил еще, потом еще, потом стал выше, сильнее и, послюнявив палец, стер свою виноватую улыбку с зеркала.

Позвонили в ворота. Женя выглянул в окно. За воротами стоял Стуков, как всегда в шапке, за ним виднелись еще люди. Женя достал мобильный, нашел номер участкового, но звонить передумал. Прямо по коридору, за первой дверью, все еще лилась вода. Женя прислушался и решил выйти сам.

— Сейчас! — крикнул Женя, хлопая дверью во двор.

До ворот оставалось всего несколько шагов.

— Давай, открывай! — рявкнул Стуков из-за ворот. — Ну!

Женя открыл ворота и включил освещение во дворе, так что пришедшие в один момент ослепли.

— Что пришли? — спросил Женя.

— Черная где? — Стуков шагнул вперед.

— Кто?

— Кто слышал. Баб Таня видела. Она к тебе через забор перелезла.

Люди позади Стукова зашумели.

— Тихо там, — в полоборота прикрикнул он. Его послушались.

— Зачем она тебе? — Женя пожалел, что не позвонил участковому.

— Не твое дело. Сюда ее приведи. Я жду.

— Нет.

— Что нет?

— Не приведу. Сначала скажи, зачем.

Стуков оторопел. Рука, которой Женя держал ворота, стала соскальзывать от пота, он стоял и думал, что теряет драгоценное время — еще можно было извернуться и захлопнуть ворота, добежать до телефона и вызвать участкового.

— Хорошо, — наконец, процедил Стуков. Он достал из кармана баночку биодобавок и протянул Жене. — Вот, Хеавен. Она народ травить приехала.

— Травить? — Женя открыл баночку и высыпал несколько таблеток на ладонь. С авторитетным видом понюхал.

— Дурак, что ли? — Стуков ударил его по руке с таблетками. Таблетки полетели на землю. — Банку отдай! У меня мать от них умерла! Сегодня. До больницы не довезли.

— Твоя Катерина Степановна — долгожительница, ей сто...

Стуков схватил Женю за горло.

— Ты что, с черной заодно? Да, выродок?

— Но она же...

— Перетравят нас, а ты и рад? Ты же наш, русский... Думаешь, забор поставил и все, типа, отдельно?

Люди позади Стукова снова зашумели. Они призывали убить Женю, потому что он:

— Подонок!

— Урод!

— Фашист!

— Никто твою мать не травил. — Женя уже хрипел. Стуков сдавливал ему горло все больше и больше. — Она сама умерла. Сто два года ей, ну куда?..

— Нет! — Стуков весь трясся от бешенства. — Нет! Она бы и дальше жила!

— Ты-то откуда знаешь? — Женя держался из последних сил. — Ты даже школу не закончил!

Стуков был готов убить Женю, но вдруг остановился. В полной мере осознав свою власть, он разжал руки и отпустил его.

— Знаю. Она моя мать.

Женя схватился за горло, закашлялся.

— Люди не могут жить вечно. — Он поправил съехавшую набок бабочку. — Общеизвестный факт.

— Ты в Бога веришь? — спросил Стуков.

Зазвучала полицейская сирена. Люди позади Стукова бросились врассыпную. К воротам подъехала машина участкового. Когда он вышел, надев форменную фуражку, стало видно, что на нем поношенный спортивный костюм и шлёпки.

— Кто тут Маша? — спросил участковый, глядя на Женю и Стукова.

Маша осторожно высунулась из окна, держа в руках телефон Жени.

— Я — Маша. — Она показала на Стукова. — Вот он угрожает! Сумку мою забрал, деньги там, документы.

— Я понял. — Участковый повернулся к Стукову. — Ну, и что это опять? Может, посадить мне тебя уже? Лет на пять, чтобы не путался под ногами?

— Начальник, ты чего? Это она виновата! Она мать мою убила! — Стуков бросил на Машу полный ненависти взгляд.

— Я?! — Маша выронила телефон. — С ума сошел?

Участковый заломил Стукову руку за спину.

— Знаю я тебя. Пошли к машине.

— Начальник, я не виноват...

— Стой, отпусти, — остановил участкового Женя и протянул руку Стукову. — Давай Хеавен.

Стуков хмуро отдал ему баночку биодобавок. У него на глазах Женя высыпал оставшиеся таблетки себе в рот.

— Воа есь?

— Вот только... — Участковый достал из кармана початую чекушку.

Женя махнул рукой, взял бутылку и сделал большой глоток.

— Фу... На вкус как земля... Сушит, — скривился он. — Ну, чего теперь скажешь, Стуков? Видишь, живой я.

Стуков снял шапку и вытер ею вспотевшее лицо. Рогов под шапкой не оказалось.

— Как же это...

— На. — Женя протянул ему чекушку. — Помянем.

— Совесть-то имейте! — возмутился участковый.

— Езжай домой. — Женя дал ему несколько помятых купюр.

— Ну ничо себе, выдернули ночью человека... — возмутился участковый, но деньги взял.

— Эй, вы куда?! — крикнула ему Маша, заметив, что он уходит. — Куда он?

Она посмотрела на Женю. Тот показал ей большой палец. Мол, даже не думай в этом разбираться — все хорошо.

Стуков протянул ему свою шапку.

— Шапку надень.

— Зачем? — удивился Женя.

— Мама моя так говорила.

Женя надел его шапку:

— Жарко...

— А то, — сказал Стуков. — Можешь оставить себе.

Он допил водку и, оставшись стоять с запрокинутой головой, посмотрел в темное небо. Скоро Стуков расправил руки, как крылья, но так и не взлетел.

— Нет, — сказал он.

— Что нет? — спросил Женя.

— Ладно. — Стуков опустил руки. — Так пойду.

Он пожал Жене руку и скрылся во тьме.

— Он ушел? — спросила Маша, осторожно выйдя во двор.

— Да.

Женя по-прежнему стоял в его шапке, чувствуя, что она все-таки защищает от холода, на который обречен человек, оставшийся один.

— Вы мой герой. — Маша поцеловала Женю.

Ночью Жене снились тяжесть, махина, ужас. Они были гораздо больше экскаватора для сноса зданий. Физически непобедимые. Проснувшись утром, он вспомнил жену. Уходя, она кричала, что Женя — слабак, бабочку носит и сопли жует, мужчины такими быть не должны. Видела бы она его вчера...

В соседней комнате что-то скрипнуло. Женя неслышно встал и осторожно приоткрыл дверь. Маша тихо накрывала на стол, она ходила на цыпочках.

После завтрака позвонили в ворота. Стуков оставил Машины вещи аккуратно сложенными на земле, а сам поспешил уйти. Об этом Жене доложили соседи, которые без шапки не сразу признали главного местного хулигана, доложили вежливо, со всем уважением — «вы послушайте сюда, Евгений Михайлович» — вспомнив его отца, тоже родившегося здесь. Провожая свою экзотическую гостью до машины, которую она оставила в конце улицы, Женя снова оказался в центре внимания соседей. Когда Маша обняла его на прощанье, он не без удовольствия представил, что именно о нем думают теперь. Она провела ночь в комнате для гостей, на втором этаже, в башне за листьями яблони и речным туманом, в которую он мог бы подняться к ней, но так и не поднялся.

— Да? — Женя ответил на звонок, глядя, как над автомобилем Маши поднимается столб мягкой теплой пыли.

— Надя все еще здесь, — пожаловалась секретарша.

— Какая Надя?

— Вчерашняя — какая. Ее вывели из здания, но она не ушла. Ночевала на ступеньках. Говорит, тебя ждет.

— Я пока не хочу возвращаться. Объясни ей, что я в отпуске.

— Уже пыталась. Не слушает.

— Ну, я не знаю... Полицию вызови...

— Женя!

— Ладно, я приеду.

Он вернулся в город. На подъезде к Кремлю запахло краской. Женя поспешно закрыл все окна. Он забыл, что Кремль перекрашивают в белый и все вокруг жалуются на головокружение и тошноту. Когда разбирали мавзолей и перевозили мумию Ленина в Третьяковку, все тоже жаловались. Трудившиеся в ночные смены рабочие не убирали за собой, и по утрам после них находили шелуху от семечек и оторванные пальцы. Размышляя в таком ключе, Женя подъехал к офису. Сидевшая на ступеньках Надя встретила его усталым взглядом.

— Сидишь? — спросил Женя, выйдя из машины.

— Сижу.

Женя закурил.

— Курить вредно.

— Да, я знаю.

Женя сел рядом.

— Грязно, — предупредила Надя.

— Ничего.

Женя по привычке потрогал нос.

— Слушай... Послушайте, Надя, но ведь так же нельзя...

— Вы должны помочь мне.

— Мы ведь это уже обсуждали. Я бы работал с вами, но у вас всего одна песня, и та... Вы хоть помните, как ее написали?

— Вам официальную версию или правду? Я на конкурсах, если спрашивали, говорила про отчий дом, речку...

— Мне правду. — Женя поправил бабочку.

— Папа с мамой ругались сильно. Он выпивал, поздно приходил, и они кричали друг на друга, даже до драк доходило. Я решила, что, если напишу эту песню, они услышат меня, перестанут ссориться и все поймут.

— Перестали? — спросил Женя.

— Нет.

— Как вам моя бабочка?

Надя внимательно посмотрела на Женю и сказала со всей серьезностью:

— Вы в ней какой-то дурак...

— Понятно. Спасибо.

Женя снял бабочку и бросил в мусорку у входа. Не попал. Он встал, поднял ее и бросил снова.

Надя осталась сидеть, жмурясь на солнце.

— Сооолнышко слепит глаза... — вдруг запела она.

— Это вы мне? — спросил Женя.

— Сочиняю, — невинно ответила Надя.

— Хорошо, — оценил он. — Это правда, хорошо. Поднимайтесь в студию. Я задержусь здесь. Мне еще нужно позвонить жене.

Зоя Межирова

Молчанья разговор

Зима Арбата

По тёмным улицам — огни, метель и дым...
Сжимаясь, ёжиться под холодом седым.
Едва выглядывать из-за воротника,
Из глубины себя, почти издалека.

Весь мир иной, когда здесь летний свет и зной.
Мои владения — раскинулись зимой.
Мои снега — заволокли земной простор.
Моя звезда — алмазом льда глядит в упор.

И вот желтеют в снегопадах фонари.
Метут метели от зари и до зари.
Опять зимы глухой медлительный затвор.
Блаженство белое. Молчанья разговор.

Оно слепит и никого в себя не ждёт.
Собою полнится. Само в себе поёт.
Его безмолвие сияет тишиной.
Метель стеной. Особняков бесшумный строй.

По тёмным улицам — на стынущий Арбат!
Он рухнул в сны и никому ни сват ни брат.
Отгородился ото всех, беззвучно тих.
Нам хватит с ним зимы затвора на двоих.

Лишь фары выхватят летучий снежный прах.
Остывшей платиной беспамятство в словах.
По тёмным улицам — огни, метель и дым...
Одни огни, метель и дым... метель и дым...

Межирова Зоя Александровна (печаталась также под псевдонимом Зоя Велихова) — поэт, эссеист, историк-искусствовед. Дочь поэта Александра Межирова. Родилась в Москве. Окончила отделение искусствоведения МГУ. Автор трех поэтических сборников. Живет в Москве и в штате Вашингтон (США).

* * *

Памяти Ярослава Смелякова

Российский национальный поэт —
У этого звания два крыла —
Величье бед и свершенье побед, —
Воспевший, сгоревший дотла.

Не нажил детей, не осталось вдовы.
Лишь стих над промозглым провалом парит.
В ненастье для исповедальной строфы
Неслышим. Почти что забыт.

И как в параллельном ином бытии,
Оглохших проспектов драконий полёт.
И мёрзлые губы шуршат: — Погоди,
Ещё твое время
придёт...

За пределами слуха

Из чёрных струй, из мглы кромешной...
Евг. Евтушенко

Мрак слепит оглушительно яростью ночи,
Как язвит она своим жалом!
Хорошо, что бабочка пролетела,
А не рысь пробежала.

Никого. Лишь кромешная мгла ночная.
Травы стелются сухо.
Неожиданно — дальний неясный шорох
За пределами слуха.

Может, просто почудилось?.. Воздух чёрен.
Тёмный отзвук всё глуше...
Туже слуха кривое лассо затянулось,
Расстоянье всё уже.

Чутких странных пространств, обступивших вплотную,
И реальности тренье...
Может много тайного приключиться
За пределами зренья...

* * *

Не жалуйся
И ни о чем
Не вздыхай.
Сегодня Господь
Нам показывал Рай.

В блаженстве
Зелёных лугов
Тишина.
И с солнцем
На небе
Чуть в дымке луна.

И Эмили Дикинсон,
Платьем
Шурша,
По медленным
Травам
Прошла не спеша.

Блаженство...
Безмолвно
Шептала Земля.
И пели
Беззвучно
Псалмы тополя.

Вот здесь, —
А не только
В обители грёз,
Все так и должно быть —
Ни горя,
Ни слёз,

И чтобы —
Ни гула войны
Сквозь часы,
Лишь бомбардировщик
Настырной
Осы,

Чтоб медлила
С мглою
Игра в поддавки,
Лишь —
Взмах волейбольный
Прицельной руки,

Не след
Баллистических
Мёртвых ракет, —
А млечных ромашек
Трепещущий свет.

* * *

Мерцает плотное стекло
Пустых ночных дверей.
Хрустален дом и свет его —
Хоть в озеро пролей.

Оно совсем невдалеке
Водой не шелохнёт,
Веля задумчивой строке
Не убыстрять полёт, —

Веля, чтоб выразить, слепя,
Всю эту ночь и свет, —
Пройти сквозь них, забыв себя,
Их тишине в ответ.

Игорь Корниенко

Улыбки

Рассказы

Половица в небо

Баку! Городу, который во мне!
С надеждой на возвращение!

Дед крестился, когда над ним пролетал самолет. Сплевывал.

— От греха подальше, — говорил и не смотрел вслед улетающей машине.

Ему с детства снились такие летающие «распятия».

— В послевоенной-то, голодной жизни одна надежда на сны была, но и тут я не сыскал покоя, — подвыпив, жаловался дед. — Из ночи в ночь стальные Христы так буравили голову, что желудок от страха сводило. Кресты с неба, будто дождь, сыпались с дымом и огнем. А ведь еще старики наши говорили: настанет время, когда люди начнут падать с неба. И вот началось...

Дед боялся неба. Грома боялся. Бабушка шептала, что это с войны все:

— Мальчишкой дед под бомбежку попал, вот и страх в нем засел.

Ребятишками внуки разделяли страх деда. Повторяли за ним. Крестились, когда над деревней гудела железная птица, плевались через левое плечо и не смотрели самолету вслед. Только Поля, помнится, однажды все ж взглянула.

— Случайно вышло, — оправдываясь, плакала потом она. — Показалось, он за горой уже скрылся.

— Когда кажется, креститься надо, — ворчал дед и замахивался каждый раз теперь на младшую внучку, когда с неба слышался знакомый гул.

До самой смерти деда Полина боялась даже мельком взглянуть на небо.

— А вдруг самолет этот птицей притворится, а как только гляну, снова железным станет...

Дед умер, когда Поле было пятнадцать. До совершеннолетия и получения паспорта в городском паспортном столе внучка носила черный платок — траур по деду.

После смерти деда ей и достались в наследство его сны.

Кресты — черные, блестяще-стальные, разноцветные — с монотонным гулом плавно рассекают голубые небеса, пронзают кучевые облака, разрезают их на лоскуты. Прячут под своей плотью солнце. Небо взрывается в клочья от миллиардов крестов, которые возникают из ниоткуда и падают один за другим на землю. От грохота взрывов и жара огня Полина просыпается. Дрожит всем телом, крестится.

Игорь Корниенко — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат премии В.П.Астафьева (2006), премии «Золотое перо Руси» (2005), специального приза жюри международного драматургического конкурса «Премьера 2010», лауреат литературного конкурса им.Игнатия Рождественского (2016). Живет в Ангарске Иркутской области.

— А людей, людей ты видишь? — спрашивал брат, выслушав очередной сон сестры.

Девушка не могла вспомнить.

— На самолетах этих люди же летают, они пустыми не летят.

И Поля вспоминала:

— Однажды было. Только было слышно, как они кричат. Люди.

Разве с такой высоты упав, живым останешься?

Брат Клим Поле отвечал:

— Всяко бывает...

Потом она влюбилась. В электричке до города вместе с ней в техникум легкой промышленности ездил чубастый Гриша. За год учебы изредка здоровались, а потом вдруг она стала видеть его в своих снах. И он, как позже оказалось, видел каждую ночь только ее, пребывая в царстве Морфея. Любовь возникла. Он старался сесть в электричке рядом, если удавалось, платил за нее. Они стали договариваться о совместных обедах, он дарил ей шоколадные конфеты, а по вечерам Гриша провожал Полю до дома.

— Ты летал на самолете? — спросила она его как-то зимним вечером, когда они возвращались с последней электрички.

Придерживая девушку за локоть, Григорий чувствовал опаляющий его жар любви. Она куталась в свой полушубок, пряча острые скулы в шерстяном шарфе, он шел — пуховик нараспашку, в подтверждение великих слов, что любовь греет. Падал снег, они дышали морозным дыханием друг друга.

— Нет. Пока нет. А ты?

Остановились у дома с темными окнами. Они вторую неделю так поступают. Это их маленький ритуал. Только их двоих. Он легонько наклоняется к ней и целует. Она отвечает ему приоткрытыми губами.

— Только во сне, — шепчет Полина и прячет глаза в глазах друга. — На небо до сих пор смотреть без содрогания не могу. Дедушку вспоминаю.

Гриша знает всю историю с самолетами и поэтому обнимает ее сильней, прижимает, стараясь сквозь толщу зимних одежд услышать сердце. Сердце к сердцу.

— Теперь я с тобой, и ты можешь смело смотреть на небо. Оно звездными ночами просто божественно.

Она кивает. Она соглашается с ним. Она смотрит на небо, подняв глаза, прячась за его плечом. Она говорит:

— Ты только со мной смотри.

Он снова целует ее и клянется:

— До самой смерти так и будет. Только с тобою смотреть на небо будем. Ты и я, и небо. Втроем.

И темные небеса, и бесчисленные звезды слышали клятву эту. Тихим морозным вечером в начале нового десятилетия.

Про говорящую половицу-предсказательницу Поля знала с раннего детства. Она видела не раз, как дед осторожно, не дыша, почти на цыпочках ступал по ней. Прикрыв глаза в ожидании ответа на вопрос. Доска в два шага ответила ему, и дед довольно вынул папиросу, прикурил.

— Вот шальная, — ухмылялся, — ведь все как есть рассказала. Глава дома — половица наша. Стража.

Половица под желтым абажуром в зале и по цвету отличалась от остальных. Стертая частыми вопросами, она блестела в свете одинокой лампы и была похожа на раскатанную ледяную дорожку, ведущую к двери из дому. Дед прятал чудо-половицу под узкий коврик из лоскутков.

— Бабке вашей специально велел такой связать, — рассказывал, — чтобы попусту не шастать по матушке-половице. А кого за безобразием таким поймаю, шкуру спущу.

Поля перед экзаменами в восьмом классе первый раз спросила у половицы ответа. С братом они убрали цветастый половик. Половица, казалось, светилась в сумерках вечера.

Девочка спросила про экзамены.

Прошла, расставив руки в стороны, словно над пропастью, прошла. Половица скрипнула под ней.

— Да, — озвучил ответ половицы брат, — значит, все сдашь. Все экзамены.

Полина радостно захлопала в ладоши, запрыгала рядом, заверещала весело и звонко:

— Я б ее расцеловала.

— Так расцелуй, — ответил Клим и накрыл предсказательницу.

— Почему она про то, что мамка с батей под поезд попадут, не знала, а?! — рявкнул вдруг он. — Почему?!

Поля растерялась сначала, перестала хлопать, собралась с мыслями.

— Так не спрашивал никто про это.

— Дед с бабкой о хорошей жизни всегда нам говорили, мол, половица всю жизнь им рассказала, и что?! Где наши родители?! У!

Он стукнул босой пяткой об пол. По половице. Полина взвизгнула. Клим вертел головой — смотрел на лоскутный радужный коврик, на ногу, в испуганные глаза сестры.

— Ты это тоже слышала? — Голос его дрожал.

Девочка кивнула.

— Она мяукнула, — сказала и, зажав рот ладонью, выбежала.

Брат отпустился на корточки, убрал коврик, выдохнул:

— Прости меня. Я не со зла. Я и не думал, что по тебе попаду ногой.

Он погладил рукой окрашенную красно-коричневым лаком доску.

— Конечно, ты не знала про аварию, ты же доска. Это дед сумасшедший да Полька, его любимица, думают, что ты что-то знаешь... Будущее. Но мы-то с тобой знаем, что ты всего лишь скрипучая доска. Скрипишь, когда тебе вздумается, а дед верит, что ты раскрываешь ему секреты бытия. Так и живет с твоим скрипом...

Клим остался за главного в доме, когда умер дед, а следом за мужем ушла бабушка. Они всю жизнь прожили вместе, и смерть не разлучила их надолго.

— Если люди не смогли, то смерть и подавно не сможет, — умирая, радостно говорила бабуля и целовала внуков, и велела жить в согласии, и мертвых не забывать, и половицу... — Главное, не мой половицу половой тряпкой, — наказывала внучке, — лучше фартуком или подолом юбки аль халата протирай, тем, что на тебе надето будет. И крестить не забывай. Дед всегда так делал.

Бабушка умерла с улыбкой, дед ее уже там заждался. На прощание бабуля вымыла пол, подолом фартука протерла половицу. Поцеловала ее.

— По тебе, родненькая, дед ушел, ты и меня проводи в путь с Богом, — сказала, легла у половицы и встретилась с дедом.

Через полгода Клим женился. Поля с невесткой Ольгой быстро сдружились. С Ольгой девушка во второй раз испытала пророчащую половицу.

На носу последний месяц учебы в техникуме. Григорий в армию уходит. Кольца обручальные купил. Вот и возник вопрос у Поли:

— Выходить замуж или обождать?

Зажмурила глаза Полина, руки опять, как в первый раз, расставила и прошла быстренько к двери. Половица скрипнула — «да».

На этот раз девушка не хлопала в ладоши и не прыгала, посмотрела на Ольгу. Женщина повела плечами.

— Замуж, значит, что ли?..

Полина лишь ахнула.

Ольга подошла, приобняла девушку, успокоила:

— Кольцо возьми, а распишетесь, когда с армии вернется. Любишь же его или как? Дождешься из армии-то?..

Поля заплакала.

Гриша писал письма каждую неделю.

Писал: «Здесь на юге просто рай. Отслужу, так здесь останемся. Вышлю тебе денег и приедешь. Ты море не видела — оно как небо. Тебе понравится. И мы будем вместе смотреть на него. Как на небо. Здесь такие фрукты, что сроду не увидишь. Не попробуешь. Фейхоа — зеленая такая ягода, на помидорину похожая, а на вкус как мед, просто ум съешь какая вкуснятина. Ты обязательно должна приехать, попробовать. Что тебе с братом дом делить? Я здесь дом построю...»

Поля писала в ответ, что приедет, что они будут вместе смотреть на море и есть сладкую фейхую. Что ждет с нетерпением окончания службы и когда он позовет ее. И в конце всех писем приписывала — «только лишь у половицы разрешения спрошу».

Ей стало сниться море. Не спокойное. Бушующее, порой доводящее себя до цунами море.

— Из-за фильмов все, насмотрелась, — утешала Ольга и гладила свой большой, на шестом месяце, живот, — мне вечно все, что по телевизору увижу, ночью приснится. То Крюгер этот с когтями за мной будто бегает, а на днях этого, как его, здоровый такой? Шварцнейгера вот видела, ага, раздетого. Голого до стыдобы. И он такой, ко мне, значит, с вопросом, дескать, как до речки Засранки добраться, мол, до нашей. А сам весь голый и такой спокойный, ага, до речки ему надо. Ну, а я и отвечаю ему, говорю: «Вы, Арнольд Батькович, зря хозяйством своим на ветру болтаете. Простудите. И не по бабам, и не до купанья будет». А он мне рукой так, значит — отвали, и пошел, откуда пришел.

Смеется Полина навзрыд, до слез, и Ольга ей вслед:

— Главное, хозяйство у него с гулькин нос. Сразу видать — заграничный, не русский мужик.

Полина работала в столовой кассиром, тетка знакомая пристроила, когда закончился срок службы Григория и пришел денежный перевод на ее имя. И письмо, в котором жених подробно описал, что нужно сделать Полине. А сделать нужно было одно, самое главное — поехать в город и купить билет на самолет в один конец.

«Вещи бери только на первое время, только летние и самые нужные. Здесь не Сибирь, и снега почти нет. В аэропорту встречу. Как возьмешь билет, закажи переговоры, помни про разницу в часах...»

Она опять плакала в письмо. Но на следующий же день поехала за билетом.

Сделала все, как наказал Григорий. Через три дня, за час до назначенного времени была в телеграфе, смотрела на людей в телефонных кабинках и думала о море и фейхоа.

— Баку, пятая кабинка, — раздался женский голос, — кто заказывал Баку?! Пройдите в пятую...

Поля была уже там и уже кричала в трубку:

— Лечу! Лечу! Лечу!

На самолет Полину собирали всей деревней. Соседка баба Ганя принесла соленья. Со столовой кухарки надавали пирогов три куля. Подружка принесла с церкви молитву на дорогу, велела пришить к лифчику у сердца. Ольга — в одной руке ребенок, другой собирает в чемодан самое необходимое...

И только за полночь Полина наконец подошла к половице. Уверенная в ответе, она твердо спросила

— Лететь?

Прошла, схватившись руками от волнения за горло. Ольга с младенцем и Клим стояли в дверях. Половица скрипнула под девушкой два раза.

«Нет».

— Нет!.. — простонал Клим. — Ты же не собираешься не полететь?

Ольга, молча, укачивала малыша. Полина стояла перед ними, все еще держась за горло. В ушах шумело, слезы давились в горле и выступали на глазах.

— Нет, — шепотом сказала она.

— Давай пройди еще раз, — велел брат, — давай.

И сестра прошла еще раз. И половица снова проскрипела два раза.

Руки отпустили горло, повисли.

— Это твоя жизнь, — сказал брат.

Сестра в ответ кивнула.

— У деда крыша съехала, вот он и слушал деревянную палку, так и помер с ней... Ну, а ты-то чего?.. Не в восьмом классе...

— Она тогда скрипнула один раз, — тихо ответила Полина, — один скрип значит «да», два скрипа... Как дедушка учил...

Клим подскочил к сестре, схватил за плечи, встряхнул.

— Это половая доска, — прошипел ей в лицо, — она не вправе решать за тебя, как поступать. Ты что? Опомнись. Мы взрослые люди. Давай, вот давай я по ней пройду. Вот смотри. Смотрите! У меня вопрос: «Моего сына зовут Игорь?»

И он прошел по половице, которая под ним тонко скрипнула.

— Правильно, — прошептала Ольга чуть слышно.

— Стоп, стоп, — попятился мужчина, — я просто тяжелее, вот она и скрипнула только раз.

Полина всхлипнула.

— Давай подождем, Клим, может, мне еще рано? Лететь. Давай подождем...

Брат не ответил.

Она повторила:

— Слышишь, Гриша, каждый день буду спрашивать половицу. Каждый божий день. И рано или поздно... Нет, я верю — она разрешит. Скоро. Очень скоро.

Из трубки в ответ лишь треск и тяжелое дыхание.

— И я сразу же возьму билет и прилечу. Не молчи только, прошу. Ты меня убиваешь.

— Половица, значит... Все дело в ней.

— Гриш...

Мужчина сказал:

— Я постараюсь. Я стараюсь, Полина. Очень.

— Ты не должен один смотреть на небо и на море. Не должен. Ты же клялся, помнишь?! Только вдвоем. И фейхую эту без меня не ешь, слышишь?! Пообещай...

— Фейхоа, — поправил он.

— Ну, да, фейхуу... Гриш. Дорогой. Разлука ведь только укрепляет чувства...

— Так третий год пошел, Поля!

От неожиданно резкого голоса девушка выронила трубку. Схватила.

— Алло, алло...

Далекие, давящие гудки и ничего больше...

— Каждый божий день, — сказала в трубку она.

Больше на переговоры Григорий не приходил. Перестал писать письма и отвечать

на срочные телеграммы. Поля терпеливо писала, ждала на переговорном пункте, молилась...

Стало ритуалом утром, в обед и вечером проходить по ненавистной половице. Поля с каждым разом все сильней ненавидела эту скрипучую деревяшку. Море ей теперь не снилось, вновь по небу летели стальные распятья и падали, разбиваясь о землю.

Ольга ходила беременной вторым. Клим терпеливо ждал. После того как Поля в десятый раз неправильно выбила кассовый чек, заведующая столовой добродушно попросила написать заявление по собственному желанию.

— И Полечка, — говорила заведующая, — поезжай к своему уже. Ты себя так в могилу загонишь. Похудела вон как — кожа да кости. Никого не слушай, слушай свое сердце, оно не обманывает. Не подведет. Я тебе за весь месяц получку дам, ты поезжай. Больно смотреть, как ты терзаешься. Поезжай.

В обед половица скрипнула два раза. Девушка сдержалась, чтоб не прыгнуть на доску двумя ногами, да со всей силы.

Вечером она пришла к половице с гвоздодером.

Стояла под желтым плафоном с железкой в руках и громко спрашивала:

— Мне лететь? Лететь?!

И про себя уже решила, что последний раз спрашивает, что разнесет эту гребаную половицу в щепки, если та скрипнет...

Половица не скрипнула. Ни разу.

Девушка прошла еще.

Ни звука. Прошла еще. Половица не скрипела. Выронила из рук гвоздодер. Инструмент бабахнул об пол. Поля разъяренно пнула его босой ногой, разбив пальцы в кровь, ноготь на большом сразу почернел, но Поля не почувствовала ни капли боли. В приступе ярости она сбила желтый плафон, руками схватилась за горячую лампочку и сжала ее. Лампочка взорвалась, в темноту погрузилась комната. Ни плача, ни скрипа, ни звука. Ни дыхания.

В этот раз на самолет ее никто не собирал. Ольга болела животом, Клим пообещал лишь проводить в аэропорт.

С того вечера половица так и не скрипела.

И брат по ней ходил, и невестка. Поля боялась.

— Она умерла, — говорила себе девушка, — как дедушка, как мама с папой, как бабушка... Она умерла...

Молчание половицы вынудило Полину самой принять решение всей жизни, и девушка решила:

— Лечу.

В ночь перед вылетом увидела во сне деда. Он стоял в огороде и смотрел на небо. Было пасмурно. На небе серо-черными полосами тучи. Дед грозил небу кулаком и сплевывал. И тут она услышала скрип. Дикий, стонущий, всеразрывающий скрип. Скрип небес.

— Дедушка! — услышала она свой крик. И рухнули на них небеса. Со скрипом и скрежетом...

— Это сон, это сон, — говорила Полина, но не просыпалась.

Сходила на кладбище к могилам родных. Поставила всем новых цветов, налила свежей воды. Попрощалась.

На могиле родителей поплакала. Попросила прощения. Пообещала не забывать. А позволит Бог, вернуться.

— Это мое решение, — говорила на могиле деда, — сама приняла. Так и жить теперь буду. Все сама решать... Как смогу. На сколько хватит...

До аэропорта довез приятель брата. Брат всю дорогу молчал и в аэропорту заговорил, только когда объявили ее рейс:

— Ты правильно делаешь сестра, — сказал, — давно пора. Я рад, что все так получилось.

Сестра посмотрела на брата.

— Что?..

— С половицей и вообще.

— Она замолчала из-за меня. Это я виновата.

Клим кашлянул, отвел от девушки взгляд.

— Не ты. Я.

— Нет. — Поля взяла ладонь брата, поцеловала. — Я. Я пришла к ней с гвоздодером. Я предала наших стариков. Дедушку...

— Ох, сестренка.

Они обнялись.

И Клим сказал:

— Я поменял половицу.

И шум аэропорта исчез. Стало тихо, словно Полина оглохла. Она слышала, как дышит брат и как она говорит, тихо так говорит, спрашивает:

— Поменял?..

Брат отвечает:

— Поменял. Теперь у нас пол одного цвета. Ровного. Та же доска вся истерлась до блеска, треснула пополам, вот и скрипела невпопад... Пришлось, сестренка.

— А что с той половицей? Говорящей?..

— Говорящей, — усмехнулся Клим, — скажешь тоже. На дворе сжег вместе с мусором, куда ее, не хранить же...

Снова объявили рейс на Баку.

Брат и сестра стояли в обнимку и молчали еще пару минут, потом Клим сказал:

— Пора.

Полина сказала:

— Да.

— Не боишься лететь? — спросил брат, когда Поля прошла регистрацию.

Сестра мотнула плечами:

— Теперь уже нет.

— Что значит теперь?

— Без половицы.

Брат, не понимая, все же кивнул.

— Дед наверняка сейчас за тебя боится, — усмехнулся Клим.

Полина промолчала.

Прощались недолго. Полина была последней. Опаздывающей. Поцеловались наспех, успел только брат рассмотреть слезинки в глазах сестры и крикнуть вслед:

— С Богом.

Она шла по мокрой взлетной полосе и не верила глазам, блестящая от росы полоса была не полосой — половицей.

«Брат не сжег ее с мусором. Вот она».

Полина прошла по половице к гудящему бесконечно-серебристому самолету, где у трапа ее ждали двое. Их лица были знакомы, но девушка не могла никак вспомнить, откуда она их знает, где видела...

«Словно лица из семейного альбома. Лица со старых фотографий».

Она протянула посадочный талон женщине. Мужчина рядом улыбался.

«Я точно их знаю».

Поля осторожно поднялась на первую ступеньку трапа, а дальше пошла по все той же половице, красно-коричневой половице, которую, как велела покойница-бабушка, никак нельзя вытирать тряпкой, а ласково протирать подолом халата...

— Фейхоа, — улыбалась знакомым лицам она, — фейхоа.

Кошачья косточка

У кошки не было ни одного белого пятнышка. Сплошная чернота. Язык — и тот черный лоскуток. Только глаза в темноте блестели фосфорно-зеленым.

Кличка кошки была Легион, потому что кличек у нее было много. Например, баба Зоя, завсегдатайница центральной скамейки, звала кошку Зинкой, в честь золовки-покойницы.

— Уж больно похожа, та тоже чернявая была по молодости, а гулящая...

Дети во дворе, рядом со школой, обзывали по-разному, чаще — Ведьмой, Бабайкой, Горгоной, Жопой. Реже — Вороной, Кляксой, Ночкой.

Кошка не отзывалась ни на одну кличку. И старалась держаться подальше от людей, детей в особенности. Нет в мире кошек тирана жестче мальчишки с палкой и веревкой...

В это утро баба Зоя в начале восьмого уже была на своем посту. Она приходит сюда каждый божий день, ждет пропавшего двадцать лет назад сына.

— Он обязательно приедет и заберет меня к себе, — рассказывает старухам-подругам Зоя, — обещал, как устроится, так сразу. Буду с внуками нянчиться...

Прошли годы, у Зои развился Альцгеймер, но про сына не забывала. Могла выйти до магазина в домашних тапочках, забыть, кто сейчас президент и какой год, но на скамейку приходила как по часам, не пропуская ни одного дня...

К девяти часам к школе тянулась вереница из школьников, родителей и учителей. От автобусной остановки, мимо центральной лавочки к двухэтажной средней общеобразовательной школе № 21.

Завуч старших классов Нелли Васильевна Гиреева с утра на телефоне. Нервы на пределе, а все из-за раннего звонка от неизвестного.

— Взяточница, — сказал голос, — ты попалась.

Нелли Васильевна вскрикнула:

— Да что вы себе позволяете?!

Ответом были пронзительные гудки в ухо.

Сегодня впервые за много лет работы она опаздывала. Из автобуса почти бегом — к школе. Ничто, казалось, и никто не в силах ее остановить в достижении намеченной цели. Цель ее — кабинет, где она решит вопрос с анонимным звонком.

Но черная кошка перебежала дорогу, и женщина встала буквально по стойке смирно.

— Вот дрянь!

«Не к добру все это», — подумала Нелли.

Рядом оказался ученик 9 «Б» рыжий, долговязый Коля Блаватский.

По другую сторону дороги пара стариков, держащихся друг за дружку, и молодая девушка с пузатым пакетом в руках.

— Мне отмщение, и аз воздам, — прокряхтела баба Зоя со скамейки.

Патологически худая, с выпученными глазами под толстыми линзами очков, завуч дернулась всем телом. Будь она одна, подальше от любопытных глаз, она бы грязно ругнулась, заскрипела зубами и вырвала клок жиденьких волос с головы, но Нелли не одна, и все, что смогла сделать, это выдавить из себя:

— Ну, неужели мы, взрослые люди, верим в такие суеверия?..

Старики Кудреватых совершали свое ежеутреннее паломничество до «дальнего», как они называли, продуктового магазина.

— Там сыр плавленый на три рубля дешевле, чем в нашем «ближнем», — ворчала Клавдия Кудреватых. Дед Фёдор с женой всегда соглашался. Скажет бабка — «пей, дед, водку», Фёдор пьет, скажет — «не пей» — не пьет. Со свадьбы так у них повелось.

Переглянулись старики.

— Давай, плюй через левое плечо три раза, — скомандовала Клавдия.

Дед подчинился. Дружно поплевали. Бабка перекрестилась.

— Ты спешишь, ты и иди, чего как вкопанная встала? — пробурчал дед. — Мы не торопимся.

— Не торопимся, — поддержала Клава, — наш сыр никто кроме нас и не берет. Обождем. Нам черная напасть незачем, и без того бед хватает.

— Двадцать первый век! Верить, что черная кошка приносит несчастья. — Голос завуча дрожал, дрожала каждая клетка тощего тела. — У меня важное дело, и мне не хочется, чтобы получилось так, что оно из-за какого-то нелепого суеверия...

Коля хохотнул и сплюнул. Васильевна строго взглянула на ученика из-под очков.

— Ты опоздал, между прочим, Блаватский. — Демонстративно посмотрела на часы, показала циферблат мальчишке. — Девять ноль пять, у тебя первый урок начался.

— А что вы ко мне, Нелли Васильевна, пристали?! Я ребенок, если что, и мне страшно может быть. Бабушка рассказывала, как у них целая семья в деревне вымерла, после того как им дорогу кошка черная перебежала. Так-то. А вы меня на смерть, получается, толкаете?!

— Ну, надо же, на смерть его толкаю, как же... Ребенка. Бабушкиных сказок наслушался. Тебе в армию скоро, Родину защищать, а ты кошки испугался, поверья какого-то...

— Не знаю как вы, а я верю в проклятья. В черных кошек ведьмы превращаются. — Коля отвернулся, делая вид, что кашляет, сам же еле сдерживал смех, зажав рот ладонью.

Девушка с пакетом, из которого торчала сменная одежда, попятилась.

— Это знак, — шептала она, истерично моргая заплаканными глазами и шмыгая красным носом, — знак, я не должна так поступать, не должна. Это неправильно...

— Аз воздам, — подала голос Зоя.

— Смотри, как бы припадок не случился, — сказала завуч девушке, — чего испугалась-то? И что за молодежь пошла трусливая?!

Баба Клава попыталась взять девушку под локоть, но из пакета выпала скомканная простыня в голубой цветочек, и это стало сигналом к действию. Девушка развернулась и побежала прочь от дороги. Назад, откуда пришла.

— Вы белье потеряли! — закричал Коля ей вслед. — Новое, — окончил тише, — чистое.

— С ума сошли все, что ли?! Что за утро ненормальное. — Васильевна достала телефон. В этот момент из ниоткуда появился велосипедист. Проехал мимо них, широко улыбаясь, из его наушников доносилось бешеное громыхание басов. И снова пропал в неизвестности.

— Все, граница нарушена, — убрала телефон назад завуч, — давай, Блаватский, бегом на урок. Потом ко мне зайдешь, я тебе тет-а-тет объясню политику партии.

— Не, это не считается. Тот, кто не видел, как перебегала кошка, на того это не действует, — протараторил мальчик, — только один из нас может взять несчастье на себя...

— Так, все, хватит чушь нести! — повысила голос женщина. — Тебе самому не стыдно такую ересь говорить?! Взрослый, с девочками гуляешь, а такую ахинею городишь!..

Старики молча наблюдали за перепалкой.

— Ты мой урок сделал на сегодня?

— Биологию, что ли?

— Нет, физкультуру! Давай рассказывай, что выучил?

— Прям тут?! — Блаватский снял рюкзак со спины. — Шутите?

— Меньше месяца до конца школы, ты как, собираешься в десятый класс или в

ПТУ пойдешь?.. Я ведь тебе могу устроить веселенькую жизнь. Будешь всю жизнь толчки вымывать и сортиры сторожить!..

— С началом развития человеческого общества его влияние на биосферу очень сильно возрастало, — начал монотонно бубнить зазубренный урок Коля.

— Молишься ты, что ли? Громче давай! Пятьдесят первый параграф. Что такое ноосфера?

Мальчик растерянно потоптался на месте.

— У, мегера, — плюнул старик, — пристала к пареньку. Мужика, видно, давно не было?..

— Я с вами не разговариваю. Так что будьте добры, не лезьте в воспитательный процесс.

— Тоже мне воспитатель, — возмутилась Клавдия следом за мужем, — на себя бы посмотрела, выученная больно много. Все на мальчонку свесила. Сама взяла бы да пример показала. Не верит она в суеверия. Вся вон злобой зашлась, трясешься как бобик. Сама смотри в приступ не грохнись.

И старики как один зафыркали на женщину:

— Фу, фи, фууу...

— Вам на кладбище впору, а вы тут учить взялись. Завалили бы хлебальники свои морщинистые...

— Ах ты, обноска, килька дохлая, — встрепенулась старуха.

— Крыса драная, сучка не объезженная,— заступился старик.

— Да что вы говорите, пердуны старые. — Завуч сорвала с себя очки. — Мозги свои куриные прожевали вместе с сыром плавленым!..

— Аз воздам, — донеслось снова со стороны скамьи.

— Учительница еще называется! — кричали старики.

— Мертвецы ходячие! — перекрикивала завуч, по совместительству учитель биологии, солнечным утром в последний день апреля посреди дороги с побитым асфальтом, под чистым голубым небом.

— Да ну вас, — тихо сказал Коля, закинул на плечо рюкзак, поплевал в десятый раз через плечо и побежал к школе.

Первым уроком сегодня была физкультура.

Черная виновница дорожного происшествия все это время сидела за тротуаром в кустах, не без любопытства разглядывая людей. Она понимала, что причиной столкновения была она, и это ей льстило. Люди источали волны ненависти, страха и злобы. Кошке они напомнили тех детей с палками и веревкой. Дети привязывали кошку к сколоченным крестом палкам. Дети поднимали распятое животное над своими головами. Дети улюлюкали и смеялись. Это был страшный смех. Это было ликование смерти. Кошка надеялась, что взрослый, который увидел это, спасет ее от жестоких детей, но взрослый человек сделал вид, что ничего страшного не происходит. Взрослый закрыл глаза. Кошка не спаслась. Ее мучили до захода солнца, а потом, наигравшись, выбросили все еще привязанную веревками к кресту в открытый канализационный люк с клокочущей черной водой. Оттуда кошка выбралась ночью, черная до кончика языка, а была снежно-белой...

Мальчик забежал в ворота школы. Старики выдохнули:

— Вот же сука. Жаловаться на тебя некому. Вот и распоясалась, королевишной себя возомнила. Глиста в скафандре. Если с мальчишкой что случится, на твоей совести это будет!

Плюнули дружно под ноги завучу и пошли потихоньку к «дальнему» магазину.

Нелли Васильевна проскрипела в ответ зубами. Надела очки. И только баба Зоя со скамейки видела, как женщина до крови ущипнула себя за шею.

— Кс-кс-кс, — позвала Зоя кошку.

— Все будет хорошо, — сказала себе Нелли, — ты со всем этим справишься и разберешься. Ты победишь.

И плюнула три раза через плечо.

— Кис-кис, — не унималась старуха, — кис-кис-кис...

Потом достала из кармана кофты завернутую в газету нарезанную колбасу и положила у ног.

Кошка пошла на запах.

Убежавшая незнакомка вернулась в квартиру, где жила с родителями, бросила пакет в коридоре, разделась, заперлась в ванной. Проплакала под шум воды из крана больше часа. Успокоилась.

Вернулась в коридор, подняла с пола пакет. Сняла трубку стационарного телефона, по памяти набрала номер. Услышала до боли в области души, что в районе сердца, знакомый мужской голос:

— Слушаю. Говорите.

Она громким и ясным голосом сказала:

— Я буду рожать! А ты делай аборт!

И положила трубку на рычажки отбоя.

Впервые за последние годы она почувствовала себя счастливой.

Забежав в ворота школы, Коля запнулся и упал.

«Вот те и месть черной кошки».

Поднялся, стряхивая пыль, разбитое колено выглядывало из порванных брюк.

— Зато уважительная причина есть, и физрук «отсутствует» не поставит, — говорил себе и улыбался, — и пошла эта Васильевна козе в трещину.

Мальчик вышел из боя победителем. Героем, спасшим стариков и злюку-завуча. Набрав полную грудь воздуха, Блаватский засвистел и, прихрамывая для пущей трагичности, поковылял к спортзалу.

Нелли Васильевна подошла к своему кабинету в половине десятого утра. Здесь ее ждали. Директор молча показал головой на людей в форме. Здесь же были родители девочки из 11 «А» класса, подарившие завучу старших классов Гиреевой в знак благодарности сорокадюймовый плазменный телевизор. И родители ученика 9 «В», оставившие конверт с открыткой «Поздравляем с днем учителя!» и шестьюдесятью тысячами рублей на столе в ее кабинете.

— Е...ая кошка! — взревела Нелли, срывая очки и бросая себе под ноги. — Е...ый свет!

Схватилась за лицо, переполненная желанием содрать с себя кожу, впилась ногтями в щеки, ноздри, в глаза...

— Это все кошка! Это она! — запищала завуч и стянула лицо.

Старики Кудреватых скупили весь плавленый сыр в магазине. На день просроченный сыр заведующая магазином «Дружба» решила сильно уценить. Продать за копейки.

— Как есть копейки, разве три рубля это деньги? — ликовала Клавдия. — А на сэкономленные, так и быть, возьми водочки чекушку, — разрешила деду.

Федор довольно тряс седенькой бородкой.

— Эх, повезло нам, мать, сегодня. Как с утра встали вдвоем с правой ноги, так все правильно и идет.

Клавдия поддакивает, кивает.

Не сразу, примерно через месяц, поселковые заметили исчезновение бабы Зои. Поговаривали, что старуха вконец ополоумела от отчаяния и одиночества. Продала душу дьяволу. А дьявол надоумил ее поймать черную кошку. И будто видели, как Зоя

гладила на скамейке черную животину. Потом, если верить старухам центральной скамейки, кошку надо сварить, сесть перед зеркалом и, зажимая кость за костью, смотреть в зеркало. Как отражение исчезнет, значит это и есть косточка-невидимка. Только у черных кошек имеется такая волшебная косточка.

И баба Зоя ее нашла. Да сдуру проглотила и исчезла совсем. Теперь невидимой бродит по поселку и мстит всем, кто обижал ее и кошку.

А еще, как вариант, рассказывают, что за бабой Зоей приехал сын.

Сидела она дождливым вечером, как всегда, на своем месте, кормила не то голубей не то кошек, как вдруг остановился возле нее черный лимузин.

Зоя сама не поверила своим глазам. Подумала, это болезнь затеяла с ней новую игру... Но нет, его она не могла не узнать. Это он. Ее единственный сын. Все такой же молодой, как двадцать лет назад. Он протягивает к ней руки.

— Я вернулся за тобой, мама. Поехали со мной.

— Я верила. Я молилась. Я ждала... — плачет мать-старушка.

— Будешь нянчиться с внуками, — говорит сын и усаживает мать на заднее сиденье лимузина, и целует ее руки, и плачут они вместе, мать и сын, слезами стирая годы долгой разлуки...

— Поехали, мама, — просит сын.

— Поехали, сынок, — отвечает мать.

Очевидцы видели, как лимузин бесшумно отъехал от пустой скамейки и так же бесшумно растворился в дожде.

И кошку, говорят, они забрали с собой. Ту черную, без единого белого пятнышка. Сплошная чернота...

Улыбки

141178

Чужой билет, который он вытащил из порванной обивки сиденья, тоже оказался не счастливым. На всякий случай проверил еще раз — 141...

«Да и не мое это было бы счастье».

Поймал на себе взгляд кондуктора трамвая, полная, усатая женщина с катушкой билетов на груди улыбалась.

«Заметила, что ли, как считаю?» — подумал Семён и в ответ хмыкнул.

— Я тоже девчонкой искала счастливый, один раз даже чуть не умерла, ага, подавилась билетиком, не в то горло попал, да, его ведь съесть нужно, если счастливый, ведь так?..

Семен кивнул.

— Вот теперь мое счастье: испорченный желудок и зарплата такая — сказать стыдно...

Трамвай начал тормозить, остановка «Узел связи», его пункт назначения.

— Знаешь, сколько таких охотников за счастьем у меня за смену проезжает?

Конечно, он не знал.

— И всем счастье подавай. В дурацких цифрах лучшей жизни ищем, в математике, все складываем, а жизнь только на вычитание работает, да, в минус, — глубоко вздохнула женщина, — нет в жизни счастья, а уж в билетах этих тем более, ага, так, баловство одно.

Семен многозначительно промычал.

«Счастье зашифровано во всем, главное — подобрать ключ, код к шифру».

Дверь нехотя отъехала, солнце ослепило.

— Счастье есть, — сказал и выпрыгнул из трамвая.

Кондукторша уже самой себе пробурчала:

— Может быть, где-то и есть, только не здесь...

Оторвала проездной талон и мельком пробежала по выбитым зеленым циферкам. 208201...

Счастье было рядом.

— Так, вошедшие, проезд оплачиваем!

451447

Сердце стало огромным, не вздохнуть. Красные астры распустились, взорвались салютом перед глазами. По спине покатились бисерины пота.

«Катя, Павлик».

Ладони мертвецки холодны, а внутри жар. Сердце растет, пульсирует, сердце раскалено, оно выжигает дорогу на волю. Удар за ударом. Тук, тук, тук. И грудная клетка не выдерживает натиска. Сердце вырывается из плена дряхлого тела. Прочь! Вот она, свобода! И ввысь, и в небо... Сердце становится солнцем!

— Улыбки, — старик задыхается, — мои улыбки... улы... уви...

Семён бросается к сторожу, «это розыгрыш», последнее горячее дыхание старика отпечатывается на щеке юноши легким ожогом.

— У-лы...

Солнце, беспощадное, палящее солнце встретило вознесшуюся душу очередной вспышкой...

606974

— Снова про улыбки?

— Ага, — Семён сделал очередной большой глоток пива.

— Ты смотри, старый. Перед смертью и все о своем. — Ответственный секретарь еженедельника «Вечерняя среда» Михаил Кульков, хронический пьяница и непризнанный (если верить его словам) гений, разлил по стаканам остатки пива. Пили, «снимаем стресс», как выразился Кульков, в кабинете корректора Тамары Иннокентьевны. Женщина по пятницам приходила вычитывать материалы, если таковые были, после обеда, что случалось крайне редко.

— Что за улыбки-то? — Семён работал в редакции третий месяц и с немногословным сторожем Николаем толком не общался.

«Здравствуйте» и «до свидания» — два слова на утро и вечер. Но про улыбки старика Семён все же слышал. Девятого мая на застолье Николай пил минералку — «больше двадцати лет как завязал» — и тихо, словно самому себе, рассказывал молоденькой внештатной корреспондентке Люде о том, что главное в его жизни:

— В этом мое счастье...

— В одиночестве? — переспрашивала подвыпившая девушка.

— В улыбках...

— От улыбки станет всем светлей, что-то вроде этого?

— Каждому свое. Я вот нашел. И только этим и живу.

Люда не слушала бормотания старика, девушка пела:

— ... поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется...

Николай улыбался в ответ, подпевал:

— С голубого ручейка начинается река...

— Что за улыбки-то, — переспросил Семён, — а?..

— Да кто его знает?.. Он же все загадками говорил. Я вообще так-то непьющим шибко не доверяю. Мутные они. Как в наше время и не пить? Вот объясни мне...

— Я не знаю, дядя Миша.

— Вот и я про то... Дети у него вроде были... Должны быть. Жену, знаю, похоронил давно, один он, вроде, сколько себя помню. Я и сколько лет-то ему не знаю.

— Под семьдесят точно.

— Угу. — Секретарь расстроено покрутил пустую пластиковую бутыль из-под пива. — Помянуть надо.

Семён кивнул.

— Может, улыбки эти — существа какие-нибудь, там, животные домашние, например...

— Ага, крысы.

309776

Журналистка Лиза, ведущая дамской странички, псевдолесбиянка, скрывающаяся под псевдонимом «Веро Тина», считала, что старик-сторож коллекционировал улыбки.

— Что-то вроде хобби. В рекорды Гиннеса хотел попасть по части «самое большое количество собранных улыбок».

— Человеческих? — спросил Семён.

— Ну не собачьих же! — Девушка закатила к потолку глаза. — Как в лужу, Семён, ну правда...

— Что, собаки тоже улыбаются, питбули особенно...

Лиза пропустила это мимо ушей.

— Он как о живых об этих улыбках все время говорил. Бедный, несчастный, никому не нужный сторож... Ты бы, Сёмка, лучше б гроб помог нести, чем про улыбающихся псов рассказывать...

Теперь пришла очередь юноши молча закатывать глаза.

— Не за столом будет сказано, — подал голос задремавший после второй двухлитровки Кульков, — но мой покойный батя, знаете, какую часть женского тела так называл?..

— Улыбкой? — Лиза хрюкнула, залпом опрокидывая в себя стакан с выдохшимся пивом. — А то не знать, самое сокровенное, — и глубоко вздохнула, — любимое...

000245

Пообещал себе проверить билет на счастье дома, «надо воспитывать выдержку». Первые три остановки пялился на сумерки, скользившие за пыльным трамвайным стеклом. Пару минут разглядывал выцарапанную надпись «Вадик гомогей» на соседней спинке сиденья. До его остановки оставалось совсем чуть-чуть, поворот и один светофор, не сдержал слово, не вытерпел: «Вот всегда так», косым взглядом пробежал по цифрам.

— Черт, — вслух, и плевать что подумают: — ну за что?!

Старик рядом покосился.

— Остановку профукал, сынок?

— Счастье! — огрызнулся и выскочил из трамвая.

Нервная дрожь и желание кричать во всю глотку.

Как всегда, как всегда!

— Семён!

Резкий голос мамы за спиной испугал.

— Черт!

— Не черт, а мама. — Женщина протянула сыну пакет с покупками. — Чего здесь?

Юноша молчал.

— На работе что-то?

— Не, просто...

— Похороны сторожа вашего когда?

— Завтра.

— Опять напьетесь!

— Не начинай, а!

Заглянул в пакет, сверху на связке зеленых бананов лежал автобусный билет.

— Счастливый?

— Не поняла.

— Билет.

— Говори нормально, какой билет?

Свободной рукой, затаив дыхание, вынул бумажный прямоугольник.

«Так, должно быть, первые христиане прикасались к Иисусовым следам».

— А, ты про это? Взрослый уже — верить в такое...

Семён промычал, в уме складывая цифры. Два, три, один и ноль плюс пять плюс один.

Остановился.

— Что?

Протянул маме билет, сказал:

— Твое счастье, возьми... Его надо съесть...

— Счастье? Давай уж лучше сам его ешь, я тебе это счастье дарю. Забирай, — она улыбнулась и закончила: — если бы все было так просто: съел билет и — счастлив. Если бы...

— Но, — Семён растерянно смотрел на мать, — это тебе выпало...

— Я делюсь им с тобой, только потом на живот не жалуйся, если запор будет. — Женщина хихикнула и пошла к дому.

Переминаясь с ноги на ногу, юноша поднес билет ко рту, «как на причастие», и откусил клочок, смочил слюной, пожевал безвкусный катышек, проглотил.

«Счастье есть».

И засунул билет в рот целиком.

«Только мать может поделиться своим счастьем с сыном». Окликнул:

— Ма, куда так быстро?!

— Жуй, жуй, пережевывай, — смеялась, — не хватало, чтоб ты еще моим счастьем подавился!

Семён послушно жевал, жевал и думал: «Сколько нужно съесть счастливых билетов, чтобы стать по-настоящему счастливым?»

Позже, разуваясь в узком коридоре однокомнатной квартиры, он скажет маме «спасибо» и добавит:

— У счастья вкус горьковатый какой-то...

— Тебе лучше знать, — ответит она.

140890

«Вынос тела — дурацкое словосочетание».

Семён стоял у входа в подъезд дома, где всю жизнь прожил Николай Иванович. Незнакомые мужчины молча курили на ступенях, на тротуаре стояли два табурета под гроб. Юноша поежился.

«И зачем согласился нести гроб, сучка Лизка, чтоб тебе...»

Через минуту подошел главный редактор Валентин Геннадьевич с женой Анной, она же информационный обозреватель газеты. Потом появился, как всегда под градусом, Кульков.

— На кольце трамваи стоят, — промямлил и икнул.

— Зря я тебе аванс выписал. — Геннадьевич стрельнул бычком в сторону Михаила. — Тебя самого впору выносить.

— Гена, я чуть, помянуть...

Позвали наверх.

— Кто гроб несет? — спросила девушка в черном.

«Дочь» подумал Семён и огляделся.

Подоспевшая Лиза кашлянула в кулак.

— Дядя Миша в состоянии нестояния.

Компанию Семёну составили трое молчаливых мужчин.

В зале у гроба человек десять, не больше.

— Всех своих пережил, — вдруг сказал лысый мужчина, — бывает же такое.

Семён кивнул.

— Ты, малец, где ноги бери, удержишь?

Юноша снова кивнул.

— Вам первым идти, ногами вперед. Саквояж свой оставь.

Семён послушно положил барсетку на свободный стул.

— И чего Танька своими силами решила хоронить, — бурчал мужчина, — заказала бы ритуалку.

— Это вы про дочь?

— Соседка это его, — мотнул головой лысый в сторону девушки в черном, — видать, квартиру на нее переписал старый, вот и старается Танюха. Хлопочет. Дети у него умерли...

Мужчина кашлянул в кулак. Огляделся. Продолжил:

— Павел, старший, и Катерина, младшенькая, давно дело было... Иваныч тогда сильно пил и не доглядел по пьянке детишек, угорели они, а он выжил... После, как подменили, пить бросил, чтоб забыться, сам, в одиночку, квартиру эту восстановил, а как ребятишек-то вернуть?.. — Лысый замолчал, словно ожидая ответа.

Семён сглотнул.

— Никак.

— Вот именно что никак. Хотел на себя руки наложить, да что-то остановило его. Про улыбки все какие-то бормотал...

Юноша и мужчина переглянулись.

— Может, помутнение какое, — предположил лысый и громко скомандовал: — ну, взяли мужики!

Кто-то в зале тихо заплакал.

404003

Их Сёма увидел случайно. Как не заметил раньше?.. Такие яркие, врезающиеся в глаза и сердце.

Выносили гроб из зала, и вдруг на белом крашеном косяке зарубки, окрашенные в разные цвета.

«Павлик — 3 года» — красная зарубка. «Катюша — 1,5 годика» — желтая, словно улыбка, отметина. Синяя, зеленая, фиолетовая, снова красная... Таращились с двух сторон дверного косяка радужные улыбки. Павлику уже семь, а Катерине двенадцать...

— Вот они, — произнес Семён, и екнуло сердце его. И душа стала большой, во всю тощую юношескую грудь.

«Господи! Вот же они! Вот!»

Казалось, да нет, так оно и было, случилось, он стал сильнее от понимания. Он знает. Он разгадал тайну старика-сторожа, и знание изменило его. Гроб стал легче. Твердость в ногах и уверенность в шаге...

Семён увидел Ивановича, эдакого Робинзона Крузо на острове своего возмездия. Добровольного заточения. Расплаты. Увидел, как день за днем стареющий Николай делает зарубки на косяке. (А когда не останется места на косяке, ведущем из детской комнаты в зал, он будет вырезать зарубки — улыбки на дверном проеме спальни, на кухонном косяке...) Он делает их ножичком из конструктора Павла, подарок на Новый год, а раскрашивает фломастерами Кати, он купил их ей, когда она перешла в третий класс...

Это его улыбки. Их улыбки. Улыбки, которых он не увидел. Которых недосчитался. Потерянные улыбки...

Теперь он ведет им счет каждый день. И до последнего дня.

Семён увидел эти картинки так же четко и ясно, как видит теперь подъездную

дверь, табуретки, впившиеся ножками в мягкую землю, когда на них поставили гроб. Видит небо над головой, такое огромное, как над затерянным, крохотным островом в океане...

«Все мы Робинзоны, и у каждого из нас свой личный остров».

Лиза с дядей Мишей что-то ему говорят, но он не слышит их, не видит лиц. Ни одного лица. Лиц нет. Только улыбки. Красочные. Друг на дружку не похожие. Разные. Кривые, сморщенные, радостные, печальные, злые... Улыбки.

Сёма улыбнулся.

— Какой у вас остров, дядя Миша? — спросил он вдруг. — Остров несостоявшегося гения? Или остров невезения?.. А у тебя, Лиза? Остров потерянной любви?..

Улыбки изменились. Еще мгновенье — и они превратились бы в оскалы. Возможно, так и случилось, только Семён отвернулся.

Он грустно улыбался. Улыбка в гробу была на удивление довольной.

Хотя, почему на удивление, старик теперь там со своими улыбками.

«Рай — это место улыбок. Место, где все улыбаются. Где нет места оскалам».

320121

Помянул старика киселем. Быстро со всеми попрощался. Всю дорогу почему-то бежал, казалось, подпрыгни — и улетишь. К солнцу. Улыбающемуся солнцу.

В трамвае сложил билет вдвое, вертел в руках до своей остановки, там выбросил истерзанную бумажку в урну. Дома первым делом поцеловал в уголок рта маму. Поцеловал в улыбку.

— Не буду спрашивать, как и что. Но явно прогресс налицо, — усмехнулась она.

— Я тебе там, на столе, билетов всяких по карманам у себя насобирала, иди, глянь. Явно один, но счастливый. Твой.

Семён долго не отвечал.

«У нас с мамой тоже свой остров. Наш остров».

Наконец ответил:

— Да не надо было, мам. Счастье же не в этом. Сама знаешь...

Женщина хмыкнула.

— А в чем?..

Она смотрела на сына. Сын смотрел на нее. Посреди коридора, освещенного вечерним солнцем, они стояли друг напротив друга.

— В улыбках.

Мама улыбнулась.

— Это вот в таких, что ли? — И тут же скривила улыбку. — Или вот в таких?..

Они засмеялись. Чего не делали вместе уже давно. Смеялись. Как в детстве.

А позже, после ужина, Сёма с закрытыми глазами вытащил из кучи маминых билетиков один и быстро, насколько мог, сложил цифры.

12332...

И не сдержал улыбку.

Алексей Иванов

Остров мёртвых

Рассказ

Богомольцев в последний раз спустился по доскам-сходням на берег, бросил тяжеленный рюкзак возле надувной лодки и помахал капитану.

Капитан ПТ-34, «потерпи товарищ», как называли его местные шутники, перегнулся через борт, словно собирался потравить. Что вполне могло произойти, если принять во внимание количество спирта, которое он вчера вылакал под разговоры с Богомольцевым. Сам Богомольцев почти не пил. Так, малость, чтобы не обидеть капитана. Не хотелось, не затем он прилетел, приехал и, наконец, приплыл в эту даль и глушь, чтобы здесь наливаться спиртом. Он выбрался на рыбалку. Половить рыбку можно и поближе, но он в последнее время устал от людей, нужно было просто спрятаться.

— Я на месяц в отпуск ухожу, — свесился капитан, — напарник мой в больнице лежит, когда выйдет, кто знает. Ты на всякий случай связь-то держи с большой землей! — Он с завистью кивнул на спутниковый телефон, который дал Богомольцеву приятель. — Бензина хватит тебе, харчей, я вижу, — тоже. — Капитану явно хотелось еще поболтать. — Тут на одном хариусе да таймене, если свезет, прожить можно!

Катер сдал назад, развернулся и, гуднув на прощание, ушел вниз по реке. Богомольцев первым делом спрыснул себя нидерландским спреем от комаров, оттащил чуть подальше от сырого берега пожитки и принялся собирать лодку. Лодка, японский «Ниссамаран» с мотором, была новенькая, еще не опробованная, и Богомольцев покувыркался с алюминиевыми шпангоутами. Зато, надув ее с помощью насоса, полагающегося лодке, Богомольцев порадовался, что не пожмотничал и купил «японца». Лодка была сделана с умом и заботой о рыбаках: все оборудование, вещи, канистры с бензином — все легло на свои места, все было укреплено, пристегнуто какими-то ремешками, шнурками, упаковалось в удобные ниши.

Солнце, как и положено ему на севере в эту пору, словно и не собиралось садиться, хотя по времени — уже пора бы. Богомольцев черпнул воды из реки, бросил в нее таблетки катадина и поставил на примус. Тишина, которой не мешали ни шум примуса, ни зуд комаров, подступила со всех сторон, обволокла, снимая привычное городское напряжение. Богомольцев, покачивая головой, но прощая себе эту слабость, — не время для хариусов! — достал ультралайтовое короткое удилище, пораздумал — мушку или воблер, — выбрал мушку и, коротко размахнувшись, сделал заброс. Большой надежды не было, но очень хотелось попробовать. Он даже вышел на едва приметные полусгнившие мостки — поближе к открытой воде. Тишина

Иванов Алексей Георгиевич родился в Ленинграде. Автор трех романов, нескольких повестей и рассказов. Печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева» и др., книги выходили в издательствах «Лениздат», «Советский писатель». Живет в Москве. Последняя публикация в «ДН» — «Репетиция парада», 2016, № 8.

сковала и реку, та словно застыла голубоватым, местами с глубокой синью, местами с серебристыми блестками, стеклом. Только бегающие по воде жуки-плывунцы да голубые стрекозы, повисшие возле тростника, показывали, что этот мир не весь застыл под белесым, подслеповатым солнцем. Мостки качнулись под Богомольцевым, прогнивший бок их просел, и Богомольцев зевнул первый, столь долгожданный удар. Он подсек с небольшим опозданием и почувствовал — есть! Удилище выгнулось, леска заходила из стороны в сторону — рыба сопротивлялась. Ах, как любил Богомольцев это упругое сопротивление, эту борьбу, дрожание напрягшейся лески и удары, приходящие из воды: то резкие, короткие, то начинающиеся мягко, с нарастающей силой. В какой-то миг леска ослабла и катушка закрутилась легко, Богомольцеву показалось, что рыба сошла с крючка, но тут же удар — и серебристый хариус выпрыгнул из воды, снова упал в нее, забил хвостом и, оставляя бурун, пошел в сторону. Богомольцев выбрал леску, подтягивая к себе добычу, пожалел, что не взял подсачник (а кто знал, что с первого заброса возьмет хариус?), и резким движением — была не была! — принял удилище на себя. Хариус вылетел из воды, словно им выстрелили, и забился на густой, давно не топтанной траве. Богомольцев рванулся к нему с давно забытой радостью охотника, накрыл рукой и поднял серебристого, холодного, плотного хариуса. Боже мой, как распорядилась природа, какие цвета, раскраску, какие линии она дала малому своему существу! Богомольцев смотрел на первого хариуса так, как не смотрел на своего первенца — Мишку. Пришлось аккуратно освобождать крепко подсевшую на крючок рыбку. «Граммов на двести пятьдесят-триста!» — с гордостью подумал Богомольцев, поцеловал холодную, таращущую глаза рыбину и, размахнувшись, бросил ее в воду. Иди, брат, расскажи всем своим, чтобы поостереглись, Богомольцев приехал!

Богомольцев оглянулся. По рассказам, здесь, на этом берегу, должен был жить старичок — не то лесник, не то смотритель чего-то, но, как утверждал капитан, он сам отвозил этого старичка в город. Тот, вроде, не то лечиться, не то помирать собрался: к родне.

Богомольцев резво поднялся на некрутой бережок, по горке тропинка вилась вполне приметная. На бугорке открылся дом. Крепкий, как все северные дома, на высоком подклете, с сарайками. Видно было, что хозяйствует здесь человек основательный. На стук никто не отозвался, только старый лохматый пес лениво брехнул раз-другой и умолк. Богомольцев отворил дверь. В сенях было прохладно, пахло сеном, молоком, земляной сыростью и еще чем-то, давно позабытым. Может, печным дымком?

В самой избе, в зале, перегороженном громадной печкой, несмотря на распахнутые окна, было жарко. Богомольцев позвал, покричал: есть тут кто-нибудь? Но никто не отозвался, несмотря на все признаки присутствия человека. И даже, по многим признакам, — женщины. Он выпил воды, зачерпнув ее из небольшой кадушки, огляделся. В избе было чисто, сухо, прибрано. Посуда аккуратно, не по-мужски, выложена частью на печи — еще теплой, пощупал Богомольцев, — частью в старинном, расписанном зелено-красными цветами шкафчике. Пока Богомольцев любовался росписью, раздалось веселое собачье ворчание, женский молодой голос, простучали легкие шаги по крыльцу и в сенях. Богомольцев хотел было выйти навстречу, как в избу, на ходу глядя на гостя с любопытством, вошла молодая женщина.

— До мыса-то вам не дойти за сегодня. — Она мигом приготовила грибовницу — громадный, давно забытый чугунный котелок, в котором тушились грибы с луком и картошкой; поставила на стол сметану, целую охапку толстенных, невиданных перьев зеленого лука и хлеб, который она резала, держа каравай на весу. Мельком взглянула на часы-ходики, висевшие на стене. — Хотя у вас мотор мощный, я видела. Зверь? — спросила она.

— Зверь! — кивнул Богомольцев. По московским меркам мотор был как мотор, пятнадцатисильный.

— Рыбки не съедите? Она у меня по-деревенски, по-нашему, томленая. Хозяин, — она чуть понизила голос, — сам-то сдавать стал, старенький уже, а рыбку ловит. И в удовольствие, и поддержка большая. Навялим, так на всю зиму еда.

Появился и хозяин. Покашлял в сенях, пошаркал ногами, вошел аккуратно. В руках — карабин «Сайга», который Богомольцев припрятал среди своих вещей.

— Зря, мил человек, оружьё-то без присмотру оставляешь, — он любовно поставил карабин возле двери. — Хорошая вещь, — кивнул на него. — Кто в охоте понимает.

— Я-то не охотник. — Богомольцев пожал мосластую стариковскую руку. — Так взял, для порядка. Жена уговорила! — Он засмеялся: — В такую глушь едешь — и без ружья. Мало ли что!

— А верно жена сказала, — закивал старик. Он посматривал как-то странно, бочком. На правом глазу у старика было бельмо. — Я и то смотрю, пришел к нам человек, лодку свою собрал, мотор, а ружье — кинул. Не дело! В наших местах — особо.

— У вас ведь чужих-то не бывает, мне сказали?

— Бывает — не бывает, нам своих хватает! А оружьё бросать — не порядок. Давай ко столу, грибовницы похлебаем! — и повернулся к хозяйке: — Настёна, ты водочки дай, гостя встретить.

— Я сейчас, мигом, — спохватился Богомольцев, — московской-то давно не пробовали?

Богомольцев принес две бутылки «Старки» из запасов, которые дала ему жена, колбасу, шоколад.

— Вот и попируем! — Старик, по-птичьи наклонив голову, смотрел, как хозяйка разливает водку в старые граненые рюмки. — Со свиданьицем, дорогие гости! — и опрокинул рюмку. — Уж больно хороша! — крякнул он. — Настёна, тебе б научиться такую делать! А то, — он повернулся в Богомольцеву, — всё на шишках на еловых настаивает!

По тону слышно было, что старик шутит, поддразнивает Настёну.

— Вы уж избаловались совсем, Трофим Севериныч, — в тон ему отвечала Настёна, — и на кедровых орешках стоит, и можжевеловая, с одним хреном да медом сколько бутылей.

— Ты все наши секреты не выдавай, — засмеялся довольно старик, — а то гость приживется, после и не выселишь его!

— Пусть приживется, — улыбнулась Настёна Богомольцеву, — мы гостям рады. Чего ему там, на мысу, делать?

— На мысу? — отозвался старик. — На мысу черти ели колбасу! — сказал он как бы про себя. — Не очень хорошее место выбрал... Как тебя по батюшке-то? Георгич? Егорович, стало быть. Добавь-ка, Настёна! — и захрустел крепкими, сахарными перьями лука.

Богомольцев вдруг ощутил странный покой, будто вернулся домой из дальней-дальней поездки. И все ему было здесь знакомо: и старик, отламывающий хлебную корку от каравая и макающий ее в соль, и Настёна, присевшая бочком к столу и выпивающая по полстопки «Старки», и даже старый пес, пришедший на запах колбасы и со стоном улегшийся под столом.

— Не лучшее место, Егорыч, выбрал. — Старик покачал головой. — А зачем туда-то? Надобность какая гонит?

— Друзья сказали, что хариус там хорош! И тайменя можно поймать, если повезет!

— На тайменя сейчас разрешение нужно, — вмешалась Настёна. — Рыбнадзор если поймает... — Она покачала головой. — Прям как волки лютые!

— Голодные, — ухмыльнулся старик, — народ-то обнищал, взять с него нечего, вот и лютуют!

Приговорили первую бутылочку, Настёна пошла на двор по хозяйским делам — там уже мычали коровы, стучали вразнобой копытцами овцы, петух не ко времени заорал дурным голосом, негромко и ласково проржала лошадь, жизнь не то шла сама собою, не то остановилась и замерла в залитом перламутром, едва прозрачном от густоты воздухе.

— Сам-то кто будешь? — поинтересовался старик, прицелившись в Богомольцева слезящимся глазом.

— Инженер. — Богомольцев невольно вслушивался в звуки, доносившиеся со двора. Там блеяли овцы, шумно дышала корова, с глухариными взрывами взлетали на насест и ссорились, усаживаясь поближе к хозяину-петуху, куры, прохрюкал, проснувшись от общего шума, поросенок.

— А по какой части инженер?

— По электронике, — говорить Богомольцеву не хотелось. Бешеный бег времени, начавший замедляться еще в самолете, от неспешной, окающей и цокающей северной речи, здесь, от звуков давно забытых, остановился совсем, как останавливается время для человека, лежащего в поле и сквозь смежившиеся веки глядящего в пустую, голубовато-белесую высь.

— Значит, и в телевизоре разбираешься? — Старик утирал чистой тряпицей слезящийся глаз, обнажая красное, будто бы воспаленное веко.

Богомольцев кивнул. Слышно было, как ударили струи молока в подойник, как хмыкала корова, отгоняя слепней, как уговаривала ее Настасья, ласково прося потерпеть самую малость. Слышно было, как она повозилась в сенях, сбрасывая с ног резиновые чуни, вошла в горницу,

— Давно парного не пробовали? Только из-под коровки! — Она ловко процедила молоко, переставляя на лавке банки, разномастные глиняные горшки и позвякивая слегка ручкой подойника. Отдельную плошку налила и поставила на пол. К ней тут же спрыгнули с печи невидимые дотоле две трехцветные кошки, и, вздохнув тяжело, вылез из-под стола пес. Кошки деликатно подвинулись, уступая ему место, но от молока не оторвались.

Богомольцев парного молока не пил никогда в жизни, но почему-то не признался, а сказал:

— Давненько!

— Георгич-то наш по телевизорам спец! — сообщил старик Настёне. — Наладит, дак не оторвать тебя будет!

— Скорее уж тебя, дед, — отозвалась она и вышла во двор. Там зашумели куры, гуси, все дворовое хозяйство оживилось, как оживляется зрительный зал, когда распахивается занавес и на сцену выходит знакомый актер.

— А я только политику смотрю, — повернулся дед к Богомольцеву. — Мне остальное неинтересно. — Он снова принялся тереть глаз. — И знаю, что врут, а смотрю, — он вопросительно уставился на Богомольцева.

Поговорили о политике. Дед судил о ней удивительно здраво, видно было, что он в курсе событий. Думе и Совету Федерации оценку дал — ноль, пустое место, правительство оценил еще ниже — не мешали бы жить людям, больше бы толку было, президента за внешнюю политику похвалил, усомнившись во внутренней.

— Вижу, телевизор-то работает? — улыбнулся Богомольцев.

— Работает, а как же! — подхватил дед. — Только картинки нет, а так работает!

Богомольцев снял тарелку с высокого шеста, укрепленного на крыше и направленного в белый свет как в копеечку, сориентировал тарелку на спутник, и телевизор засиял в полном блеске.

— Настёна, — старик был в восторге, — ты смотри, Георгич-то наш каким мужиком оказался! Год телевизор только говорил, а тут раз-раз...

— Два года! — из-за ситцевой занавески проговорила Настёна.

— Два? — удивился старик. — Вишь, как время-то летает по-разному! У меня,

значит, два как один пролетают! — Он пригнулся к столу и заговорщицки мигнул Богомольцеву. — Оставайся здесь, Георгич, здесь для толкового мужика такое место додельное! — Он тер глаз, из-под тряпочки внимательно поглядывая на Богомольцева. — Нету мужика хорошего! Так, кобели есть — ребеночка Настёне сделать, а вот чтобы жить на кордоне да хозяйство вести, — этого нет! — Он огорченно помотал головой. — Все пьянь да фортепьянь! — Он помолчал. — А мне хозяйство кому ни есть, а оставить надо? Не на Настёну же хозяйство вешать? — Он поиграл по столу толстыми, вздувшимися в суставах пальцами.

— Так что на мыс-то собрался? — строго спросил дед после паузы. — Хариус там как хариус, не лучше нашего. А место, — он задумался, — нечистое место. Нечего там хорошему человеку делать.

— Мне друзья сказали, что там живет один хороший человек, в принципе, можно даже у него остановиться. Но у меня палатка есть — и сама двойная, и с двойным полом, — жить хоть зимой можно. — Богомольцев видел, что старик чем-то недоволен.

— Слышь, Настёна, — он чуть повернулся к занавеске, — Харитона-то нашего в кои годы в хорошего человека зачислили!

— Ну! — отозвалась Настёна.

— А чем он плох? — поинтересовался Богомольцев.

— Он-то тебе зачем? — с раздражением, как показалось Богомольцеву, проговорил старик. — Он, может, и ни при чем. Место уж больно дурное!

— Чем же?

— А лагерь там был, — все также из-за занавески прервала Настасья молчание старика.

— Что за лагерь? — не понял Богомольцев.

— А кто ж его теперь знает? — Старик потянулся было ко второй бутылке, но отвел руку. — Лагерь да и все. Жили люди-человеки, лес валили, сплавляли...

— Реку всю загадили, — вышла из-за занавески Настасья. — Все дно плавником устлано, топляками. Это ж хариус да таймень недавно совсем появились, притерпелись, видно, к гнилью...

— Не в гнилушках дело. — Старик принял от Настасьи бутылку с темноватой жидкостью и разлил по рюмкам. — Там ведь и людей, поди, сгинуло не меньше, чем топляков на дне... Все дороги костями ихними вымостить можно...

— Друзья мои слыхали про лагерь, говорят, ничего от него не осталось...

— У нас вот, — задумчиво сказал дед, держа рюмку в руке, — недалеко отсюда церковь стояла, Всех Святых... да... — он поднял рюмку, кивнул Богомольцеву и выпил.

Напиток был заметно крепче водки, хоть и приятный на вкус. Дыхание на миг перехватило. Богомольцев отметил, что Настёна выпила полную рюмку, наравне с мужчинами.

— Да-а, — старик нюхнул хлеб, — Всех Святых над землей российской просиявших... Дак я как приду туда, храма-то уж давно нету, взорвали его еще годах в тридцатых, а все чувствую, будто над ним в небе вроде окна какого... И свет оттуда...

— Говорят, у каждого храма свой ангел-хранитель, — подхватила Настасья.

— Так храма давно нет! — не понял Богомольцев.

— Храма нет, а ангел-хранитель никуда не девается. — Старик снова вытащил свою тряпочку и принялся протирать слезящийся глаз. — А и куда ему теперь деваться-то? — Он развел руки, словно раздумывая за ангела: а и верно, куда деваться, если храма, дома его, нет? — Вот и вьется он, бездомный да безутешный, покуда не отстроится храм новый на том же месте.

— Это вы к тому, что над лагерем тоже свой ангел летает? — сообразил Богомольцев.

— Да какой же там ангел выдержит? — фыркнул старик, обидевшись за ангела, как обижаются за близких. — Там, я соображу, и чертям туго приходится.

— Будет вам чертей-то к ночи поминать, — тайком перекрестилась Настасья. — Живет там один... — она призадумалась, — живет один... Харитон. Он вроде даже чуть не музей из этого лагеря делать собрался...

— Свихнулся, — пояснил старик таким тоном, каким говорят «споткнулся».

Богомольцеву постелили на конике — лавке с расписным ящиком под ней. Было жестко, душно и неспокойно, хотя и выпили «на посошок» по доброй рюмке. Было от чего заснуть.

Ночной дом жил своей жизнью. То мягко, то громко прыгали кошки с печи, поскрипывали не то рамы, не то половицы, бормотал что-то, всхлипывал и даже выкрикивал тоненькой фистулой старик, серые сумерки, считавшиеся здесь глубокой ночью, сгустились на час и снова поплыли, растекаясь к углам. Несколько раз взбалмошно прокричал петух, пробудив свое кудахчущее войско, дышали с тяжким выдохом коровы, лошадь переступала с ноги на ногу, позвякивая цепью и шумно встряхивая головой.

Богомольцев, стараясь не шуметь, вышел на крыльцо, зацепив все-таки в сенях какое-то ведерко. Вышел — и не узнал ни двора, ни построек, ни леса, отступившего назад. Все утонуло в тумане, будто опаловое небо, пока Богомольцев дремал, опустилось вниз, на землю, и укутало постройки, забор, лес, сарай совсем рядом с домом мохнатыми кипами взбитой ваты. Вата эта оказалась живой. Она медленно, по каким-то ей одной ведомым правилам и причинам то приподнималась, обнажая широкую приземистую дверь и угол сарая, срубленного из тяжеленных бревен, то приникала к земле — и тогда виден был стрельчатый край леса с тонюсеньким серпом луны, словно прочерченным несмелой рукой художника. Потом вата стала рваться, клубиться и на глазах таять, исчезая бесследно. А в той стороне, где пряталась невидимая отсюда река, вдруг всполошились и загоготали дикие гуси, через минуту шумной стаей пролетевшие над лесом. Почти сразу над рекой-невидимкой вспыхнул нежно-зеленый свет, пожелтел, вспыхнул радужными каплями, и солнце, выпущенное из ватных объятий, вышло и стало быстро, опережая облака, двигаться по небу. «Утро! Утро! Утро!» — трижды проорал петух и шумно соскочил с насеста, не давая снежной вате снова захватить позиции. Утро!

Завтракали быстро, без особых разговоров.

После завтрака — ледяная простокваша, яйца, свежие и вареные, сизые, мокрые от росы сладкие перья лука и хлеб, нисколько не почерствевший со вчерашнего вечера, — простились.

— За компанию, за телевизор тебе, Егорыч, спасибо. — Дед приподнял за козырек фуражку и чуть поклонился. — Если что — не обессудь. А будешь обратным ходом идти — милости просим! — Он снова приподнял фуражку и задумался, так и не опустив ее на голову. — Неприятность там одна есть, на мысу, — старик, словно смущаясь, почесал козырьком фуражки лысину. — Собаки, понимаешь, одичали. Как бросили их лагерные, перестрелять всех не смогли, так они и бродят там. Целые стаи. Одичали совсем, за столько-то годов, с волками поперекрещивались, а сами-то хуже волков стали. Умные шибко и не боятся ничего. Ни огня, понимаешь, ни выстрелов.

Настёна проводила его до калитки, ловко неся карабин на плече.

— Спасибо вам, — она отдала карабин и тоже слегка поклонилась.

— За что спасибо-то? Это мне благодарить надо... — попробовал было пошутить Богомольцев, но Настасья только усмехнулась.

— Спасибо? За водочку столичную, за колбаску да сырок, — она прищурилась от солнца, — за то, что ночью спали спокойно, по-человечески, не приставали... — она усмехнулась. — А то кто ни приедет, все норовят... Нельзя женщине одной жить! — вдруг вздохнула она. — Мотор-то ваш заведется? — и чуть подтолкнула его в сторону реки. — Ни пуха, ни пера! — Он успел сделать несколько шагов, как она окликнула его. — Георгич!

Тропинка, мокрая еще от росы, довольно круто спускалась от ворот и исчезала в высокой, выше пояса, траве.

— Георгич, — повторила Настёна, приложив козырьком ладонь к глазам, — вы поосторожней там, на мысе.

— Харитона, что ли, бояться? — Богомольцев поднял голову, Настасья стояла уже много выше него.

— И Харитона тоже! — Она не очень ловко, по-детски, махнула рукой. — Ни пуха!

Идти до мыса оказалось дольше, чем рассчитывал Богомольцев. Вода была невысокой, пару раз даже пришлось вылезти из лодки и перетащить ее через перекаты. Лес то нависал по-над берегом, то отодвигался, открывая широкие заливные луга, веками не видевшие косы. Ныpки, кряквы и всякая птичья мелочь без всякого страха шныряла неподалеку, отвлекаясь от своих дел только из любопытства. Несколько коршунов повисли в прозрачном небе, бездвижные, едва различимые в несходящем солнечном мареве.

Наконец открылся и мыс: стройные, черно-красные скалы с кустарником, цепляющимся за трещины, и могучие ели, сползшие с крутого бока к реке, — мыс в палевом закатном солнце выглядел мрачновато. Отвесные скалы, нагроможденные одна на другую, поднимались, как стены и башни средневекового замка. Казалось даже, что в темных складках его контрфорсов кое-где вспыхивают огоньки, будто бы кто-то невидимый поднимался по немыслимой крутизне. Как бы завершая картину, пара черных воронов, нарушая своим унылым кряканьем тишину, кружила над одной из башен.

Богомольцев, как и учили его, обошел мыс справа — открылись убогая пристань, штабеля гниющих бревен на берегу и нырнувшая в лес дорога. С этой стороны лес, а не скалы, был главным: неширокими уступами спускался к реке, лишь у самой воды давая место белесым, в серых космах тины и мелкого речного мусора валунам.

Богомольцев ловко соскочил с приткнувшейся носом лодки, вытащил ее почти полностью на берег, накрыл тентом и, прихватив карабин (совет старика не прошел даром!), направился вверх по тропе. Ноги от долгого сидения в лодке были чуть ватными, Богомольцев звучно притоптывал, с удовольствием ощущая крепкую, нахоженную тропу.

Может быть от этого ощущения покоя и твердой земли оклик прозвучал особенно неожиданно:

— Стоять! Руки вверх!

Богомольцев оглянулся, стараясь понять, откуда прилетел окрик.

— Не оглядываться! Руки! Руки вверх!

Богомольцев с растерянной улыбкой, не понимая, шутка это или нет, поднял руки.

— Оружие на землю!

Голос показался Богомольцеву не старым. Он, не оглядываясь, скинул карабин с плеча и под повторную команду «Оружие на землю!» положил «Сайгу» на тропинку.

— Лечь на землю! — прокричал голос. — Лежать!

Шутка эта уже становилась неинтересной, но Богомольцев, кряхтя (спина тоже онемела от сидения в лодке!), опустился на травку, подтянув к себе карабин.

— Руки! — услышал он, и тут же пуля ударила где-то рядом. Горячие комки земли хлестнули по руке и лицу. — Руки убрать назад! — Богомольцев почувствовал, как на запястьях щелкнули наручники. Крепкая рука тряхнула за ворот и помогла подняться на ноги. — Пошел вперед! — Довольно сильный тычок в поясницу подтвердил команду.

«Полный идиотизм! Что здесь, запретная зона, что ли? Откуда запретная зона посреди России? Лагерь? Так его давно уж нет!»

— Послушайте, моя фамилия Богомольцев, я из Москвы. Прилетел на рыбалку, рыбу ловить! — Богомольцев сделал движение головой, чтобы рассмотреть конвоира.

— Не оборачиваться! Я таких, как белку, в глаз бью! — И снова тычок в спину. — Вперед!

Тропинка становилась круче, местами были видны старые, разбитые ступени. Лес стиснул тропу и замер, будто ожидая какой-то команды. Ни шума, ни звука, даже гнус и комары прервали на миг зуденье.

Ближе к вершине, Богомольцев начал уже задыхаться, послышался собачий лай. Две собаки, помесь местных дворняг с немецкой овчаркой, со злобным лаем кинулись к Богомольцеву.

— Назад, стоять! — раздался голос. Собаки, ворча, остановились.

— Не тебе стоять, пошел! — И еще толчок.

«Пожалуй, прикладом!», — определил Богомольцев.

Подъем кончился как-то сразу. Дорожка пошла по почти ровной местности. Слева открылись два барака, стоящие под прямым углом друг к другу, чуть дальше — будка, какие строят для КПП, и ворота. К воротам тянулась колючая проволока. Местами старая и проржавевшая, местами — новенькая, последнего образца, натянутая на крепких столбах. Ворота тоже были почти новые. Только позже, подойдя к ним вплотную, Богомольцев увидел, что они старые, древние, можно сказать, но недавно отремонтированные. За воротами — барак, вросший в землю. И ни одного человека. Нет даже признаков человеческого жилья — дымка из трубы, горшков на заборе, живых звуков из хлева... Разве что собаки... Те с интересом, с каким хищник смотрит на добычу, разглядывали Богомольцева.

— Послушайте... — Богомольцев повернулся вполоборота и рассмотрел невысокого, крепкого мужика со старым, еще 70-х годов, карабином в руках. — Моя фамилия Богомольцев, я прилетел из Москвы на рыбалку. Я у Трифона Севериновича останавливался... А вас, видимо, Харитоном зовут, извините, не знаю отчества...

— Для кого-то и Харитоном, — мужик внимательно разглядывал Богомольцева.

Харитон оказался не старым, лет сорока, человеком в фуфайке, серой кепке, козырьком чуть в сторону, серых камуфляжных брюках и новеньких армейских ботинках. Темно-рыжая борода переходила в такого же цвета и крутого завитка волосы. Коричневые, узковато посаженные глаза прятались, как в камуфляже, в густых рыжих, выгоревших на солнце бровях и ресницах, в крупных веснушках.

— Наручники снимите, — Богомольцев повернулся к нему спиной.

— А зачем с оружием к нам пожаловал? Если рыбалить собрался?

— Жена уговорила, — усмехнулся Богомольцев, как бы приглашая улыбнуться страхам жены, — в такую глушь, говорит, без оружия нельзя!

— Правильно говорит, — Харитон покрутил ключом в замке наручников и отстегнул Богомольцева. Богомольцев с удивлением увидел, что наручники не стальные, а пластмассовые, но промолчал. — Ну, проходи, — Харитон кивнул в сторону бараков. — Хотя незваный гость хуже татарина...

— Я, честно говоря, в гости особо не напрашиваюсь, — Богомольцев потер запястья, намятые наручниками. — У меня все с собой: палатка, примус, крупа кой-какая, рыбки наловлю — и достаточно.

— Ладно, проходи, — мрачный Харитон опять кивнул, собаки, будто поняв хозяина, резво побежали к правому бараку.

С крыльца в одну ступеньку Богомольцев шагнул в узкие, словно тамбур, сени и под команду: «Направо!» вошел в жилье. Комната в два малюсеньких окна была темновата, может быть, от этого у Богомольцева и родилось ощущение места, где не живут. Такими бывали старые солдатские казармы. И кровати стоят, и тумбочки, и портреты членов Политбюро на стене вывешены как положено в два ряда, а видно, что люди здесь не живут. То есть присутствуют, но не живут.

Харитон вошел вслед за Богомольцевым, нырнул на миг за печь и появился уже без оружия — оба карабина спрятал куда-то.

Пахло керосином, запах этот Богомольцев отметил еще в сенях, сапогами и прочим мужским духом. На холодной печи стояла давно не виданная Богомольцевым керосинка, на окне — тоже подзабытые керосиновые лампы.

— Без электричества приходится жить? — Богомольцев кивнул на керосинку. С чего-то надо было начинать разговор.

— Почему? — пожал плечом Харитон. — Движок есть, генератор. А кому сейчас свет-то нужен? Белые ночи у нас — хоть читай, хоть вышивай. Для связи вон, — он кивнул в угол, — телефон, ему аккумулятора хватает.

Богомольцев невольно посмотрел в угол. Там стоял старенький, с вращающимся диском телефон. И над ним, в красном углу, что-то вроде стенгазеты. Или уголка отличника боевой и политической подготовки. Заголовочек, знамена по бокам и фото отличников, видимо, с короткими описаниями их заслуг.

Ели при свете керосиновой лампы — все же понадобилась, уж очень окошечки были маловаты, — все ту же грибовницу, что и у Настёны. Только здесь она была без картошки и без лука. Одни грибы. Зато хлеб Харитон отрезал щедрыми ломтями.

— Может, я к лодке схожу? — Богомольцев поднялся из-за стола. — Там у меня водки бутылочка есть, колбасы жена дала с собой.

— Нельзя мне водки, — вздохнул Харитон. По вздоху трудно было понять, огорчен он этим или обрадован. — Я шахтером работал, в Воркуте. Попал, понимаешь, под обвал. — Он снял наконец кепку и привычным движением отодвинул в сторону вьющуюся шевелюру.

Над виском, выше лба, едва виднелась, теряясь в волосах, розовая пластмассовая пластина.

Харитон постучал по ней ногтем и поднял глаза, будто прислушиваясь. Звук был как от полупустой пластиковой канистры.

— В обвал попал, — сказал Харитон, подмигнув сразу обеими глазами. — А сам и виноват. Мне бригадир-то, забойщик, сколько раз говорил, мол, Харя, плохо подпоры ставишь. А я — что, молодой был. Все думаю, как это глыбы такие обрушиться могут? — Он помолчал, припоминая что-то. Хотя Богомольцев по каким-то признакам понял, что это рассказ уже опробованный, канонический, не раз проговоренный. — Да и тяжко там работать, в забое! — Он снова помолчал. — Ползешь на четвереньках, духота, в респираторе-то попробуй весь день вкалывать! — Он опустил шевелюру и упрятал пластиковую заплатку. — Подпору тащишь, бревно здоровое, доски, по высоте чтобы подогнать, кувалду, э-эх! — Харитон хлопнул ладонью по столу. — Как крыса ползаешь в забое, на боку, на спине, кувалдой толком не махнешь — места нету... Э-эх! — Он поднялся, заглянул за печь и вернулся с литровой бутылкой мутноватой жидкости. — Давай по чуть-чуть примем! Тебя как зовут-то? Владимир Георгич? Я тебя Георгич называть буду. — На столе появился вяленый хариус, мелкая желтовато-розовая икра и два огурца. — Но, Георгич, ты за мной смотри, я дурной бываю, когда выпью! — Он снова снял кепку, откинул волосы и постучал по розовой пластине. — Вот тут чтой-то заклинивает!

Самогон был из самых противных, что доводилось пивать Богомольцеву. Крепкий, с ядовитым привкусом, с отрыжкой какой-то жженой резиной. Не спасали ни хариус, ни жесткая, пересоленная икра. Богомольцев дернулся было сходить за «Старкой» и нормальной закуской, но Харитон не пустил его, крепко ухватив за руку.

— Я дорасскажу, Георгич, — он едва не смахнул керосиновую лампу, стоявшую на углу стола. — Я дорасскажу, как государство наше дорогое со своими гражданами поступает! — Харитон налил еще по полстакана и, не дожидаясь Богомольцева, маханул. — А ты чего не пьешь, Георгич? — подозрительно глядя на гостя почти пропел Харитон. — Я не каждому это рассказываю, а тебе — нарисую! Выпей!

История Харитона была банальна и отвратительна, как самогон, который он разливал по стаканам и заставлял Богомольцева пить. Взрыв в шахте, почти все в забое погибли. Харитона вытащили. Полгода в больнице. Операции на мозге, кома, новые операции, выходили наконец. Вышел — и с заплаткой на башке вместо собственной кости — в шахтоуправление. А там: с такой инвалидностью не имеем права принимать на работу. Хорошо, а на что жить? На ваши три копейки, что мне положили? А

говорили — компенсация, всю жизнь как сыр в масле, в Геленджике квартира... И профсоюз тоже: ты зачем подписал, что претензий к шахте не имеешь? Оказывается, пока мне заплатки прилаживали к башке, я успел подписать какую-то бумагу. Я и не помню — писал, не писал. Вроде давали мне что-то подписывать... Вроде мое согласие на что-то... Будто, в Москве хочешь жить или в Геленджике?

— Я тут пропил все, что было у меня в Воркуте, — задумчиво проговорил Харитон, — а что и было-то? Комнатуха в общаге да фанерный чемодан, зеками сделанный. Так вот сюда и приехал... э-эх...

К середине бутылки Богомольцев уже знал, что на этом месте был особый лагерь.

Для тех, у кого срока большие. Но срока те никто, конечно, не выживал. Лагерь был большой, считалось — на пятьдесят тысяч, но с командировками, спецотделениями доходило и до двухсот. Гнали древесину вниз по реке, потом ее, что до моря доходила, англичанам продавали. Или меняли по ленд-лизу. Норвеги, говорят, целый флот организовали, чтобы нашу древесину, которую в море уносило, вылавливать.

Здесь Харитон и родился, но не от матери-зечки, что он отметил особо, а от вольняшки, говорили, что даже из благородных. Как ее закинуло сюда, Харитон не знал. Знал только, что папанька его от простых конвойных выслужился до майора, не зря двадцать с лишком лет тут оттрубил. Смеялся, что самый длинный срок здесь отбыл.

А в хрущевские времена лагерь захирел, обнаружилось вдруг, что реку лагерь лесом своим затонувшим загадил так, что не меньше чем полсотни лет природе потребуется, чтобы в себя прийти и от лагерной грязи очиститься.

— В три слоя топляк на дне лежит. — Харитон макнул толстый ломоть в плошку с серой солью и повторил. — В три слоя! Те же норвеги хотели реку очистить за бесплатно. Только дай им этот топляк вывезти. — Он поднял кулак и погрозил кому-то. — А мы им, хрен вот вам, ребята, мы сами с усами. Так что ли, Георгич? — Он снова погрозил кому-то вдаль, за окном. — А мы и не одни такие были, — Харитон в неровном свете керосиновой лампы выглядел еще более заросшим и лохматым. И тень причудливо скакала по грязной, давно не беленой печи. — Тут и окрест, считай, — одни лагеря. Где-то — землю ковыряли. Не то урановую руду копали, не то алмазы, — он помотал головой. — В тех хорошо жили. Бывало, и дорогу к ним протянут, а то и аэродром отгрохают. Алмазы-то вывозить. А мы что, мы на реке. Она тебя и везет, и кормит...

Выяснилось, что сам Харитон зеков не помнит, при нем их уж не было. Разве только вот те, старички, кому совсем уезжать некуда было. Как и папанька его, майор в отставке. Съездил, говорят, раз как-то на родину, в Тверскую губернию, так чуть не убили его местные мужики, помнили еще, какие он дела по юности закручивал. С продкомиссарами да латышами-чекистами. Хорошо местный участковый из уважения к его майорскому званию сумел папаньку от мужиков отбить и на своем газике вывезти. Под слово честное, чтобы никогда более там не появлялся. Так папанька и без всякого слова туда — ни ногой. Да и не только туда, он как из Тверской приехал, люди говорят, так более до самой смерти отсюда не рыпался. А завещал, тоже люди говорили, меня-то уж здесь не было, похоронить на высоком месте, чтобы над всем зековским кладбищем у него надзор был. Во как! И после смерти надзирать хотел!

— Здесь и кладбище лагерное?

— А как же, люди-то помирали тысячами. Лесоповал — это тебе не алмазы добывать. Там даже землю взрывами вскрывают. А после — экскаваторы, бульдозеры — всякая техника. А здесь — что пилой двуручной напилил, — то твое. Норму напилил, в штабель уложил — пайку с привеском получи. Не напилил — сам и виноват. Отправят на голодный паек. Будешь доходить. Дармоедов в нашем лагере не держали, это мне папанька сколь раз говорил!

— Тут и хоронили?

— А где ж еще? Не на материк же жмуриков возить? Это ж транспорты целые нужны!

Богомольцев, чтобы закрыть тему, поднял стакан.

— Помянем ушедших здесь!

— И не подумаю! — Харитон даже стукнул стаканом о стол. — Ты пойми, Георгич, здесь люди случайно не сидели! — Он быстро выпил и зажевал, обгладывая вяленого хариуса. Делал он это странным образом: отрывал у рыбы голову, потом одним движением раздирал ее пополам, вдоль хребта, засовывал рыбу целиком в рот и, мелко жуя, вытаскивал шкурку и кости, таинственным образом освобожденные от плотного, янтарного мяса. — Я, когда вернулся сюда, еще скольких зеков бывших застал, — он махнул рукой в сторону ворот в зону и ограды из колючки. — Чуть не все бараки, что снести не успели, захвачены были. Там и жили, папанька разрешил. — Он засмеялся. — Они к нему всё жаловаться друг на дружку ходили. По привычке всё доносили... Кто стукач, кто бандеровец, кто эти... мусаватисты... Ну, эти-то недолго задерживались. Свои, черные, за ними приезжали, — он задумался, вспоминая что-то. — Как папанька помер, целая комиссия не то из Котласа, не то с Вологды самой прикатила. И всю документацию вывезли. Специально, заметь, Георгич, специально судно за ней присылали! Дак и то не поместилась вся! Оставили здесь. Хотели под расписку, на ответственное, понимаешь, хранение оставить. А кому оставлять, не зекам же? Хоть и бывшим. После, как я вернулся, хотели мне бумаги передать. А подумали — какой из меня ответственный хранитель, верно? Да так и бросили! Сколь их было, ящиков с бумагами, я и не считал.

— И хранятся?

— Какой там! Я все пожег! — Богомольцеву показалось, что сказал он это не без гордости. — Сижу вот здесь, Георгич, у печки-то, читаю и жгу! Читаю и жгу! И ни одного, Георгич, ни одного невиноватого! Я уж от корки читал! И шпионы, и контра всякая, одних попов с десяток было! И все — в заговорах! Какое ни возьмешь дело — все в заговорах! И все — против советской власти! А ты говоришь, хранить! Я и кладбище ихнее срыл всё, к чертовой матери! Одну отцову могилу и оставил, как борца за наше государство!

— Как срыл? — не понял Богомольцев. — Могилы, что ли, уничтожил?

— А как же?! — с удовольствием сказал Харитон. — Им за что память? Что против народа боролись? Немцам нас продать хотели, чтобы те из народа рабов понаделали!

Видно было, что Харитон вышел на любимую тему.

Богомольцев поднялся.

— Время позднее, за хлеб-соль спасибо!

Харитон смотрел на него, странно посмеиваясь.

— Пора и честь знать. Я хочу завтра, — он глянул на окно, — или уж сегодня, не пойму, подняться повыше чуть, там палатку поставлю, расположусь, половлю рыбку. И потихоньку буду спускаться вниз, в вашу сторону... Дней через пять снова у вас буду, — соврал Богомольцев, твердо уже решивший не возвращаться в это гиблое место. — Так что до свидания...

— Ты погоди прощаться-то, Георгич. — Харитон встал, загородив собою лампу, тень его сразу метнулась по печке и потолку. — Тебе Настасья с Северинычем небось уже наговорили на меня? Что сумасшедший, да? Что из лагеря музей хочу сделать, да? Еще что?

— Да полно тебе, Харитон. — Богомольцев поднял руку, чтобы по-дружески положить ему на плечо, но Харитон резко, будто опасаясь удара, отскочил.

— Ты руками-то особо не маши, Георгич, — он настороженно замер в двух шагах.

— С ума не сходи, Харитон, — как можно мягче сказал Богомольцев и снова присел к столу.

— Кто не сходи, я? Это б..., Настька в уши надула, что я не в себе!

— Прости, Харитон. — Богомольцеву пришлось плеснуть остатки самогона в стаканы и протянуть Харитону. Для примирения. — Давай посошок и разойдемся миром.

— Мне ваш посошок ни к чему! — Богомольцев заметил вдруг, как глаза

Харитона (от лампы, что ли?) стали отсвечивать зеленым светом. — Что еще наговорили? Сумасшедший! — Он подошел к столу, взял стакан, не спуская глаз с Богомольцева, и медленно выпил, глядя на него. — Я музей хочу сделать, понял? Чтоб такие, как ты, видели, что их ждет, коли они против государства пойти надумают! — Харитон поставил стакан на стол и шмыгнул за печь, появившись мигом с карабином наперевес. — Руки за спину! — вдруг грянул он командирским голосом. — За спину руки! — и защелкнул наручники на запястьях. — Вперед, на выход!

Дальше все и верно напоминало сумасшедший дом. Харитон отконвоировал Богомольцева в зону, довел до барака и запер там, крикнув: «Проспись до утра!» и «Не вздумай вылезать, собаки порвут!» В чем Богомольцев тут же убедился, попробовав навалиться на дверь: собаки взвыли и бросились на дверь снаружи, подвывая по-волчьи и скребя ее когтями.

«Черт с тобой, алкаш сумасшедший, — подумал Богомольцев, потирая запястья — наручники, хоть и пластмассовые, намяли руки, и огляделся... — Проспится, поговорим, разберемся!» В свете маленького, чуть больше книги, окна Богомольцев рассмотрел ряды нар, виднелись подновленные, светлые столбики и доски, низкую печь в углу, рядом — кадка для воды, с другой стороны двери — ушат. «Параша», сообразил Богомольцев. На нарах недалеко от печки лежало какое-то тряпье. Богомольцев подошел — оттуда брызнуло целое крысиное семейство, пища и перепрыгивая друг через друга. Крысы его не особенно смутили — Божьи твари! — но, зная их характер, поставил свои кожаные ботинки поближе. Чтобы можно было при случае дотянуться рукой. Подложил под голову березовое полешко, припасенное для растопки, и тут же уснул.

Сон накрыл его мороком, из которого он никак не мог выйти: слышались удары рельса, команда: «Кончай ночевать!», потом какой-то шум и толчок в спину. Он открыл глаза — в бараке царили полумрак и тяжкий дух параши, сохнущих портянок и сотни тел, забывшихся на короткую летнюю ночь.

— Чего ждешь, пошел! — Крик сопровождался таким толчком в спину, что Богомольцев почти вылетел на улицу. Рассекая туман пасмурного утра, шли и шли странные, согнутые серые фигуры, побрякивая алюминиевыми мисками и мятыми армейскими котелками. Получив еще один тычок сзади, Богомольцев встроился в цепочку людей, услышав: «Куда прешь, твой отряд впереди!» Он механически пробежал несколько шагов, обнаружив на ногах резиновые «коты», клееные из автомобильных камер. В коты были заправлены старые армейские бриджи без обмоток, на плечах болталась фуфайка с номером, подпоясанная веревкой. Он встал в строй, который будто бы раздвинулся для него, и дальше шел, получал пайку, ел и снова шел в строю, ничего не понимая. Лишь ощущая себя маленькой, ничтожной частью какого-то великого организма, для которого колонна зеков, вышедшая за лагерные ворота, была тонким волоском, затерянным в лесах, болотах и топях Севера. А может, и того меньше — ничтожной молекулой, которая, подчиняясь высшей, космической силе, выстроилась возле столовой, рассчиталась по четыре и под вой рвущихся с поводков овчарок двинулась мимо КПП, домика кума и барака управления лагеря.

На одноступенчатом крыльце барака стояли начальник лагеря, передающий и внушающий колонне высшую волю, и рыжий Харитон.

Морок был тягучий и неотвязный. Богомольцев несколько раз пытался сбросить его, но он цеплялся — то стертой ко*т*ами ногой, то гнусом, который мигом залепил глаза, впился в веки, губы, уши опухли и стали зудеть невыносимо. Пришлось по примеру опытных зеков зачерпнуть из колеи болотной жижи и вымазать ею лицо, шею, руки.

Лучковая пила, которую ему дали, была настолько тупой, что зубцы скользили по стволу вековой сосны, почти не оставляя следов. Кто-то, Богомольцев не понял кто, кажется, он говорил по-украински, сунул ему в руку трехгранный обломок напильника, и Богомольцев принялся, сбивая пальцы, точить пилу. Он в жизни не

точил ни одной пилы, но сейчас как-то собрался, сосредоточился и, как ему показалось, дело пошло. Во всяком случае, пила стала вгрызаться в древесину, запахло смолой и опилками. Первый надрез был сделан удачно, сосна гудела, как мачта на паруснике, и огромный, в полтора обхвата, ствол стал оживать, вибрировать. «Надо с другой стороны запилить и валить туда, в ту сторону, как все». На делянке, по которой разбрелись зека (по неизвестным Богомольцеву правилам и законам, диктуемым той самой высшей силой!), то и дело в разных ее углах с гулом и каким-то лихим уханьем падали сосны, в последний раз сверкнув на солнце золотой чешуей стволов. Те же неизвестные пока еще правила укладывали стволы вершинами в одном направлении.

Богомольцев, путаясь ногами в высоком черничнике и дурмане, обошел сосну и принялся грызть и калечить ствол с подветренной стороны. В первом запиле полотно лучковой пилы застряло, «залипло», могучее дерево не хотело выпускать горячее жало, потом качнулось под ветром, удалось сделать второй запил, наискосок — третий, и вот — конец сосны был уже близок. Богомольцев почувствовал боль в спине (старый радикулит!), разогнулся, подпирая спину кулаком, глянул на солнце, ударившее вдруг золотыми нитями-лучами с тусклого, хмурившегося неба, зажмурился и только услышал, как вздохнула, словно освобождаясь от забот жизни, сосна, загудела в последний раз ветвями в вершине и с гулом обрушилась в сухой черничник, ягоды которого были заботливо выбраны зеками, жадными до витаминов.

Гул сосны, треск надломившегося ствола и удар о землю словно выбросили Богомольцева с нар. Он очнулся от сонного морока. Снаружи было тихо, крысы пищали, утаскивая его башмак. Он швырнул в них вторым башмаком, не попал и даже не особо распугал. Мимоходом, не очень надеясь, толкнул дверь. Она, как ни странно, поддалась, предательски скрипнув. Богомольцев, еще босой, выглянул, ожидая чего угодно: удара рельсы, команды: «Кончай ночевать!» или злобного собачьего броска. Было тихо, только рыжая белка редкими одинокими прыжками пересекла тропинку в сторону КПП. Богомольцев обулся, заглянул в барак, где они вчера пили с Харитоном, — там было пусто и тихо. Вчерашняя бутыль валялась на полу, на лавке стояли ведра с пыльной, нечистой водой, Богомольцев, несмотря на жажду, не рискнул пить ее. Он заглянул за печь, куда вчера Харитон утащил карабин. Оружия там не было. Во всяком случае, ни на стене, ни в груде хлама на деревянных нарах «Сайга» не просматривалась.

«Бог с ним, с карабином, на обратном пути зайду!» Что-то гнало Богомольцева отсюда — все время было отвратительное чувство, что кто-то не просто смотрит в спину непрерывно, а целится сзади. Аккуратно выцеливая затылок. Он резво, почти бегом, спустился по старой тропе к реке. Лодка была на месте. Он осмотрелся, все еще будто ожидая выстрела, торопливо двинул лодку к воде, столкнул ее и, взмутив отстоявшуюся воду, прыгнул на кормовую банку. Мотор взревел, чихнув приятным бензиновым дымком, заурчал, прислушиваясь к хозяйской руке, и потянул, заставив лодку задрать нос. Всколыхнулись береговые камыши, выхлопы мотора поскакали по прибрежным скалам, и Богомольцев взял мористее, выходя на середину реки. Слева остались гнилые штабеля когда-то спиленного леса, Богомольцев сообразил, что это все, что осталось от сплавной биржи. Сгнившие остатки сооружения тянулись метров на триста, сплав и верно был солидный, — зато справа, сияя блестками на солнце, далеко, почти до горизонта, простиралась река. Богомольцев, не отпуская руля, зачерпнул рукой воду и плеснул на лицо. Вода была свежая, холодная, пахла рыбой и арбузом.

Рыбалка за перекатами, что были выше мыса, не задалась. Притом, что хариус кидался на приманку как сумасшедший, мелкие неприятности шли одна за другой. То оборвался и навсегда исчез любимый Богомольцевым и почитаемый хариусом воблер, то сломалась рукоять подсачника — громадная щука ушла, не оставив о себе воспоминания даже в фотокамере, то сел аккумулятор спутникового телефона, а зарядить его через генератор, подсоединенный к мотору, почему-то не удавалось. Но

когда почти сгорел башмак Богомольцева и так уже обгрызанный крысами, а случайно выстреливший уголек от костра прожег палатку, славившуюся немецким качеством несгораемого покрытия, Богомольцев понял, что пора отсюда уходить.

Богомольцев вытащил из походной коптильни двух крупных хариусов, перекусил и принялся собирать вещи, разложенные возле палатки. Тихий ветерок с берега нес тонкий, сладковатый аромат северного разнотравья. Травы здесь и цвели, и пахли сильнее, ярче, чем на материке. Богомольцеву вдруг захотелось пройтись по лугу, который эти три дня был у него за спиной. Он отложил удочки и, щурясь от неяркого, но горячего солнца, шагнул в траву. Она оказалась неожиданно высокой и густой. Стебли и листья неизвестных Богомольцеву трав тянулись вверх, то сплетаясь и поддерживая друг друга, то вместе валились набок, отягощенные тяжелыми соцветиями удивительно нежных оттенков. Богомольцев не без труда сорвал крупную цветочную гроздь, похожую на соцветие сирени. Каждый из десятков цветков был похож на маленький колокольчик — львиный зев, причем цветки внизу и наверху цветной пирамиды были разными по оттенкам. Верхние — ярко-розовые, с желтоватой обратной стороной цветка, с восковым блеском и нежнейшими ниточками, делившими каждый лепесток на удивительно равные части. Верхние цветки должны были, по замыслу творца, привлекать шмелей и пчел. И они прекрасно справлялись с этим: шмелиный гул волнами, то слабея, то усиливаясь, накатывал на луг. Нижние же цветки, чуть мельче, нежнее, окрасились в тончайшие тона зеленовато-розового фарфора, которые лишь иногда можно увидеть в прихотливых узорах мейсенских сервизов. Неожиданно из цветка, который Богомольцев поднес к лицу, вырвался шмель и с гулом истребителя, рванувшего со старта, улетел, сразу исчезнув в солнечном мареве. Как хороша была природа в отсутствие человека! От земли исходил ровный теплый пар, теплый дух, который давал жизнь и возможность миллионам растений вырасти, окрепнуть, отдать пыльцу и нектар и послушно склонять верхушки, усыпанные цветами, подчиняясь несильному, словно навеянному ласковым опахалом ветерку. Солнце стекало с дальних холмов, превращаясь из безжизненно серебристого в живой желто-розово-зеленый свет, отражающий многоцветье травы. Все было живо, чуть подвижно, все колыхалось в известном каждому растению ритме, и все — замерло, застыло в тиши редкой, почти неземной благодати. Господи, как хорошо! Богомольцев провел ладонями по верхушкам цветов и трав, чувствуя, как нежная пыльца прилипает к пальцам.

Звякнул колокольчик на удочке, которую Богомольцев забросил еще до завтрака и даже успел позабыть о ней. С трудом развернувшись в густой траве, он пошел обратно к удочке и принялся выбирать леску. Та тянулась легко, хотя и чувствовалось, что на крючке что-то есть. Потом был рывок, удилище чуть не вылетело из рук, еще рывок, Богомольцев даже немного стравил леску, так туго она пошла, рыба еще круче выгнула удилище, потом — пауза, в которой Богомольцев быстро-быстро завертел рукоять катушки, и наконец в стороне, куда рыба утащила леску, ударил бурун, и по синей стеклянной глади, вспенивая и швыряясь брызгами, помчалась крупная рыба. «Таймень!» — ахнул Богомольцев, заходя по колено в ледяную воду и не отрывая взгляда от пляшущей в воде рыбины.

То был не таймень, а местный голец: крупный, в метр длиной, с голубой спиной и серебристыми боками в пятнах. У самого берега он вдруг перестал сопротивляться и покорно пошел за леской. Богомольцев в жизни не видал таких красавцев, словно река на прощание решила соблазнить его волшебным даром. Соблазнить, чтобы остался? Богомольцев сфотографировал красавца на телефон и не без труда — тот принялся вдруг вырываться, врубив все шесть-восемь килограммов мышц — оттащил гольца в воду. Тот замер на мгновение, шевельнул легонько плавниками, будто проверяя — все ли на месте, и рванул на глубину, оставив за собой лишь бурун.

Вода за эти дни еще спала, больше открылись перекаты, но по знакомым уже местам да еще по течению лодка бежала веселее. И все, что случилось с ним на мысу, представлялось в другом свете. Ну, малость сдурел парень от одиночества, его понять

можно, перебрал слегка и самогонки своей отвратной. Пили почти без закуски... Богомольцев припомнил запах самогона — смесь жженой пробки с горелой резиной — передернуло плечи. Сейчас хоть сядем по-человечески, выпьем «Старки». Богомольцева тянуло посмотреть бывший лагерь, кладбище, пусть и срытое этим сумасшедшим, но не до конца же! Ему уже приходилось бывать в одном из самых страшных воркутинских лагерей. Поразили низенькие бараки, снаружи по окна укутанные землей, жалкие остатки былой жизни — не страшные, какие-то чуть ли не игрушечные. Поразили две вещи: процарапанные на сгнивших досках имена, даты и безымянные, выпирающие из земли могилы. Земля за полвека так и не приняла этих мертвецов, она выпучивалась, выталкивая их наружу, как бы напоминая всем, что здесь, под маленькими, вкривь и вкось, столбиками с железными, стершимися номерами, лежат не принятые, не похороненные, не отпетые люди. Богомольцев вспомнил тепло доски, к которой он приложился сначала рукой, а потом и лбом. На доске, рядом, почти друг на друге, были процарапаны надписи: имена бывших зеков, а ныне вольных людей, десятками лежащих под кривыми столбиками с ржавыми жестянками, и — страшные ругательства. Как последнее, вечное послание оттуда — потомкам.

Богомольцев прошел вдоль бывшей биржи, молодой лес уже придвинулся к берегу, скрывая брошенные человеком сараи, бывшие гигантские стапели, похожие на трибуны развалившегося стадиона, громадные бревна-слеги, по которым лес сбрасывали в воду.

Обогнув камыши, Богомольцев вырубил мотор. Что-то странное было в том, что он увидел на берегу. Разомлевшие на солнце, сытые собаки вальяжно расположились на солнце, повыше пристаньки. Странность была в том, что ни одна из них не тявкнула, не вскочила на ноги. Казалось, они были здесь хозяевами и не собирались приветствовать незваного гостя. Стая была немалая. Присмотревшись, Богомольцев разглядел выше, дальше от уреза воды, еще собак, помельче, щенков. Те тоже лежали молча, лениво посматривая на медленно идущую лодку. Наконец громадный, серый с подпалинами пес поднялся, потянулся от души, с подвывом, и подошел к воде. Конечно, псина был помесью с волком — мощная башка на короткой, толстой шее, крепкие лапы и желтый, волчий, исподлобья взгляд. Если бы не хвост вялым крючком — волк и волк. Пес лениво лизнул воду раз-другой и ожидающе уставился на Богомольцева. Тот хотел крикнуть что-нибудь бодрое, вроде: «Ух, сколько вас здесь собралось, ребята!» — как увидел за спиной могучего пса какие-то кровавые лохмотья. И тут же заметил, что песья морда вся в засохших следах крови.

«Боже мой, что это?» — прошептал Богомольцев, медленно, не разом понимая, что произошло. Кровавые лохмотья и старенький карабин, из которого он почему-то не успел выстрелить, — все, что осталось от Харитона. Богомольцев увидел рыжие, кудрявые волосы в запекшейся крови, важного черного ворона, спокойно сидевшего среди разномастной своры и отдирающего свои куски добычи мощным, слегка загнутым, как ятаган, клювом.

Богомольцев уперся шестом в дно и с усилием остановил лодку. Еще несколько собак поднялись и вошли в воду по брюхо, молчаливо поддерживая вожака. На берегу ворон, отодрав очередной шмат добычи, важно, раскачиваясь, отошел в сторону и принялся ее клевать. Звук от ударов черного ятагана напомнил Богомольцеву тот самый стук — как по неполной канистре, — который издавала пластмассовая заплатка на голове Харитона. Богомольцев уперся шестом, благо шест доставал до дна, круто развернул лодку и дернул шнурок мотора. Лодка осела на корму и тут же прибавила ходу. Собаки, молча стоявшие по брюхо в воде, взвыли как по команде и залились забытым, хриплым, несобачьим лаем. Богомольцев оглянулся — стая, их было не меньше двадцати, большие, маленькие, мохнатые, в клочьях недолинявшей шерсти, в воде, на берегу, — высыпала к реке и, перекрывая друг друга, посылала свои собачьи проклятия людям.

Валерий Пискунов

Ракоход

Andante

Вадим Адамович брился вслепую и взлаивал всякий раз, как тупое лезвие застревало в густой неподатливой щетине.

За ночь отрастала, как на покойнике, и ежедневная эта процедура пронимала Вадима Адамовича глубоким, глубже подкожного, холодом: так брились покойный отец и отец отца, и Вадиму Адамовичу казалось, что каждое движение тупой гильотины отсекает последние корешки, связывающие его с жизнью. Адамов кадык, узелок полувековой давности, сжимался и выдавливал сиюминутную слезу с той же легкостью, с какой выступал сок из рассеченного стебля. Мысленно воссоздавая себя на мутной сетчатке памяти, Вадим Адамович терялся во временных сопереживаниях и с чудовищной, ничем не объяснимой последовательностью доводил себя до одиночества. Ушла жена: по мановению Муна сочеталась с южноафриканским слесарем, увезла с собою дочку и внучку и теперь рожает для них братьев и дядьев. Месяц тому как схоронил маму. Позвонили ночью, сказали, что умирает. Он вскинулся, стал одеваться, ноги в брюки, руки в пиджак и вдруг запнулся и стих — подлое чувство жизни виляло и заглядывало прямо в глаза, мол, мигни, и я все пойму, но только не надо слов, не надо последних слов.

Логика доведения до одиночества сопровождалась таким же простым, но скользким ходом самоуничижения... Вадима Адамовича надо знать. Талантливый пианист, он осознал себя таковым только с первым чувством смерти. Окунет пальцы в два-три аккорда, и под самое горло подкатит волна жалости к самому себе: как ни верти контрапункт, жизнь не разрешить обреченностью. Однако гармония жестока: однажды зажав пальцы в пыточном станке, она будет давить и давить до тех пор, пока ты не согласишься, что это костоломное мучительство и есть та самая изящная и совершенная смена форм. Тогда же, с первым страхом смерти, Вадим Адамович пережил и первое, заприродное чувство смертельного унижения. Пережил, отметил и запомнил. Ведь не зря же ужасу исчезновения сопутствует неотвязная, горько-сладостная мыслишка о глупо и безнадежно растраченной жизни. В этом параллельном уничижении Вадим Адамович усмотрел возможность некой спасительной закономерности.

Закончим бритье, сполоснем физиономию. Двигаясь из совмещенного санузла по затертому линолеуму, Вадим Адамович мелькнул спиной в узком зеркале старого шкафа и вошел в единственную, до сумасшествия квадратную, комнату. Итак, если смерть нам не подвластна, мы противопоставим ей целенаправленное, хорошо

Пискунов Валерий Михайлович (р.1949), автор четырех книг. Рассказы, повести и романы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов». Член Союза российских писателей. Живет в г. Ростов-на-Дону.

темперированное самоизничтожение. Мы изотрем себя в такую наночастицу, на которой не удержаться ничему человеческому, ниже сослагательному чувству смерти.

Бледным большим кулаком Вадим Адамович ударил по квадратному столу: «Проскользну пылинкой сквозь душевный бедлам, и только меня и видели!» Вадим Адамович попятился и сел на жесткую тахту. Он обвел темным взглядом дальний темный угол, из которого неделю назад было навсегда удалено пианино. В памяти и в пальцах еще звенел зуд от прикосновения к старым клавишам, но зуд от содеянного был живее и слаще. Теперь он увидел себя в зеркале, и то лишь на какое-то мгновение, а тот, что в зеркале, вдруг поднялся и пошел прямо на Вадима Адамовича, усмехаясь и пуча бледные губы: «Я напомню тебе, старый дурак, о еще одной закономерности: чем мельче частица, которой ты себя представляешь, тем алчнее жажда жить, вот почему твое самоунижение надувается, как пузырь, непомерною жалостью к самому себе...»

Вадим Адамович плюнул на зеркальную плащаницу и пригнулся, уклоняясь от кисломолочных капель. В самоуничижении он был уже хитрован. Он изобрел и опробовал на публике некий противоход, пробуждающий от кошмара исчезновения — для этого надо прикинуться злобным, обиженным психопатом, кричать и визжать, угрожая бессовестному взрослому миру капризом детской падучей. Вот и сейчас, сглатывая сладкую слюну и постанывая, Вадим Адамович присел, прижимая коленками грудь и сдавливая рвущийся наружу вой: «Смысл?! Цель?! Жизнь кончена!» Не будет великого пианиста Вадима Каверзова, не будет любимой жены, не будет инвалидной коляски и доброго внука за спиной. «Все пожрали южноамериканские тараканы!» Тяжелым вопросительным знаком Вадим Адамович повалился на бок и пустил пенку на губах. Он полежал, прислушиваясь к ровному бою сердца, слизнул пенку и поднялся. Игра без публики выходила сухой и никчемной. Разрушался с таким трудом отлаженный контрапункт.

Теперь нужны улица и трамвай. Май, подогретый планетарным потеплением, выгонял одновременно цветы сирени и каштана, акации и липы. В знойном воздухе висела щекотливая тополиная пыльца. Улочка, по которой шел Вадим Адамович, была раза в четыре старше него, но на фоне сутулого прохожего, несшего большое, провисшее складками лицо, выглядела ветреницей, случайно проросшей в трещине древнего, многослойного асфальта. Вопреки гнетущей, как жара, видимости, Вадим Адамович переживал головокружительную путаницу воспоминаний, выгоняемых из памяти сумасшедшей гармоникой запахов. Воспоминания были сумбурные, неприкаянные и, подобно музыке, непоправимые. Он приостанавливал шаг и даже дыхание, чтобы внюхаться, вобрать и понять наконец, что же ищет в нем, что хочет вспомнить из него эта пышная, ошалевшая на беспамятстве весна. По давнему опыту знал, что не дотянется, не вдохнет «из уст в уста». Да и можно ли утолить смертельный голод, вдыхая идеальные испарения эфемерной памяти? Уставал страшно, оскорбленный бессмысленным накоплением лет, бессмысленным их пересчетом, цветущими их посланниками, лезущими через ограды и заборы с настырностью одичавшей кладбищенской флоры. С животной покорностью Вадим Адамович вбирал и вбирал в себя эту весеннюю нуду, не понимая, ни к чему его принуждают, ни чем это может разрешиться в знойных пределах неподвижной юдоли. Юдоль же была хитра, она разворачивала свой фантастический сад вопреки временной последовательности, она заставила Вадима Адамовича обогнуть неохватный ствол черного тополя и разрешилась запахом графита и раскаленных трамвайных рельсов.

Остановка была пуста, и пустынен был трамвайный горизонт. Потея головой, спиной и подмышками, Вадим Адамович решил про себя, что терпеть будет не дольше двадцати минут, а потом вернется домой и покончит со всеми сомнениями, встав под мертвую воду душа. Однако стальная непреклонность рельсов потребовала от него

самоотчета, доведения до сознания цели нынешней поездки. Вадим Адамович нервно прошелся туда-сюда, поставил ногу на лавочку, чтобы перевязать шнурок. И вот в этот-то момент он и признался себе, что ехать т у д а не хочет. Нынче вечером ему давать концерт в Онкологическом институте, и, подгоняемый истеричным недоверием к своему дару, он решил загодя подольститься к незнакомому инструменту, вложить персты в его открытые раны... Но со стороны Онкоинститута тянуло отвратным духом свального морга. И так, удушливо затягивая шнурок, Вадим Адамович пристыдил себя: «Рихтера хоть на парашюте сбрось, он сядет и сыграет, вынет душу даже из раздолбанного пианино. Ехать же т у д а ты не желаешь, потому что т а м — люди у последней черты». — «Ну и что?» — спросил Вадим Адамович, и концы шнурка сцепились мертвым узлом. «А то, что тебя оскорбляет всякий, кто унижен больше, чем ты». Упрек пришелся кстати. Потея желчной к себе неприязнью, Вадим Адамович смотрел на рельсы и прикидывал, как бы так лечь под трамвай, чтобы кисти остались целы: пусть хоть после смерти свободно доиграют то, что не довелось при жизни.

Горячим сердцем пережигая зной, Вадим Адамович вошел в полупустой трамвай. Никто на него не обратил внимания. Он же цепко оглядел всех, по лицам прикидывая, кто из них едет именно т у д а, в Онкоцентр, в эту резервацию смерти. Но все смотрели в окна, в жизнь, в неотменимую надежду. И только он один громыхал рельсами, подпрыгивал на стыках, запоздало удивляясь и своей отваге, и отвращению, которое нарастало с каждой остановкой. Из-за жары вожатая не закрывала двери, и Вадим Адамович стоял на подножке, с детским самозабвением глядя, как струнами вытягивается обок с трамваем земля. Вадим Адамович нашарил в кармане мелочь, подсчитал, недосчитался, хитро решил, что и так сойдет. Но не сошло, вожатая сутяжно сказала: «С вас еще десять копеек». Вадим Адамович так и повис на поручне, лицо побледнело от вдохновенного гнева.

— Десять копеек пожалела! — заорал он и сорвался на визг: «десять копеек» хорошо ложились на верхние, слезные диезки. — А ты сначала спроси, куда человек едет и что его ждет!

Теперь весь полупустой вагон смотрел на Вадима Адамовича. Губы у него побелели и кривились, пальцы судорожно сжимали поручень. Аудитория была готова, и надо было ее дожимать.

— Ну, что вы уставились? — взвизгнул он, задыхаясь. — Что вы все смотрите, как будто всерьез живете?

— Да иди уже, припадочный! — Вожатая дернула трамвай.

— Я уйду! Но я так уйду, что вам тошно станет!

Вадим Адамович спрыгнул с подножки и попытался захлопнуть за собой дверь. Трамвай содрогнулся и, нечеловечески скрежеща, пошел отрезать от Вадима Адамовича бо́льшую половину жизни. В заднее окно вагона на него смотрела девочка. Смотрела, смотрела и, на излете воображения, вдруг скорчила ему рожу.

Теперь он не знал, как подступить к Онкоинституту. Он тяжело дышал и плохо ориентировался. Длинный глухой забор тянулся и тянулся, вдоль забора тянулся голый тротуар, и эти две раскаленные плоскости выводили, казалось, к самому небу. Потому что и небо тоже обустраивали — Онкоинститут возводил новые корпуса. Серые сквозистые стеллажи крепились прямо на серой тверди. «Вертикальный колумбарий, — с отвращением подумал Вадим Адамович. — Подходы к смерти тщательно продуманы». Интересно, досягнёт ли музыка до этих высот? Он задрал взгляд туда, где сухо трещала сварка. Десятый этаж и никого, только сильно искрит, как будто в небесной коммуникации пробило проводку. А если выше, к семнадцатому стеллажу? Вадим Адамович вдохом поднял диафрагму и подпер ее одному ему понятным аккордом. Ни единого человека, ни трепета белых крыльев. А ближе к

зениту уже торчали кресты еще не нагруженных опор. И высасывающая душу тишина. Вадим Адамович напрягся до звона в ушах, пытаясь взлететь над этим зенитным кладбищем, но позорно сорвался и обмяк. Здесь, на территории Онкоцентра, было какое-то особенное поле уничижения, не желавшее делиться своей гармонией даже под простенький ракоход[1]. Вадим Адамович пошарил взглядом по земле, ища выхода из этой контроверзы, и наткнулся на две грязные рабочие перчатки — одна играючи брала полторы октавы, а другая казала шиш.

Административные этажи тоже были пустынны, здесь деловито бродили редкие больные, и среди больных бродил Вадим Адамович. Он откровенно трусил, старался не дышать одним воздухом с прокаженными и никак не мог найти того, кто откроет ему концертный зал и подведет к роялю. Вдруг из-под коридорного фикуса вынырнул и брюхато засеменил, весь в медицинском рафинаде, психотерапевт Аркаша.

— Клавиршулер! — ласково приветствовал он и полез целоваться. — А я смотрю — афишка, читаю, и тут вот он ты!

Аркаша не говорил, он играл золотыми зубами, скабрезно посверкивая наконечниками клыков.

— Почему так рано? За медицинской помощью?

Вадима Адамовича как морозом пробрало.

— Типун тебе на язык!

— Э, дружок! — Аркаша схватил его за кончик локтя и куда-то потащил. — Знаешь ли ты, что в старину типуном называли рак языка? Ну, входи в мои похоромки.

Аркаша поторопился втиснуться в кресло, предлагая Вадиму Адамовичу выбрать любой из треугольных стульев. Кондиционер дул так, что трепетала толстая опунция. Холодный ветер быстро подсушил Вадима Адамовича и даже утолил душевную жажду.

— А где же кушетка? — игриво спросил он.

Аркаша всплеснул нежными золотыми ладошками: «У меня не кушетки, Вадик, у меня теперь кроватки! А как твой психоз? Ты наконец похоронил маму?»

Под птичьим глазом психотерапевта Вадим Адамович почувствовал себя отшлифованным зерном.

— Я не знаю, как себя-то похоронить!

Аркаша закивал крахмальной пилоткой.

— Начитался Кляйн, влечешься к смерти...

— А можно отвлечься? — Вадим Адамович попытался переглядеть птичий взгляд психотерапевта. Психотерапевт доброжелательно победил и сказал:

— Никогда не торопись умирать!

— Аркаша, а если безнадега! — трамвайным голосом рванул Вадим Адамович.

Аркаша откинулся на спинку кресла, и Вадим Адамович увидел перед собой существо, не знающее чуждой среды обитания, и этот живот, на котором покоились золотые лапки, мог быть летательным пузырем, мог быть пузырем, на котором плавают или перекатываются по марсианским пескам ...

— ...и потому чем глубже в гены, тем безнадежнее здоровье!

— Это ты как врач пациенту?

— Нет, как житель Земли жителю Земли. И мы уже знаем, что болезнь — это не болезнь, а неиспользованные возможности жизни. У завзятого юмориста обнаруживают раковые клетки — и где его чувство юмора? А ведь раковая клетка — это новая форма жизни. Надо это понять и принять без предрассудков...

— И тут появляешься ты!

Аркаша кивком отклонил выпад.

---

[1] Ракоход — вид полифонической техники, проведение темы (в риспосте) в обратном движении, от последней ноты к первой; то же, что ракоходная имитация.

— Нет, тут, к сожалению, всегда появляется пациент, смотрит на меня гипнотическим взглядом и думает: «А вот я тебя утоплю в болоте своих психозов!»

Вадим Адамович от неожиданности икнул чуть ли не подсознанием, однако сдаваться не хотел.

— Ходят слухи, эта новая жизнь стоит немереных бабок.

Вадим Адамович как бы спросил, но и не спросил, вроде бы посмотрел в глаза, но и не посмотрел. Аркаша уловил оба косвенных выверта опытного психопата.

— А ты подсчитывал, сколько затратили твои родители, прежде чем зачали тебя — свою раковую опухоль?

— Запрещенный логический ход! — воскликнул Вадим Адамович и вскинул руку.

— Зато какой ракоход! — ответил Аркаша и подмигнул золотой зеницей. — А кстати, хочешь, познакомлю с очаровательной безнадежкой? Страсть у бездны мрачной на краю излечивает от всех предрассудков!

Позыв редкой психической тошноты передернул Вадима Адамовича. Придерживая сердце, он поднялся и спросил:

— Так ты придешь?

— Увы, — Аркаша загасил все свое золото. — Я здесь удержан сознаньем беззаконья моего...

Зал был амфитеатром. Рояль стоял в самом низу, на маленькой сцене, задвинутый в угол между стен из серого туфа. «Ну, как я и представлял», — сказал себе Вадим Адамович, но так он не представлял, потому что в воображении рояль был развернут к залу низким регистром. Вадим Адамович просеменил к инструменту, откинул крышку и почему-то удивился тому, что черные клавиши не покрыты золотыми коронками. «Чертов Аркашка!» — Вадим Адамович смигнул с глаз дурное видение и осторожно, ощупью присел на верткий стул. Воздух был влажный, звук лениво отлипал от струн. Вадим Адамович вздохнул и ударил. Пауза поползла по опущенным рукам и, когда защекотала в кончиках пальцев, ударил еще раз. Эхо было скупым, звук недужным. «Я тебя расшевелю!» — озлился Вадим Адамович и с хищным, мягким коварством вцепился в мануалы. Он музицировал как всегда — против света, распугивал призраков суеты, пошлой обреченности, разгребал мутную пленку времени, чтобы разглядеть нечто бесценное, восстающее против гнетущего потока уничижения. А темная прорва памяти как будто ждала и выталкивала прямо в поток сиюминутной потехи то, что саднило невозвратностью, что зияло, проницая тупую бездну будущего — смерть отца и смерть матери. Отец умер, из последних сил доведя до финала свое предстательное преставленье. Мама умирала проще, естественнее, и когда Вадиму Адамовичу сообщили, что она кончается... «Как же ты заторопился, как стал бить ногами по воздуху, только чтобы не поспеть, чтобы избежать ее последней минуты!»

Он нажал на педальку, для минорное ми, — звук вибрировал, кривлялся, и Вадим Адамович педальку отпустил. Хочешь не хочешь, а Господом Богом назначено изворачиваться з д е с ь и выживать с е й ч а с. Краем глаза Вадим Адамович видел: в зал поодиночке входили больные; мгновение помешкав, каждый выбирал себе место, бесшумно к нему пробирался и замирал. Вошла забинтованная, с поджатой челюстью, голова, и музыка отделилась от рояля, память — от пальцев музыканта, молоточки почти не касались струн. Вадим Адамович не разгибался, и казалось, что он не играет, а мышкует, выцарапывает каких-то серых призраков из-под клавишных нор, а может быть, томимый жаждой, ковыряет сухую землю в поисках блаженного родника... И в то же время, пока над головами обреченных разверзался этот легчайший из возможных ад, Вадим Адамович пел, гундел себе под нос нечто несуразное, бездольное, подобно расстроенной струне, сквозь воспаленное горло которой протискивается жестокий своей неповторимостью хрустальный тон.

В первом ряду незаметно появились два отрока. В одном из них Вадим Адамович угадал девочку, другой оставался неразгаданным. Чтобы как-то раздвоить их и различить, он заиграл нечто современное, отчасти джазовое, отчасти самодельное, он так азартно свинговал, мультяшки пальцев так смешно перебегали по хлипким мосткам!.. Отроки сидели, угнув головы, и смотрели на пианиста с таким же недоверием, с каким пианист смотрел на свою жизнь — не принимая ни в чем, ежеминутно сомневаясь, бесшабашно греша самообманом в расчете на то последнее мгновение, когда пальцы коснутся дна.

Приковылял старик, держа в руке собственную капельницу. Под эти водяные часы Вадим Адамович заиграл свое любимое: «Зачем приходишь ты... меня тревожить...» Ладони вспотели, потело чело, капля за каплей накатывали на кончик носа и падали на клавиши, пальцы скользили над разыгравшейся прорвой, но «Не могу ... не должен ... я за тобой идти»! И он не шел — бежал на месте, подпрыгивал, самозабвенно танцевал на податливых костях: «Тень матери! Тень матери!» Приступ падучей давил под самое горло, удержаться не было сил — толкал восторг отчаянья... воспоминанья страшного... «Тень матери не вызовет меня... отселе — поздно...» Тональность внезапно оборвалась. Распяленные пясти слепо нащупывали подспудную гармонию, готовую отдаться под горловые спазмы, слезы и стон. Вадим Адамович мотал головой из стороны в сторону, припадочно припадая всем своим скелетом к оструненному скелету рояля, и пел, гундел себе под нос. Впрочем, абсолютный внутренний слух его, когда добирался до языка, безбожно врал. Но аудитория была та самая, в которой Вадим Адамович мог бесстыдно биться в истерике, перегоняя энергию унижения в энергию благодарных слез. Больничная атмосфера толкала его искать все более крутые ходы вниз, туда, ниже дна, в поддонье, и, скользя на цыганских бемолях, он воспроизводил задушевный неряшливый хор, только чтобы забыться у кромки света, на границе, отделяющей от бессовестной вседозволенности смерти. Здесь не было пустых, проходных жестов, здесь что ни жест, то ответный ход, что ни ход, то удар судьбы. Он видел редкие заплаканные лица. Больной с пустеющей капельницей в поднятой руке пробирался к выходу. Из двух детей девочка улыбнулась и откинула голову, обнажая забинтованное горло и какой-то металлический клапан в нем. Вадиму Адамовичу стало плохо, мандраж охватил колени и руки. Надо было скоренько подсушивать эту слезоточивую коду. Он пригнулся еще ниже, щекой почти касался клавиш. «Не забудь, тут пальчик, — бормотал он, высматривая что-то на полях невидимой партитуры. — И тут пальчик... А теперь правая... ближе, еще ближе! Вот так». И тихо, суеверно опустил черную крышку.

В больничном дворе, посреди палисада, тянулась в небо молоденькая церковь — отпевая все земное и смертию попирая смерть. Ажурный крест искрился в лучах наклонного солнца. Поперек неба волнами стлались тени восходящих потоков. А выше волн и потоков, там, где выгибался купол предвечной тверди, трепетали две белые птицы — два голубя изображали хлопотливые длани самозабвенного маэстро: они разлета... слета... взмыва... и зависа... А Вадим Адамович задыха... и пла...

Азамат Габуев

Мальчик и пистолет

Рассказ

В России не так-то просто достать оружие, особенно если тебе тринадцать. Но мальчику, о котором я хочу рассказать, просто позарез нужен был пистолет.

Мальчик этот не собирался кого-то убивать или грабить, не имел заклятых врагов, жизнь его не подвергалась ежедневной опасности. Он ходил в обычную школу в городке ничем не примечательном, ну разве что более жарком и пыльном, чем многие другие города в стране; мало читал; играл в видеоигры, переписывая у приятелей коды и комбинации для особых трюков; любил швырять мяч в баскетбольное кольцо, хотя тот явно этому противился. Родители мальчика, в отличие от родителей многих его одноклассников, не были разведены и делали друг другу подарки на годовщину свадьбы. Он катался на роликовых коньках, носил красную бейсболку задом наперед и майки по колено. Он гулял по улицам с наушниками на голове, слушая рэп и кивая на слабую долю. Он сидел на спинке скамейки вместе с соседскими мальчиками, запивал арахис растворимым апельсиновым соком, собирал сплетни о местных бандитах и врал насчет своего полового опыта.

Если и было в нашем герое что примечательное, то это то, что у него часто шла носом кровь. Раз в месяц, а то и чаще, он выбегал из класса, прижимая к лицу платок. Его наволочки порой напоминали тест Роршаха, но родители, как бы подчеркивая несерьезность проблемы, принципиально не хотели менять белое постельное белье на черное. Врачи говорили, что ничего страшного, что это он просто быстро растет и что лечиться не надо — само пройдет, а пока можно принимать пищевую добавку с железом для укрепления сосудов. Учителя со временем привыкли к кровотечениям и, когда те случались, не освобождали мальчика от уроков. Одноклассникам тоже быстро надоело шутить про «доковырялся». Так даже та небольшая особенность, которой обладал мальчик, сделалась обыденностью. Это его не волновало. Его волновало отсутствие пистолета.

Он плохо разбирался в марках пистолетов и имел смутное представление об их устройстве, но каждый раз, когда один из них — в кобуре ли инкассатора, в руках ли праздно болтающегося мелкого бандита — попадал в его поле зрения, все звуки дня приглушались, и все краски блекли на фоне куска вороненой стали. Одергивать мальчика в этот момент не имело смысла — он не мог заговорить, пока хозяин не убирал пистолет из виду или не уходил.

Он спросил как-то у отца:

— А почему у тебя нет пистолета?

— Потому что я не военный, не мент и не бадит, — объяснил отец.

— Я бы не потерпела оружия в доме, — добавила мать.

В их городке даже не было тира. Вернее, он был когда-то давно в парке. Но теперь

Габуев Азамат Борисович — прозаик. Родился в 1985 г. Окончил юридический факультет СОГУ им.К.Л.Хетагурова, затем аспирантуру МГЮА им.О.Е.Кутафина. Публиковался в журналах «Дарьял» и «Beletra almanako» под псевдонимом «Джонни Рамонов». В журнале «Октябрь» — под собственным именем. В 2009 г. вошел в лонг-лист премии «Неформат», в 2011-м — в лонг-лист премии «Дебют». Родился и живет во Владикавказе. В «Дружбе народов» печатается впервые.

парк находился в упадке. Карусели сдали на металлолом, чертово колесо навеки застопорилось, и между каменных плит, которыми были вымощены тропинки, росла высокая трава с использованными шприцами. Оставалось довольствоваться стрельбой из электронного пистолета по виртуальным мишеням на выцветшем экране лампового телевизора.

Но однажды мальчику неожиданно и невиданно повезло. Сосед, за которым плелась слава картежника и торговца контрабандными видеомагнитофонами, сидел в своем красном БМВ, вытянув ноги в джинсах и остроносых туфлях в открытую дверь, и развлекал дворовых мальчишек фокусами.

— Покажи еще!— требовали мальчишки каждый раз, когда очередная загаданная карта извлекалась из-за чьего-нибудь уха.

Наш мальчик был среди них. Он так же, как другие, следил за руками в закатанных по локоть рукавах, пытаясь понять, в чем хитрость, и так же, как другие, радовался, что хитрость осталась неразгаданной. Только вот после третьего фокуса он не видел уже ни колоды, ни рукавов, ни руля, для украшения оплетенного разноцветными проводами, ни рыбки, сделанной из катетеров, что свисала с зеркальца. Весь салон машины будто заслонило черное облако с маленьким отверстием посередине, сквозь которое виднелся втиснутый между сиденьями пистолет с роговыми пластинками на рукоятке.

Забывшийся мальчик едва понимал, что к нему обращаются, что-то предлагают. Что там? Его очередь? Очередь куда? Это как-то связано с проводами, связано с картами, с катетерами, как-то связано с картами, с фокусами, с фокусами с катетерами, фокусами с проводами...

— У тебя кровь! — сказал кто-то, и из отверстия в облаке высунулась рука фокусника с надушенным носовым платком.

— Так, держи сам, — приказал мужчина, привставая и заслоняя туловищем пистолет. Облако исчезло. — Дома кто-нибудь есть? — Он не мог бы отойти и не заслонять пистолет? — Дома, спрашиваю, кто-нибудь есть?

— А? Нет, на работе родоки.

— Понятно. Давай садись в машину.

Платок пропитывался кровью.

— Давай. Чего встал?

Мальчик обошел машину спереди и остановился у дверцы. Он перевернул платок и снова прижал к носу, запрокинув голову. Картежник открыл дверцу изнутри, мальчик сел на пассажирское сиденье. Он близко. Тридцать сантиметров от бедра. Мужчина, которому он принадлежит, и не пытается спрятать его. Кровь течет в горло, и в горле от нее першит. Платок весь красный и липкий, а пистолет совсем близко. Катетерная рыбка раскачивается под зеркалом. Они едут в парк, где бьет питьевой фонтан с постоянно холодной водой. Машина заезжает одним колесом на тротуар, и фокусник-контрабандист ведет мальчика к фонтану. Над струей платок бледнеет, розовые брызги падают на бетонную плитку.

— Вот, возьми.

Мальчик принял холодный платок и приложил его к переносице. Процедура повторилась еще пару раз, пока кровь не унялась.

— Пацаны сказали, что у тебя это часто, — сообщил мужчина.

— Случается, — подтвердил мальчик.

— Чувствуешь себя как?

— Нормально. Это не болит.

— Хорошо. Пойдем тогда. Платок можешь выкинуть.

Скомканный мокрый кусок ткани с бурыми и розовыми пятнами пролетел мимо урны и упал в траву. Мальчик глянул снизу вверх на своего провожатого. К счастью, тот не заметил промаха.

Они снова в машине. Задний ход, и колесо со стуком соскакивает с бордюра. Кроны тротуарных ив и кленов почти задевают крышу машины. Мальчик харкает в окошко сгустком крови и спрашивает:

— А ты стрелял в людей?

Взгляд мужчины очерчивает треугольник: лицо мальчика, пистолет, дорога.

— Не приходилось. Стреляю в основном по бутылкам.

— А мне можно?

Над скулой, выступающей из-под солнечных очков, появляются две морщины, из уголка рта, в котором зажата спичка, вылетает смешок, затем ответ:

— Если родокам ничего не скажешь.

Они выехали из города, миновали указатель на аэропорт и через некоторое время остановились на обочине у поля с цветущими одуванчиками. С одной стороны от поля был сад абрикосовых деревьев, с другой — завод по переработке кукурузы. Мальчик вспомнил, что когда-то в раннем детстве приезжал сюда с родителями. Тогда было холодно, в траве росло много грибов, и он, только научившийся ходить, давил своими сапожками с Микки Маусом их круглые белые шляпки. Теперь, ступив на землю, он почувствовал, что поле колышется, будто пузо спящего чудовища. Пришлось постараться, чтобы устоять на ногах. Мужчина этого колыхания не замечал — он спокойно сунул пистолет за пояс, подтянул джинсы и открыл багажник.

— Ты понесешь это, — сказал он, вручая мальчику пластиковый ящик с пустыми бутылками из-под газировки.

Они прошли совсем немного и остановились у небольшой стенки в человеческий рост и шириной в пару метров, составленной из белых кирпичей. Под стенкой валялись битые стекла, на некоторых кирпичах были сколы. Где-то в полукилометре дальше поле пресекалось высоким бетонным забором завода.

— Стой. Пришли. Положи ящик и достань три бутылки.

Оба отошли шагов на тридцать. Мужчина поднял очки на лоб, прищурился и потратил четыре патрона на три бутылки. В ноздри мальчика вполз пороховой запах. Звуки выстрелов блуждали в ушах, щекоча барабанные перепонки.

— Теперь твоя очередь

Новые бутылки не желали стоять на кирпичах: одна по пути выскользнула из рук, другую дважды сносил ветер. Наконец, выстроив свои мишени, мальчик принял пистолет. Он оказался тяжелым и теплым, как рукопожатие взрослого.

— Видишь эту штуку на конце дула? Это мушка. А ближе к тебе — целик. Ты должен совме...

Отдача первого выстрела саданула руку, следующие два отозвались только приятным зудом.

— Сто процентов, — мужчина присвистнул. — И стреляешь, не целясь. Ты стрелял раньше?

— Нет.

— Хочешь еще?

Мальчик кивнул и через минуту повторил свой результат. Возвращая пистолет, он почувствовал, что тот стал легче.

— Ты прирожденный стрелок, — сказал картежник, когда они уже ехали к дому, и перед тем как высадить мальчика из машины, достал у него из уха патрон. — Держи на память.

Мальчик промямлил «спасибо», сунул патрон в карман и захлопнул дверцу. Ему хотелось похвастать подарком во дворе, но он подавил в себе это порыв, опасаясь, что кто-нибудь может вырвать патрон из руки и убежать. Не обращая внимания на дворовых ребят, он поднялся в квартиру.

Он вертел патрон в пальцах, разглядывал вблизи цифры и буквы, отчеканенные на дне гильзы, трогал красную кайму рядом с головкой пули и представлял себе, как далеко эта пуля может улететь. Ему казалось, что этот крохотный снаряд — частица пистолета, связанная с ним каким-то родством, которая в нужных условиях может прорасти и развиться до полноценного оружия. Лучше яйцо журавля в руке. На рассвете он уже знал, как сделать, чтобы это яйцо проклюнулось. На верхней полке кладовой стояла коробка с игрушками, из которых он уже вырос, но которые родители жалели выбрасывать. После школы он встал на табуретку и, щурясь от пыли, падающей в глаза, вытащил коробку. Внутри было несколько наборов конструктора, «железная дорога» с электрическим локомотивом, человек-паук без руки, пара трансформеров, несколько солдатиков с оплавленными лицами и конечностями и, наконец, предмет поиска — оранжевый пластиковый револьвер,

заряжаемый кольцевыми пистонами. У этого револьвера был автоматически поворачивающийся барабан со сквозными каналами, в которые, если бы не перепонки для пистонов, можно было бы вставить настоящие патроны. Мальчик побросал остальные игрушки в коробку и вернул ее на место.

С помощью отвертки легко удалось избавиться от перепонки в одном из каналов, но патрон оказался слишком широким и не лез внутрь. Следующий час ушел на ковыряние в канале все той же отверткой, но кроме редкой пластиковой стружки это ничего не принесло. Пришлось отложить работу до ближайшего урока труда. Там, в мастерской, мальчику удалось воспользоваться мечиком для резьбы и расширить не только канал в барабане, но и дуло. Ему хватило ума понять, что раскаленная пуля может расплавить револьвер, поэтому он вставил в дуло стальную трубку. Подходящей трубки для барабана не нашлось, поэтому уже дома канал был укреплен свернутым обрезком консервной банки; чтобы этот кусочек жести не выпадал, мальчик вставлял его, предварительно разогрев над газовой конфоркой. Тем же горячим методом в курок был вмонтирован сапожный гвоздь, который должен был достаточно сильно ударить по гильзе, чтобы порох внутри нее взорвался.

Новоиспеченный Сэмюэль Кольт вышел на балкон и взял на мушку знак «Стоп» на шлагбауме, закрывающем въезд во двор, потом фару соседской машины, потом кошку, крадущуюся по крыше гаража. Он подержал на мушке старушку на лавочке перед подъездом и ребенка в песочнице. Он целился в мяч, который пинали по двору его ровесники, в голубей на проводах, в солнце, в облака. Когда над домом пролетел вертолет, он взял на мушку и его, представляя, что будет, если пуля пробьет топливный бак.

— Ты еще не вырос из этой игрушки? — крикнул кто-то из его ровесников снизу.

Мальчик отвел взгляд от вертолета, к тому времени превратившегося в небольшое пятнышко над горизонтом, посмотрел вниз и наставил револьвер на кричавшего.

— Да, застрели меня из этого! — продолжил тот. — Что там у тебя? Присоски?

Мушка задрожала, и мальчик опустил револьвер. Его плечи тряслись от смеха. В груди кололо. Он повалился на пол и долго хохотал, повторяя в паузах «Присоски. Придурок, блин».

Утром револьвер лежал на дне школьного рюкзака. Улицы по пути в школу колыхались как то поле с импровизированным тиром из белого кирпича. Только на этот раз мальчику не казалось, что он вот-вот упадет — он чувствовал себя кем-то вроде умелого серфера, привыкшего к волнам. В его наушниках рэпер Кулио пел: «As I walk through the valley of the shadow of death...». Плохо понимая слова песни, мальчик просто ловил ритм, под который подпрыгивали люди и здания вокруг.

На первом уроке он неожиданно для всех рассказал домашнее задание и получил четверку, на втором — на замечание учительницы: «Сиди ровно. Развалился здесь» ответил: «Как мне по кайфу, так и сижу», за что был выдворен в коридор и получил угрозу поговорить с родителями. На третьем уроке он поймал занесенную над его головой линейку одноклассника и переломил ее, на пятом — положил руку между бедер сидящей рядом девочки, чему та не сопротивлялась, а только оглядела класс, дабы убедиться, что никто этого не видит.

На переменах он лаконично отмахивался от вопросов одноклассников в духе: «Ты чего это сегодня в ударе такой?», в которых чувствовалось уважение, а после уроков на пятачке школы столкнулся со старшеклассниками, любившими отбирать у младших пирожки и карманные деньги.

— О, смотрите, кто нарисовался, — сказал один из них и харкнул на асфальт. Двое других заржали.

— Подойди-ка сюда.

— Да пошли вы, — ответил мальчик, не останавливаясь, готовый в любой момент скинуть и расстегнуть рюкзак.

— Чего ты сказал, эй? Ну и молодежь пошла, — раздалось ему вслед, и не более того.

Он не пошел домой, а спустился по железнодорожному откосу и долго гулял по рельсам, пару раз соскакивая с них, чтобы пропустить поезд. Он целился в пролетавшие мимо окна. Он прокручивал барабан так, чтобы курок вставал над следующим после

заряженного каналом, и делал пять щелчков, держа револьвер на уровне бедра и поворачиваясь к разным предметам: семафор, одинокая береза, трансформаторная будка.

Через пару часов откос превратился в мостовую, а идти по рельсам стало невозможно: всюду стояли поезда. Мальчик понял, что добрел до вокзала. Он убрал свое оружие обратно в рюкзак, поднялся на платформу и вышел с железнодорожной станции к стоянке автобусов. Единственный городской маршрут проходил вблизи от улицы, где он жил, и нужно было только вовремя предупредить водителя об остановке. Заплатив за проезд, мальчик устроился на одиночном сиденье у окна. Рюкзак на пол, наушники на голову — и вскоре за окном проплыли универмаг, заброшенное здание кинотеатра, построенное в советско-античном стиле, центральная аллея городка, несколько типовых пятиэтажек.

В повисшей на тонкой шее и болтающейся из стороны в сторону с каждым толчком автобуса голове мальчика шел сон. Он снова был на перроне. Прибывал поезд. Оранжевый револьвер в руке был уже не пластиковым, а золотым, и патроны в нем не кончались. Люди в окнах поезда падали навзничь внутрь купе, повисали на белых накрахмаленных шторках, размазывая кровь по потрескавшемуся стеклу. Откуда-то звучал быстрый и нестройный вальс, исполняемый духовым оркестром. Перрон был полон народу, но толпа не препятствовала расстрелу пассажиров, напротив: после каждого выстрела раздавались одобряющие возгласы и аплодисменты. Когда, наконец, поезд закончился, револьвер встрепенулся и выпал из руки. Он вошел рукояткой в землю и начал прорастать. Его ствол тянулся вверх, пока не вырос со столб электропередачи. Вокзал теперь напоминал ярмарочную площадь. Из-за столба выскочил сосед-картежник, тот самый, что подарил патрон. Он был одет во фрак и цилиндр, на плечах эполетами лежали две шестерки бубен.

— Достопочтенная публика! — объявил он в микрофон. — Сегодня у нас есть смельчак, который решился покорить эту вершину. В случае успеха его ждет приз. — Вверху показалась одноклассница, бедра которой наш герой трогал этим утром. Она свесила ноги, оправила юбку и помахала ему рукой. — А в случае неудачи, — из глаз фокусника брызнули струи воды, он снял цилиндр, и невидимый оркестр сыграл первые такты похоронного марша. — Впрочем, будем надеяться на лучшее. — Он вернул цилиндр на голову. — Лично я в этого парня верю. Итак, ты готов?

— Готов, — ответил мальчик и потер ладони, предварительно плюнув на них. Он обхватил столб руками и ногами и стал карабкаться. Это было не так уж трудно — разросшийся ствол револьвера оказался достаточно шершавым. Но несмотря на высокую скорость продвижения, добраться до вершины все не получалось. Площадь и толпа были уже давно внизу и выглядели как с зенита чертова колеса, а юбка девочки, сидевшей на краю, нисколько не приблизилась и колыхалась на ветру, как знамя над неприступной крепостью.

Сон оборвал голос водителя:

— Конечная это. Выходи. Или, если хочешь поехать в обратную сторону, заплати еще раз.

Мальчик открыл глаза. Автобус был уже пуст. В окно виднелся ларек. В штанах было тепло и липко. Понимая, что конечная остановка не ближе к дому, чем вокзал, мальчик наклонился к рюкзаку и открыл кармашек для денег.

— Вот черт, — он поспешно полез в рюкзак: учебники и тетради были на месте, а револьвер — пропал. Мальчик выбежал из автобуса, не замечая, что в ушах его наушники от пропавшего плеера. Огляделся. Никого из пассажиров уже не было рядом.

— Вы не видели никого с оранжевым игрушечным револьвером? — отчаянно крикнул он в окошко водителя.

— Я кто, по-твоему, — сторож?

Мальчик еще раз огляделся и побрел от остановки в сторону дома. Лужица в штанах остыла и ощущение от этого было неприятное. Солнце уже сместилось на запад, но небо оставалось ярко-синим. Казалось, оно сегодня особенно высокое и ясное. Километры воздуха давили на плечи и голову, заставляя сутулиться. Мальчик понуро плелся, едва переставляя ноги, и даже не оторвал взгляд от асфальта, когда где-то вдалеке раздался выстрел, а за ним крик, такой высокий, что не было понятно, кто кричал — женщина или мужчина.

Игорь Кузнецов

Гардеробщик

Рассказ

Каникулы тогда выдались тяжелые. Особенно поначалу.

За необъяснимые пропуски занятий и какие-то еще студенческие происшествия Ивана лишили стипендии. Квартира, которую он сдавал на учебные месяцы, тоже больше не приносила дохода — ему самому как-то надо было тут пережить длинное лето.

Жить было практически не на что.

Иногда он ходил к семейным друзьям, и там его кормили. Но занимать деньги, не зная срока отдачи, было неудобно.

Тогда возник художник Адмиралов. Как и кем они друг другу были представлены, Иван не помнил. Потому как случилось это, естественно, по нетрезвому делу.

Квартира одинокого и свободного студента быстро стала удобным местом для выпивания. Приходили друзья, друзья друзей, знакомые знакомых. Приносили не только выпивку, но и незамысловатую закусочную еду. Иван пил относительно умеренно и больше налегал на съестное.

Но с Адмираловым они запили. Временами перемещаясь из квартиры Ивана в мастерскую Адмиралова возле Детского парка и обратно. Приглашенному Адмираловым трезвому художнику с неизбывной жалостью продали альбомы Виктора Попкова и Феофана Грека из библиотеки Ивана. Причем, практически по номинальной стоимости: совести не хватило заломить реальную рыночную цену. Или уж очень выпить хотелось.

Однажды Иван проснулся. На кухне было грязно, как после любой затяжной пьянки. И совершенно пусто. В смысле еды.

А есть хотелось нещадно.

Иван заглянул в холодильник и все шкафы. Обнаружил лишь кусочек засохшего хлеба и трехлитровую банку из-под сахарного песка. На стенках банки еще оставались сладкие крупинки. Иван поскреб сухарем банку изнутри. Сухарь стал вкуснее, но не сильно сытней.

Из последних сил кое-как прибравшись, Иван побрел в сторону мастерской Адмиралова.

Адмиралов оказался на месте. Выглядел он тоже изрядно помятым, но уже совершенно трезвым. Искать средства на опохмел обоим даже не пришло в голову.

Зато Адмиралов, усато и весело изображая фокусника, выудил из сумки банку из-под болгарских маринованных огурцов. В банке плескался супчик, заботливо приготовленный Адмиралову супругой Светланой Васильевной.

Кузнецов Игорь Робертович родился в 1959 году. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького в 1987 г. В Союз писателей был принят по рукописям в 1989 году. Автор многих публикаций в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Иностранная литература», книги «Бестиарий» с иллюстрациями Татьяны Морозовой (М., 2010) и др. Составитель нескольких изданий И.А.Гончарова (биография, комментарии). Живет в Москве. Последняя публикация в «ДН» — рассказ «Треугольник имени Достоевского» (№ 7, 2015).

Адмиралов перелил супчик в ковшик, разогрел на электроплитке и поделил пополам.

Мифическую Светлану Васильевну Иван и в последующей жизни так никогда и не увидел, но супчик запомнил навсегда. А с Адмираловым после этого супчика они стали друзьями.

На следующий день, окончательно наведя порядок в квартире, Иван отправился на поиски хоть какой-нибудь работы.

И ноги сами привели его к цирку.

Иван поразглядывал бодрые жизнеутверждающие афиши. Тигр на одной из них очень смахивал на улыбающегося Адмиралова. Иван стал огибать цирковое здание справа, намереваясь идти дальше через парк. И оказался напротив служебного входа.

А слева от служебного входа висела доска объявлений «Требуются» — как у проходной какого-нибудь завода. Нет, укротители и клоуны здесь не требовались. А нужны были: повар, буфетчица и пожарный.

На последнюю должность Иван и решил претендовать.

Он открыл дверь, за которой встретил его обычный вахтер. Тот направил его к замдиректора.

Замдиректора был длинным, в пиджаке и галстуке, и очень походил на пародийного укротителя, правда, без нафабренных усов. И сразу в голове Ивана обрел кличку «замукротителя».

Загвоздка была в том, что Иван мог устроиться только на неполные три месяца, до конца августа. Плюс у него было неоконченное высшее. Это тоже показалось замукротителю препятствием. Однако нужда в пожарном, видимо, была высока.

— Возьмем тебя по трудовому договору, — смилостивился замукротителя.

— Хорошо, — сказал Иван.

— Работа: сутки через двое.

— Хорошо, — кивнул Иван.

— На работе не пить!

— Хорошо, — и тут Иван не стал возражать.

— Животные этого не любят! — словно извиняясь, добавил замукротителя. — Сам к животным как относишься?

— Слонов и тигров, — ответил Иван, загибая пальцы, — люблю. Еще собак. Не люблю попугаев. Да, в детстве у меня был хомячок, ужасный зануда и вонял изрядно. — Замукротителя начинал ему надоедать.

— А тебе палец в рот не клади! — задумчиво проговорил тот.

— Как и попугаю. За что их, гадов, и недолюбливаю, — уточнил Иван, не меняя серьезного выражения лица.

— Тогда тебе повезло! — улыбнулся впервые замукротителя. — Попугаи — в Стамбуле. На гастролях. Хомячков не держим: мелковаты. С остальными — познакомишься. И в цирке не воняет, а пахнет! Иди в отдел кадров — там тебя оформят. Потом объясню обязанности.

— Хорошо.

Для начала замукротителя провел экскурсию по цирку, особо обращая внимание Ивана на пожарные выходы и места расположения гидрантов. Но это была, похоже, чистая фикция. На самом деле обязанности сводились к обычным вахтерским — сидеть на входе да открывать ворота для въезжающих в цирк машин. Список номеров, имеющих на это право, прилагался. И еще надо было проверять у входящих документы.

На следующий день Иван вышел на работу. Первым и единственным, у кого он потребовал документы, был замукротителя. Тот сначала ошалел, а потом предъявил. Так у них сразу наладились хорошие производственные отношения.

Жизнь вошла в более ясную колею. К тому же все-таки было лето.

Адмиралов не только радушно принимал Ивана у себя в мастерской, но и познакомил с еще несколькими художниками.

В трех минутах ходьбы от Детского парка была мастерская Почкаева, тоже подвальная, в жилом краснокирпичном доме ранней советской постройки.

Почкаев оказался очень хорошим художником и человеком приятным. С первым были согласны практически все, даже недоброжелатели и завистники, а со вторым многие бы поспорили — будучи отягощен спиртными напитками, Почкаев становился довольно невменяемым. И сам про это знал, так что на всяких посиделках среди своих картин старался не перебирать. Иногда ему это удавалось.

Его большие работы исполнены были с бесшабашным и точным живописным изяществом. Бесспорное качество живописи плюс оттенок не сюжетного, а неуловимого сюрреализма, хоть в изображении обычного русского пейзажа, принесли ему уже определенную славу — его работы покупали московские коллекционеры. Иногда даже редкие, специально приехавшие иностранцы. И еще он был превосходным легким рисовальщиком. Как раз тогда заканчивал большой цикл карандашных иллюстраций к «Альтисту Данилову». Форматом не меньше, чем пятьдесят на пятьдесят. И это сочетание карандашного минимализма с широкоформатной подачей делало его рисунки воздушными и волшебными.

Мастерская Почкаева была попросторнее адмираловской, так что за правило взяли вечерами собираться здесь. Приходили художники и разные другие люди. Говорили об искусстве и еще обо всем на свете. Походя поругивали родную советскую власть.

Как-то компания подобралась довольно обширная. Среди пришедших оказался и бородатый человек, который вполне бы мог сойти за художника, — только был он уж очень какой-то жилистый и суровый. Ни разу не улыбнулся. И с каждой минутой все больше мрачнел.

— Это — Хлудов! — шепнул Ивану на ухо Адмиралов. — Самый известный в городе каратист! — В словах Адмиралова звучала затаенная гордость за земляка.

Почему-то как раз зациклились на советской власти.

Привыкший к вольному московскому воздуху Иван поносил ее с недоброй и даже жестковатой иронией.

После какого-то особо язвительного пассажа, вызвавшего «в зале» довольный художнический смех, Иван почувствовал на своем запястье железную хватку: будто наручники защелкнули.

— Пойдем-ка, выйдем, — тихо и беспрекословно сказал ему Хлудов. Запястье, впрочем, тут же отпустил.

Вышли во двор.

— Ты, вообще, кто такой? — с явным вызовом спросил Хлудов.

Ситуация была чуть фарсовой. Но и немного ознобной: драться Иван напрочь не умел. Тем более, с каратистами.

— Да так... — На всякий случай Иван перенес тяжесть тела на «заднюю» ногу, а руки согнул в локтях. — В цирке работаю...

Хлудов стоял перед ним, руки спокойно опустив, но пальцы его совершали какие-то замысловатые волнообразные движения:

— Клоунов нам тут только не хватало...

— А вообще из Москвы. Теперь, — добавил Иван. — А что?

— Да так, ничего, — уже спокойно ответил Хлудов. — Языком густо мелешь...

— Ораторским искусством овладеваю, — улыбнулся Иван. Кажется, гроза миновала.

— Ладно, проехали, — ответил Хлудов, протягивая руку. — Михаил Юрьевич...

— Иван Сергеевич, — вскинув брови, представился Иван.

Это оказалось очень смешно, будто и впрямь что-то не поделили Лермонтов с Тургеневым. Взгляд Хлудова подобрел, и они отправились восвояси, в подвал.

Уже позже, кое-что узнав, Иван понял, в чем таилась природа вдруг вспыхнувшей к нему неприязни. А потом получил подтверждение и лично от Хлудова.

Был тот краткий и безумный период, когда занятия, а тем паче обучение карате, негласно приравняли к уголовному преступлению. Да еще с идеологическим оттенком. За дело с обычным недостойным рвением взялось КГБ. И Михаила Юрьевича в числе первых регулярно таскали на допросы с пристрастием. Искали зацепку, чтоб реально посадить. Вот и принял он залетного Ивана за специально подосланного стукача-провокатора. Со всеми вытекающими последствиями.

— Слушай, Михаил Юрьевич, — спросил его потом как-то Иван, — а ты бы меня тогда вправду мог ударить?

— Но близко было... Иван Сергеевич... — усмехнулся Хлудов.

— Как по другому поводу говорил Солженицын, — подвел итог Иван.

Больше к этой теме они никогда не возвращались. Всегда называли друг друга, не без удовольствия, исключительно по имени-отчеству. Но некий холодок в отношениях все ж остался.

Из того лета запомнилось еще, как Иван, пользуясь служебным положением, сводил друзей-художников и Хлудова в ночной цирк. Слоны и тигры на них не обратили внимания. Потому как мирно спали. Зато на дежурно освещенном манеже художники немного подурачились, а Хлудов изобразил несколько красивых каратистских па.

А само лето подходило к концу. Как и цирк. В сухом остатке: кличка «замукротителя» приклеилась к замдиректору намертво.

На следующее лето в родной город Иван выбрался ненадолго.

К этому времени он счастливо женился и уже прислушивался ухом к пятимесячному животу жены. Чтобы перебраться окончательно в Москву, надо было разобраться с местной квартирой. Путем хитрого обмена на коммуналку Иван получил приличные, но все равно несоразмерные ценности отдельной квартиры деньги. Продал по дешевке холодильник и то, что купили из мебели, забрал оставшиеся хорошие книги. Настенные часы подарил Адмиралову. И навсегда выписался.

С Хлудовым он тогда виделся мельком. Как и в следующие редкие приезды.

Но через несколько лет Хлудов позвонил, уже из Москвы, куда тоже недавно переехал — в большую комнату коммуналки возле одной из кольцевых станций метро. Жил он там без семьи, один.

Встретились. Стены комнаты Хлудова были сплошь завешаны работами Почкаева. В том числе теми самыми иллюстрациями к «Альтисту Данилову». Что в любом случае говорило о хорошем художественном вкусе хозяина. С автором «Альтиста» Иван как-то потом познакомил Хлудова в Доме литераторов. При этом сцена была вполне символической. Невысокий коренастый Орлов стоял на верхней ступеньке лестницы, ведущей из холла ЦДЛ в сторону ресторана, ладный жилистый Хлудов — на ступеньке нижней и смотрел на автора «Альтиста» снизу вверх с искренним восторгом, граничащим с изумлением. Орлова даже удалось зазвать к Хлудову домой посмотреть иллюстрации. Рисунки Орлову понравились, и один из лучших был ему подарен. После этого случая никогда не исчезавший холодок в отношениях Михаила Юрьевича и Ивана Сергеевича сильно подтаял.

Зато у Хлудова Иван познакомился с искусствоведом Щербатовым. Они сошлись на любви к русскому восемнадцатому веку: Рокотов, Левицкий, Боровиковский. Щербатов это время любил профессионально, но и в дилетантстве Ивана почуял родную душу. Он не только устроил Ивану экскурсию по недоступному смертным Большому Кремлевскому дворцу, где как раз курировал масштабную реставрацию, но и брал с собой на Хлебниковское водохранилище, где у него была собственная

парусная яхта. В благодарность вытащенную на берег яхту Иван по весне собственноручно красил суриком. Лелеяли даже мечту о большом парусном походе по Волге. Мечта для Ивана реализовалась много позже и совсем уж невероятно. Щербатов в новые времена основал собственную реставрационную фирму. Но быстро скатился до обычного строительства коттеджей. Заработал много денег и купил на Кипре почти океанского масштаба парусную яхту с девятиметровой мачтой и четырьмя каютами. И однажды Иван прилетел в Неаполь, где у пирса его ждала изумрудно-зеленая «Екатерина», названная именем жены Щербатова и выкрашенная в цвет ее глаз. На «Екатерине» они обошли вокруг Италии, высадив Ивана в Венеции.

Хлудов же и раньше и позже официально работал преподавателем физкультуры в строительном институте. И вел собственную секцию ушу, на которое переключился с утратившего притягательность «простоватого» карате. Регулярно стал ездить в Бирму к тамошним мастерам.

Для Ивана же привлекательность всех этих восточных единоборств была не в таинственной духовной сути, тут ему в целом достаточно было Дао Де Цзын и в частности хорошо усвоенного принципа У-вэй, а в умении защищаться и защищать. Поэтому время от времени и возникала идея начать ходить в секцию Хлудова вместе с подросшей дочерью. Идея так никогда и не осуществилась — по обычной лености и некоторой транспортной неудобности.

Хлудова он никогда не видел «в деле». Но достаточно было посмотреть, как по отдельности он может двигать фалангами пальцев, чтобы безоговорочно поверить в его бойцовские возможности.

— А вот я ничего не умею, — сказал как-то Иван. — И как мне быть в каких-то критических обстоятельствах?

Хлудов усмехнулся, указательным пальцем быстро коснулся шеи Ивана и несильно надавил куда-то под ухом. Голова Ивана сама собой упала набок, а руки утратили способность к движению. Только через пару минут все вернулось в норму.

— Вот сюда-то и надо просто нажать, если что, — пояснил Хлудов.

— Но я же не попаду! — изумился Иван.

— Если надо будет — попадешь! — успокоил Хлудов.

По рассказам Почкаева Иван помнил и о двух происшествиях с Хлудовым. Героическом и водевильном.

Первое случилось в Крыму. Они поехали небольшой компанией и заняли часть дикого пляжа. Но как-то в сумерках на их место стали претендовать агрессивно и безоговорочно.

— Как он летал! — Только этими словами Почкаев и мог описать победный бой Хлудова, который с агрессорами справился совершенно в одиночку.

В другой раз в загородном пансионате Хлудов через балкон пробрался к своей мимолетной пассии. Но тут явился муж и ударил Хлудова бутылкой по голове. Никакое карате не помогло — или просто чувство вины невзначай сработало? Пришлось через балкон и ретироваться.

А однажды ночью из квартиры Хлудова Иван Сергеевич и Михаил Юрьевич пошли к метро за бутылкой водки.

Пересекли проспект по подземному переходу и уже направлялись к киоску, прилепившемуся у монументальной бетонной стены, ограждавшей грандиозную стройку.

И тут увидели, что прямо наискосок через пустынный проспект к ним движется компания подростков, человек семь, среди которых две девушки, — что, естественно, придавало молодым людям куражу. Так как Иван с Хлудовым были еще довольно далеко от киоска, а компания с озверелыми лицами и шумным матом направлялась прямо к ним, можно было безошибочно предположить, что предстоит драка.

В душе Ивана боролись два чувства: с одной стороны, было, конечно,

страшновато — все-таки пятеро (не считая девочек) против двоих, с другой — ну, наконец-то...

— Встань за мной! — сказал Хлудов, показывая Ивану в сторону бетонного забора.

Иван послушно встал, все же сжимая кулаки.

Хлудов стоял спокойно, опустив руки, — как и тогда, при первом их знакомстве.

Компания с горящими глазами и подначивающими матерками неотвратимо приближалась.

Они подошли уже на расстояние быстрого удара.

— Привет, ребята! — мирно сказал Хлудов. — Вы, наверное, тоже хотите выпить?

Те замерли, словно в стоп-кадре. Их неподвижное стояние продолжалось с полминуты.

А потом они на глазах превратились из озверелых подростков в обычных мальчишек с нормальными человеческими лицами.

Кто-то из них побежал за бутылкой. Тут же все вместе и выпили из пластмассовых стаканчиков, запивая колой.

Дружески попрощавшись с неожиданными приятелями, Иван с Хлудовым дошли наконец до киоска, купили свою бутылку водки и отправились домой.

Прошел еще большой кусок жизни. За это время Хлудов получил черный пояс, умер Щербатов, Почкаев переселился в деревню, Адмиралов остался без зубов и неотвратимо спивался.

Хлудов переехал в отдельную квартиру. Вместе с ним и работы Почкаева.

Иван пару раз приходил туда. Познакомился с миловидной подругой Хлудова. Но прежних застольных разговоров не получалось. Хлудов сразу ставил длинное любительское видео про свою Бирму. А когда Иван сказал, что ему надоело смотреть на эти боевые скачки, буквально по-детски обиделся. Вообще, он сильно сдал. Стал сутулиться, и сбрил бороду и оттого выглядел даже немного беззащитным. Преподавать почти перестал. По каким-то проговоркам Иван понял, что он с кем-то важным в их особом мире поссорился. Что подтверждала и как-то вскользь брошенная реплика: «Я с бандитами не работаю».

Хлудов стал пенсионером, что с ним совсем не вязалось. Но небогатым он был именно как неработающий пенсионер. Если Иван звал в ресторан, то Михаил Юрьевич сразу предупреждал, что «сейчас на мели». Платил, широко и совсем необидно, Иван.

Однажды Хлудов попросил найти ему переводы с английского, в качестве подработки:

— Язык-то я неплохо знаю. Да и образование все ж гуманитарное. — Особых надежд в его голосе не звучало. Ивану ничего под руку не попалось, да не очень-то он и старался.

Иногда Хлудов занимал у Ивана небольшие суммы и не всегда отдавал.

Как-то позвонил и сообщил, что устроился работать гардеробщиком. Иван даже не спросил — куда. Хлудов снова попросил денег. Иван на сей раз нечаянно разозлился и напомнил о невозвращенном долге. В ответ Хлудов что-то пробормотал, но даже не извинился и не пообещал вернуть. С тех пор не звонил. А когда Иван, по прошествии некоторого времени ощутив острый укол стыда за ту самую нечаянную злость, позвонил сам, то домашний телефон Хлудова механическим женским голосом лишь повторял: «Неправильно набран номер», а мобильный сообщал, что «данный вид связи недоступен для абонента».

Бросив попытки дозвониться, Иван Сергеевич, не лишенный воображения, начал иногда придумывать себе про Хлудова, так и оставшегося для него немного загадочным, вполне фантастические и отчасти даже конспирологические истории, впрочем, не лишенные подозрительных оснований в тонкой реальности.

Одна из них ему нравилась больше других.

Хлудов работает гардеробщиком в собственном ресторане. Живет более чем скромно на пенсию и маленькую зарплату. А ресторанные доходы ежемесячно направляет в фонд помощи паллиативным детям — вспомнилось, что одна из дочерей-двойняшек Хлудова умерла в подростковом возрасте от рака.

Еще порой вспоминалось хлудовское: «Когда тебе плохо — опусти руки, все пройдет». И проходило, уходило. Надо было только опущенными руками еще немного потрясти.

И все же: сбитый летчик или... Или им так положено, мастерам ушу, после определенных сроков опрощаться до бедности и спускаться к самому подножию социальной лестницы? И вообще исчезать?

В этой связи заглянул Иван наконец и в интернет, дабы узнать, что же такое ушу. В его философическом изводе.

Путаницы там было много. Но что-то и сходилось. Иван, конечно, выбрал для себя то, что оказалось ближе его сердцу.

«Ушу» переводилось с китайского как «боевые искусства». Происхождение вело из буддийских и даосских монастырей. И хотя многие мастера избирали военную карьеру, некоторые стили ушу вообще не предполагали боевого использования, а были связаны с магическими практиками.

Еще утверждалось, что есть два ушу, по сути — отдельные, не связанные. Одно воспитывает человека-воина, способного спокойно и без злобы противостоять профанному миру. Это путь безукоризненного мастерства, а не банальное обучение боевым приемам. Другое ушу — путь внешний, показной, — с приемами.

Чем дальше ученики-последователи продвигаются вперед, тем меньше остается людей, способных выдержать все нарастающее внутреннее напряжение. Они отпадают, спотыкаясь о ложные цели или свои амбиции. Настоящие последователи называются «идущими по Пути» или «вступившими на Путь», они и есть «занимающиеся искусством» под руководством мастера-наставника. Наставники передают последователям не столько технические приемы, сколько учение «от сердца к сердцу». Учение же есть передача личных свойств и переживаний просветленного учителя. Поэтому и нет никаких секретов, которые можно было бы «подсмотреть», украсть или выдать.

Смысл жизни наставника — в сохранении духовного импульса, истины, которую нельзя растерять в бренном мире. Суть — вступить в контакт с миром духов, обрести «иное» сознание, покинуть — если надо — пределы физического тела.

Длинный ряд упражнений мог подвести к определенной черте, способствовать прорыву в область изначального опыта, но все зиждилось на природной предрасположенности. И даже в этом случае некоторым методикам, которыми технически можно овладеть за несколько месяцев, последователей обучали десятилетиями — у них стремились развить способность к трансцендентации сознания.

И ради этого можно пожертвовать карьерой, удалиться на старости лет в уединенную деревню или горный скит.

Или стать гардеробщиком.

На этом Ивану, вроде, можно было и успокоиться.

Все у Хлудова должно быть по-своему хорошо.

Но в душе и сердце все равно свербело.

Как-то Иван в одиночестве задумчиво курил на кухне. Вспомнил и буквально физически, дуновением ощутил тот холодок, который то нарастал, то таял между ним и Хлудовым.

А потом вдруг взял и ткнул себя указательным пальцем в шею под ухом. Попал.

Перед ним сидел Хлудов и улыбался сквозь бороду.

— Вот так-то, Иван Сергеевич. А говорил — не попадешь...

Андрей Родионов

Стихи из дневника

* * *

Упало за горизонт бешеное светило
Я открываю глаза, кажется отпустило
Анекдот или сказка, что оказалось важней,
Что ты увидел, понял, о чём ты подумал, Андрей?

Такая короткая осень, два месяца полу-зимы
И скоро уже будет март, а весною кем станем мы?
Мы никогда не станем учителем и врачом
Геологом и космонавтом, зато мы никогда не умрём

Такие как мы всё время будут зачем-то здесь
Когда нас попросят выйти, то мир с нами выйдет весь
Когда в том далёком финале на сушу придёт вода
Вот тогда моё бедное сердце успокоится навсегда

* * *

Асфальт сиял покрытый льдом
огнём московских улиц,
стоял пятиэтажный дом,
в нём жил один безумец

надев волшебные очки
гулял он по столице
и видел женские зрачки
и кукольные лица

о, это сон — горящий лёд,
огни ночного мира
он отражает и блюдёт
таинственные мифы

лёд отразил, пока горел:
для смертного незрима
одна среди небесных тел
звезда Екатерина

судьба даёт нам испытать
лишь то, что нам по силам
никто не знает, что сказать
и он шептал: спасибо

неверный лёд, и каблуки
скользят на тротуарах
и лишь волшебные очки
и фары, фары, фары

Родионов Андрей Викторович — российский поэт. Родился в 1971 году в Москве. Закончил Московский полиграфический институт. Автор шести поэтических сборников. Публиковался в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Воздух», «Homo Legens» и др. Лауреат молодежной премии «Триумф» (2006). Лауреат Григорьевской поэтической премии (2013). В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

Пунктуация в стихах — авторская.

Из дневника Родионова

1 августа

Мы весь июль писали с Катей пьесу
И я забросил поэтический дневник,
Но август постучал как проводник
В купе, где люди занимались сексом
Так жили мы внутри своей химеры
А сколько в мире совершилось между тем!
Уж бледный Конюхов по небу пролетел
И он увёз с собой Фазиля Искандера

4 августа

Вот отцветает Иван-чай
Седыми космами белея
Пётр Александрович Бадмай
Большой любитель был кипрея
Он жил сто десять лет, пока
К нему в хоромы чародея
Вдруг не нагрянула ЧеКа
В тюрьме он умер без кипрея

10 августа

Эрнст Неизвестный умер
А ну, дружок, не кисни
Заказывай нам uber
Поедем к древу жизни
Средь башен Москва-сити
Настраивай маршрут
Но каменные нити
Нас с небом не сошьют

29 августа

Поздно вечером в Канске подошли к «Порт-Артуру»,
Торговому комплексу, где есть китайский ресторан
Этот торговый комплекс принадлежит Артуру,
А название — прекрасный юмор армян
Перед «Порт-Атруром» пальмовая алея
Дети из канского детского дома её создавали
Перед нами ковровая дорожка возникла, алея,
Русская дорожка Канского фестиваля

31 августа

На липе спорят злые птицы
Но их не слышно из-за ветра
Куда теперь? Вдали зарница
Прощай, шестнадцатого лето

Так в детском садике, я помню
Нас подвели к какой-то двери,
Куда теперь? Спросил я тетю.
Да на расстрел. — и я поверил

5 сентября

Какой большой ветер
Принёс ко мне новость
Новелла Матвеева
Покинула остров
А в тех годах дерзких
Входила в топ бардов
И мама мне в детстве
Новеллу певала

6 сентября

На платформе Правда встретил я читателя сегодня,
Он стихи мои читает и зовут его Максим
Как и я — не на работе, хоть сегодня будний вторник
Покивал ему, послушал и расстался вскоре с ним
Я потом ещё сегодня шёл домой с платформы Правда
Поднимаясь на пригорок, в сумерках я увидал
В куче мусора внизу цвела малиновая мальва
Это, милый мой читатель, для тебя я написал

13 октября

Я локти положил на подоконник
Почти не виден сад старинный
Стемнело, значит Катерина
Сейчас пойдёт сажать котовник
Среди печальных чёрных вишен
Ты там, мой милый огородник
В саду, где — я уже не вижу
Взойдёт таинственный котовник

25 октября

Хорошо что есть Россия
И что бог есть хорошо
Хорошо что так красиво
Сквер расцвечен городской
Я мамлеевский сыночек
Я люблю Россию-мать
Мой дневник теперь окончен
И не надо продолжать

Вадим Шамшурин

И день сомкнётся на себе

Рассказы

Долгий день

— Алиса, я заберу тебя поздно. — Женщина нажала на кнопку первого этажа, и лифт пополз вниз. Девочка кивнула. Лифт, не доехав, остановился на седьмом этаже, и в него зашел еще не проснувшийся мужчина с коричневой собакой, невнятно поздоровался и словно заснул, женщине самой пришлось вновь нажимать на кнопку. Собака тянулась к Алисе своим носом. Было каждый раз немножко страшно, когда лифт, начиная движение вниз, словно падал.

— Тики-тики-тики-тик, — Алиса слушала, как где-то стучит странный механизм.

Алиса рассматривала круглые носки своих новых туфель, которые мама принесла вечером. Мама, надевая вначале одну туфельку, потом другую, хвалила их и радовалась, а Алиса тоже радовалась, но только не туфлям, а тому, как мама щекотно прикасается своими руками к ее ногам. Впрочем, туфли ей тоже нравились, она словно смотрела на них мамиными глазами.

Собака вывела своего хозяина из лифта. Мама уже нервничала от всех этих секундных промедлений, мужчина все не мог открыть дверь с магнитным замком, а нужно лишь сильнее надавить на кнопку, собака скреблась в нетерпении о стальной косяк, мама закипала и уже собиралась обрушиться на этого вялого, словно заблудившегося в тумане человека, но дверь отрылась. Спрыгивая с одной ступеньки крыльца на другую, Алиса повторяла звук, который продолжал звучать где-то рядом:

— Тики-тики-тики-тик...

Мама торопилась, она шла быстрым шагом, и Алисе приходилось чуть ли не бежать следом. Небо блестело темнотой, но Алиса видела, как почти незаметно в черноту тонкой струйкой, как молоко в чашку маминого кофе, вливается утро. Небо совсем скоро посереет, обступит слабеющие фонари и погасит в один момент все разом.

Идти до садика недалеко, выйти из прямоугольного двора, пройти вдоль проезда мимо многоэтажки, дворник в этот момент выкатывает пластиковые контейнеры, под закрытыми крышками которых набирают силу вонючие и страшные существа. А дворник толкает их к поребрику, словно овец на выпас.

Алиса, не выпуская мамину руку, уже по ней скучала. Мама торопилась, мама думала о чем-то своем, а Алиса хотела разреветься от невыносимого отчаяния, что опять на весь этот бесконечный день она останется одна и мамы не будет рядом, долго

Вадим Шамшурин родился в 1980 году в г.Клайпеде (Литва). В 1998 году переехал в Санкт-Петербург. Окончил факультет географии и геоэкологии СПбГУ. Живет в Петербурге. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Урал», «Сибирские огни» и др.

очень долго. Но она знала, что плакать ни в коем случае нельзя, что мама начнет ругаться, трясти ее за плечи и говорить, чтобы она пришла в себя, она ведь не хочет, чтобы мама опоздала на работу. Алиса не хотела.

На асфальте блестели дождевые черви. Вначале Алиса думала, что это только трещинки, но они медленно ползли по тротуару. Алиса забыла обо всем. Она не понимала: они были противные и беззащитные, она боялась даже на них просто смотреть, но и не смотреть не могла, чтобы на них не наступить. Им будет больно, они начнут извиваться, и еще они пристанут к ее новым туфлям.

— Иди нормально, — одернула Алису мама. Словно вспыхнула, накалилась до красна. Сжала ее руку. Не понимая и не желая разбираться в причинах. Но Алиса не баловалась, она не могла себя вести по-другому. А мамины туфли давили червей.

В группе еще никого не было. Они, как обычно, пришли первыми. Мама стала переодевать Алису, но потом бросила.

— Я побегу, Алиса. Ты справишься сама?

Алиса кивнула, а внутри набухал горький ком, отчего все вокруг стало расплываться. Руки не слушались. Пальцы слабо боролись с пуговицами. Алиса снова погружалась в одинокий и пустой мир. Дверцы шкафчиков плотно закрыты. Там томились оставленные другими детьми игрушки. Но и игрушки оставались всего лишь раскрашенной пластмассой. Все быстро остывало, а мама ушла ведь только что. Но пережить это как-то надо. Алиса выдохнула.

В группе застыли столы и маленькие стулья. Они пугали своей неподвижностью, своим порядком. Чтобы как-то сдвинуть воздух, которым и дышать уже было невозможно, Алиса ногой поддела ножку ближайшего стула, и он с грохотом упал на спинку. Устанавливая уже свой порядок, Алиса подняла его и придвинула на место, но все уже сразу стало по-иному. Как от костяшки домино, все вокруг осыпалось. Зашевелилось. Возникло чувство присутствия еще кого-то. Это могла быть воспитательница. Она, скорее всего, велела идти и мыть руки. Но это могли быть и другие дети. Они разбредались по группе и сонно копошились по углам, настраивая день под свои собственные нужды.

Тики-тики-тики-тик.

В тарелке дымилась манка, в самом центре которой заточили немного варенья. Глупость — это смешать манку с вареньем, окрасив манку в чернильный цвет. Манка от этого не переставала быть сама собой, становясь лишь сладкой и еще более отвратительной. Алиса не собиралась заниматься такими глупостями. Алисе вновь предстояло спасти варенье. Ложка двигалась по кругу, закручивая спираль, манка впитывалась в зубы и нёбо. Алису то и дело передергивало, заветное варенье становилось все ближе. Но когда, казалось бы, ложка подобралась совсем близко к варенью, как к райскому острову, стало вдруг уже слишком поздно. Манка переполнила Алису, словно котелок из сказки, горшочек вари, и с ревом, будто бы горная река, сорвалась потоком на пол. К Алисе тут же подступили тени. Они стали укорять Алису в чем-то и обещать ей наказание, они неодобрительно цокали языками, они показывали на Алису пальцами и говорили: Алиса, что ты тут натворила, гадина. Все это было в мутном тумане, что-то прикасалось к Алисе, сжимало плечо и трясло, но Алиса не могла понять, что это. Не видела.

Тики-тики-тики-тик.

Алиса стояла у окна. По стеклу стекали капли. Алиса наблюдала, как капля соединяется с каплей, растет и устремляется вниз. Пустой двор придавило низким небом. Блестели жестяные горки, по поручням качелей бежали струйки воды. Туфли быстро промокли, занемели пальцы на ногах, и холод пробрался внутрь, ближе к сердцу. Маму можно ждать здесь. Думать о маме. И верить в чудо. Что вдруг окажется так: калитка вдалеке скрипнет, и к Алисе, улыбаясь и радуясь собственному сюрпризу,

быстрым и легким шагом, не в силах унять нетерпение, почти побежит мама. Обнимет. Возьмет на руки и понесет, что-то спрашивая, пусть что-то пустое и неважное. Тепло и радостно.

Стекло морщилось. Заиграла музыка. Что-то толкнуло Алису. Развернуло. Поставило в пару. Кто-то играл на пианино. Послушные ритму колени подлетали кверху, голова закружилась от мелькающих по кругу вещей, мебели, окон. Рот открывался и закрывался, из него вылетали слова, которые Алиса не понимала, но которые выстраивались и сливались с другими словами, метались под потолком и наполняли музыкальную комнату. Алиса не могла понять, что это и зачем с нею это происходит. Но нужно быть послушной. Подчиняться всему этому заученному. Танцевать, не разбирая музыки, двигать руками и ногами, повторять раз за разом так, как вчера, так, как завтра. Такие правила этого места. А правила нужно просто выучить. И научиться жить по правилам.

Тики-тики-тики-тик.

Алиса лежала в кровати, между простыней и одеялом, которые не давали ей согреться. Они словно забирали все ее тепло. Она свернулась, поджав колени к груди, обхватив себя руками. По стене бежала трещина. Она смотрела на нее широко раскрытыми глазами. Трещина вначале была совсем тонкая, но скоро стала расширяться и ветвиться, лопалась краска, и осыпалась штукатурка, из-под которой, перебирая быстро множеством своих ног, разбегались мокрицы, но ноги их путались между собой, мокрицы спотыкались и падали, и трещина настигала их и засасывала в себя. Алиса боялась мокриц, но совсем скоро стены затряслись, и кровать начала соскальзывать в трещину. А Алиса не могла пошевелиться, в ней не осталось больше тепла, вместо него внутри тлел только прозрачный лед. По коже расходились ледяные узоры, между пальцами нарастали ледяные иглы. Алиса протянула руку и заморозила трещину. Не надо больше бояться. Все забирает с собою холод. Сердце больше не бьется. Слезы уже не текут. Они отрываются от ресниц и поднимаются вверх. И они уже снег.

— Ты спишь? — Алиса услышала шепот с соседней кровати.

— Нет, — прошептала в ответ.

— И я нет.

Кто-то дотянулся до ее одеяла и что-то положил на него. Алиса по-прежнему не могла пошевелиться, но почувствовала, что это быстро разогревает воздух, а уже скоро и одеяло — словно июльское пекло.

— Что это? — спросила тихо Алиса.

— Это тебе, — ответил кто-то. — Конфета. Шоколадная.

Алиса осторожно повернулась. Задребезжала под тонким матрасом сетка. Алиса замерла. Кто-то на соседней кровати тоже застыл. Но тщетно. В спальню ворвался шар ярости, словно только этого и ждал, сорвал одеяла, зашипел. Быстро всем спать! Быстро! Спать! Спать!

Вокруг только лед.

Тики-тики-тики-тик.

Группа постепенно пустела. Детей забирали одного за другим. За окном темнело, в свете уличных фонарей дождь висел в воздухе водной пылью, только с края, как с носа размякшего пьяницы, время от времени капала, вспыхивая, вода. Алиса рисовала, сидя за столом, подбирая карандаши ярких цветов, желтый цвет, зеленый, красный, синий только что сломался. Алиса рисовала странный дом, он стоял в лесу, в окружении высоких сосен, темных внизу и разгорающихся ярко оранжевым выше. Солнечные лучи обрушивались на зеленые высокие кроны и, словно вода через решето, устремлялись дальше. Солнце скатывалось с красной жестяной крыши и зависало на водостоке. На окне сидела кошка. А в воздухе летали огромные комары. В доме кто-то жил. Алиса не знала кто. Но ей казалось, что это тот, кто приносит и дарит конфеты.

— А здесь еще песочница, а здесь стрижи, — подсказал кто-то, тыкнув пальцем, здесь и здесь.

И Алиса старательно рисовала. Алиса слышала, как они вскрикивают высоко в небе.

— Мне пора, за мной пришли. — Кто-то пожал ее руку и побежал, повис на длинной шее, восторженно стал сыпать разными вопросами в чьи-то большие уши.

— Ты придешь завтра? — крикнула вдогонку Алиса.

Еще один карандаш сломался. Цвета на рисунке поблекли. Дом в лесу поглотила тень.

Тики-тики-тики-тик.

Алиса в оцепенении сидела и ждала, глядя, как сквозь ее отражение на стекле застывает в темноте день. Этот день был одним из бесконечной череды дней. Он длился тысячу лет. Алиса росла. Медленно прокручивалось большое зубчатое колесо. Многоэтажки торчали его зубьями. Оно крутилось по линии горизонта. К нему крепилось колесико гораздо меньшего размера. Но именно оно приводило его в движение. Тики-тики-тики-тик. Алиса приложила ладонь к груди. Тики-тики-тики-тик. Да, здесь.

Воспитательница ходила туда-сюда и нетерпеливо двигала стулья и столы. Сгребала игрушки, то и дело посматривая на часы, в раздражении бурча что-то себе под нос. Алиса смотрела на двор детского сада, ей казалось, что вот-вот на дорожке появится ее мама. Она помашет Алисе рукой, показывая, чтобы она бежала одеваться. Алиса сорвется с места, кинется к своему шкафчику, конечно же наденет колготки шиворот-навыворот. Мама, смеясь и уже никуда не торопясь, станет переодевать ее, касаясь холодными с улицы руками ее ступней. Они попрощаются с уставшей и вялой воспитательницей и пойдут домой. Алиса будет забегать вперед и становиться на канализационные люки, а мама будет отгадывать, какая там буква, выдумывая из головы уж совершенно что-то невероятное. У подъезда они встретят соседа с коричневой собакой. Он будет уже спать. И опять придется ждать, пока он справиться с магнитным ключом, они будут перешептываться, стараясь не шуметь, чтобы его нечаянно не разбудить. Собака лизнет Алисе руку. Алиса погладит ее по гладкой голове. Нос будет черным и мокрым, как этот вечер. Они зайдут в лифт. И день сомкнется сам на себе.

Тики-тики-тики-тик.

Комарово

От моего дома до Комарово несколько километров. Эта близость вяжет мои мысли. Словно подсолнух, я обращаю свои взгляды в том направлении. Там будто бы большая гора, призрачный край и другие, не такие как везде, люди.

Мой дом стоит на берегу реки. Деревянный дом, основательный и теплый. Крыльцом и верандой он повернут к лесу. Высокие ели и сосны подступают вплотную. В дождливую погоду, когда сумрак неба множится густой тенью, в доме тоскливо. Миру до меня нет совсем никакого дела. Реклама по телевизору здесь теряет всяческий смысл. От новостей, от их холодного и кровожадного огня, цепенеет воля. Но день наполнен всяческими делами. Они высасывают все время и силы. Ломит все мышцы. И в голове пусто.

Мои разнообразные дела, если задуматься, пропитаны ожиданием. Я жду кого-то, с той стороны. Для этого кого-то косится газон, колются дрова, строгаются доски. Из этих досок я делаю стеллажи. На стеллажах книги. Здесь же стоит кресло-качалка, сидя на которой можно смотреть в мансардное окно на то, как ветер качает верхушки сосен.

Вот так, закинув в печь сухие поленья, под тихое потрескивание огня, сидеть,

покачиваясь, в тепле и тишине, неторопливо читать и вынашивать свой великий замысел.

Дрема одолевает меня, никого не дождавшись, я засыпаю. Давно пора бы уже перестать, но я летаю во сне.

В моем лесу под соснами волнами расходятся в разные стороны низкие чащи черничника. Уже к середине июля ягоды чернеют. Почти одновременно из земли вылезают подосиновики. Глаза застилает пелена, мне не хватает зоркости. Я часто моргаю, глотаю таблетки «Зодака», но дело, скорее всего, не в аллергии. Я просто приближаюсь к незримой границе между этим и тем миром, и мне нет туда доступа. Я поворачиваю, хитрю, но скоро дорогу мне преграждает река. Я стою на высоком берегу, здесь выточенные бобрами острые пни и переломленные стволы старых осин. Я спускаюсь вниз и бреду вверх по ручью. Я знаю, что если держаться этого направления, то он меня выведет. Там большое и холодное озеро. Огромные облака скользят над его поверхностью. Песок под ногами вдруг уходит, начинаешь плыть. Мошки тыкаются в глаза. Кусают в веки. Щуришься. В воде сияет заходящее солнце. Щука откусывает пальцы ног. От воды тело склизкое. Ты уже не человек, а неповоротливый сом.

Ручей растворяется в болоте. Ноги вязнут в бледном мхе. Мне не пройти. Воняет багульником и тиной. От одиночества кружится голова. Вокруг очень тихо. Единственный звук здесь — это я.

У дома гомонят птицы. Иногда мерещатся их движения в ветках, но все-таки более отчетлив спутанный клубок их голосов. То и дело считая в течение дня кукушкино «ку-ку», свыкаюсь с мыслью о том, что буду жить вечно. Водка у меня особая, закупаемая в канистре, я осторожно переливаю ее в бутылку. Выдираю с грядки несколько молодых луковиц. Не тороплюсь, разжигаю костер. Скамейка стоит над обрывом, берег из года в год отхватывает по куску моей земли. Тяжелые деревья, растущие у края, сползают вниз к реке, валятся набок. Огонь, разгораясь, печет лицо и руки. Я пью первую рюмку. Замираю. Крякаю.

Складки внутри меня немного разглаживаются. Костер, озаряя все, что поблизости, опаляет мошкару и комаров. Погружается близкий лес в черноту. Небо, словно вода, отдает свет, медленно остывая.

А в Комарово люди приходят друг другу в гости, разворачивают припасенную загодя селедку. Пьют коньяк, чокаются рюмками на тонких ножках, разговаривают о Басырове и Генри Миллере. Ярко светятся веранды в каждой будке и каждом доме. У самого леса слышно, как кто-то самозабвенно стучит по клавишам пишущей машинки. Кто-то зовет Александру ехать с ним до Щучьего. Вдалеке свистит электричка.

Я сижу над обрывом, думаю о том, как это прекрасно, плачу свободно, без усилия, мне так хорошо.

Но вдруг с ужасом думаю, что, может, вовсе и нет в Комарово большой горы.

Отгоняю сомнения. Как же. Не может этого быть.

Снова кукушка считает мои «ку-ку».

Бобр

1

Я кое-как устроился в каменных развалинах дома, от которого и остались покосившиеся, потрескавшиеся стены подвала, поросшие мхом и заросшие папоротником. Выбираясь днем на солнце, я просто лежал и грелся, иногда спускался к реке и смотрел, как, изгибаясь, течет она по изменчивому руслу. Я совершенно не представлял, что делать мне дальше. Впрочем, меня все устраивало, я мог бы и дальше

здесь жить, почему нет. Год за годом, столетие за столетием. Постепенно растрачивая свои силы, белея и мельчая. Вот только...

Я услышал чьи-то непонятные голоса с противоположного склона. Судя по всему, кто-то пробирался через ручей и затем карабкался вверх. Они приближались. Я сидел на теплом камне и ждал. Это оказался человек и два его детеныша. Они что-то искали в траве и совсем скоро должны были заметить меня. Я подумал, что сейчас они завизжат и ломанутся прочь. Но человек посмотрел на меня и, подняв руку, стал показывать в моем направлении.

— А вот и сам бобер.

Дети застыли и стали меня разглядывать. Я не шевелился. Было странно, что они видят меня каким-то еще бобром. Но мне порядком все надоело, и поэтому я просто ждал, что будет дальше.

— Ладно, — сказал человек, — не пугайте его. Идемте, видимо, здесь его дом. Но дети не шевелились, широко раскрытыми глазами разглядывали меня.

Они были поражены. И не удивительно. Я бы тоже себя в покое не оставил, если бы вот так набрел неожиданно на себя в лесу. Поэтому я ждал, что они придумают, начнут ли кидать в меня палками, кричать и за мною гоняться?

Но вместо этого ко мне подошел мальчик и протянул руку.

— Осторожно, — заволновался его отец, — он может укусить.

Я бросил на него укоризненный взгляд и пожал своей лапой руку мальчика.

— Не бойтесь, — крикнул мальчик через плечо, — бобры добры.

Мужчина остался стоять где стоял, а девочка подошла и погладила меня по голове. Странно, но я почувствовал, что мне это приятно.

— Идемте же, — нетерпеливо вскрикнул мужчина, — он может быть бешеным.

На это я только пожал плечами. Отстранился от детских рук и стал смотреть на реку. Мне даже захотелось, чтобы они скорее все ушли. Оставили меня в моем одиночестве. Но девочка вновь погладила меня по голове. Раздражение сразу улетучилось.

Надо было что-то решать с этим мужчиной. Уж слишком он был испуган. Нужно было как-то показать ему, что я в своем уме и со мною можно иметь дело.

Он подошел ближе. Стал рассматривать и потом озадаченно заключил:

— И все-таки это бобер.

— Папа, давай возьмем его к себе?

— Я не думаю, что он этого захочет.

На его месте я бы не был так уверен.

2

Я бежал чуть позади. Мужчина с опаской на меня поглядывал, дети же останавливались и подзывали меня, если я отставал. До конца я еще не отдавал себе отчета в том, что делаю. Свою гору я ни разу не покидал и не знал, что происходит в округе. Лес менялся. Кривые стволы черной ольхи и рябины уступили место темному еловому лесу с поросшими мхом пригорками, а затем, когда мы поднялись выше от реки, ели сменили сосны. Никаких предчувствий у меня не было. Меня что-то влекло, и я не считал нужным сопротивляться. Вскоре сквозь лесную чащу стали просматриваться крыши домов. Мы приближались к человеческому жилищу. С тропинки мы ступили на проселочную дорогу, которая, виляя, вывела нас к первым домам. Совсем скоро мы подошли к калитке. Ее распахнули передо мной и остановились, наблюдая, как я поведу себя дальше. Я, все-таки чуть робея, переступил незримую черту. Мужчина в недоумении стоял и смотрел, как я, увлекаемый детьми, все ближе и ближе продвигаюсь к дому. Надежда у него была только одна. Последний кордон.

— Мама, мама! — закричали дети. — Смотри, кто у нас теперь есть!

На крыльцо вышла женщина, окинула нас внимательным взглядом и только произнесла:

— Ну-ну.

Все шло как нельзя лучше.

3

Человеческое жилище оказалось довольно странным. Оно стояло почти на самом склоне, который круто спускался к самой реке. Это был вполне обычный, обитый вагонкой дачный дом, с покосившейся застекленной верандой и сараем, привалившимся боком. Я переступил порог, постоял, привыкая к полумраку, прямо передо мною стоял кривой шкаф, дальше в узком проеме была видна раковина и приделанный над ней умывальник. Тут же стояла плита на две конфорки, рядом приземистая печь. На низком потолке висели две голые лампочки. За печкой в темном углу стояла кровать. На веранде, приделанной к этому помещению, которое сложно было назвать домом, стоял стол, тут же железная кровать с высокими спинками, диван и старинный сервант с мутными стеклянными дверцами. Семейство, в которое я попал, предпочитало тесноту.

Мне налили миску молока и стояли смотрели, как я его пью. Откуда-то сверху, с пузатого холодильника «Саратов», на меня яростными глазами светила маленькая полосатая кошка. И было непонятно: это она гудит или холодильник. Лакать с пола мне было неудобно, я взял миску в лапы и допил одним разом.

— Может, ему что-нибудь посущественнее предложить? — проворчал мужчина.

— Но что едят бобры? — озадаченно спросила женщина.

— Деревья! — в один голос вскрикнули дети.

Спать я отправился на чердак, лежал рядом со старой софой и прогнившим бреднем. Долго не мог заснуть, смотрел на звезды через прогнившую жесть крыши.

Первым заглянул ко мне мужчина, он деликатно кашлянул и сказал:

— Если надо, я притащу сюда раскладушку. Давай?

Я помотал головой, но он все равно притащил.

Потом в окошке показалась женщина, предложила:

— Если проголодаешься, в холодильнике еще остались сосиски.

Дальше ко мне пролез мальчик, зашептал:

— Завтра, если раньше проснешься, буди меня. Будем кататься на велике.

А девочка легла рядом, обхватила меня руками, и так мы и заснули. Мне снился сон. В этом сне я видел дом.

4

Я проспал до полудня, выбил из себя пыль, полез вниз. Кошка с воем рванула в сторону. В доме, казалось, никого не было. Но снаружи доносились детские голоса. Я заглянул в холодильник, сосисок уже не было. Незамеченным, я выскользнул из дома и спустился к реке, перепрыгнул на небольшой мысок, выдававшийся на полтора метра в реку, сполоснул морду. День был яркий. Гомонили птицы.

Разобраться с ходу, что к чему, я не мог. Все было странным. Ко мне относились как к объявившемуся спустя столетие родственнику. Или дело было во мне, или что-то с этими людьми было не так. Если бы я их однажды выдумал, они были бы именно такими. Не сошел ли я с ума в своих развалинах?

От холодной воды мутные спросонья мысли немного просветлели, и я стал карабкаться обратно.

Меня уже искали. Бегали вокруг дома и гремели ведрами в сарае. Суета тут же улеглась, как только я нашелся. Сели пить чай.

Все словно чего-то от меня ждали. Я, стачивая сушку за сушкой, посматривал на них поверх чашки и недоумевал. Ведь я, если этому не сопротивляться, обыкновенный бобр, а что такого можно ожидать от бобра? Но и они, по-видимому, сами этого не знали.

Они ждали. Все вчетвером. Чашки уже были пусты. Я слез со стула, протиснулся между столом и кроватью, как все-таки здесь было тесно, оказался под открытым небом, они последовали за мною. Посматривая недоуменно на них, я прошелся по участку, словно примериваясь. И правда, я поймал себя на мысли, что здесь достаточно места для того, чтобы вместо развалюхи, в которой меня поселила судьба, построить нормальный просторный дом. Они все так же гуськом шли за мной. В раздражении я остановился, смерил их взглядом и подумал, что, уж коли они от меня чего-то ждут, словно приказания, то я так уж и быть повелеваю: иди и танцуй!

Мужчина устремился обратно в дом, вытащил на крыльцо магнитофон, в спешке спал пихать кассету, и вот он уже вкинул руки вверх, задрыгал ногами и завихлял тазом. И все остальные следом за ним.

Так я узнал, что обладаю силой.

5

Строительство началось. С отчаянием и воодушевлением. Отчаяние было связано с тем, что мужчина тут же с ходу залез в долги и банковские кредиты. Он возвращался из города и начинал ныть:

— Мы никогда не сможем расплатиться. Это немыслимо.

Но я не обращал на это внимания. Приезжала бетономешалка, хмурые таджики, опершись на лопаты, смотрели, как цемент заливается в отрытые ими ямы, как трещит, но держит опалубка. Уже шел сруб откуда-то из далекой области. Ехала бригада на белом «жигули» ставить избу, шкурить бревна, конопатить щели, стелить полы. Печник уже закупал кирпич и, приплясывая, суетился среди потоптанной картофельной ботвы, выпрашивая вперед деньги. Дом нарастал. Сердце мое радостно сжималась. Люди были послушны. Будущее вырисовывалось прекрасным. Я уже видел просторные светлые комнаты, в печи потрескивали дрова, и языки пламени слизывали золу со стеклянной дверцы топки. Тепло расходилось по дому, поднималось на второй этаж, к мансардным окнам, к гостевым комнатам, где застланные лоскутными покрывалами кровати послушно перестилала каждый день женщина. Дети были спокойны и милы. Не докучали и были, когда это нужно, забавны и игривы. Мужчина услужлив и безропотен, почти и не видно его, всё в городе, работает, крутится, дело ведь не шуточное, миллион сюда, миллион туда.

Но временами начинало происходить странное: словно я терял контроль. Мужчина напивался, начинал на меня косо посматривать. В глазах его я видел ненависть и страх. Но он ничего не мог со мною поделать. Алкоголь только чуть ослаблял связь. На следующее утро мужчина вновь становился безропотен. И в отместку, для злого удовлетворения, я заставлял его танцевать. Это выглядело дико, однако я не мог отказать себе в удовольствии. Но и женщина временами куда-то уходила, бродила, собирала грибы и чернику, уводила детей, за ними бежала следом кошка. Я нащупывал их на дальних опушках, тянул обратно, они нужны были мне на участке. Мне было так спокойнее.

Но временами я давал им волю, почему нет. Я не чувствовал для себя никакой опасности. Так даже было лучше. Это создавало мнимое ощущение свободы. Словно это они сами решали все свои силы вкладывать в строительство, сами стремились вырваться из своей ленивой тихой заводи тесного и спокойного существования, превозмочь свои силы и мечты воплотить в реальность дом. Мой дом.

6

В октябре задождило. Чистые солнечные дни сентября сменило тягучее и сумрачное междуночье. Все разваливалось. Фундамент крошился. Бревна потемнели от сырости. Полы в доме ссохлись. Мужчина не показывался из сарая. Я беспокойно заглядывал в темное пространство и не мог нащупать там его присутствие, хотя видел его вялую фигуру, лежащую навзничь среди ржавых топоров и лопат. Женщина одержимо выметала и мыла старый дом, досадливо пропускала меня внутрь, как только я показывался на пороге, тут же начинала вновь, как только я уходил прочь. Дети возились в своей песочнице, молчаливо, постоянно, словно подсолнухи, поворачиваясь ко мне спинами. Рабочие вяло поколачивали что-то на втором этаже, надолго прерываясь на перекуры, то и дело угоняя на своей белой семерке в город и по несколько дней не показывались вовсе. Кирпичи грудой лежали вместо печи. Печник, по всей вероятности, полностью удовлетворился авансом.

Что-то нужно было делать. Нужны были деньги. Нужно было перезапустить все строительство заново. На этот счет у меня имелись кое-какие мысли.

Еще летом я застраховал жизнь мужчины. Это мне казалось логичным. Слишком многое зависело от него. Ведь если что-нибудь с ним вдруг случится, как тогда возвращать долги и кредиты?

Мне оставалось только сделать так, чтобы у страховщиков не возникло никаких подозрений и, как следствие, никаких проволочек с деньгами. Нужно было, пусть ненадолго, только совладать с этим пьяницей. Довести его до станции. Сверившись с расписанием электричек.

Высвободившихся денег хватит на все с лихвой.

Я посмотрел на небо. Начался первый снег. Дыхнуло холодом. Стылым воздухом. В вышине заволновались голые ветви растущих по реке деревьев.

Совсем скоро зима. Дом. Нужно строить дом.

8

Он заворочался.

— Давай, давай, — подбадривал я его мысленно.

Он замычал. Повернул голову ко мне и расплылся в улыбке:

— Бобры добры. Бобры добры.

«Так-то лучше. Давай. Поднимайся», — мысленно увещевал его я.

Он, покачиваясь, сделал несколько шагов. Снег заметало в сарай. У самого порога вглубь тянулась цепочка аккуратных кошачьих шагов.

Мужчина приблизился ко мне, все так же безвольно улыбаясь. И в следующее мгновение вдруг распрямился и крепко ухватился за черенок лопаты.

Я даже не успел удивиться. На снежный мир обрушилась чернота.

9

Кто-то волок меня по земле. Медленно. С большим усилием и упрямством. Я попытался двинуться. Но не мог пошевелить даже пальцем. Чужая воля сковывала меня. Над головой низко, ненастно проносилась облачная рвань. Снова шел дождь. Мне хотелось плакать. Было обидно. Ведь казалось, что все получится. И должно было получиться.

Но я не учел одного. Этими людьми управлял не только я. И эта воля была сильнее на порядок. Я был так жалок в своем упоении.

Что-то бросило меня в мой погреб. Я уже знал, что не вернусь. Не смогу вернуться. Ужас и холод сковывали мое сознание.

Вода текла по потрескавшимся стенам. Впереди меня ждала зима.

Побег

От кофе к нёбу пристал вкус гладкой пластмассы. Иногда вот так, вдруг, постигаешь суть вещей. Меня не должно здесь быть, в очередной раз подумал я. Говорят, что помидоры кричат, когда их режут на части, вот и сейчас припудренная пышка отползала от меня, но слишком медленно, я протянул руку и съел ее. Будет изжога, такова расплата.

Губы слипались, и из разговора было отчетливо только мычание. Я смотрел, как Ольга говорит, и меня чуть покачивало, словно я на ботике в открытом море, совершенно один. Мы живем вместе три года, и уже довольно давно я вижу яркие и отчетливые сны. Сегодня мне снились биороботы, они повторяли каждое мое движение, я словно управлял ими, и их становилось все больше и больше. У нас нет детей и никогда не будет, мои сперматозоиды едва шевелятся. Все чаще я думаю о том, что невольно перенимаю у них это. Мы купили собаку. Домашние животные — это атрибут одиночества. Чтобы дома не вступать все время в лужи мочи, я гуляю с собакой и утром, и вечером. У меня в карманах полиэтиленовые мешки. В моей бороде появился седой волос, я выдергиваю его, но он ведь все равно растет где-то там внутри, и я чувствую себя слабым и постаревшим. А я скучаю по своим детям. Какие они? Иногда я вглядываюсь в чужих, застываю, прищурившись, пытаюсь вспомнить и узнать. Но мамашки спешно уводят их, и скоро и мне приходится уносить ноги. Напрасно. Я бы покупал им игрушки, катал на кликушках, читал бы сказки на ночь. Они вырастут, и уже будет кому гулять с собакой вместо меня. Но день сменяет день, ничего не меняя, только унося куда-то частичку меня. Я становлюсь все более и более разбавленным. Прозрачным и незаметным. Мне нравится думать об этом, это как жалеть себя, представляя собственные похороны. Я думаю об этом, а Ольга говорит. По заведенной традиции, спроси меня о чем-нибудь, и я очнусь, переспрошу: что? Мир полон метаморфоз, вот и здесь, в пышечной, вместо санитарных запретов пятнистая кошка, дети, поставив на паузу игры в планшете, садятся на корточки и гладят ее кончиками пальцев, словно прикасаются к гладкому экрану, и при нажатии кошка увеличится в размерах или расчленится на куски. Поменять бы голову на неразрезанный помидор. Я не нравлюсь себе. Моя борода растет от безволия. Какая это мука — каждое утро лепить из всего этого что-то для других приемлемое. Скорее всего, у меня депрессия, я разучился позитивно мыслить, хотя меня учили этому. Казалось бы, это как ездить на велосипеде. Но нет. Поэтому мне себя любить не за что, только уживаться. Словно ко мне подселили нечистоплотного соседа. Который еще к тому же сжирает всю мою еду из холодильника. У Ольги заканчивается терпение. Я же вижу. Несмотря на то, что зрение мое куда-то все падает и лица становятся отчетливыми только за несколько шагов. Я вижу, что одуванчики уже отцвели и на газонах торчат завядающие бесцветные антенны. Они только похожи на антенны. И даже нет и намека на внеземную цивилизацию. Но может быть, там мои вертикально закопанные биороботы. Стоит только мне подать сигнал, и мы захватим этот мир и будем тут бесчинствовать и властвовать. Они только этого и ждут. И своим ожиданием уже они управляют мною, а не я ими.

— Олег, — говорит Ольга, — ты слышишь меня?

— Да, да, — говорю я.

— Я беременна, — повторяет Ольга.

— Да, да... — продолжаю внимательно кивать я.

— Не от тебя, ты слышишь меня?

Я киваю. Киваю. И криво ухмыляюсь мыслям о том, что и этой пышке от меня не уползти. А кошка разлетается на куски.

Глоток хорошего виски

Жизнь — паршивая штука, детка. У меня уже давно нет иной радости, кроме как выпить хорошего виски. И я совершенно равнодушен, когда он переступает порог моей конторы и, развалившись в кресле для посетителей, швыряет шляпу на стол. Я жду, я знаю, что он сам совсем скоро все расскажет. От меня только и потребуется что назвать цену, и забота одна — не ошибиться с нулями.

— Димка, хватит читать своего Чейза, идем гулять.

Я скребу недельную щетину и делаю еще один глоток. Мне совсем не нравится то, зачем он пришел, но делать тут нечего, я совсем на мели. Я достаю из верхнего ящика револьвер сорок пятого калибра и опускаю в карман пальто. В окно хлещет дождь.

Мы выходим в загаженный мусором двор. В мусорных бачках возятся крысы. Я борюсь с желанием меткам выстрелом пристрелить парочку этих мерзких тварей.

— О тебе спрашивала Нина Ивановна, когда ты появишься в школе?

Глубокие морщины прорезают мой лоб. Я слышу слова, но никак не могу понять их смысл. Что за бред, гадкий ублюдок, зачем ты льешь это говно мне в уши?

Но ледяной ветер немного остужает мой гнев. Такая погода по мне. Мокрый асфальт отражает черное небо. Мы бредем по подворотням, сторонясь освещенных участков улицы, в шуме воды мерещатся чьи-то шаги. Я ныряю в тень и замираю. Жду. На фоне низкого окна мелькнул черный силуэт. Сомнений не остается, за нами хвост.

— В этой четверти у нас добавится новый предмет, — продолжает бормотать этот недомерок, он ничего не замечает. Я же слышу, как кто-то передергивает затвор. Я не успеваю ничего сделать, раздается выстрел, и этот недотепа падает на асфальт. Я стреляю в ответ, пули ударяются в стену, но одна вонзается в мягкое тело. Слышен крик, затем кто-то сползает по стене.

Я проверяю пульс у своего спутника, он жив, просто без сознания. Нужно уносить ноги, я пытаюсь привести его в чувство, что есть мочи ударяю ладонью по его щекам, он все лепечет:

— В классе новая девочка, зовут Настя.

Я в сердцах сплевываю. Лучше бросить его здесь. Я уже слышу топот преследователей. Они знают, что я здесь. Я загнан в угол. Чертыхаясь, я взваливаю его тело себе на спину и, пошатываясь от тяжести, ныряю в проулок. Пробую двери подъездов. Удача! Одна поддается. Мы вваливаемся внутрь и падаем на холодный кафель пола. Воняет мочой. Но это ничего. Нужно только чуть переждать. Но этот все не может утихомириться.

— Димка, правда, хватит тебе хандрить, правда... — Он тянет руку, чтобы ободряюще пожать мне плечо. Я прихожу в бешенство. Отпихиваю его руку и со всей силы бью его в лицо. Он испуганно вскрикивает. Я вижу удивленные широко распахнутые глаза. Он пятится. А я ничего уже не могу с собой поделать. На глаза опустилась кровавая пелена. Мне становится плевать. Я иду на него, чтобы выбить из него это дебильное сострадание.

— Димка, — визжит он, — мне правда очень жаль твою маму.

Я натыкаюсь словно на каменную стену, это подло, я судорожно хватаю ртом воздух. Зачем он сказал это? Зачем, мерзкий ублюдок? Сила уходит из моего тела. Я оседаю словно груда тряпья. Яростно рычу, но слезы застилают мне глаза, я плачу, сотрясаясь в яростной и бессильной обиде.

Я прихожу в себя в своей конторе. Шарю по корзинам для бумаг. Мне везет. Я делаю несколько жадных глотков. Обжигающий виски возвращает меня в реальность. Я мстительно думаю, что придушу этого придурка, только он попробует заявиться еще раз.

Переворачиваю страницу. Закрываю книгу, которую читала мама. Вместо закладки вставляю спичку. Как делала всегда она.

Дождь за окном застилает мир.

Артём Роганов

Беженец

Рассказ

> «И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли и сказал: государи мои! Зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели».
>
> *(Быт.19)*

1

Если бы студентки социологического факультета, мокнущие у остановки с их планшетками и брошюрками, подошли бы к Лотману и спросили, когда и почему он остался без работы, то едва ли получили бы честный и точный ответ. В кабинете Альбертины Гук Лотман тоже растерялся. В пятидесятый раз подряд человек, которому было без пятидесяти дней пятьдесят, не мог вспомнить и назвать срок своего «безработного состояния».

— Лотман, сколько лет вы пребываете в безработном состоянии?

— Я уже никуда не прибываю лет десять, дорогая моя Альбертина. Подпишите направление и пойдемте ко мне домой, я угощу вас чайком с ананасами.

Альбертина — седая полная женщина, похожая на герцогиню, хорошо относилась к овдовевшему Лотману. Но в такие моменты она обижалась и начинала говорить на непонятном Лотману языке.

А в итоге всегда все подписывала. Ставила печать. Отсылала письмо по электронной почте. А потом хмурая глава кабинета по кличке Бабушка отправляла Лотману положенную сумму на карту. В тот день казалось, что бородавка на щеке Бабушки почернела еще сильнее.

Лотман вернулся домой к четырем часам дня. Студентки снова не подошли к нему. Возможно, из-за мороси и сумрака они просто не разглядели его, одетого не по возрасту, волосатого, в старой пыльной шляпе, с беззаботной улыбкой на лице.

Дверь оказалась не заперта, хотя соседей Кима и Марика не было дома. Лотман поправил Марикову картинку с верблюдами, висевшую у входа над грудой рваных

Роганов Артём Игоревич — прозаик, копирайтер, журналист. Закончил факультет международных отношений ННГУ им. Лобачевского. В 2015 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» с романом «Уза». Статьи публиковались в нижегородских отделениях газет «Аргументы и факты» и «Московский комсомолец». Живет в Нижнем Новгороде. В «Дружбе народов» печатается впервые.

либо просто старых и бесхозных ботинок, застелил постель в своей комнате, задернул занавески, нашел черно-белое кино на компьютере.

Ким, как и всегда, оставил все в раковине. Кусочки яичницы растекались по залитой сковороде, венчающей чугунным надгробием похороненные в холодной воде чашки и рюмки с тарелками. «Сейчас не буду», — подумал Лотман о грязной посуде, открывая холодильник в поисках сосисок. Альбертине он соврал. Ананасы давно закончились. Он долго разглядывал полки с йогуртами и консервами, пока не заметил, что сосиски бесшумно выпали и уже катаются по паркету. «Ну вот, — подумал он про себя, — ищущий да обрящет». Лотман просунул сосиски в узкую щель между сковородой и кухонным краном. Включил воду, чтобы помыть их от скопившихся на полу следов обуви, но тут же облился: напор вышел слишком сильным — врезавшись в оболочку сосисок, вода брызгами разлетелась во все стороны, и на обоях появились то ли слезинки, то ли гроздья сыпи. Пшик! Лотман кинул мокрую рубашку на гладильную доску возле кухонного стола и пошел в свою комнату лежать на кровати.

«Да, надо поспать, сегодня я встал рано, а завтра у меня встреча. С кем? Так, что я запланировал на четверг?» Лотман томился, щипая подушку. «Неудобно, и черт с ним». Подушка нагло выскользнула у него из ладоней и демонстративно устроилась на полу, но Лотман не обратил внимания, так как лежал с закрытыми глазами, а если бы и обратил, то забыл бы о ней, потому что в дверь постучали, и стук отозвался особой мелодией в каждом предмете, казалось, пустые фоторамки на полке у его кровати запели детскую песенку, а зеркало шкафа — большое зеркало, в рост, с еле заметной трещиной внизу — загудело чем-то тяжелым и пронзительным.

— Войдите, открыто! — крикнул он, поворачиваясь и отирая глаза.

Стук прекратился. Лотман знал, что нелегалы соседнего района часто приходили грабить местных жителей, выманивая их подобными звуками, но все равно направился к двери, не прихватив с собой даже ножа-бабочки из секретера в углу.

Когда его пухлое и сгорбленное, немного заспанное тело преодолело порог комнаты, он почти лицом к лицу столкнулся с Кудряшом.

Лотман не задумывался об этом, но Кудряш являлся главной особенностью его жизни — этот хлипкий светловолосый юноша в очках, черных джинсах, черной рубашке и черной кепке был, как ни странно, еще и совершенно кудрявый. Кудряш ничего не говорил, а просто улыбался и смотрел на Лотмана дико, с невнятной страстью в глазах.

— Ты чего тут делаешь?

— Ты сказал войти, ну вот я и вошел!

Он изменился в те несколько секунд, когда увидел Кудряша. В Лотмана словно ввели дополнительный литр крови, распухший и багровый, он только и мог спросить: «Что ты тут делаешь?» Стоял и думал о том, что вдруг его внезапно перенесли на чужую и злую планету, где вот-вот инопланетяне препарируют его, и все мысли скоро разденут донага, поведут их по улице на веревке, нанизанные, как будто сушеные грибы, а во главе будет идти этот мальчик и рассказывать анекдоты.

На вид Кудряшу было лет семнадцать. Кудряш прошел в комнату, взял оторопевшего Лотмана за руку, посадил на стул, сам рухнул на койку, замолчал и даже вроде бы загрустил.

Лотману захотелось сплюнуть на пол, чтобы показать свое неуважение. Так, думалось ему, делали военнопленные перед расстрелом — последняя усмешка собственной судьбе.

— Ты же знаешь, что нет никакой судьбы, — словно прочитал Кудряш мысли Лотмана.

— Я? Я ничего не знаю, — оскалился стареющий дядька. — Например, зачем ты ко мне пришел...

Впервые за долгое время обитания в квартире с Мариком и Кимом Лотман обратил внимание на тиканье настенных часов. Цик-цак. Цик-цак.

— Не знаешь? Да ладно-ка?! — дернул Кудряш густыми бровями. Голос Кудряша представлял собой неуловимое лязганье, у Лотмана он ассоциировался с кочергой, которой разбивают печные угли.

— Ты сказал тогда, что я тебе не нужен. Что ты сделаешь все бесплатно.

Кудряш вздохнул, и Лотман прочитал опасное умиление на его щеках.

— Я вот побеседовать с тобой хотел, кофе выпить, — пробормотал незваный гость.

— Что?! — изумился Лотман и тут же разразился нервным хохотом: — Ты хочешь со мной поболтать просто? Зачем? Ты думаешь, после того, что со мной случилось, я пойду с тобой кофейку попить?

— Ну, а что вот я сделал... — по-детски рассердился Кудряш и подвинулся к краю лотмановского ложа, — это ты сам все. Я-то как раз сделал все, что ты просил! Да и чего ты удивляешься-то вообще?

— Ничего, — смутился Лотман, — ты прав, но раз уж так, то мог бы... Ладно, ничего. А о чем ты хочешь поговорить?

Стены снова задрожали, загалдели. Кудряш вдруг стал серьезен, но через мгновение снова заулыбался, и наваждение исчезло.

— Эльза умерла, прикинь... — наконец произнес он с горькой бравадой.

— Как? Совсем? Это как это? — постепенно расслаблялся Лотман, все же чувствуя вокруг нечто агрессивное и коварное. И что-то пьянило его с тех пор, как Кудряш вошел.

— Я ее убил, — сказал Кудряш. Лотмана передернуло. Кудряш пожал плечами и закивал как бы самому себе, неуверенно, — программа защиты от свидетелей...

— А я, получается, должен провести вечер с убийцей? — спросил Лотман и без того осипшим, а теперь и вовсе вымученным, точно задымленным голосом.

— Глупый вопрос. Ты же грешник, — промолвил Кудряш, — и все мы грешники! Слушай, ну я вот могу оказать тебе какую-нибудь небольшую услугу, если хочешь. Мне просто позарез надо с кем-нибудь побеседовать. Пошли в кофейню на углу твоей улицы, которая... расскажу кое-что.

— Что ты мне расскажешь? Как убил Эльзу? А потом убьешь меня?

— Не, не. Не убью. Ты просто будешь дурачком, если мне откажешь. Я угощаю.

— А если не откажу?

— Тоже, — выдавил из себя признание Кудряш, — но пошли?

Если бы Лотман был с собой откровенен, то сразу бы осознал, что у него нет выбора. Однако только теперь его губы сжались в трубочку, он поднялся со стула и молча кивнул. «Делать все равно уже нечего».

Кудряш следовал за ним молча и даже скромно. «Не в его это стиле», — удивлялся Лотман. Капли дождя стекали с Кудряша, как с резиновой куклы, и расползались по асфальту мелкими змейками. Старинные дома с их прилежными черепицами подходили романтичному, немного отчаянному виду Лотмана.

— Ты совсем не изменился, — дружелюбно сказал Лотман, съежившись от дождя.

— Изменился! — иронично парировал Кудряш, мерцая в редком свете тротуарного фонаря. — Недавно переболел вот ветрянкой. Премерзкая штука.

В тот день стемнело раньше обычного. Около освещенной серебристыми диодами кофейни Лотман обернулся и, набравшись смелости, проронил якобы невзначай:

— Так ты говорил об услуге. Я хочу знать альтернативу.

— Альтернативу чего? — засмеялся Кудряш. — Вот нет никакой альтернативы. Это все иллюзия, понимаешь?

— Что было бы, если... — занервничал Лотман, опустив глаза. Капли по нему не сползали, а будто бы разъедали рыхлое сахарное лицо, макушку, куртку и плечи, — что было бы, если бы я тогда остался.

— Говорю же, ерунда. Ну, если хочешь, то в общих чертах. Но это же сказка.

— Хочу сказку, — буркнул Лотман, вставая под крышу крыльца соседнего цветочного магазина.

— Сказку на ночь? — авантюрно засмеялся Кудряш. — Давай попробуем. Пошли только внутрь. Очень хочется в помещение.

2

Город Двугорбый, окруженный смешанным лесом, располагался на двух пологих холмах — «горбах». Холмы стояли близко, но спуск с них почти везде был крутой и непроходимый, поэтому жители еще в давние времена построили широкий мост, ведущий от «горба» к «горбу», от вершины к вершине. Городок за его красивые виды и природу прозвали заповедным, но сами горожане сначала подсмеивались, называя его Двугробый. А потом, когда одного грешного шутника подкараулил некто обиженный, разрезал на две части и закопал в двух гробах на двух кладбищах по разные холмы города, шутить перестали, даже извинились. Широкий же мост так и называли: Широкий. Тоже местная городская шутка, потому что других способов попасть напрямик из «горба» в «горб» не существовало, и на мосту часто образовывались автомобильные пробки, а по праздникам гуляли толпы зевак.

Но в то утро по Широкому мосту лишь двое полицейских вели молодого парня в отцовский дом. Шли в туман, патрульные толкали угрюмого подростка дубинками и переглядывались со знанием дела, а внизу тек мелкий ручей, и на покинутых лодочных станциях засыпали в машинах молодые любовники, мирно дремали немолодые бродяги под безлюдными пирсами.

Лотмана в это время разбудила жена. Даже не резкая пустота двуспальной кровати, а звонкий, поставленный голос жены-адвоката.

— Гришку приведут через полтора часа уже! Вставай. Тебе надо опохмелиться.

Лотман открыл глаза и увидел родной дом, доставшийся в наследство от деда. Обои с голубыми цветами, полки с карандашами, ватманы у стены, несколько шкафчиков и деревянная лесенка на первый этаж, где находилась кухня-прихожая.

— Через час? Это очень рано. Почему они не могли позже? Все-таки мне вчера исполнилось сорок, — ответил он, превозмогая усталость, которая как будто только и ждала его пробуждения. Голова у Лотмана никогда почти не болела. Болели ноги, что-то немое и зловещее поселилось в спине.

— Ты единственный, кто нарушает традицию не отмечать сорокалетие! — Жена уже почти что оделась. Как обычно, мужские брюки, мужской свитер, фуфайка, никакой косметики. Раньше ее даже считали лесбиянкой, пока она не встретила Лотмана. Сейчас его супруга деловито ходила по комнате, собирая документы и ключи, мелочь на проезд и колбочки пустырника.

— А я думаю, чего это я вчера был один на своем дне... на своем дне, — то ли подумал вслух, то ли пожаловался Лотман.

Он с трудом приподнялся на кровати. Спал в синей праздничной майке, подаренной сестрой из Китая. Майка пропахла алкоголем. «Мне нельзя не напиваться хотя бы раз в месяц, тем более на свои сорок».

— А меня ты не помнишь? — улыбнулась жена. Ее узкое, веснушчатое лицо и выгоревшие волосы всегда умиротворяли Лотмана, особенно когда тонкие губы складывались в почтовый конверт и острый подбородок становился чем-то гиперактивным, подвижным и полным энергии. Боль в ногах утихла.

— Нет. Ты ведь забрала меня?

— Да, тебя хотели убить. Ты пришел в чайхану и стал просить пива. А потом стал доказывать, что ты дизайнер и знаешь, что эстетичнее — пить или курить кальяны... если бы не моя адвокатская корочка...

— Ужас какой. Они и так пишут у меня на стене проклятья за то, что я голосовал на родительском собрании против истории религий.

— Они и меня шавкой бандитской называли, и...

— Жалко, я был не в состоянии за тебя вступиться!

— Наоборот, хорошо. Этому городу не хватает толковых дизайнеров-фрилансеров. Как бы их не осталось совсем.

— Этому городу не хватает горящих покрышек. Подумать только, нашего Гришку...

— Но-но. Скажи спасибо, что его так быстро отпустили. Мои связи хоть...

— Да я знаю. Только благодаря тебе мы все еще живы.

— Как сказать. Не только, учитывая, кто подставился под пулю, когда на меня совершили покушение в прошлом году.

— Ах, прекрати. Ты постоянно это вспоминаешь. Мы все тут как в осажденной Трое...

— Сергей Юрьевич изволит шутить о древнегреческом эпосе?

— Так, я не Сергей Юрьевич. Отстань, дай воды лучше.

— Сам возьмешь.

Лотману не нравилось, когда высмеивали его фамилию, такую же, как у знаменитого русского литературоведа. Лишь одной жене он это прощал. С самого детства учителя русского языка приставали к нему, посылали на олимпиады, заставляли писать дополнительные сочинения, участвовать в конференциях по славистике. Лотман ненавидел и их, и своего однофамильца, и всех русских писателей — он знал, что никогда не станет филологом-славистом, переводчиком или журналистом, как хотел его отец. Вместо этого Лотман окончил художественное училище в соседнем городе и стал дизайнером, то получая огромные гонорары от заказов, то живя на картошке и рисе, когда горизонт заказов пустовал. Так жил, пока не женился. Единственная женщина-адвокат в городе зарабатывала достаточно денег и достаточно угроз, чтобы тратить почти все заработанные деньги на безопасность. Тем не менее, картошка с рисом ушли из его рациона, особенно когда родился сын Гришка, названный в честь умершего от невылеченной пневмонии отца.

— Запри за мной и приведи себя в порядок. Будь с ними вежлив и подари бутылку шампанского, — говорила, стоя на лестнице, энергичная супруга.

— Подарить бутылку шампанского? За то, что они его на эту бутылку не посадили? — усмехнулся Лотман. Трезвым он обычно ужасался от этой мысли, но сейчас выдались те редкие минуты, когда все позволительно высмеять.

— У нас никто никого пока никуда не сажал! — крикнула жена и исчезла вместе со скрипом входной двери на первом этаже.

Подниматься с большой кровати стоило труда — весенняя морось просачивалась сквозь тюлевые занавески прямо в комнату. «Но долг перед женой и сыном есть долг», — подумал Лотман. Он встал, походил по комнате, посмотрел на свой медленно, но верно растущий живот, такое же незатейливо умирающее от алкоголя тело. Сходил в душ, посетовал, что его очередь мыть унитаз и ванну, но бриться побоялся, хотя после холодной воды в теле поселилась маленькая робкая свежесть. «Руки дрожат. Порежусь», — пронеслось в мокрой голове.

Лотман отправился мыть посуду. Стол предстал перед ним чистым, а кухня светлой. Параллельно он стряпал себе бутерброд с сыром. «Сыр... это лучшее... всегда», — метались мысли по углам черепа, не давая покоя. «Плита грязная, черт, да в каком же дерьме мы живем, ведро тут это... где кочерга от печки? Дожили...»

За окном проехала полицейская машина с мигалкой. Лотман, уже накладывавший

сыр на хлеб с маслом, вздрогнул и подошел к окну, больно задев щиколоткой табуретку у батареи. Поднимая пар, машина ушла под горку дальше за горизонт, мимо зарослей крапивы, мимо таких же двухэтажных строений частного сектора, как и его небольшой, но собственный серый домик с огородом, где летом сажали только лук и чеснок, а смородина и малина поспевали и сами, «дикарем». Сквозь щели деревянных стен проникала утренняя прохлада, приятно щекотала лицо и босые ноги. Лотман выдохнул и вернулся за стол — доделывать сырный бутерброд. Но сначала он ополоснул чашку. Бруснично-мятный иван-чай в чайнике уже настоялся. «Добавить немного меда, заесть бутербродом, и все будет прекрасно», — решил Лотман, доставая половинку лимона. Он устроился на низком диване напротив компьютера, расположил на столике чай и бутерброды с сыром. Встреча с полицией грозила волнением, Лотман старался не думать о том, что они скоро придут и приведут бедного, измученного Гришку, которого чудом спасла его жена.

Он смыкал слезящиеся глаза, отпивая иван-чай с зелеными, мелкими лимонными дольками, стремительно подступающими ко рту. Аромат летних зарослей напоминал о чем-то невинном в противоположность печальному одинокому пьянству накануне. Есть пока не хотелось. Чтобы отвлечься, Лотман представлял себе жену, ее оранжеватые мускулистые ноги, маленькую грудь, узкое лицо и карие глаза, представлял ее всю выгоревшую, изящно ржавую, обнаженную, высокую и худую. Он пытался вспомнить еще каких-нибудь прекрасных женщин, но все оказывались либо страшными, либо отвратительно глупыми.

В дверь позвонили, и Лотман вскочил, схватил шампанское из холодильника и направился к выходу. «Неужели так рано?! Всего шесть утра! — подумал он, силясь самовнушением замедлить скакнувший пульс. — Ничего, сейчас отстреляюсь и довольно с меня. Надеюсь, Гришка сначала отдохнет, а потом уже...»

Дверь крякнула. «Так, надо смазать уже давно».

— ...Смотри-ка, с бутылкой шампанского нас никто еще не встречал! — задорно кивнул кудрявый парень своей черноволосой спутнице. Небо за незнакомцами уже почти просветлело.

Их пришло двое. Подростки лет шестнадцати стояли у порога двухступенчатого Лотманова крыльца, терпеливо ожидавшего ремонта.

— И правда, — хриплым голосом подытожила девочка слова своего спутника.

Лотман застыл на входе, он молчал и устало, ребячливо улыбался оттого, что гости не полицейские. Парень стоял, покачиваясь на длинных ногах, весь в черном и веселый, а девушка наоборот — серьезная, даже немного мрачная, но в пестром платье. Она глядела на Лотмана сочувственно, исподлобья.

— Вы кто такие? — наконец почти рассмеялся Лотман, рассматривая нелепых пришельцев и радуясь отсрочке трудного разговора с сыном и с полицейскими.

— Да мы черти! — саркастично ухмыльнулся кудрявый очкарик, пытаясь, видимо, пошутить.

— Дяденька, пустите нас, пожалуйста, ненадолго. За нами гонятся менты, — попросила низкорослая девочка учтиво, но строго.

Лотман растерялся. На его памяти такое случалось с ним первый раз. Он подумал, что подростки баловались наркотиками где-нибудь у пристани, но временное избавление от трудностей и некая солидарность с людьми, пострадавшими от полиции, велели ему их пустить.

— Проходите, — освободил он проход и, как бы оправдываясь, отступил к печке-голландке в глубь избы, — только они сами сейчас сюда придут.

— Так вы им не говорите, что мы здесь! — подмигнул кудрявый, с нескрываемым удовольствием приняв приглашение.

* * *

Лотман провел гостей в кухню-прихожую и предложил им повесить одежду в шкаф, но те почему-то кинули куртки на косую скамейку для обуви, неприкаянно стоявшую возле лестницы в спальню.

— Да, мы забыли представиться. Я — Кудряш. Это — Эльза.

Паренек спокойно уселся за маленький столик между окном и диваном, а суровая девочка Эльза примостилась к плите.

— А я — Лотман, — не нашелся ответить ничего другого хозяин дома. Он вернулся на диван и понял, что неприлично будет не поделиться с наверняка голодными ребятами завтраком, тем более, он надеялся, что чем быстрее он их накормит, тем быстрее они уйдут, — у меня, к сожалению, только бутерброды с сыром и чай. Но могу достать ветчины...

— Ну, у вас есть шампанское вот, — бесцеремонно кивнул Кудряш на бутылку, положив ногу на ногу, — к тому же вам и самому бы не мешало!

Лотман растерялся. Глупые, как ему казалось, подростки-наркоманы могли что-нибудь украсть или дать ему по голове тяжелым предметом. К тому же сомнительные бродяжки не преминули бы сильно испортить его отношения с полицией и, как следствие, судьбу сына. Мысль о том, что он зря их впустил, сделав это на радостях, не оставляла его, с одной стороны, но, с другой стороны, новые знакомые заинтересовали своей нехарактерной для жителей города непосредственностью, граничащей с неистовой наглостью.

Эльза уселась на табурете между плитой и встроенной в сизую кухонную гарнитуру стиральной машиной, одернула юбку и сказала:

— Вы же тоже хотите. Можно, мы разделим с вами шампанское?

Лотман пить не собирался, но после слов этой необычной девочки вдруг захотел.

— Открывайте. Наливайте, — ответил он, делая вид, что ему все равно. Он размышлял о том, насколько неприятно было бы дарить бутылку полиции.

Кудряш принялся раскупоривать шампанское перочинным ножом, лежащим на столике рядом с подносом, а Эльза продолжала все так же пристально наблюдать за Лотманом, у которого подрагивали кончики пальцев. Лотман поначалу впал в оцепенение, ему показалось, что проблем в жизни вдруг резко прибавилось, что с ними со всеми — с сыном, с работой, с полицией, с непутевыми подростками, с женой — ему не управиться и легче сразу же пойти к дубу на откосе и кинуться вниз, опорочив окончательно своей нерадивой жизнью город праведников Двугорбый. Но потом, когда благодаря стараниям не по годам смышленого Кудряша под столом зашипела пробка, в голове Лотмана созрел вопрос.

— Так, все же мне надо знать, почему вы бежите от полиции? — В этот момент Лотман почувствовал себя дураком, ощутив уже в полной мере свою небритость и неустроенность. «Почему я сразу не спросил?!» — корил он себя, скрывая волнение и ворочаясь на диване.

Бутылка переместилась из-под стола на стол. Пробка легла рядом с ней, слегка прокатившись по желтой скатерти. Эльза, до этого напряженно перебиравшая свои длинные черные волосы, расслабилась и даже вытянула короткие кривые ножки в дорогих цветастых сапогах. Лотман хотел было включить люстру, но решил, что утреннего света достаточно.

— Скажите сначала лучше, где взять фужеры, — тихо и хрипло, но оттого еще более вкрадчиво проговорила девочка.

— Фужеры! Фу, слово-то какое. Давай лучше стаканы, — поправил Кудряш свою спутницу.

«Меня посадят за растление спаиванием», — подумал Лотман, невозмутимо указав пальцем на крапчатый шкафчик около раковины.

Эльза встала со стула и открыла шкафчик. Она покачивала бедрами, это получалось у нее смешно, как пародия на грациозность и куриную, «перевалчатую» походку фотомоделей по телевизору, а бирюзово-пестрое платье шелестело флагом забытого, но веселого государства.

Они разлили кислую смесь и попробовали ее. Лотман ненавидел шампанское всей душой. Оно всегда пьянило его больше водки. Кудряш выпил залпом, опустился на стул и, точно ненароком вспомнив лотмановский вопрос, начал говорить все так же бойко и нарочито непринужденно:

— Приехали мы, значит, утром в город. Постучались, короче, сначала к одному на ночлег. Это где-то возле администрации, видимо...

— Где сараюшки, — добавила Эльза, морщась.

— Неважно, — буркнул Лотман, которому жестокие пузырьки начинали бить в голову.

— Так вот, — продолжил Кудряш, — постучались мы, короче, в частный дом одного местного буржуа... ну как буржуа... дворянина... в смысле чиновника.

— Бизнесмена, — педантично поправила Эльза своего спутника. Кудряш резко повернул к ней свою длинную тщедушную шею и посмотрел так, словно провалил важное поручение и должен кое в чем признаться или раскаяться. Лотману, упрямо строящему из себя гостеприимного и дружелюбного собеседника, показалось, что она удивилась.

— Я расскажу правду! — торжественно и доверительно заявил Кудряш. В этот момент Лотман заметил, как глаза Эльзы округлились, талия напряглась, и девочка просяще закачала головой. Но Кудряш непреклонно улыбнулся.

— В общем, — продолжил он не по годам поставленным голосом, — как мы уже сказали, когда пришли, но, возможно, это прозвучало неубедительно... мы — черти. Вот! — сделал Кудряш театральную паузу.

Лотман не выдержал и рассмеялся, а Эльза закивала, словно хотела сказать: «Ну, видишь, какой прикол».

— Демоны, черти. Как будет угодно, — добавил Кудряш для большей внушительности.

— Ребята... Эх... Ладно. Признавайтесь, что вы курили, ребята? Легалку? — спросил Лотман, уже немного опьяненный и оттого начавший получать удовольствие от необычного спектакля. — Я не буду стучать на ваших барыг, просто это правда опасно.

— Сегодня только сигареты, а Кудряш не курит. Он фантазер, — объяснила Эльза, впервые за все время улыбнувшись, но улыбка вышла у нее снисходительной, и Лотману стало немного не по себе.

— Вот, — как ни в чем не бывало продолжил Кудряш, — мы часто слышали там... от ангелов, от друзей, что у людей есть такая легенда про Содом и Гоморру. Ну, что, типа, ангелы пришли, убили всех грешников, все пожгли. Бред, конечно, не жгли они никогда никого, только топили. Но история забавная. И мы с Эльзой решили сделать так же. Почти так же. Мы решили найти, короче, очень набожный такой, ну, типа, как это... святой, что ли, город. Где все правильные. И взорвать его тоже. Но просчитались, конкретно просчитались... Почему? Потому что нет такого города! И мы выбрали тот, где просто много людей себя такими считают. Ну, а поскольку грешников в нем, конечно, все равно полно, то никого не спасать... или на всякий случай спасти абсолютно случайного человека.

Лотман и Эльза переглянулись. По глазам Эльзы было видно, что это ложь, либо она очень хотела доказать Лотману, что это ложь. Лотман отпил чай, так как решил, что шампанское после вчерашнего вечера явно лишнее. Он немного помолчал, пожал плечами, а потом сказал:

— То есть получается, что я этот рандомный[1] человек, которого вы хотите спасти от адской кары? — спросил он с иронией.

— Да нет, ну, как... может быть! А вы хотите? — сделал невинное лицо Кудряш.

Лотману понравилась забавная игра в мистических гостей.

— Не быть сожженным? Определенно, — заключил он с видом знатока.

— Очень, очень зря отказываетесь... Так вот, нас пустил один мужик, потом он решил, что мы слишком дерзкие, назвал нас молокососами и выгнал.

— Ты полез к нему в холодильник и стал удивляться, что он такой толстый, а держит спортивное питание! — вставила недовольная Эльза.

— Да какая разница, что я сделал? — стоял на своем Кудряш. — Он бы все равно умер сегодня!

Узрев намек, Лотман подошел к холодильнику, достал ветчину, выложил ее на стол и, сознавая, что подростки скорее курьезные, чем опасные, торжественно кашлянул, пригласил гостей присоединиться к утренней трапезе, словно говоря им: «Видите, я не такой!»

— Прикольно, — прокомментировала его жест Эльза и подвинулась ближе к столу.

— Ого! — Кудряш тоже последовал ее примеру. — Мы решили, что больше ни к кому не пойдем. Стали сидеть на улице. Обосновались на пеньке возле памятника какому-то дядьке. Ну вот, слово за слово, там поцелуи, фрикции, язык тела...

— Мы стали заниматься любовью на улице, и нас чуть не задержала полиция! — смущенно и даже слегка обиженно оборвала Эльза Кудряша, чтобы тот не начал вдаваться в подробности.

— Точняк! Мы от них побежали, там, подняли тревогу... и вот мы здесь.

— Прекрасно, — насмешливо кивнул Лотман, накалывая бордовую ветчину на вилку, — в наши дни черти занимаются любовью у памятника и бегают от полиции. Так, стоп, погодите. Раз уж мне выпала такая удача... встретиться с внеземными силами, так сказать... как там Бог, Дьявол, не просветите?

Собеседники молча переглянулись. Солнце за окном окончательно взошло, осветило молодые лица гостей и слегка припухшую физиономию Лотмана. Этот человек давно не мечтал, и сейчас ему очень хотелось чего-то подобного — он наслаждался своей язвительной услужливостью. Лотман откинулся на спинку дивана, полузакрытыми глазами смотрел, как типичные старшеклассники, словно его собственные дети, поглощают завтрак. Он думал о том, что присутствует в этом то ли бредовом, то ли сказочном завтраке, в том, как шелестит от апрельского ветра трава в огороде, как далеко гудят на асфальтированных дорожках автомобили, открываются первые магазины, думал о том, что присутствует во всем случившемся с ним поутру некая причудливая идиллия, которую ему, Лотману, в его сорок лет удалось внезапно поймать, схватить, пусть, может, даже в последний раз.

— По поводу Бога и Дьявола. Их нет, — наконец пояснил Кудряш, оторвавшись от ветчины, — это человеческая чисто привычка — строить иерархии.

— Так... а?.. — с недоуменным смешком развел Лотман руками.

— Смотри... те... можно на «ты», раз такая тема?

Лотман покровительственно кивнул.

— Смотри, вот есть просто две системы. Ну, не знаю... как объяснить... Вселенные. Они строятся по разному принципу. Не то чтобы противоположному, но разному. Вот в вашей системе дух, нематериальное, душа... мысль... как хотите, — вся эта лабудень в вашей системе вырастает из материи. Постепенно. Вселенная довольно молода еще, типа. А у нас наоборот. У нас материя создается душой, мыслью. Ну, мы, по сути, дух вот и есть. Его индивидуальные проявления, есть коллективные... есть индивидуальные...

---

[1] Случайный (*англ.*).

— Мы не создавали ваш мир, — вновь перебила Эльза, принимая правила игры в необычных чертей, — мы просто живем во Вселенной, где наоборот — дух первичен, а не материя, и мы наблюдаем, иногда влияем, помогаем или мешаем развиваться у вас тому, что у нас и так развито. И ваша Вселенная тоже влияет на нашу, влияет материей. Они параллельно возникли. Есть мнение, ангельское, а не наше — что весь смысл мироздания в их встрече. Но это бред, по-моему.

— Так, — отстранился Лотман, — вы мне сейчас хотите решить основной вопрос философии? Или вы все-таки черти, а не студенты-троечники первого курса?

— Какая разница! — по-свойски воскликнул Кудряш. — Ну, люди нас в основном так обычно называют, насколько мне известно. Дело в том, что... почему ангелы и черти... потому что мы по отношению к вам, жителям Вселенной материи, будем это так называть... а вас очень много на разных планетах, просто вы все типа малоразвиты в этом плане и еще долго друг друга не узнаете. Ну, вы, короче, даже физически это сделать не всегда можете. Так вот, у вас редкий случай, когда сознание, душа, если хотите, сложная вот эта система, буквально вырастает из материи. Ну, есть те, кто сделали ставку, что вы дойдете до нас и откроете нашу метасистему, где все по-другому, многое поймете там... ерунды всякой. Они — ангелы. А мы вот черти, потому что мы в вас не верим. И вообще я вот считаю, что ничего хорошего из того, что вы достигнете нашей системы, не получится. К тому же мне нравится, что у вас есть многое, чего у нас нет. Например, ветчина... так, о чем это я... В общем, типа, образовалось две партии по этому поводу. Партия ангелов и чертей. Условно, конечно, есть еще много всяких... но суть вот она. Влиять на вас в ту или иную сторону напрямую нам запрещено, да мы и не умеем. Только подталкивать, давать знаки...

— И какой же вы дадите знак, уничтожив город? По-моему, вы напрямую вмешиваетесь, раз так?

— Да мы не... — дружелюбно оскалился Кудряш, — мы так, развлекаемся, короче. Скорее, это будет даже на пользу ангелам. Они ведь любят, когда люди боятся. Говорят, что страх облагораживает сознание, удобряет его нравственность там. Что иначе вы станете скотом без трудностей и без морали. А мы не против. Мы считаем, что лучше быть счастливым скотом, чем несчастным ангелом.

— Ведь ангелы всегда несчастны, — задумчиво заключила Эльза.

Лотман подвинулся ближе к гостям и принял вид остроумного критика, заложив указательный палец за ухо. Переживания за Гришку и за полицейских на миг покинули его. Ему захотелось найти брешь в их фарсовой теории, но мозг, как обычно, ничего не мог выдумать сразу. За окном уже вовсю собирались на работу — краем уха Лотман услышал, что возле его дома буднично и вяло переговариваются какие-то люди.

— Так, — сообразил он, когда Кудряш подлил шампанское в свой и его стаканы, — а как же загробная жизнь?

— Пффф! — не сдержался Кудряш от саркастического фырканья.

— Мы толком не понимаем, что вы под этим подразумеваете. Вам в плане смерти повезло больше. У вас материя живет, а сознание умирает. То есть человек умер — стал перегноем, потом из перегноя, грубо говоря, новое растение. Закон сохранения материи. У нас, напротив, материя не сохраняется, а только сознание. Это весьма хреново, — объяснила Эльза с видом школьного учителя естествознания. Лотман вспомнил, как часто прогуливал этот предмет.

— Очень! — подтвердил Кудряш с набитым ртом. — Кстати, если ты хочешь, мы можем вот тебя с семьей вывезти на самолете сегодня вечером. Ты все-таки дал нам шампанского с ветчиной.

— Мы с Кудряшом очень любим и то, и другое, надо признаться, — подтвердила Эльза, — и потом, вы же не хотите умирать.

Возможно, после такого перегиба Лотман стал бы открыто намекать шутовской парочке, что пора бы им уйти, но последними прохожими на улице оказались двое

полицейских с его сыном Гришей. Они вошли через незапертую дверь, а Лотман обратил на это внимание лишь в последний момент, когда та со скрипом захлопнулась за новыми гостями.

* * *

Оба стража порядка знали Лотмана, а Лотман знал их — Чиня и Любомира, «последних строгих, но справедливых ментов». Постовые находились в отношениях, которые называют настоящей мужской дружбой. Именно поэтому и неженатому Чиню, и разведенному Любомиру особенно неуютно и неприятно было конвоировать домой Гришку. Толстоватого, бородатого старшеклассника Гришку, которого посадили за то, что он целовался с другим юношей (позднее, как выяснилось, смазливым сыном майора) на школьной дискотеке. В то утро задержанный Гришка словно терзал их дружбу, придавал платоническому и долгому сотрудничеству двух полицейских двусмысленную неуверенность в правильности их частого совместного времяпрепровождения. Уже с утра Чинь, высокий лысый самбист, высказывал своему коллеге и армейскому товарищу, скромному худому постовому Любомиру, свои переживания. «Даже бить запретили! Важная шишка! А что про нас потом скажут, после того как мы его под белы рученьки домой приведем, чуть ли не в обнимку, по всему городу?» — возмущался Чинь, встретившись с другом за утренней сигаретой около участка. «Да они козлы, что машину не дали! Эта ведьма лотмановская всех отмазывает...» — кивал ему в ответ Любомир. Кроме того, почти всю дорогу, которую незадачливым полицейским пришлось пройти пешком, по рациям передавали, что двое подростков разыскиваются за нарушение общественного порядка и антисоциальное поведение. «Сейчас могли бы подсобить, — говорил Чинь, — но нет же. Мы же провинившиеся, подумаешь, со всеми в проруби не купались, а теперь должны с этим педиком бегать через весь город!» «И то правда», — подтверждал Любомир, поправляя теплую полицейскую шапку, которая спадала с его маленькой головы. Рассерженные, готовые при случае набить морду и Гришке, и самому Лотману, они не звонили, а просто вошли в приоткрытую дверь. И, увидев юношу и девушку на кухне вместе с Лотманом, благодаря инстинктивной полицейской смекалке сообразили, что это именно те похабные беспризорники, которых ищут их коллеги все утро.

Полицейские встали возле кухонного шкафа с раковиной, застыли двумя невозмутимыми столпами закона. Чинь крепко сжимал цепь наручников, которыми все еще был скован Гришка, а Любомир беззвучно оглядывал Лотмана и его гостей, оглядывал так, чтобы Лотман как можно скорее все понял. Юные гости Лотмана, как ни странно, делали вид, что ничего особенного не случилось, смотрели на полицейских как на заползших под обои жуков-короедов — со спокойным презрением. Эльза даже повторила специально для них свою последнюю фразу.

— ... вы же не хотите умирать? — Однако полицейские, занятые иными вопросами бытия, сделали вид, что ее не услышали.

Лотман приготовился сначала врать, выдавать тинэйджеров за своих племянников, а если не получится, то просто сдать их без лишних угрызений совести, чтобы избавиться от настырного правосудия. Он даже успел промямлить нечто смутное вроде «ой, ай», но тут же остановил свой взгляд на Гришке, усталом, растрепанном, начинающем судорожно рыдать при виде отца. Гришка и оборвал все нелепое онемение резкой встречи.

— Пап, я по пьяни перепутал! Я думал это девчонка, честное слово! — взмолился круглолицый Гришка и упал бы, наверное, на колени, если бы не наручники, которые держал пасмурный, и без того наслушавшийся сомнительных оправданий Чинь.

— Ты, Лотман, совсем охренел, — начал Любомир, — это из-за тебя твой сын стал гомосеком, как пить дать! Кто вот это вот сидит у тебя? Что за деток ты тут

подбухиваешь? Ты мало того что самый злостный пьяница, тунеядец, так еще и педофил! Лучше сразу во всем признайся, а то мы и тебя закопаем, и эту твою бабу ревущую, — кивнул он в сторону Гришки.

— И не ревущую тоже! — подобно ржущему коню, дернул головой Чинь.

— Вы... погодите... не понимаете... Гриша, успокойся... они сами...

— Ага, конечно! — Чинь не удержался и дал подзатыльник Гришке, который чуть было не принялся орать от унижения. — Сами! Ты еще скажи, что сын твой не содомит!

— Я не содомит... — робко всхлипнул Гришка и получил новую оплеуху.

Лицо Лотмана исказила гримаса. Он помнил, что сына не должны бить.

— Так, ребятки, собирайтесь. Сейчас я вызову подкрепление, и мы все дружно поедем в участок и там все решим, — попытался Любомир сгладить ситуацию, но Чинь, осознав, что Лотман попался с растлением, дал Гришке еще один подзатыльник для профилактики и раскатисто произнес:

— Там вас уже ничего не спасет! Ни шлюха твоя мужеподобная, Лотман, ни твои жидовские штучки!

Лотман весь покраснел. Ему стало не просто обидно и стыдно. Он не раз слышал подобное и от Чиня, и от других жителей города, но перед сыном и перед незнакомыми, но забавными юными гостями стало невыносимо. Лотмана охватил жар, глаза забегали, в животе заурчало, к горлу подступил ком. «Что сделать?» Он уставился в пол и замер и, возможно, простоял бы так молча до тех пор, пока его насильно не запихали бы в кузов автозака, если бы Кудряш не допил шампанское и не поднялся со стула.

— Господа полицейские... — промолвил Кудряш, и что-то в его голосе показалось Лотману новым. Кудряш не стал другим, на его лице осталась все та же улыбка, а Лотман стыдился смотреть в его сторону, зардевшись, не отрывался от коричневого дощатого пола. В черных глазах Эльзы, до этого холодных и безмятежных, мелькнул злорадный, нездоровый блеск, а солнце будто бы ненароком зашло за тучи. Чинь и Любомир с ехидным интересом уставились на Кудряша.

— Господа полицейские, — голос Кудряша звучал мягко, безэмоционально, — сейчас вы снимете с парня наручники и мы с вами поговорим на улице.

Что-то на них подействовало. Чинь и Любомир пожали плечами, переглянулись, затем Чинь расстегнул наручники, позволив Гришке рухнуть на пол, и оба, понуро склонив головы, вышли наружу, как и требовал того Кудряш, а сам белокурый нарушитель спокойствия проскочил через Гришкину тушу вслед за блюстителями закона.

Лотман, скорее всего, еще какое-то время смотрел бы в пол, покрываясь стыдливо алыми пятнами, но Гришка неуклюже поднялся, устроился на диване, усадил и обнял отца, продолжая оправдываться. И Лотман решил поначалу не выяснять, что же произошло, а просто успокоить сына.

— Пап, он был так похож на девчонку, а я был пьяный! — Голос Гришки трясся, будто бы балансировал на ходулях в беспросветном болоте.

— Да мне неважно, сынок, гей ты или не гей, — гладил Лотман сына по голове, прижимая к груди.

— Да я не гей! — немного вопил Гришка, засыпавший даже в истерике после тяжелых ночей в тюрьме. — За что меня так дубасили? Я — натурал!

— Ну, нравятся тебе мальчики, ну ничего страшного. Фрейд считал, что мы все от природы бисексуальны. Тебе надо отдохнуть.

— Пап, да перестань, я не гей.

— Здесь уже никто тебя за это не обидит, просто выбирай мальчиков попроще, не сыновей майоров...

— Пап, это все неправда, я не педик... — задремывал изможденный прыщавый Гришка, снимая с себя куртку и подкладывая ее под голову, как подушку. Лотман

обнаружил ссадины на его запястьях, да и синяки на лице теперь уже бросались в глаза. Но решил не бежать за йодом, а дать мальчику отдохнуть. И так они сидели вдвоем на диване, какое-то время не замечая Эльзу, точно окаменели на фоне обоев с голубыми цветами, как единое чуждое среде изваяние: побитый морально отец, утешающий своего неказистого, спящего полулежа в собственных слезах, пахнущего сыростью обезьянника, осунувшегося за пять дней сына. «Мать придет, не узнает», — философски рассудил Лотман, положив ему руку на трепещущее плечо и не двигаясь с места, чтобы не разбудить и снова не попасть под поток отчаянных оправданий.

Эльза не чувствовала себя лишней. Она просто молчала, ожидая, пока Гришка уснет. А потом, когда Лотман, глаза которого тоже обреченно намокли, вернулся к реальности раздумывать, что же произошло, сказала:

— Поехали все-таки сегодня с нами, дяденька. Лучше жить.

По-настоящему Лотман вернулся к реальности только при этих ее словах. Он отпустил плечо сына, удостоверился, что тот отдыхает, и пересел на стул, вытянув голову вперед и вопросительно, с нескрываемым, нешуточным беспокойством посмотрел на Эльзу.

— Что все это значило?.. — спросил он сквозь сырость в горле. Могущество двух подростков, их оправданную самоуверенность нельзя было отрицать. На секунду Лотман решил, что юные гости действительно черти, он ощутил, что мир, в котором так долго жил, распадается, рушится на глазах, а на его месте проступает иррациональное, необузданное, как если бы вдруг на месте привычного города оказалась пустыня. Лотмана охватил страх, страх другой, не такой, как перед полицейскими, которые больше грубили, чем действительно пугали.

— Нет, мы, конечно, не черти, — ровным тоном успокоила его Эльза, — но, как ты заметил, мы имеем некоторое влияние. И то, что Кудряш сказал тебе про город, правда.

Лотман заерзал на стуле. Он не доверял странной девочке, которая вдруг привиделась ему старше него самого. Она будто бы притянула к его любимому домику тучи, и свет через окно проникал уже не тот, что прежде, уже не свет, а его слепящий, вероломный заменитель.

— Нет, нет... вы черти, ребята, в любом случае. Почему вы пришли ко мне? Зачем бегали от полиции?

— Не хотели себя выдавать, — виновато, но гордо опустила Эльза глаза, — мы дети одного очень влиятельного человека. Не буду говорить, кого, все равно ты не знаешь. Сегодня мы приехали сюда, чтобы убедиться, что именно в этом городе лучше всего взорвать сильнейшую бомбу. Такая жертва.

Лотман недоверчиво посмотрел на новую знакомую.

— То, что вы черти, звучало правдоподобнее. Какая-то теория заговора.

— Неважно, — ответила Эльза, — ты не видел, как Кудряш показал им ксиву, но видел, как она подействовала на полицейских. Важно другое. Мы можем взять твою семью на самолете в другую страну. Дать вам визы, денег, найти временное жилье. Вы начнете новую жизнь. Или, как минимум, продолжите старую.

— Понятненько, — нехотя кивнул усталый Лотман и почувствовал сомнения. «Он действительно выпроводил Чиня с Любомиром. А это сложно, они и взяток не берут». Сомнения делали Лотмана ужасно старым.

— Выйдем на улицу, — сказала Эльза, и он проследовал за ней.

Уже на крыльце, где непоседливый весенний ветер качал безлистые еще смородиновые кусты, Лотман спросил:

— Что же сделал с ментами твой всесильный Кудряш?

— Он не всесильный, не мой и ничего с ментами не сделал. Просто уговорил

пойти домой и молчать. Ксива действует на таких безотказно, но применять ее утром было неинтересно. Там на карте стояли только мы, и это только наши проблемы.

— Добрые же вы черти, — усмехнулся Лотман, усаживаясь на нижнюю ступеньку к серо-зеленой прошлогодней траве и вслушиваясь в создаваемый порывами ветра хрип забора. Эльза тоже спустилась и села рядом. Из-за высоких сосен показался Кудряш. Штаны его немного намокли от сугробов, которые в хвойном леске, где низина, еще не до конца успели растаять.

— Нет, мы не добрые. Много чего ты не знаешь. Отец сказал нам взять кого-нибудь с собой. Пока не найдем — не раскрываться. Я была против. У него странная логика. А город взорвется, так что ждем тебя и всю семью вечером на откосе у дуба. Там нас заберет маленький самолет. Возьми все вещи и документы. И спальники. Я видела, у тебя есть. Визу или гражданство оформлять небыстро, возможно, придется провести ночь в аэропорту, когда прилетим.

Кудряш аккуратно отворил калитку и подошел к Лотману с Эльзой. Он смотрел на них с уже другой, печально-задумчивой улыбкой, как бы утешая: «Ну, вот и все ты знаешь». И Лотману передалось это настроение, и он тоже подумал: «Ну, вот и всё».

— Слушай, — прощальной, слегка виноватой интонацией обратился к Кудряшу Лотман, — а душу там забирать... договор кровью?

— Да не надо мне от тебя ничего, — браво заявил Кудряш, — никаких договоров. Это подарок от чертей из запредельной метавселенной. Главным образом, за ветчину с шампанским. Хочешь — выведем тебя из города, хочешь — нет. Мне кажется, эти люди хотят тебе только зла. Умирать вместе с ними тебе нет смысла.

Эльза недовольно щелкнула языком, противясь утреннему цирку с чертями, которого Кудряш упорно придерживался. Кудряш подал Эльзе руку, они встали, хором кивнули Лотману на прощание и отправились в сосновый пролесок. Еще какое-то время, прежде чем пойти приготовить чай и яичницу сыну, Лотман смотрел на их силуэты. Маленькая тощая девушка в бирюзово-лиловом длинном платье, с длинными черными волосами до колен, прямой спиной балерины и кривыми, хоть и тоже длинными ногами наездницы и высокий тощий кудрявый блондин с кожей без единой родинки, одетый во все черное, — оба невнятных существа пообещали ему то ли наказание, то ли спасение, и вместе с ними пришла весна.

3

Издавна любит наш брат легенды, вон уж и какой по счету шаттл на Марсе, и на кнопку стоит только нажать, чтобы завтрак тебе приготовили, а все так же, как в былые годы, — слухи собираем и друг дружке пересказываем. Например, побасенка о мужике Лотмане. Много разных версий и по Интернету бродит, только расскажешь одну, а за ней другая, и админ в сетевом офисе тебе нет-нет да и скажет, мол, не так оно все было, да и было ли вообще, шут его знает. Я такую вот слышал, и мне она кажется если не самой правдивой, то, наверное, самой крутой былиной о Лотмане и о славном граде Двугорбом.

Лотман был во всем городе главная сволочь, фетюк и неудачник. Жене своей изменял, говорят, чуть ли не со школьницами под вичхаус[1], батрачил графическим дизайнером где придется, пил много, а потому и ходил на весь мир озлобленный. Тем паче жена ему тоже изменяла с бандитами, которым помогала в темницу не сесть, оттого только и жили они не как голь перекатная. Друзей у Лотмана не водилось, так как завидовал он всем вокруг из-за своих неудач, из-за своей лени и распущенности. И винил остальных буквально во всем, до того доходило, что, типа, у него, Лотмана, сын из-за коррупции и дурного, нетранспарентного правительства плохо учится, а не

[1] Музыкальный стиль, популярный среди подростков в первой половине 2010-х.

из-за того, что воспитали дитя батенька с маменькой не как положено, а через срамное одно место.

Усугублялось дело еще и тем, что город-то Двугорбый славился дивной клевой природой и вежливыми жителями, чего сейчас, честно скажу, в нашем обществе маловато. До того мило там жилось, что его решили черти взорвать, чтобы такого примера добрым людям на свете не существовало.

Нарисовались, значит, черти в Двугорбом, заложили меж двух его гор-горбов в укромное место ядрену бомбу, а сами принялись чинить всякие непотребства да пакости, чтобы напоследок еще и души горожан осквернить. Только с осквернением-то эксгибиционистским не вышло, там такие славные спецы работали — не то что сейчас. Они сразу стали гонять чертей по всему городу, и кабы те спецов колдовством не опутали, то сидели бы сейчас поганые в КПЗ и сам их папенька Люцифер бы им не помог. В общем, бежали черти от верных собак, бежали от острых глаз да попросились к Лотману в домик, укрыться от верного палева. Тот мужик скупой, не стал бы он незваных бродяг пускать, да вот только нелюбовь к нашим охранителям его и заставила.

Лотман хмельной сидел уже с утра, как обычно, ну и на радостях-то гостям-чертям налил прибухнуть. У чертей язык сразу развязался, они ему все и выложили: о том, кто такие и зачем по своим темным делам в городе оказались. Лотман-то хитрецом слыл, сначала не поверил, да тут к нему как назло с проверкой двое городовых пришли (тогда по сетчатке-то еще не могли проверить), так один из дьяволов хвастовства ради и решил презентовать свою силу нечистую. Те двое полицейских единственные взяточники были в городе на тот момент, потому как всех нормальных ребят отправили чертей гонять и только тех — молодых дурачков Чиня и Любомира — к Лотману, дабы чекнуть, не запил ли Лотман снова и откуда злато на жизнь берет, фрилансер смердный. Так вот, когда они пришли с проверкой, черт один предложил Чиню и Любомиру денег, чтобы отстали, а Чинь и Любомир, не будь ровными богатырями, решили посмотреть, что им за мзду чертенок предложит.

Нечистый говорит: «Да там много бабла, давайте только не здесь покажу», а сам украдкой у Лотмана серп выпросил, якобы ноготки подровнять для безупречного счету. Чинь и Любомир тем временем, недолго думая, посмотреть предложеньице согласились, мирно, аки под чертовским наваждением. Демон вывел их в леса, где сосны, да всунул целый чемодан фальшивых биткоинов[1], и пока Чинь да Любомир пересчитывали, чертенок со спины городовых обошел и серпом обоих махом да обезглавил. Лотман, конечно, после такого трюка чертям поверил, что город уничтожат, а те предложили ему бежать вместе с ними на боинге и сказали: «Приходи, милок, к дубу, со всей своей поганой семьей, мы вместе улетим далеко за границу, а они все взорвутся».

Лотман, конечно, сначала думал, а не обманули ли его черти. Мол, вдруг они на пару с полицейскими сговорились над ним посмеяться. Но страх-то свое взял, ребята непростые явно приходили, да и день выдался пасмурный, гроза, тучи кругом. Решил наш мужик пойти надраться со страху, пока сын дома спит, а жена не пришла. Тем более, не знал он, как родным всю эту невидаль объяснить, а сперва чаял им просто вечером на пикник предложить выйти, забрать тайком все документы для заграницы, а там уже черти на откосе у дуба подхватят, и все понятно станет, когда жена с сыном внизу ядреный взрыв города лицезреть будут.

Пришел Лотман, нос повесивши, в бар, а бартендер ему за прошлую лихую

---

[1] Биткойн, или биткоин (от англ. bitcoin: «бит» и «монета»), представляет собой децентрализованную платежную систему обработки одноименной расчетной единицы (биткоина). Здесь, явное недоразумение, так как на момент действия легенды биткойны не существовали в печатном виде.

пьянку со скидкой похмельный милкшэйк наливает. Разговорился Лотман с барменом про семью, про детей. У того работа такая — делать вид, что все понимает, а Лотману и горько стало, что бармен его любимый тоже со всеми взорвется. Выпил Лотман коктебель и пошел грустный гулять по широким улицам Двугорбого. И кого ни встречает, хоть и не здоровается, да и обычно на дух не переносит, а жалко. Помрут все, винить-то в своих пороках некого будет: часть лотмановской жизни Двугорбый, как ни крути. И хотя самому выжить тоже хочется, решил Лотман чуть ли не впервые доброе дело сделать — вывести всех из города, пока не вечер еще и черти бомбу ту не взорвали. Хоть и был он дурным мужиком, но с нечистым водиться-то не захотел.

Но и самому ведь тоже надо сбегать по-быстрому. Приказал Лотман жене собираться, а та у него строптивая была, да послала. «Ты, — говорит, — совсем ум потерял. Куда собираться? Я с работы, дай отдохнуть-то».

Сын Лотману тоже сказался больным и не пошел с ним. Лотман уже чувствует, что конец близок, что не наврали черти, закат алый, да воздух серой пахнет. Пошел на главную площадь и стал народ призывать как можно скорее свалить прочь из города, в соседних селениях отели забронить. Конечно, никто этому горемыке не поверил, зато народу Лотман привлек. «Проверьте, — кричит, — дно ручья меж горгорбов! Там ядерная бомба лежит! Нам уже уходить надо». Сам он тоже наверняка кумекал, что ему не поверят, но упрямец был, да и считал себя всегда чутка Духом Святым поцелованным, а потому решил пойти против чертовой воли. Решил, типа, в кои веки благородством почваниться, добрых людей спасти.

Но народ, зная, какой Лотман лукавый, отправил только одного постового бомбу проверять во всем Двугорбом ручье, а одному человеку это как иголку в стоге сена искать, где уж там обезвреживать! А некоторых, кто Лотмана за его презрение и гордость особенно не жаловал, стал этот незадачливый проходимец подбешивать. «Иди проспись! — кричат. — Что ты несешь-то, какие черти, какая бомба?» В общем, надо было ему по-хорошему бежать к дубу да сэйвиться[1], только он уже все равно не успел бы, да и обманули бы Лотмана черти как пить дать. Вот стоял наш дурак и призывал всех прохожих поскорее уйти и так всех этим допек, что стали его честные мужики за скверные слова бить. Разошлись в гневе на борзого трепача, стали ногами мять-пинать, да так и забили до смерти. А когда забили, то столпились вокруг. Бабы, дети — все на драку слетелись, жена его с сыном пришли, бартендер, увидели его, в крови на асфальте лежачего, поняли, что зря они так с ним обошлись. И в тот момент сработала чертова ядрена бомба, и взорвался город Двугорбый, и все его жители обратились в прах.

4

— Вот примерно такая сказка была бы сейчас вместо тебя, дружище!

— Так, я тебе не дружище, — ответил Лотман, поглаживая пальцами чашечку капучино.

В кофейне царило относительное безлюдье. Хозяин заведения, всегда улыбчивый выходец с Ближнего Востока, устал за день и отошел на кухню — поужинать пловом своей жены. За барной стойкой сидел молодой задумчивый парень, пил зеленый чай и пытался осилить пятидесятисантиметровую пиццу «Маргарита», а в углу, разламывая чизкейки, допивали бутылку Егермейстера две седые старушки. Лотман часто заходил в эту кофейню с тех пор как приехал в город. Считал главным ее достоинством, что в ней не было ничего особенного. Желтый свет, золотисто-кремовые стены, немного японской живописи, немного европейского убористого уюта. Стандартное меню, вкусный кофе, иногда подолгу не мытый пол, до анекдотичности симметрично

[1] Спасаться (*англ.*).

исчерченный обувью забежавших в обеденный перерыв менеджеров. Как раз в те дни, когда выдавали пособия, Лотман любил сюда заходить. Брать с собой Кима, знакомого поваренка-нелегала Шомпола, заказывать пиццу и радлер, а потом идти за угол кафе и проставляться двумя литрами водки, которые осушались там же, на бревне-скамейке, за кофейней, из припасенных Шомполом рюмочек для эспрессо, какие он воровал из забегаловки, где работал пять дней через два по двенадцать часов в сутки.

Но сегодня, хоть Лотман и получил днем пособие, ему не хотелось ни водки, ни радлера, ни даже слушать старый альбом Ланы Дель Рей, который обычно включался после первой выпитой бутылки водки. Даже дневного желания поесть не осталось. Только кружечка стандартного капучино, чтобы не казаться особо жалким и трусливым перед Кудряшом. А Лотман чувствовал себя перед ним именно таким, поглаживая подушками пальцев чашечку кофе и слушая обещанный альтернативный рассказ о своей судьбе.

— Ну, ты пойми вот, что нет... и не было никогда никаких альтернатив. Это все игра наших голов. Есть только то, что есть, — попытался хоть как-то сменить угрюмое настроение Лотмана Кудряш, когда заметил, что его сказка не удовлетворила собеседника, — этому стоит-то радоваться!

В отличие от нервного Лотмана, старый его знакомый в еде себе не отказывал. На столе словно нарочно, чтобы раззадорить стареющего безработного, стояла толстая ребристая сковородка с куриной паэльей из черного риса, говяжий стейк-рибай со специальными кухонным ножом и трезубой вилкой, двойное макиато и бутылка красного итальянского вина, а рядом с вином нагло и хвастливо покоилась пачка дорогих сигарет. Лотман вспомнил, что закурил только в этом городе, и ему стало тоскливо.

— Я помню взрыв из окна самолета. Хоть эти люди и гнобили меня, они не заслужили.

— Понимаешь, — не унимался Кудряш доказывать нечто смутное, с чем Лотман и не подумал бы спорить, — этим мы, черти, и отличаемся. Вот ты бы мог стать героем, бестолковым героем а ля раскаявшийся грешник-самоубийца! Но ты бы уже не знал об этом. Предательство, спасение — ну, это вторично. Ты бы умер, благородство спасло бы смысл твоей жизни, но не спасло бы саму твою жизнь, и тебе было бы уже все равно, ведь ты просто куском...

— То есть я обменял жизнь на ее смысл? Так ты устроил?

— Можно и так сказать. Но ты живешь уже почти десять лет. А все почему? Потому что тогда ты сказал жене и сыну, что будет пикник. Вы вышли со всем скарбом к дубу...

— Я помню, — снова перебил Кудряша Лотман, подперев щеку кулаком, — Гришка все никак не мог прийти в себя. Жена говорила мне, что погода плохая для пикника, а я выпил в баре Мишеля в последний раз. Мне было все равно. Да, я вам до конца не поверил, думал, что вы меня разыгрываете вместе с Чинем и Любомиром. Но на всякий случай решил чекнуть, знаешь, из детского такого, юношеского интереса, из надежды что ли...

— Ага! — с удовольствием предался Кудряш ностальгии, отряхнув черную жилетку от кукурузы. — Вы до последнего не верили. Но вас ждал самолет. А потом я вот, помню, сказал твоей жене, когда мы уже далеко отлетели: «Смотри, вот сейчас будет взрыв». И она смотрела на него через окошко, и знаешь, Лотман, в отличие от тебя, нытика, я видел даже радость и благодарность в ее глазах!

По лицу Лотмана пронеслась злоба, она скользнула по морщинам на щеках к шраму у носа, проехала юрким свирепым поездом, оставив за собой гул механического вопля, родного, точно грязная колея тропинки домой.

— Катастрофа произвела на нее впечатление. Но она никогда не жаловалась, —

язвил Лотман, видимо, сам себе, — даже когда ее изнасиловали и выбросили в мусорный бак те горячие восточные парни.

— Не факт, что это были именно они. Это все твой шовинизм, Лотман.

— Зато факт, что... с ней это случилось! Как-то совсем не к месту, будто нарочно!

— Я не виноват. Если я помог тебе, это не значит, что в жизни не стало места случайностям, — строго сказал Кудряш, — ты сам отказался провожать ее домой. Ну, и в том, что твой сын от тебя сбежал, тоже виноват только ты и твой нарастающий алкоголизм. А уж про работу... про работу я молчу...

— Сейчас каждый семиклассник умеет то, за что мне раньше платили в Двугорбом... — мечтательно оправдывался Лотман.

— Двугорбого больше нет, дружок! И талантливого дизайнера Лотмана тоже. Но есть талантливый безработный Лотман.

Лотман посмотрел на Кудряша с нескрываемой ненавистью.

— Я не верю тебе. Ты — черт или зажравшийся сын богача-масона, или министра ООН. Все равно. Я не верю, что у меня тогда не было выхода, кроме как героически погибнуть или жалко жить.

— Героически нельзя погибнуть, — ответил, доедая паэлью, Кудряш. Его, судя по всему, этот разговор уже утомлял. — Погибнуть можно только жалко. Выход? Ты спрашиваешь, был ли выход? Да, был. Ты мог взять жену, ребенка и свалить оттуда и без нашей помощи. Никто тебе не говорил, что альтернативного выхода нет. Но почему ты вообще до сих пор там жил, хотя тебе было так плохо? Ты просто сам ни хрена не мог никогда, а я тебя и вовсе избаловал. Лотман, я не обещал тебе счастья. Я обещал тебе жизнь. Ты ее получил.

— Я получил жизнь и потерял остальное. Мы за все расплачиваемся, даже если сволочи вроде тебя нам обещают что-то бесплатно.

— Только сволочи вроде тебя согласны на бесплатное! — парировал Кудряш со смехом. — И всегда готовы его принять, не прилагая усилий. Считают, что так вот и надо. Ты же такой несчастный. Такие, типа, злые все кругом были. Пинали за то, что ты не такой, как все! Так вот, да, ты был не таким, как они, но ты был хуже них, потому что те, кто лучше тех ханжеских лицемерных ублюдков из Двугорбого, те, кто лучше, — они находят способ их обдурить, одурачить, заставить служить эту вот массу себе. А ты просто, короче, Лотман, — социальный инвалид...

Он ничего не ответил, а только допил залпом капучино. Зрачки округлились. Старушки все же допили свой Егермейстер и заплатили по счету, вальяжно собираясь уходить. Кудряш тоже какое-то время молчал, и его голубые глаза сияли сквозь очки в полутьме кофейни.

— Знаешь, — наконец произнес Кудряш, отпивая вино и вытирая тыльной стороной ладони острый подбородок, — мне тут пришлось, короче, подчищать хвосты. Эльза пала жертвой, типа, как тогда твой город. Но Эльза, моя милая некогда подруга Эльза, она просила перед смертью, в том числе просила, чтобы я сохранил тебе жизнь. Так вот, Лотман. Ты же тяготишься памятью больше всего!

— Это единственное бремя и единственное подлинное наслаждение, которое у меня осталось, — неуклюже пробурчал Лотман, он то ли все же засыпал от усталости, то ли надменно, как человек, которому якобы нечего терять, тяготился собеседником и желанием поскорее от него избавиться.

— Короче, я заберу твою память, — сказал Кудряш и достал из кармана зеленовато-глянцевый шприц-пистолет, какими было модно усыплять бешеных собак, — и мне больше нельзя, чтобы ты что-то помнил, и тебе эта память портит жизнь. Ну, дела небесные, сам понимаешь вот. Программа защиты от свидетелей чуда, — усмехнулся Кудряш и положил орудие рядом с вином на стол. Кудряш смотрел на Лотмана по-доброму, в уверенности, что тот оценит его широкий жест и

пойдет на укол добровольно. — Это снадобье в каком-то смысле спасет тебя! Я опять спасаю тебя, как видишь, мой друг.

Сначала Лотман смотрел на подростка с удивлением и даже с умилением, будто глумился над его смешным намерением лишить его памяти уколом зеленого приборчика. Стареющий рыхлый дядька, он сам слишком много раз пытался забыться, чтобы всерьез воспринимать такие угрожающие предложения. «Давай, коли, очередной фокус, очередная бяка, у тебя даже это нормально не выйдет, черт», — размышлял, застыв над пустой чашкой, бывший муж, бывший отец и бывший дизайнер. За окном проехало несколько машин, пока они молча изучали лица друг друга. Пустота требовала разрядки, но бармен не приходил забрать чаевые старушек, а многочисленные ножки перевернутых стульев напоминали вымирающий лес.

Лотман засучил рукав и подставил шею, вызвав улыбку на пухлых ярких губах своего юного демона. Тот, казалось, даже потянулся за шприцем-пистолетом, но Лотман слишком остро почувствовал злорадство в его глазах. Злорадство осознания своей власти. Лотман ненавидел эту ухмылку Кудряша. «Ведь он, — думал Лотман, — всегда знает все наперед. Нет, теперь будет не так. Дьявол всегда забирает свое, но иди к черту, дьявол, память я тебе не отдам».

Кудряш уже коснулся салатовой рукоятки шприца, его глаз подрагивал в предвкушении, когда Лотман резко вскочил, озверев лицом, сам весь лишь яростная гримаса, вскочил, откинув стул с грохотом на пол, и закричал, как бездомный, которому машина не уступила дорогу на красный свет:

— Ты больше ничего от меня не получишь! — Дрожащая рука Лотмана скользнула по масляной сковороде с остатками риса и сладкого перца. В глазах гудели накопившиеся обиды. Из кухоньки тянуло несвежим пловом и немытой посудой.

— Ты больше ничего у меня не получишь!

Кудряш попытался что-то сказать, он не удивился и даже, казалось, обрадовался, но Лотман не успел понять это, он совсем не успел ничего понять.

— Дьявол! Ничего! — Рука Лотмана нащупала острый кухонный нож, нож вцепился узкой рукоятью в его ладонь, ладонь вспорхнула, и лезвие уже торчало у Кудряша в горле, словно кто-то помог убийце сделать то желанное, что вдруг прорвалось сквозь него.

— Ничего! Ничего! Ничего! — Кричал Лотман, надрываясь всем телом. Кудряш, бессильно скалясь, оперся на столик, кровь его была такая же красная, как и у всех, брызнула, но вот уже лилась так же скромно и беспечно, как когда-то по телу изнасилованной жены Лотмана.

— Нет! Нет! Ничего! — продолжая завывать строптивой юлой, Лотман оставил нож торчать и выбежал, не оглядываясь на шуршание и суету позади, вырвался из дверей кофейни, запачканный красным, помчался по слишком чистому, слишком скользкому тротуару как можно дальше.

— Нет! Ничего! Нет! — раздавался его истеричный отчаянный ор на мирных дешевых улицах, пока труп Кудряша в кафе благостно улыбался, улыбался с чувством выполненного долга.

— Нет! Ноль! Ничего! Нет!

И для Лотмана уже действительно ничего больше не было.

Полина Иванушкина

Вечный вторник воскресенья

Рассказы

Станция Джанкой

Е.С.

Поезд одолел уже половину пути и шел по южным, малоросским степям.

И все было так, как Прохоров любил. Все было как бывало каждый август.

И звезды эти, выпуклые и сырые, как будто растекающиеся по черноте вверху, стоит руку высунуть в неудобный проем форточки купе — и, кажется, дотянешься, слизнешь. И запах нагретой за день травы, бегущий за поездом наперегонки. И бесшумно спящие на нижних полках дети — обычно оба немножко посапывали, аденоиды, сколько с ними Нэлька намучилась, и гомеопатия, и хирургия, все бестолку, оставалось ждать: перерастут. Сейчас сопения слышно не было, поезд стучал всеми колесами, спешил, был только звук этот — болтающейся в серебряном подстаканнике ложечки, и это тоже Прохоров очень любил. Как любил и текущую молоком кукурузу на маленьких полустанках, покупаешь у полных баб, перевитых на голове цветастым платочком, и бежишь, обжигаясь, несешься к вагону, прокручивая в голове варианты, что делать, если отстанешь, и смеешься, и снова чувствуешь, как горячо пальцам, а в окошко уже машут, и свистят с подножки, и еще чувствуешь, что вот оно — здесь и сейчас, и ты это заслужил, и может быть, даже всегда мечтал, и только где-то в глубине живота плещется какой-то вопрос, какое-то детское проглоченное недоумение... Господи, я ли это?

В этом августе было все, как Прохоров любил.

Если бы не корова.

Поезд дернуло заполночь, девочки уже спали, Нэля дочитывала свой толстый журнал под мутным светом ночничка в изголовье, Прохоров стоял в темном коридоре и смотрел в такую же темную ночь, пролетающую мимо. Еще одну ночь. В обед уже будем в Феодосии.

Дернуло так, что у Нэльки выпал журнал, проснулись дети, самому Прохорову пришлось схватиться за занавески, побежали проводницы, заскрежетали тормоза... И снова тишина, и снова неизвестность, и еще как-будто что-то может случиться и пойти по другим рельсам, и они никогда не доедут до моря, и все будет по-другому...

Через полчаса поезд тронулся. «Корова на рельсах», — сонно бросила проводница из соседнего вагона, возвращаясь к своему сну.

Иванушкина Полина Сергеевна — журналист. Окончила журфак МГУ. Работает в еженедельнике «Аргументы и факты». Автор-составитель «Детской книги войны» (М., 2015). Лауреат премии правительства РФ в области СМИ. Живет в Москве. В «Дружбе народов» печатается впервые.

В этом августе Прохорову стукнуло тридцать пять. И в обычную отпускную ткань вплетались какие-то новые нити. Или ему хотелось так думать.

Дальше, чем тридцать пять, он не думал никогда.

Ему казалось, к этому сроку все будет очевидно и хорошо. Работа, семья, внутренняя гармония.

И вот все это было. Похвальные грамоты за желтым стеклом серванта, двое троглодитов с аденоидами, пиво в бане с друзьями и внутренний закон внутри нас. Дальше загадывать было невозможно. И сейчас, когда все это было, у Прохорова тряслись поджилки. Как будто пришел в класс с невыученным уроком — а от него привыкли ждать только пятерок. Мама, Вера Ивановна и Наташа. Занавески раззявили рты своих прищепок, Прохоров стал прицеплять их обратно, одну за одной. Маму похоронили пять лет назад, дочери про нее даже не спрашивают. У Веры Ивановны Прохоров был, конечно, любимцем, а сейчас не мог вспомнить ее лица. И Наташа. Про Наташу Прохоров помнил, что тогда в голове не было никаких рубежей, никакого ожидания, а только здесь и сейчас, и в этом их сейчас были ее коленки. Прохоров помнил, что летом, когда без колготок, на них были смешные пупырышки, у мальчишек таких не бывает.

Занавески вернулись на место, какая-то незаслуженная после дня сидения в купе усталость навалилась на Прохорова, захотелось коньяка и завернуться в одеяло, и больше не спрашивать себя, почему он никогда не пытался ее найти, почему никогда так больше не сходил с ума, и никуда не приезжать...

И еще эта корова. Корова не шла из головы.

В этом августе все было не так.

Джанкой объявили утром, дети требовали кукурузы, впервые ее теплый сок, облепивший запястья, не радовал, как радовал всегда, возвещая: море ближе! Уставший в пути вагон, похмельный и пропахший всем съеденным и испаренным, вывалил свое нутро на перрон: облупленный асфальт, вечные добрые бабы в платках и худосочные мужики с вяленой рыбой... И уже слышны были приближение встречного и визг его тормозов, и никого больше на этой станции не было, только эти два направления — туда и обратно, еще только к югу — и уже домой, в сентябрь. Никого больше не было, все исчезло, как стертый губкой мел со школьной доски, показалось Прохорову. Наташа Иванова из его детства медленно, как сквозь глубокую воду, держась за поручень, сошла с подножки встречного и как будто забыла, зачем спустилась, просто была, никуда не стремясь, чуть щуря глаза на уже разъяренном южном солнце.

За эти секунды бездействия, пока она еще не выбрала свое направление — к рыбе ли, к кукурузе или просто вздохнуть, Прохоров над станцией вознесся и всю сцену видел уже сверху — и назад и досюда. И макушку Наташкину, русую, две косы по плечам, он дылда, а если еще заберешься на стенку на физкультуре, то совсем хорошо виден и этот пробор, и маленькие уши, и плакать от этого хочется, и мысли даже нет, что это можно потрогать, протянуть руку, погладить, присвоить. Только со стенки упасть, сломать шею и навсегда умереть. От счастья. И портфель ее зеленый, невесомый груз. И коленки, один раз случайно, на волейболе, задетые, и эти пупырышки... И то, как не пришла в следующем сентябре в школу: папу-военного перевели в другой городок. С ними со всеми это рано или поздно случалось... И то, как ничего ей не сказал, хотя знал весь класс, и как потом, целуя уже в выпускном Нэлю, думал, похожи ли были бы те, в 12 лет, поцелуи.... Похожи, Господи, на что?.. И как потом думать об этом перестал. Казалось ведь, навсегда...

Наташа, Наташа нынешняя, загорелая и все такая же русая, только без косичек, уже отмерла из своего забытья, присела на корточки в тени вагона, что-то искала в сумочке, может, мелочь рыла на кефир... Может, в вагоне ее тоже ждали семеро по

лавкам. А может, она везла с собой лишь утомление курортного романа. Может, помнила его, Прохорова, может, нет... Пятки, болтающиеся в воздухе, над станцией Джанкой, уже просились приземлиться и бежать, бежать туда, задавать все вопросы: и кто был он, кто целовал тебя первым, и помнишь ли ты меня, и будем ли мы счастливы вместе, и по-прежнему ли пупырышки на коленках... Поезд в этот момент вздрогнул, как будто от неожиданности, хотя трогаться было еще рано. И Прохоров действительно начал сдуваться и оседать вниз. Вдруг увидел, как вот-вот из вагона выйдет Нэля, потянется, разминая уставшую спину. Как заколошматят в окно девочки. Как Наташа увидит его домашние штаны и футболку. Как у нее при приближении окажется накрашенным рот. Как она его не узнает. Или узнает — и засмеется. (Никогда не смеялась раньше, тихая была, как стоячая вода.) Как выйдет из вагона муж. Или любовник. (Что хуже?) И еще эта чертова корова, Прохоров снова вспомнил о корове, прервавшей правильный ход его мыслей этой душной, надышанной ночью и направившей их по иному пути...

Чертова корова. Тяжелый пятнистый труп на его заветном пути к морю. С неба как будто упала, дура. Противный душок. Намек. Разрушено, все разрушено, все пропало. Не будет уже ничего, ничего, никогда.

Объявили посадку. В Феодосии должны были быть к обеду.

Наташи на перроне не было.

А может, ее и не было никогда. Обман зрения. Обман памяти. Так даже проще: думать, что я никогда не был другим. Прохоров толкнулся задником тапка о перрон, и пучина поглотила его.

Больше он никогда не летал.

Только плавал.

Море в этом году было пахучим, йодистым и запутанным на подступах, как русалочьими волосами, водорослями, в которых колотилось целое подводное царство.

Впрочем, оно было таким всегда.

Седьмой этаж на Чёрной речке

В среду она была больна уже четверговой усталостью. Может быть, даже пятничной. Она не помнила начала — и знала, что ей не будет конца. Время было отменено, осталось только настоящее, одно бесконечное сегодня, с незаметными, на пиано, вариациями в верхней октаве, почти не считающимися. Молочная кухня — по понедельникам, поликлиничный день — по средам, мама приезжает из своего Комарово через субботу, на полдня, завезет корзинки, малину, банки, козье молоко от соседки, расхвалит свой же урожай и подношения, все что угодно, лишь бы не слышать их двоих, на Костю даже не посмотрит, как будто прозрачный...

Он действительно пропускал свет, мир сей в нем не задерживался, Костя жил в ином. Или Светлане так казалось. И отражал свет тоже — он. Все он. И боль ее, и отрада, и усталость, и даже силы ее — когда порой, может, раз в неделю, осмысленно улыбнется в ответ на ее еще более редкие улыбки или, может, ручку потянет к ложечке, нет, в кулак, конечно, не возьмет и до рта не донесет, Светлана и не надеялась, но все-таки какие-то признаки разума. Сын был как инопланетянин — и вдруг оказывалось, что есть условный язык, по которому она, земная женщина, музыкальный педагог, может его, пришедшего откуда-то одновременно и из неведанного, и из ее собственного лона, понять... Первая группа инвалидности, денежная подачка от государства — жили репетиторством, ученики приходили домой, занимались в одной комнате с Костей, ему не мешало, ему было все равно. Мать-

одиночка. Мужа не было ни до, ни после, ни во время. Светлана еще вылупиться не успела из своего музучилища и освоиться в школе, легчайшая была, невесомая, тяжелее нотной папки ничего не носила, вся была — песня, лакомая: ее и надкусили. Повзрослела за одно утро. Собралась, состарилась, поумнела — как будто готовилась вот к этому. Мутить начало уже на второй день после задержки, и она как-то сразу все поняла. И про судьбу свою будущую, и про то, что будущего не будет. Диагноз поставили еще в утробе, аборт не то что предлагали, настаивали, Светлана даже маме не сказала, все решала сама, даже не решала, просто несла свой живот дальше, несколько месяцев спокойной жизни у них впереди было, и она изо всех сил вила гнездо.

Мама на грядках, блаженная, какой Света была еще вот только недавно; так и не постаревшая девочка-дочь вдруг стала старшей в семье, бегала узнавала про льготы, вызвала сантехника и плотника, залатала дыры в квартире, взяла кредит, чтобы купить приданое, развесила объявления об уроках. Ребенок отбивал в животе стаккатто, слал ей отрывистые телеграммы, это было трогательно, но надежды не давало. Надеяться Света себе запретила. Как перед Олимпиадой, вся сжалась в последнюю неделю, собралась... Прокесарили планово, зачем лишние осложнения. И все было так, как она себе представляла, — и к чему себя готовила.

И вой неустанный, и все деньги от учеников — на лекарства, которые ничего не лечили, так, делали вид, и вечная струйка слюны, текущая из краешка рта, и тяжелеющее с каждым месяцем, все более неподъемное тело, и девочка та из приличной вроде семьи на детской площадке, которая спросила, а почему Костик не играет со всеми в песочнице, он у вас дурак, да, а она, Света, все не знала, что ответить, вдруг стала вся светящаяся, как мадонна у голландцев, не обросла еще защитной броней, растерялась, расплакалась, хотя, когда просто идешь по улице, не все сразу понимают, в чем дело: прогулочная коляска и коляска, просто немного громоздкая, до трех лет кататься простительно, откуда им знать, сколько она порогов обила, прежде чем этот немецкий отто-бок с государства стрясти... Костика на закорки — и по кабинетам, про пандусы молчу. И усталость эту она тоже себе запланировала, только не думала, что будет вот так сильно, что прямо жжет.

Жжет веки изнутри, так хочется их опустить и хотя бы несколько минут посидеть, просто посидеть, может быть даже в тишине, чтобы не было этого постоянного маятника перед глазами — Костик раскачивается, и воя тоже чтоб не было... На голове как будто шапочка, небольшой такой берет, но свинцовый, плотный — манкурт, — давит и тоже жжет. Буравит мыслями, но больше просто давит, прямо к полу, к эпицентру, к концу, кажется, не встану, вот сегодня уже точно не встану, 4.30 на часах, Костик упрямый жаворонок. Обидно за себя, за него так, что, как на все пуговицы ни застегивайся, а хочется реветь, кричать прямо с седьмого этажа на весь двор, и с этого же балкона — сначала Костика, потом себя. Света зримо видела и свой разбег, и траекторию полета, почти ощущала ветер в промытых ромашкой волосах и удивлялась, почему ей не страшно, не стыдно, не жаль... Это казалось таким простым, близким, знакомым. Намного проще, чем эта усталость, которая была хуже даже Костикова диагноза, хромосомная мутация, что вы хотите, мамочка, это навсегда.

Один раз Света вздохнула, всего на несколько дней. В конце августа девочка из районной газеты, которая им чуть-чуть помогала, внештатница, сердобольная и набитая, как потом оказалось, дура, привела в дом Александра Ивановича. Ну и Сусанну Станиславовну. То есть Александр Иванович пришел своими ногами, приехал с той девочкой на метро на их Чёрную речку, откуда, Света не спросила, а Сусанна Станиславовна материализовалась в квартире посредством мобильного

телефона. Сеанс они начали сразу, даже чаю не попили, и чай, и стол, и кров — все было потом, целую неделю. А тогда — сухие сумерки, откуда-то взявшиеся в городе цикады орут в окно, все такое разнеженное, предночное, манящее — Александр Иванович набрал жену, включил на громкую связь, даже почти ничего ей про Костика не говорил, она сама все сказала: вижу и тяжелое наследственное заболевание, и головку сам держит плохо, и вот по этой чакре идет усиление сигнала, надо работать... Александр Иванович под аккомпанемент жены взял Костиков кулачок, всегда плотно зажатый, начал водить указательным пальцем по его рядком стиснутым, как белые клавиши, крохотным пальчикам, и сначала отогнулся мизинец, потом вверх пошел безымянный, для Светы это было как мажорные форшлаги, вдруг вклинившиеся в ее глухой реквием, она ждала смены тональности, хотя и сама прекрасно помнила, что при таких поглаживаниях спастика у Костика всегда сходит на несколько минут, пока стимулируешь какую-то там точку, но голос Сусанны из телефона обволакивал, ее муж водил пальцем по кругу, Костик засыпал, девочка из газеты жалась в угол от благоговения и ужаса, а со Светы, как старая кожа, слезала усталость, будто чулки скатывала вниз с ног после длинного рабочего дня... Так и работали. Неделю. Сусанна сыпала мудреными словами, ее муж кружил вокруг мальчика, Света прикрывала дверь, чтобы не мешать, и выжидала чуда на кухне. Дар этот, последний козырь, был не растрачен — она еще ни разу не позволяла себе надеяться. Ел, пил, спал Александр Иванович у Светы, Сусанна Станиславовна — где-то у себя, Света не уточняла, боясь разрушить очарование. Она за эту неделю и волосы покрасить в парикмахерской успела — три года не стриглась, и маме в подарок купила зачем-то дятьковский сервиз на распродаже у метро, и девочку, свою ученицу, с которой только и сил хватало отрабатывать минимум — и обратно к Косте, быстренько настроила на конкурс в октябре... Затылок жечь перестало, глаза можно было даже подкрасить, окна — помыть, спала так же мало, но высыпалась... Через неделю Александр Иванович пошел к метро за хлебом и не вернулся. Деньги, Света потом это уже оценила трезвым умом, она же сама ему и выдала все, что были в доме, он не отказался.

Разгона хватило еще на немного — до вечера Света надеялась. Когда наконец скрипнула дверь, она увидела, как в комнату втекла знакомая усталость, схуднувшая и голодная.

Впереди у них был целый век.

Роман Богословский

Умирающий

Рассказ

Вечерний морок окутал комнату, серость поглотила книжные полки и рояль с разбросанными по крышке нотными тетрадями. Золотистые пылинки, что ниспадали медленным дождем тут и там всего мгновение назад, исчезли в задумчивом сумраке. Пространство застыло. Вечер, тихий и неопределенный, пробуждал Антона Викторовича ото сна. Он открывал глаза, совершенно забыв о том, что до скончания дней своих болен, забыв, что дней этих оставалось... Только двое людей заставляли его неподвижный разум и тяжелую душу изредка вибрировать — сын Данил и прислуга Анютка. Никого другого умирающий в свою придавленную подошвой болезни жизнь не пускал.

Антон Викторович нащупал нотную тетрадь. В сумраке просматривать ее было бесполезно — зрение... Он просто водил по ней ладонью, как бы гладил: осторожно, ласково. Шершавая поверхность обложки успокаивала дирижера, сообщала ему, что он еще жив; говорила что-то на языке потрепанной бумаги, внутри которой молчала музыка...

Он вспоминал... Всего два месяца назад шестидесятисемилетний маэстро порывисто и страстно дирижировал симфоническим оркестром, переписывал от руки сонаты и концерты, занимался благотворительностью, читал курс по истории древнерусской музыки. И вдруг — приступ. Один, потом другой. Затем анемия и частичная потеря зрения. В диагноз дирижер не вникал. Ему было все равно. Лишь бы руки работали — диагноз он запишет сам, в нотную тетрадь. А возможно, и рецепт исцеления тоже.

Дирижер нерешительно застучал пальцами по поверхности тетради. Шершавость ее постепенно превращалась в ощущение холодка от прикосновения к чему-то твердому... Вот один палец утопил клавишу, затем второй. Ах, здесь же должен быть бемоль! Антон Викторович стиснул зубы, зажмурил глаза до пляшущего калейдоскопа, и полетели пальцы его по клавишам, поскакали сами собой, слабое тело его вздрагивало, голова вдавилась в подушку, пальцы ног загорелись, словно рождественские свечи. И болезнь вдруг превратилась в звук. Маэстро играл. Во тьме и тишине его комнаты громыхали аккорды, быстро сменяя друг друга. Двадцать лет он дирижировал, двадцать лет растворялся лишь в тактах чужих произведений. Болезнь подарила ему право добывать музыку из себя. И он долбил пальцами по поверхности кровати, и скользил

Богословский Роман Сергеевич (1981 г.р.) — российский писатель и журналист. Публиковался в журналах «Литературa», «Новый Берег» и др. Автор книг «Театр морд» («Дикси Пресс», 2013), «Трубач у врат зари» («Дикси Пресс», 2016). Член Союза российских писателей. Живет в Москве. В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

его разум по бесконечной воображаемой клавиатуре. И давил он ногой с горящими пальцами невидимую педаль. Дирижер гундосил себе под нос, все сильнее вдавливая затылок в подушку; там, в черепе, каждый новый звук отзывался болезненно-приятным звоном. Боль закружилась извилистой змейкой во тьме комнаты, приняв вдруг очертания овала, летящего сверху вниз, в пол. Пространство нестерпимо завизжало, и вдруг все разом стихло, перейдя в беззвучную мелодию забытья.

Сын дирижера Данил был таким худощавым и длинным, что, казалось, мог переломиться пополам при малейшем дуновении. Когда он говорил, то сильно сутулился, голова его подрагивала, смотрел он всегда в пол, а нос его, словно погнутый стержень гигантского фломастера, рисовал квадраты в пространстве. Белые брюки, черная рубашка — так одевался Данил во внерабочее время. В рабочее нужно было одеваться, наоборот, в белую рубашку и черные брюки, как того требовало начальство банка, в котором он работал специалистом по кредитованию физических лиц. Жизнь Данила делилась на две: бело-черную в свободное время и черно-белую в рабочее. Как ни пыталась жена его Ирина с помощью сына Вадика и бигуди по выходным добавить цветов в жизнь мужа и тем самым в свою собственную, у нее ничего не выходило. К тому же семья платила кредит, а это ровно половина зарплаты Данила при неработающей жене и маленьком ребенке. Немудрено, что Данил и сам страстно хотел переломиться пополам, когда перебирал по выходным... А тут еще и отец слег.

Данил, посапывая, вошел к отцу и глянул в окно, потеребив неуверенно штору.

— Здравствуй, папа... Как спалось-сопелось? — не скрывая раздражения, осведомился.

Дирижер смотрел в потолок, веки его еле подрагивали. К нервности и угловатой спешке сына он давно привык.

Данил заскрипел по полу креслом, пододвинув его к изголовью кровати, хрустнул плечом, сел.

— Ты сегодня молчалив, папа? Что не так? Дурной сон?

— Дурной сын, — с трудом разлепив губы, шепнул Антон Викторович и добавил чуть громче: — Позови Анютку, пусть чаю тебе сделает. А мне варенья разведет.

Данил дернулся, в этот миг Анютка, постучавшись, приоткрыла дверь, словно угадала желание хозяина.

— Антон Викторович, может, чего-нибудь принести вам? Доброе утро, Антон Викторович... Как вы сегодня? — спросила она, улыбаясь печально и приветливо.

Данил закинул мосол на мосол, хмыкнул.

— Варенья ему с водой. И непременно с теплой водой! Простудится! Маэстро требует! — гаркнул.

Анютка прострелила Данила зрачками, но того лишь ранило. Нахальство растянуло его улыбку еще шире. Она повторила вопрос, давая понять Данилу, что его выкрики в этом доме ничего не значат.

— Спасибо, милая. Мне вареньица, как обычно. — Дирижер ласкал Анютку словами.

— А мне яблоко, — крикнул Данил, но Анютка уже закрыла дверь.

Антон Викторович с трудом повернул голову к сыну, взглянул со строгой обидой, спросил:

— Чего ты хотел, Данил?

Сын ощупал носом пространство, кашлянул.

— А че, нельзя? Захотел вот батю родного проведать. Узнать, как его здоровье, как настроеньице.

Антон Викторович медленно сжал простыню, нахмурился. Горечь слепила глаза, словно комната вдруг наполнилась дымом.

— Говори, — простонал отец. — Довольно кривляться.

Данил посерьезнел. Нос его перестал дергаться. Он шумно выдохнул через две будто порванные ноздри:

— Что мне сказать тебе, отец? Что же такого сказать... А скажу я тебе вот что. Скажу, что нам с Ириной и сыном остался месяц, и нас выселят из квартиры. Могу в сотый раз повторить тебе, что хотя я и работаю в банке, но кто я там? Так... принеси, не мешай, калькулятор подай... Да, ты сейчас снова начнешь твердить мне старую сказку про талант, про то, что надо было учиться и стать пианистом, но я скажу тебе, папа... Мне просто нечем платить за квартиру, понимаешь? Я глава семьи, который не может оплатить жилье. Да, папа, это так. Ты вот витаешь в розовых мечтах, тебе снятся диезы с бемолями, не знаю, Гайдн по ночам является, а я хочу жить. Я хочу жрать, папа. Твой внук хочет жрать и жить. И моя жена, которая, конечно, тебя не интересует, тоже хочет жрать и жить, маэстро.

Оба молчали. Было слышно, как звенит посудой Анютка за дверью. Антон Викторович что-то коротко прошептал, сын не расслышал.

— А тебе Ирина кто? Тебе она... кем приходится? — в тихой болезненной ярости спросил отец.

Данил медленно опустился в кресло, не отводя красноватых, слезящихся глаз от отца.

— Да, папочка... Видно, ты не только стал подслеповат, не только тело твое онемело, но и разум, рассудочек попортился... — Данил притворно-задумчиво уставился в ножку рояля. — Жена она мне, папа, жена законная.

Данил поднял вверх правую руку, на безымянном пальце которой переливалось в утреннем свете обручальное кольцо, и помахал ею перед лицом отца.

— Не совсем еще ослеп? Видишь?

Тихонько вошла Анютка. Ни на кого не глядя, пододвинула столик так, чтобы Антону Викторовичу было удобно пить разведенное варенье, и повернулась к выходу.

Дирижер, окрепнув голосом, остановил:

— Анюта, подожди. Тут этот господин утверждает, что женат. Кольцом даже мне перед глазами вертит... Расскажи-ка нам, Анюта, что позавчера вечером произошло, когда я спал, а он явился?

— Антон Викторович, прошу, оставим эти расспросы...

— Анюта! — Дирижер попытался привстать на локтях, показывая этим, что рассказать все ей необходимо и это не обсуждается, но тут же рухнул на подушку и сбивчиво задышал.

— Говори... — сквозь легочный свист шепнул дирижер.

Анютка, стесняясь обоих, переминаясь с ноги на ногу, водя по пустому подносу пальцем, рассказала:

— Не вечер... ночь уже была, половина первого. Я в большой комнате зеркало натирала, не спалось. И вдруг звонок. Открываю, — она опасливо глянула на Данила, — на пороге Данил... Пьяный... С ним две девицы. Ввалился в дом, стал на меня орать, девицы смеялись. Одна сказала, что... что у меня задница до самого ада отвисла... Данил тоже смеялся. Я спросила, что ему нужно. Сказала, что отец спит, что ему хуже, что ночь вообще-то. Данил начал язвить. Сказал, что в отчий дом приходить может когда вздумается. Сказал, что не мое дело. А потом... выхватил у меня полотенце, которым я зеркало протирала, швырнул его и вытер ноги. И все смеялся пьяным своим смехом, чтобы... хотел унизить меня...

— Уволить тебя, и как тебя не было, — Данил ходил ходуном в кресле.

— Уволю... сейчас... тебя... замолкни... — закашлял отец.

Анютка всхлипнула:

— ...сказал, что пластинки забыл. Сейчас возьмет и уйдет. Пластинки, что вы ему дали, Антон Викторович. Я посмотрела... Пластинки и правда лежали на тумбочке. Стравинский, еще что-то... Вы же все хотите, чтобы он музыку понял, а он... Все ходил

и гоготал. Взял он пластинки, вытащил все по одной, и стал их... кусать сначала, потом ломать начал. Я в кресло упала, проститутки эти его смеялись, губы облизывали языками бело-малиновыми... тьфу... а он все ломал и ломал пластинки, я потом еле собрала эти черные осколки по всей комнате. Он танцевал и орал, топтал эти пластинки. «Папа, вот какая музыка! Папочка у нас гений! А мне девкам нечем заплатить! Давай заплатим им твоим гением! Нас из квартиры выселяют, мы питаемся липкими макаронами, а ты гений, спи. Болей дальше, папочка!» Это не точно, конечно... но близко. Я закрыла глаза, зарыдала. Потом очнулась, посмотрела, а их уже нет... Пьяный, пьяный он был сильно, простите его...

Анютка закричала, уже совсем не стесняясь. Слезинки закапали на краешек подноса, а оттуда — на пол. Рванув дверь, она метнулась из комнаты что-то еще приговаривая сквозь плач. И вдруг вернулась назад, взглянула на дирижера с мутной любовью, сквозь слезы прокричав, разрывая слова, как сырое тесто:

— Вам сейчас... нельзя... нельзя... волноваться!

И выскочила снова, громыхнув пустым подносом об дверь.

Сын боролся с яростью, отец с колким отчаяньем. Сын гордо ненавидел, отец отчаянно любил. Любил, пытаясь превратить бездну, полную кисло-горького бульканья, в музыку. Сердце зашлось, замелькали перед взглядом его лишь серые искры... и он попытался, сосредоточился, дотянулся до края реальности, вцепившись в него, в этот каменный край, чтобы не провалиться в бездну на веки вечные:

— Что скажешь теперь? Кто тебе Ирина? Жена? — Что-то в горле дирижера клокотало, плескалось. — Кабаки, шлюхи, водка и коньячок, нищие банковские стервятники, коллеги твои... Вот кто тебе и жена, и ребенок, и отец... И мать, если б жива была... Квартиру тебе не на что... Жрать тебе... Пить тебе... Вот пластинки и жри. Давись на здоровье. Не видать, ты слышишь?! Не видать тебе моей квартиры. Ни этой, ни в Нижнем, ни в Химках... Я найду... Найду, кому их определить... Ирина ему жена. Тварь, Господи, ты мне в сыновья подсунул, прости, Боже...

Антон Викторович захрипел, задышал синкопами. Кадык его прыгнул, раз и другой.

«Чтобы ты... сейчас же и здесь...», — ослепляюще проскочило в голове у Данила. Он сжал кулаки и тут же разжал, тряхнув ладонями, стряхивая эту мысль в угол, за штору.

Взяв с подоконника графин с водой, он отер отцу лицо, словно это могло чем-то помочь. И помогло — отец задышал вдруг ровно.

— Вот и хорошо, хорошо, — успокаивая себя самого, прошептал Данил. — Рано, еще рано тебе. — Он сел в кресло, поправил взмокшие волосы и, казалось, совершенно успокоился.

Отец тоже стал спокойнее, глаза его посветлели, но свет в них отливал холодной синевой, словно они вставные. Можно было подумать, что в постели лежит замороженный труп, если бы Антон Викторович то и дело не сжимал простыню обеими руками. Он комкал ее тихо, почти незаметно, но сын это видел.

Данил улыбался одной стороной рта, а нос его при этом клонился кончиком к верхней губе. Он протер глаза, громко зевнул.

— Ну, ты-то ведь маму ох как любил... Имеешь право рыгать на меня... Какой же ты больной, если так злишься? Твое дело. Но я-то все помню, папа, все. Не думай, годы — это не ластик, дела людские — не простой карандаш; не твоя ли прибаутка? Она верна. Сейчас как никогда верна. Не простой карандаш... Не ластик... Н-да... Не сотрешь.

Дирижер перестал теребить простыню. В холодной синеве глаз его как будто что-то шевельнулось, дернулось. Но тут же они снова превратились в кукольные.

Вошла Анютка, тихая, словно ноябрьский лес. Данил показал ей жестом — сейчас не время.

Сын наклонился ближе к изголовью больного и зашептал так, что, если бы он говорил во весь голос, это был бы оглушительный крик, то и дело срывающийся на фальцет:

— А театры? А дома музыки? А залы консерваторий и филармоний? Папа, а? Как быть со всем этим? Где, папа, тот ластик, что сотрет звуки пьяного смеха твоих многочисленных расфуфыренных поклонниц? Где, папа, взять лезвие, которым можно соскоблить с листа моей памяти звон бокалов после концертов, ваши танцы и все эти мерзкие морды, сующиеся ко мне с конфетами и печеньями, эти рожи, от которых всегда нестерпимо несло кислым перегаром? Чем закрасить память, папа? Поездки по музеям, восторженные охи... Чем, папа? В какую коробку сунуть маму, которая чахла от страданий, мечась по квартире от рояля к окну, когда ты... в это время... за шторкой в буфете... в доме музыки... помнишь? Зачем, зачем ты вечно таскал меня с собой? Для чего? Ты хотел приучить меня к прекрасному, да? Хотел, чтобы я музыку полюбил? Или хотел убедить бедную маму в том, что она — ничтожество?! Домохозяйка и поломойка, да? Ни сына не достойна, ни мужа, так? Великий! Гениальный! Дирижер! Ты довел ее, ты... Ты толкнул мать в могилу, присвоил все квартиры. Ты... ты хотел, чтобы я полюбил музыку, так знай... я ненавижу тебя, музыку, все эти пластинки твои... твоих красногубых баб, лысых скрипачей, все эти рестораны, концерты, залы, рояли, аплодисменты и постоянный звон, звон, звон бокалов! И постоянное: «Ах, Антон Викторович!», «Блестяще, маэстро!»

Дирижер огромным усилием повернулся на бок, лицом к Данилу. Дряблая щека его чуть отвисла, подрагивая. Глаза его стали разного размера. В одном плескалась ярость, в другом, который побольше, вина.

Старик заговорил медленно, на одной ноте, хрипло, то и дело прерываясь, чтобы взять дыхание:

— Данил... сынок... Что мне сделать для тебя? Я виноват. Я впихивал в тебя музыку, как только мог. А все, что около музыки, все эти сборища... они далеки от целомудренности, да. Но не поэтому ты ненавидишь всех остальных, вот что! Хорошо! Хорошо... Ненавидь отца, ненавидь. Ненавидь за банкеты и пьянки, что ты видел. Ненавидь меня. Ты посмотри, что от меня осталось. Господь отменяет меня каждую минуту. Жизнь превращается в паузу — вечную паузу. Бекар, сынок, неизменный бекар. Я заберу твою ненависть с собой. А ты останешься, ты полюбишь ребенка, жену, ты полюбишь свою работу или найдешь новую, ты полюбишь жизнь... Ведь так? Это поможет? Я готов умереть за это! Готов! Готов! Готов!

Отец затрясся в бесслезном плаче. Плач-гримаса никак не шел к образу умирающего мудрого старца. Данилу стало до того противно, до того омерзителен стал ему желтый седой старик, который, словно гадкий актер, не мог дать поверить зрителю в то, что он и правда плачет, до того захотелось сокрушить всю его музыку и проткнуть блеклые зрачки дирижерской палочкой, что, покрывшись гроздьями холодных капель, сын вскочил с кресла, ринулся на отца и принялся давить его колючую, словно чешуйчатую, шею. Он не душил отца, нет. Именно раздавить нечто, и так не имеющее полноценной жизни, стремился Данил. Он давил пьющих игристые вина красногубых девиц, он расплющивал льстецов с откормленными рылами, он придавливал черные и белые клавиши фортепиано, а заодно ломал пальцы с перламутровыми, красными и бежевыми ногтями, что носились по ним, выбивая из рояля тошнотворные звуки фортепианных концертов. Данил стискивал все это, словно выжимая половую тряпку, и воплощенный кошмар его детства хрустел, пищал, хрипел...

— Ты... ты что творишь... вы что делаете... ты зачем, а-а-а-а! — Анютка, угадав неладное внутренним чутьем, ворвалась в комнату и кинулась на Данила. Пальцы ее совсем не сильно вцепились в его запястья. Он посмотрел на них — нет, это не они, это не те, что играли концерты, эти не виноваты... И он отпустил перхающего и

кашляющего отца, он отпустил его и упал перед кроватью на колени, рыдая. Поплакав, Данил рывком выскочил из комнаты.

— Господи, сделай так, чтобы он больше не приходил... Прошу тебя, Господи, пусть он не приходит... Прошу, прошу... — Анютка молилась, через два часа, уже не разбирая, к кому обращается, к Николаю Угоднику, к Богородице или к самому Христу. Она просила Бога и всех святых, чтобы все наладилось и стало хорошо... Она просила Бога всю ночь, стоя на коленях, а потом и лежа на полу, сквозь мельтешащую перед глазами простыню полусна. Уснула Анютка только к пяти утра, а ровно в девять пришел Данил.

— Вы вчера чуть... — Анютка говорила тихо.

— Отойди, — решительно отодвинул ее Данил. Он был сосредоточен, словно готовился к чему-то важному, длинное тело его вытянулось еще больше, и даже огромный устремленный обычно книзу нос, казалось, окурносился за ночь. Эти перемены испугали Анютку еще больше, чем вчерашнее. И внутренне она обиделась на Бога, что не услышал ее, молившуюся всю ночь, не сделал все как надо, не сделал хорошо...

Данил сел в кресло перед отцом. Сел поспешно, уверенно, с претензией.

— Мне не за что просить у тебя прощения, — сказал.

Антон Викторович лежал на спине. В старческих складках на шее виднелись бордовые кровоподтеки.

— Я знаю, — выдохнул он, словно полжизни отдал. — Этого и не надо...

— Прости, папа... Не могу так... Совсем жизнь моя дрянь безобразная... Прости. — Данил неистово стал зачесывать волосы назад то одной ладонью, то другой, зажмурив глаза, криво оскалившись.

— Ну, ну, успокойся, — ласково сказал дирижер. — Успокойся, сейчас это самое нужное.

Дверь приоткрылась, и Анютка заглянула в комнату одним широченным от страха глазом.

— Все хорошо, иди, иди, — так же ласково, чуть улыбнувшись, сказал дирижер.

Данил, запрокинув голову, бессмысленно смотрел в потолок.

Дирижер медленно протянул руку к сыну. Тот посмотрел на нее с недоверием, затем еле коснулся ладони отца пальцем, но тут же отдернул. Отец поцеловал сына взглядом.

— Скоро все кончится, родной. Скоро все разрешится... Скоро вечность коснется наших судеб, Данил. Вечность! Знал бы ты, как она звучит! Вот бы кем подирижировать, вот бы с кем погастролировать! — пошутил отец.

Данил добрел быстро, словно пластилин на огне плавился.

— Да ты и так тут... Поешь целыми днями... Знаю я тебя... Хоть в ноты что-нибудь записываешь?

Старик улыбался, смакуя свой юмор:

— А, так... через ноту. Ноту запишу, ноту нет. Мне сейчас уже все равно. Только представь, как потом мои старческие прозрения восстанавливать будут. Скажут: «Интересно, что имел в виду тут этот старый засранец? Ля тут должно быть или не ля?» — Старик засмеялся, чередуя смех с покашливанием.

— Папа, хватит. Смешного — чуть...

Старик как будто опомнился, посерьезнел. И словно выронил:

— Скоро... ты станешь свободным... Но прежде... Я слушаю тебя. Слушаю, как никакую музыку до этого... Никогда.

Данил словно сделался железным. И только губы его, как части умирающего механизма, с трудом смыкались и размыкались.

— Я помню звуки. Жизнь моя началась с них. Я помню наш старый рояль и маму за ним. Она сидела так высоко, так недосягаемо высоко на крутящемся стуле! Словно в небе. Мне было не добраться, я осознавал это. Музыка изливалась на меня сверху, из под ее пальцев. Я сидел внизу и представлял, как мама перебирает тончайшую эфирную ткань, покрывающую что-то там, наверху, под ее медленно парящими кистями. От этой ткани взлетает еле видимая матовая пыльца. Она становится все отчетливее, все белее и медленно ниспадает на меня. Я помню, как сидел, окутанный этим чуть розоватым эфиром, не в силах пошевелиться. А потом вся комната наполнялась серебром, переливами. Настурции на подоконнике становились уже почти не видны... И подходил ты, улыбался, глядя на меня с небес. А потом вместе с мамой начинал ткать волшебный туман, и он изливался на меня с удвоенной силой. Вы шелестели нотами, мама нажимала ногой в потертой тапочке на педаль, и все это сквозь розоватый морок музыки... Я помню пластинки, это уже позже. Они стояли рядами в твоем шкафу, помнишь? Мама еще ругалась, что носки сложить тебе некуда, зато пластинками забито все, как она говорила, «от зенита до надира»... Рахманинов, Бах, Стравинский... Так хотелось поиграть в пластинки, но ты не разрешал. Ласково так не разрешал, по-доброму, что становилось понятно: ты не разрешаешь понарошку, но трогать пластинки все же нельзя... Ты так умел... А помнишь, ты рассказывал о музах и феях, что охраняют эти пластинки? Ты говорил, что, если когда-нибудь захочу в них поиграть, то музы заставят меня играть на рояле так долго, что я забуду, в каком веке живу... И я не трогал пластинки, но играть на рояле меня музы все же заставили с твоей подачи... Ты не сдержал слово, лукавый... Ирина Игоревна из твоего оркестра, ты помнишь... Сначала я играл на обычных черно-белых клавишах... Но постепенно стал заметен еле видимый розовый туман и прозрачная ткань, откуда он исходил. Ирина Игоревна его не видела, видел я один. И я знал: если вдруг нажму не ту ноту, ошибусь, дымка станет неприятной, коричнево-желтой... именно коричнево-желтой. И я не ошибался, не сбавлял темпа и не ускорял его... Этюды, эти ее этюды. Потом пьесы. Потом небольшие концерты. В них я стал ошибаться... Они были трудными, как сухой бублик для детских зубов. Но и тут дымка пришла мне на помощь. Она становилась коричневатой над теми нотами, куда нажимать не следовало, и, наоборот, розовела до нестерпимой рези в глазах там, куда нужно было нажать в следующий момент. Я был счастлив! Я нажимал, куда нужно, отныне и навсегда! Ирина Игоревна лишь охала и шевелила челюстью: «Что же это? Это же не Данил! Это же новый Моцарт!» А я был ни-при-чем! Совершенно ни-при-чем! Коричневый туман — не нажимай, розовый — жми. Можно даже в ноты почти не смотреть! А через три года где-то... Да, через три... розовый туман уже стелился для меня совсем по-другому. О, дымка! Ты погубила меня... к черту, к черту!

Данил вскочил с кресла, рывком прыгнул к окну, распахнул шторы, уставившись в окно.

Отец убаюкивал:

— Ничего, все хорошо, хорошо... Рассказывай. Я все это знаю, но ты... ты рассказывай, сейчас это нужно... Самое время.

— Ты знаешь. О! Ты-то точно знаешь! Я помню эти концерты, эти нотные тетради, эти вечно промокшие сапоги, которые хлюпали в ритм моей игре, этот глупый восторг твоих дружков, этот дурацкий подбородок Ирины Игоревны, эта ее борода с черными волосинками, как у мужика, это дыхание ее восторга, постоянного, назойливого, мутного, жалкого! А туман становился все гуще, все розовее, все раскаленнее! Тем страшнее было его не слушаться! А где он появлялся теперь? Не так, как раньше — помогая мне играть Гайдна, теперь он появлялся где хотел, по всей клавиатуре! И я туда должен был жать! Жать и жать! Стучать, давить педаль, снова стучать! Сыпать, заплетая пальцы, растягивая руку до ноющей боли! Попробуй, нажми

не туда — утонешь в мутно-желтой слюне. Она потечет с клавиш, изольется на пол, затопит весь мир!

Данил сел на пол, обхватил колени, длинные пальцы его дрожали, впиваясь в колени.

Отец улыбнулся в потолок.

Данил причитал:

— Туман, дымка... Вся моя жизнь в ней прошла... Зачем?! Ни квартиры, ни работы, ни полкапли любви к детям, жене, дереву за окном... И потом... Воротила Дмитрий Анатольевич взял меня в помощники без всякого образования... По просьбе мамы... Я надел костюм, я причесался, я забыл твои пластинки, а на туман, который давно стал блевотного цвета, я похаркиваю в ванной по утрам и до сих пор... Поплевываю зубной пастой, смешанной с кровью... А потом неудачный пивной бизнес. А потом банкротство. А потом банк... на пятых ролях, лишь бы не на помойке... А у тебя две квартиры, а сам ты подыхаешь... с минуты на минуту... папочка... С собой все в могилу унесешь. А с нами — а бугор костистый с нами... правильно. А зачем? Зачем я это все тебе пересказываю? Ты же все знаешь! Ты все прекрасно знаешь, папа! Ты же гения из меня растил! Все мои мучения — это твоя вина, да? Скажи, да?!

Данил улыбнулся дико, затравленно. Лицо его покрылось звездочками морщин.

Он сунул руку в задний карман, вытащил оттуда несколько смятых нотных листов, швырнув ими в отца. В тот же момент дирижер ловко смел с кровати ноты, что писал в болезни сам. Ноты Данила разлетелись по отцовской кровати.

— Вот! Лови свой адский туман! Блевотина... И давай готовь исповедь, старче... И завещание черту строчи. Ему ты квартиры свои потащишь, в ад. И эти ноты тоже. Вместе там поиграете на пламенеющем вечном рояле мою музыку. Ты думал, я совсем завяз там в бизнесе, в чернухе, в ба..нке... — Данил, прокричав последнее слово, вскочил, попытался, словно в глубоком опьянении, подойти к кровати отца, но его заносило то в одну, то в другую сторону, он схватился за крышку рояля, она захлопнулась, подняв вверх сгусток пыли.

— Па...па... Па-па... Про-с.. про-сти... — колюче шепнул Данил, словно рот ему пронзили гвоздями.

Он упал, длинный и неуклюжий, как сказочный великан. Упал и навеки затих.

— Господь простит, сынок. Господь... — прошептал отец, охваченный щемящим противоречием горькой радости.

— Антон Викторович, я поздравляю вас, искренне поздравляю! — Парень с кудрявой копной тряс руку дирижера.

Они быстро шли по коридору консерватории. Через пять минут начиналась первая репетиция почти за восемь месяцев. Дирижер боялся опоздать — он долго просидел у нотариуса, оформляя дарственное завещание на две квартиры: одну в Химках, двухкомнатную, другую в Нижнем, трехкомнатную — на сноху и единственного внука.

— Спасибо, спасибо, дорогой, — взволнованно ответил дирижер.

Парень не сводил восторженных глаз с вернувшегося почти с того света маэстро.

— А что играть-то будем? Что репетировать?..

Дирижер на ходу открыл портфель и вытащил оттуда несколько помятых нотных листов.

— Что играть, говоришь?.. А вот это попробуем.

Антон Секисов

Родинка

Рассказ

Цеханский сел на диван, пошарил рукой по полу, но ничего не нашел. Тогда со стариковским кряхтением он потянулся к столику и поочередно достал и установил у себя на груди стеклянный стакан с остатками бальзама, пачку французского «Голуаза» со скорбной надписью «Fumer tue» и почерневшую плоскую пепельницу, в которую он тушил бычки еще школьником. Грудь у Цеханского была узкая и безволосая. Тщательно и с трудом расставив на ней все предметы, он вспомнил, что забыл про зажигалку, беззвучно выругался, снял их с себя, снова потянулся к столику и тут заметил, что экран его телефона засветился от нового сообщения.

«Малышонок», — прочитал он. Там было только одно слово.

Цеханский какое-то время просто смотрел на экран, на это сообщение, с незажженной сигаретой в губах, едва слышно постукивая большим пальцем посередине экрана. Потом решился и написал быстро: «Привет, бабенка».

Так они называли друг друга: она его — малышонок, он ее — бабенка. Цеханский не был уверен, что слово «малышонок» ему подходит — по правде, оно ни капли не подходило Цеханскому, писателю с изношенной и больной душой и набухшими синеватыми синяками вокруг глаз. А что до «бабенки», то для нее это слово было как влитое — маленькая, ладная, круглолицая и улыбчивая, она была настоящей его бабенкой.

«Поболтаем по скайпу?» — написала она.

«Ладно. У тебя камера так и не заработала?»

«Она и не сломана. Просто я не хочу. Тут так странно падает свет. И у меня всегда щеки толстые на экране».

«Мне нравятся твои щеки, я хочу посмотреть».

«В другой раз».

«Ну, хорошо. Звоню».

Цеханский встал, по дороге пнув свои пропахшие лесом и потом толстовку и джинсы, зашел на кухню, открыл невыключенный ноутбук. Тот, старенький, пыльный, долго приходил в себя, прежде чем заработать — Цеханский относился к нему с нежностью и потому терпеливо ждал. Достал сигарету, оказавшуюся последней.

Антон Секисов родился в 1987 году в Москве. Учился в Московском государственном университете печати по специальности редактор. С 2012 года работал редактором и журналистом в изданиях «Российская газета», «Свободная пресса», «Русская планета», русскоязычном LiveJournal. Автор книги «Кровь и почва» (Казань, Ил-music, 2015). Живет в Москве.

Занеся опустевшую пачку над мусорным ведром, он все же не стал ее выкидывать. Ему нравилась эта надпись — Fumer tue. Интересно узнать, что она в точности означает. Но в то же время лень узнавать. Ноутбук все не приходил в себя и громко гудел, как перед взлетом.

— Привет, малышонок, ну как ты? — наконец раздался веселенький голосок его бабенки.

— Ты знаешь... — Он чуть поморщился. Какое же глупое все-таки прозвище. Пора бы его сменить. Он любил нежные прозвища и хотел подходящее нежное прозвище и для себя. Он был готов придумать его и сам, раз уж у бабенки такая ограниченная фантазия. Но все как-то не удавалось завести разговор на эту тему. Он вспомнил, что был какой-то вопрос. — Что ты спросила?

— Я спросила, как...

— А, да. Не знаю, что и ответить. Сейчас уже вроде вхожу в норму. Собирался что-нибудь съесть.

Цеханский не ел уже почти сутки. И странным образом аппетита не появлялось, хотя в животе было ощущение проломленной пустоты, как в разрушающейся постройке.

— А я весь день гуляла по Булонскому лесу, — сказала она. — Таскалась туда-обратно три с половиной часа. С шагомером. Уже не помню, сколько он мне насчитал. Но было много. Устала очень, болят ножки.

Цеханский прикусил губу и посмотрел себе под ноги, на невымытый пол. Ему вдруг очень захотелось дотронуться до нее. Просто дотронуться — убрать со лба волосы, положить руку ей на плечо, что-нибудь в этом роде. Он положил пальцы на клавиши и представил, что дотрагивается до нее, но ничего не вышло.

— Наверное, ты стала совсем худенькая.

— А вот и нет.

— Мне нравится, когда у тебя бока.

— Нет у меня никаких боков и никогда не было! — сказала она, даже подпрыгнув от возмущения — пружины на ее диване скрипнули так отчетливо, что Цеханский услышал. — Но можешь не переживать, на ночь я съела сыра с хлебом. Багеты — это единственное, что я могу тут себе позволить. А они здесь а-а-агромнейшие!

— Гхм... — с трудом выдавил из себя Цеханский, снова задумавшись о еде.

— Погоди, ты послушай, — весело перебила сама себя бабенка, — пятого числа, меньше чем через неделю, я увижу живого Полански. И это просто... А-А-А!.. — Судя по звуку, она перекатилась по дивану, схватилась за голову, наверное, ее длинные волосы с рыжеватым отливом разметались по всей подушке. Лицо у нее в таких случаях становилось прямо-таки лучезарным — другого слова не подобрать. Все-таки она была совсем девочкой. Хотя разница между ними не такая уж и большая — восемь лет.

— Ага, — сказал Цеханский.

Цеханский чувствовал себя почти стариком. Седых волос у него хватало. Он почесал предплечье, которое начало зудеть. Вчера он сорвал маленькую родинку о сук или обо что-то другое, но идти к врачу не собирался.

— Кажется, я наконец нашла себе тут друзей. Те немцы, помнишь, о которых я рассказывала, оказались какие-то... ну, с ними очень скучно. А один из них, огроменный такой, у него еще грудь выпирает, прям как у лошади. Лошадиная грудь, самая настоящая...

— Серьезно?

— Ну да, кстати, запомни этот образ, может, используешь в своей книге. Так вот, он так на меня пялился своими... да, глаза у него, кстати, тоже лошадиные. Такие, очень тупые. Ну вот, и еще я поняла, что ужасно говорю по-английски, а у них

слабовато с французским, так что... В общем, я нашла себе французских друзей. Мы с ними учимся на одном потоке, только они вроде бы на год младше. Я так до конца и не поняла. Они классные, но, конечно, немного странные. — Речь бабенки становилась прерывистой и насмешливой, но при этом разгонялась все больше, и Цеханский с тоской подумал, что теперь ее не удастся остановить. — Полчаса, нет, даже больше, минут сорок или даже пятьдесят они обсуждали, куда пойти пообедать. Нет, ты представляешь, пятьдесят минут они это решали, это не преувеличение! Ну так вот, мы сели на берегу Сены с вином, в точности как я и мечтала, — корзинка, багет — правда, они сделали это по моей просьбе, не уверена, что они так все время проводят, ах-ха-ха.

У Цеханского не получалось просто сидеть и слушать ее веселый и бойкий голос. Он мотал туда-сюда головой до легкого хруста, вертел в руках пустую пачку, открывая и закрывая ее, поочередно взял и опять положил все мелкие предметы со стола: прозрачную вазочку с несколькими леденцами на дне, пепельницу — уже другую, граненой формы, коробку с кусками сахара, чайную ложку с кофейным разводом. Все это время она говорила.

— Ну так вот, этот парень, его зовут Викториан. Ты когда-нибудь слышал, чтобы французов звали вот так — Викториан? У него какая-то болезнь. Я не запомнила название. Но там что-то с мозгом. Суть в том, что человек, который ею заболевает, становится либо идиотом, и даже двух слов связать не может, либо гением, который знает вообще все на свете. Ему даже не нужно читать учебники и все остальное. Как будто все знания у него уже лежат в голове. И у Викториана второй случай. Он как ходячая энциклопедия. Время от времени как будто зависает — просто стоит, глаза выпучивает, и это очень смешно. Еще он предложил мне по утрам ездить на велосипеде. Не знаю, что этот Викториан имеет в виду, но...

Цеханский не выдержал и тяжело вздохнул.

— В общем, он проводил меня до дома, была уже ночь, а у меня тут настоящее мусульманское гетто. И метро уже закрыто к этому времени. Даже не представляю, как он добирался до дома.

Она вдруг замолчала и спросила почти непринужденным, но все же чуть дрогнувшим голосом:

— Тебе неинтересно?

Цеханский опять вздохнул.

— Да не то чтобы неинтересно...

Цеханский вздохнул совсем тяжело, поднялся, сразу же сел опять. Он надеялся, что она как-нибудь замолчит сама собой, и не ожидал такого вопроса. Стал грубо мять в руках пачку, щелкнул пепельницу, отчего на стол просыпалась горсть пепла.

— Просто... ну, просто ты так подробно все это рассказываешь. И не то чтобы мне было очень скучно, но ты ведь, наверное, в курсе, что у меня вчера умер друг, так что...

Цеханский на мгновение замолчал: он не знал, что говорить после этого «так что» и стоит ли что-нибудь говорить вообще. Поэтому он опять глубоко вздохнул, не придумав ничего лучше. Она какое-то время тоже молчала, а потом проговорила чуть слышно: «Ох, блин», и еще раз: «Ох, блин», и сразу быстро-быстро залепетала.

— Прости, прости, пожалуйста. Я же видела, что ты написал пост в фейсбуке. Но я, если честно, ничего толком не поняла. И как-то не подумала. Хотя это странно, блин. Это так странно. Я же должна была...

— Это ничего.

— Это кошмар. Я ведь еще хотела тебе написать, но потом отвлеклась. Причем опять на какую-то ерунду. Ну ты же знаешь, какая я маленькая и глупая.

— Это правда, — сказал Цеханский.

— Ну, не сердись, пожалуйста. Расскажи мне про него. Что это был за друг. У него же фамилия Ручников, так?

— Руков. Я же давал тебе его книжку. Ты еще сказала, что тебе понравилось, особенно тот рассказ про армейский госпиталь. Помнишь? Про ту медсестру.

— Да-да, конечно, я помню.

— Не уверен, что тебе это все интересно. Ведь твои французские друзья...

— Ну прекрати. Расскажи, а то ведь я совсем ничего не знаю. Это был твой близкий друг?

— Не могу сказать. — Цеханский почесал в месте сорванной родинки. Кожа раскраснелась, и начался сильный зуд. Цеханский закрыл глаза, чтобы сосредоточиться — ему все равно не на что было смотреть, кроме запылившегося монитора. — Мы с ним не так уж часто виделись и не часто списывались. Слышал о том, что у него есть взрослый сын. Что он жил одновременно с двумя женщинами, и они обе знали об этом. Но мы это ни разу не обсуждали. Только без конца болтали про нашу прозу. Кажется, у нас вообще не было других тем. И все равно чувство, как будто родственник умер. Нет, даже еще хуже. Родственников тоже не всех жаль.

— А когда вы познакомились, сильно давно? — В интонации у нее появилось что-то очень трогательное и беззащитное, и Цеханский невольно улыбнулся, с нежностью подумав о своей глуповатой, но такой искренней женщине.

— Несколько лет назад. Я даже не помню того момента. Ну, когда первый раз пожали друг другу руки, сказали «привет». Просто — раз! — как будто кино включил на середине — и вот мы уже лежим на траве в Лефортовском парке, пьяные.

— Как обычно... — по привычке вздохнула она, но сразу же осеклась.

— Точнее, я лежал один и слышал, как кто-то ссыт в кустах, очень громко. Как лошадь. Ох, теперь не идет из головы твоя лошадь. И это происходило так близко, что все время казалось, что это ссут мне на спину. Но это ладно. А потом он вышел, сел рядом со мной и очень серьезно сказал, чтобы я обязательно прислал ему свои рассказы. Он меня почти упрашивал. Это было дико, кто я ему такой?

Цеханский снова почесал родинку, точнее, язву, оставшуюся от нее, потом почесал щеку, зачесалось все тело. «Это нервное», — между делом подумал Цеханский и продолжил:

— Еще у меня всегда было чувство, что он скоропостижно умрет. Точнее, такое было ощущение, что он уже и не совсем здесь. Или не отсюда — вроде как ошибся временем, и эту ошибку скоро исправят. Хотя, может быть, это я теперь себе напридумывал. Еще он работал охранником и разнорабочим, зубов у него почти не осталось, руки у него были сухие и маленькие, как веточки, но я никогда не видел таких кулаков. Они были всегда расцарапаны и с такими острыми на вид костяшками, что лицо они запросто разорвут. Руков выкладывал прозу на сайте для графоманов, даже когда стал известным в Москве писателем, вел с каждым таким графоманом обширную переписку. Не знаю, как это все вместе связано, предчувствие его смерти, графоманы, кулаки и все остальное... Еще он был такой худой, из-за этого казался лет на десять моложе. Хотя его выдавали морщины на лбу. Очень глубокие, как будто в них можно что-нибудь положить. Пытался тут вспомнить что-то из его слов — какие-нибудь советы и наставления, жизненные мудрости и все в таком духе, но что-то ничего не приходит на ум. Не помню, и все. Может, их вообще не было.

А сегодня был самый дебильный день. Я понял, что мне нужно сесть в электричку и уехать глубоко в лес. Не знаю, откуда все это взялось, но решил поехать. Как-то мы с ним были на Истре, купались, я даже чуть не утонул, хотя это другая история... в общем, поехал туда. Потом увидел купола Ново-Иерусалимского монастыря и решил,

что поставлю свечку за упокой. Тащился туда с час по жаре, а оказалось, что это не храм, а турбаза какая-то. Точнее, музей. Толпы с экскурсоводами, дети вопят. Какие тут свечи. Да и Руков вообще некрещеный, зачем я только это затеял. Устал, вспотел, но тут меня что-то дернуло дойти до следующей станции по лесу. Не хотелось домой. А весь лес перегорожен, а где не перегорожен, там болото какое-то. Встретил бабку среди мухоморов, непонятно, чего она там вообще делала, но вдруг как заорет на меня: «Пошел вон!» Ну, и я побежал от нее подальше. Вылез, весь изодрался, пошел по шпалам. Сзади поезд проехал, кто-то бросил в меня из окна пустой бутылкой, но хорошо, что пластиковой, а еще лучше, что не попал. Тащился час, никак не меньше. Сел в электричку, воняю как сука, трясиной, лесом, а домой все равно не хочется...

— Но сейчас-то ты дома? — спросила вконец растревоженная бабенка.

— Дома, — согласился Цеханский. — Пришел домой, и тут ты со своими французами. Болтаешь без умолку про каких-то студентов-дебилов и пьянки, как будто мне это обязательно знать. Да еще так долго. Ты можешь часами говорить про какую-то ерунду. И это тоже совсем не преувеличение — ты буквально часами способна говорить! А ты не подумала, для чего мне вообще нужно знать про какого-то суперумного мужика, которому не терпится тебя трахнуть? И еще время специально подобрала. Когда мне хоронить друга, у которого денег нет даже на дешевые похороны. И его придется сжигать, как какое-нибудь полено! Я уж не говорю про поминки. Все это на мне, как будто у меня так много денег! Все по углам разбежались — его так называемые друзья... А тут ты со своими сраными... Да мне насрать. Какая ты мне после этого баба? Почему ты такая, блядь, нечуткая?!

Цеханский вдруг понял, что стоит в трусах и орет на ноутбук с потухшим экраном. Со стороны это выглядело бы смешно. Зато сорванная родинка не чесалась. Цеханский открыл холодильник, достал бутылку бальзама, допил, что оставалось, поставил под стол и сказал: «Прости, я погорячился. Я не хотел этого говорить».

Она молчала, а потом медленно и с чувством произнесла:

— Знаешь, я, конечно, все понимаю. Я очень сочувствую тебе и все такое... и я виновата, да, я глупая, я этого не скрываю. Но если тебе совсем неинтересно, о чем я думаю, если тебе вообще... Если тебе совсем наплевать, тогда какой во всем этот смысл, а? Тем более, что я здесь еще надолго. Успеешь найти себе более чуткую бабу, да и не одну.

Цеханский порывисто сел, взъерошил голову, рассыпав по столу перхоть.

— Послушай. Я повел себя глупо. Но сегодня просто такой день. День идиотских поступков. В начале разговора ты была такая веселенькая и жизнерадостная, а теперь опять печальная, стоило нам три минуты поговорить. Давай не будем ссориться и просто закончим разговор. Просто, признаюсь тебе, моя бабенка... Хотя, наверное, этого не стоит говорить, но меня дико злит мысль об этих твоих умных французиках. Я им не доверяю. Правда, ты бы держалась от них подальше. Не то чтобы я тебя ревновал. Мы свободные люди, я не могу тебе ничего запрещать и все такое, но просто я им не очень доверяю. И я только это хотел сказать.

Не видя ее лица, не слыша ни вздоха, Цеханский почувствовал, что она улыбается. И улыбается без тени обиды, совсем легко. Эти мгновенные переходы ее настроения были чем-то непостижимым.

— Я тебя люблю, малышонок. Ты же в курсе, что я тебя люблю?

— Это точно? А как же тот умник Викториан? Поедешь с ним кататься на велосипедах?

— Ох, милый! — Если бы она была рядом, наверняка ласково потрепала бы Цеханского по голове.

— Ладно, это глупейший разговор. Вот что: я правда рад был тебя слышать.

Надеюсь, ты наконец наладишь эту свою камеру — хочу поглядеть на свою глупенькую бабенку, даже если у нее щеки треснули от багетов и круассанов.

— Ладно, посмотрим. Надеюсь, что у тебя там все хорошо пройдет с похоронами... ой, я опять что-то не то говорю. В общем, что ты со всем справишься.

— Спасибо тебе, — сказал Цеханский.

— Целую тебя, малышонок.

— Хорошего тебе вечера, бабенка.

Цеханский встал, порылся в шкафах, подошел к зеркалу, достал тонкие сигареты «Эссе», вышел на балкон, докурил сигарету наполовину, но тут на балкон вылез соседский кот. Белый и жирный, и очень важный, он всякий раз перебирался с соседского балкона, ровным счетом ничего не предпринимал, просто тупо таращился. Цеханский плюнул сквозь зубы мимо кота, и кот быстро ретировался, не потеряв при этом важного вида.

Цеханский вернулся в постель, залез под одеяло, зарылся в душистые волосы девушки, лежавшей лицом к стенке. Вся подушка была засыпаны ее волосами, как будто она их нарочно разложила.

— Ты так громко кричал, — сказала она неразборчиво, сквозь зевоту. Вышло не очень-то эстетично.

— Прости, не хотел тебя разбудить, — сказал Цеханский.

— Что-то случилось? — Она потянулась бледной длинной рукой, пригладила его волосы, он быстро поцеловал ее в шею и прижал к себе. Она была довольно прохладной и на ощупь не очень упругой, как Цеханский надеялся.

— Может, закроешь окно? — спросила она.

— Да-да, конечно.

Цеханский проделал это, снова укутался. Ему было холодно, у него был почти озноб, и женщина его не грела. Такая холодная и гладкая, она была как здоровенная галька в его постели. Когда Цеханский в последний раз видел Рукова, у того был такой холодный унылый взгляд, как будто изнутри на него глядел камень. Он сильно похудел. Вообще выглядел он и правда скверно. Это было недели две назад.

— У тебя много седых волос, — сказал ему Цеханский.

— Думаю, у тебя побольше, — сказал Руков, не очень довольный. Он уже знал, что ложится на операцию. Цеханский не знал.

Беспокойно почесав снова зло зудевшее предплечье, Цеханский подумал, что все-таки сходит по поводу этой странной родинки к доктору.

Елена Нестерина

Хроника празднования 8 Марта, составленная за десять лет наблюдений

Ольга Станиславовна Заварцева, по специальности аналитик, по профессии архивист. Пытаюсь систематизировать все, что меня окружает. Просто потому что нравится.

Хроника составлена по годам: первая запись сделана спустя год и один день после непосредственно события. Вторая — в процессе события. Третья — ровно на следующий день третьего года фиксации событий. Остальные — когда как.

Но у меня все строго.

Отчет первый

Нас никто не поздравил с Восьмым марта. Это послужило причиной для дальнейшего развития событий — на много лет, как позже выяснится, вперед.

У Анастасии Папоровой был парень, который вчера начал праздновать день рождения брата. Папорова этого брата ненавидела — в его компании ее парню всерьез сносило кукушку. Как выяснилось, сносило с самого детства, когда братья еще не пили. А уж когда начали пить и праздновать день рождения с алкоголем... Папорова сказала парню, что, если он еще раз... Если он...

И вот он все-таки еще раз и если.

Кроме парня Папорову поздравлять было некому. Они с мамой поздравили друг друга, Папорова звонила на «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Она понимала, что мозг абонента тоже выключен или находится вне зоны действия, но надеялась, что рядом с мозгом есть или рассол, или «Антипохмелин», или дураку там, где он находится, наконец-то стало холодно, он поднялся в вертикальное положение и осмотрелся. Папорова подъезжала к дому, где жил брат, смотрела на окна. Свет в них горел, иногда мимо штор плыла неконкретная тень. Было ясно, что в квартире кто-то находился. Но степень соотнесенности этих людей друг с другом, их количество и половая принадлежность оставались неясны. Дурной брат трубку просто не брал, телефонов других гостей Папорова не знала. И ругая себя и судьбу, пришла ко мне.

Елена Нестерина окончила Литературный институт им.А.М.Горького в 1999 году. Член Союза писателей России, член Союза писателей Москвы. Лауреат I конкурса молодых драматургов «Премьера» (2002 г.). Проза и драматургия публиковались в журналах «Кольцо А», «Современная драматургия», «Урал». Автор книг «Официантка», «Магазин "Белые тапочки"», «Пудель бродит по Европе» и мн. др. Живет в Москве. В «Дружбе народов» печатается впервые.

Пришла и рассказала всю эту историю.

Меня не поздравили по-другому. Родителям было плевать на повод — они подхватились и уехали в село к родственникам. Там они с наслаждением праздновали — тоже, по их привычке, все равно что: главное, что нарядились, надушились, надарили друг другу подарков — и, рассевшись за длинным столом, вкусно и много ели, обсуждали блюда и способы их приготовления, степень воздействия съеденного на их организмы, правдивость того, что показывают по телевизору или пишут об ингредиентах, входящих в состав употребленного. Папа пил, мама за ним следила, родственники пили или тоже следили, ели, пели, ели, пили, пели, гуляли по улице, бегали на двор, звонили, ели, пили, пели, плясали, пили, гуляли... Мне бы их счастье.

Восьмое марта. И никто не поздравил...

Я еще не знала, что надо сильно по этому поводу переживать. Я сидела дома одна и раскладывала на компьютере пасьянс. На работе меня поздравили вчера, так что я даже и обижаться ни на что не думала. Но пришла Папорова и включила страдание. Тогда мы позвонили Муре. Папорова знала, кому звонить, чтобы поддержать ее в горе без радости. Папорова — интуит. А мы все — одноклассницы, хоть и не самые близкие подружки. Но вот такие странные вещи иногда сближают людей.

Мурочка начала страдать раньше нас — влюбленный в нее дяденька неожиданно оказался женат. Именно поэтому он не смог поехать с ней в дом отдыха «Жолнеры». Мура отписалась от дальнейших отношений с ним, удалила номер его телефона. Оказалась у разбитого восьмомартовского корыта — и через двадцать минут после нашего приглашения уже звонила мне в квартиру, позвякивая тремя бутылками ликера «Бейлиз», которыми задарил ее женатый недо-жолнер.

О прекрасный ликер, по семьсот пятьдесят граммов в бутылке на человека! Мы сели на пол, разбросали на полотенце все, что нашли у меня в холодильнике, взяли каждая по бутылке — и стали представлять, что мы мушкетеры при крепости Ля-Рошель. Да, в прошлом году нам было ровно на год меньше лет, да, мы всего не учли. Но сидеть на полу и размахивать тяжелыми темными бутылками было очень весело, пить ликер из горлышка тоже.

Ликер глотался только маленькими порциями. Каждый раз эти порции становились все меньше и меньше. Когда два раза по пятьдесят граммов в кафе, когда в составе кофе по-ирландски — это одно. А когда так много, и в одного человека — это другое. Страдающая Папорова попросила мяса. Курицу, почти целиком, в это время съела страдающая Мура. Оставленный родителями прекрасный торт «Абрикотин» — последний из поступивших в продажу, снятый с производства как слишком сложный и требующий только натуральных ингредиентов, — Папорова с Мурой потребовали унести долой с глаз. Сладкое твердое со сладким жидким мушкетерам не лезло. Я сварила им пельмени, обсыпала перцем и обмазала майонезом. Они съели килограмм. Я из них самая толстая, но за челюстями страдания не успевала. Открыла банку домашней свиной тушенки, намазала на куски батона. Обливаясь слезами, батоны девушки тоже съели, эстетка Папорова заедала розовыми таблеточками ферментов, иначе эстетский организм не принимал. Бежать за водкой не предложил никто. Водку мы не пьем.

Очень вредно не поздравлять женщин с Восьмым марта — особенно когда им по двадцать семь лет, и они, как Мура, хотят замуж. Или, как Папорова Анастасия Григорьевна, жаждут страстной любви и романтизма. Чего тогда хотелось мне — я даже не знаю. Оно до сих пор как-то неоформлено. Что-то неясное, милое, хорошее такое маячит впереди, а придать ему форму я не могу. Хочется чего-то вот, ну чтобы оно как-то... Не знаю. Даже приятно, что оно такое неоформленное и пока только маячит.

Но, тем не менее, Мура и Папорова сконцентрировались и предложили

прекрасную вещь: раз нас все предали — в том числе и меня мой мужчина, который не посчитал своим долгом у меня завестись, — КАЖДЫЙ ГОД СОБИРАТЬСЯ ВТРОЕМ И ОТМЕЧАТЬ ВОСЬМОЕ МАРТА! Должны же у взрослых сложившихся людей быть свои традиции! И у нас будет вот эта.

Мы поклялись. Мы пожали друг другу руки. Мы чокнулись бутылками с ликером.

Мы поклонились телевизору, по которому шел праздничный концерт, а Регина Дубовицкая проникновенно называла нас дорогими — и мы ей верили.

Пусть Папорову рвало фесталом. Пусть звонила ее мама мне на городской телефон и потом, в сопровождении шатающегося парня (да, того самого, со следами отсутствия абонента в сети и искреннего раскаяния на лице), материализовалась у меня на пороге и Папорову забрала. Пусть Мура улеглась у меня в комнате спать, и я включила ей фильм «Магнолия», который она посмотрела в своей жизни уже раз сто пятьдесят. Пусть мне пришлось уйти спать к родителям.

Пусть.

Я сладко уснула на родительской кровати.

Ведь еще в том году я не знала, что все это действительно положит начало крепкой традиции.

Отчет второй

Пишу, что вижу. Просто мы сидим, и я пишу. Анастасия Папорова и Маргарита Муранова молчаливы, сдержанны, даже, можно сказать, зажаты — потому что их действия фиксируются. Они не знают, что сказать. Как сесть. Что изобразить на лице. Как будто я их снимаю на видео. Я не снимаю на видео. Я просто пишу, протоколируя. Я отгородилась от них ноутбуком — поэтому они передо мной, как на сцене.

Две артистки.

Артистка Папорова рассталась со своим пьющим парнем. Вчера он праздновал день рождения брата — и ей ничего плохого из-за этого не было. Папорова не страдала!!! Нет — десять!!!!!!!!!

Вот так она не страдала. Она вообще даже практически весь год про него не помнила. Папорова, я все пишу, что ты думаешь? Говори-говори, я быстро печатаю.

Папоровой нечего сказать. Она бросила этого хрена, летом завела аниматора — работала в Турции не самым последним человеком развивающегося туристического агентства, выучила турецкий язык, простой и веселый. Аниматора сама бросила, он изменил ей с аниматоршей, да еще и по глупости, потом кусал ее за кожаные турецкие босоножки, бился в натертые этими босоножками раны на щиколотках, получил удар папкой с документами по глупой голове — и вплоть до октября, пока был сезон, наблюдал подъем Анастасии Григорьевны на высоты, оставаясь со своей роскошной фигурой и брутальным лицом низовым аниматоришкой. Ха-ха-ха!

В Москве с Папоровой заигрывал руководитель направления «Ближний Восток — Малая Азия», женатый на дочери заместителя руководителя руководителей направлений. Папорова могла бы тоже дать папкой по голове. Хоть ближневосточный мужчина был красив, телом бел и белокур, но женатый мужчина — это святое, не тронь! Скажи же, Мурочка?

Папорова завета Мурочки послушалась. Страдая. Но соблазнить белокурого хотелось.

Мурочка за год не продвинулась ни на йоту. Она доктор. Она принципиальнее нас с Папоровой, умноженных на мою маму и возведенных в третью степень моральных качеств моей начальницы Зотиковой, которую в нашей бюджето-распилочной госконторе прозвали «Со святыми упокой». Если мораль Папоровой —

да, Папорова, это правда, сиди и не прыгай — подвижна и вариативна, легко поддается денежно-подарочному нажиму, то Мура — кремень.

Это не лесть, Муранова, это дурь.

Я и сама не знаю почему, но так считается. Мне кажется, что я не только о себе, но и о мире ничего вообще не знаю. У моей одноклассницы ребенок ходит во второй класс.

Класс!

Не летайте надо мной, гули-гули! Над моею головой, словно пули! Не цепляйтесь вы ко мне, Гали-Вали, я Маруськами вдвойне опечален...

Мура, это ты поешь? Это она поет... Этот наивный клип крутили тогда, когда мы заканчивали наши институты. Дядя влюблен в мать и дочку, их зовут Марусями... Дуристика, а смешно.

Мура, ты поешь? Доктор, вы пьяны?

Мы сидим в ресторанчике. Вокруг пары. Группы за столиками.

Мы тоже хорошая группа. Мура очень красивая. Папорова — ты стильная, Папорова. Так и запишем. Я розан. Зачем ты так говоришь, Анастасия? Ты злая? Поняла-поняла, розы некрасивыми не бывают! А-а-а... Но розан — роза мужского рода? Кто гонит? Я?!

Встречаться на восьмое марта — прекрасная традиция!

Мы чинно выпили бутылку «Crystal». Муранова М.Н. лезет ко мне в компьютер и диктует, что на этикетке бутылки написано «Cristal», это же по-французски. А я что напечатала? Ну, я не знаю, как тут быть. Пусть останется написано как есть, у меня тут все-таки хроника. Даже если шампанское поддельное. Папорова уверяет, что не поддельное — она такое сто раз пила. Просто надо было не понтоваться, а заказать что-то другое, тогда хватило бы денег купить по бутылке на каждого — и было бы как в прошлом году. Да потому что традиция бы поддержалась, почему? Это Мура все никак не уймется.

Так и запишем: посидели хорошо.

Мы встретимся снова.

P.S. Все, что произошло год назад, я зафиксировала на следующий день утром дома. Сделала более ранним постом. Так что все стало хронологично. Отныне и во веки веков.

Аминь!

Отчет третий

С нами Девайсовна. С нами, с праздником, с девайсами. Разложила все их вокруг себя и наслаждается. Одно втыкается в другое, они синхронизируются между собой, что-то чему-то чего-то привносит, добавляет функций, мощности и возможностей. Мы все прекрасно понимаем и используем, да-да, мы именно пользователи, а Девайсовна девайсами одержима. Девайсовна работает с девайсами. Ей за это платят. Девайсовна — тоже наша одноклассница.

Можно было бы подвергнуть обструкции Муранову за то, что она пожалела Девайсовну, которая в гнутом унылом виде встретилась ей на улице, и пригласила на нашу закрытую вечеринку. Изгнать ее из нашего братства. Позор, Мура! Изгнать тебя, изгнать! Но мушкетеры такими вещами не занимаются. Да, они изгнали из числа живых тетеньку Миледи — и снова благородные. Мы злимся, но даже Девайсовну прогнать не можем, не то что Миледи голову отрубить. Хотя Девайсовне отрубить можно было бы — у нее в ушах наушники, она не успеет среагировать. Зачем мы ей нужны? Она даже про наше сплоченное мушкетерство не знает, поэтому и в

Д'Артаньяны проситься не будет. Папорова, мы не выясняем, кто из нас Портос, поняла? Видите надпись: ЕСЛИ НАЗОВЕТЕ МЕНЯ ПОРТОСОМ, Я БОЛЬШЕ НА ВАШИ 8 МАРТА ХОДИТЬ НЕ БУДУ. И ВООБЩЕ ВАС ПОШЛЮ.

А-а-а! Вот зачем мы Девайсовне: она вынула из ушей бананы и начала хвалиться. У нее не было публики. Она работает в окружении мужиков. Закупки и поставки. Телефоны, флешки, выносные хранилища памяти, адаптеры, шнуры... Что еще, Девайсовна? Она думает, что я с кем-то переписываюсь, типа чат у меня, я не совсем здесь. Поэтому хвалится Муре и Папоровой. Не личной жизнью хвалится, а гребаным оборудованием и возможностями, которые каждый из ее любимых девайсов ей то и дело открывает. Делится знаниями. Она счастлива, что знает. Что может. Что имеет. «А этот девайс... А с этим девайсом... А для этого девайса...» Хотя имя свое она помнит. Но мы ее больше так не называем.

Эх, Девайсовна-Девайсовна...

Испортила нам праздник.

Превратила его в сборище имени Девайсовны.

Не дала рассказать Папоровой, какие у нее проблемы в личной жизни.

Не дала всплакнуть Муре и в конце плача сообщить неизменное — что она верит в позитив.

Пока Девайсовна вещала, мы ели. А она только собрала с салата розы из редиски.

На каком оборудовании работает ее мозг? Что за источник энергии использует?

Девайсовна выступила, сложила в сумку свои многочисленные девайсы, любовно стуча по ним акриловыми ногтями, вжикнула молнией. Вздохнула и откинулась на спинку стула. Розовые щечки, довольство и умиротворение. Вампир.

С праздником.

Отчет четвертый

Если сказать, что ребенок родился у Папоровой из-за Девайсовны, это будет не совсем неправда. Если бы не было с нами тогда Девайсовны, мы смогли бы узнать о его формировании в организме Анастасии несколько раньше. При Девайсовне она ничего говорить не стала. Мы молча, как выжатые лимоны, расползлись по домам с той вампирской встречи.

И Папорова сообщила только неделю спустя.

Что соблазнила женатого. В принципе, как и планировала. Того самого белокурого красавца, ответственного за Малую Азию. Который никогда не разведется с дочерью своего же руководителя. Соблазнила неудачно. Чтобы всем сохранить лицо и не потерять должность, друг о друге и том, кто неуклонно развивается в органах малого таза Анастасии Папоровой, отец ребенка и носитель ребенка поклялись забыть. Папорова забыть не смогла — доктор Муранова контролировала ее на всех подступах к аборту.

Так что сегодня мы праздновали 8 марта дома у Папоровой, Папоровой мамы и сына Папоровой, Папорова Коти. Запись сделана спустя полтора часа после завершения празднования.

Коте скоро шесть месяцев. Хороший Котя. Пока мать работает, сидит дома с бабушкой, ест смесь из бутылочки, страдает запорами и диатезом. Выглядит плохо, но очень веселый и милый, ясные глазки. Муранова утверждает, что он развивается гармонично, а запоры пройдут. Я надеюсь — потому что жалко мальчика, весь в корках и болячках. И лицо такое вытянутое, как рыльце. Просто копия отца: а уж на фото этого козла мы насмотрелись... Ну, как он мог показаться Папоровой красавцем? Что у Папоровой в голове? Я по-прежнему смотрю на то, что происходит с окружающими, и удивляюсь. Удивляюсь и ничего не понимаю. Уж мне такой

выхухоль — даже неженатый — никогда бы не понравился! В чем разница между мной и Папоровой, которую он очень даже устраивал? Мура тоже ответа не знает.

Да, Мура... Мура и Котя, Котя и Мура. Как странно распределяются подарки судьбы: ребенок родился не у заботливой Мурочки, а у неукротимой Папоровой, которая даже не уходила в декрет и появилась в офисе своей турфирмы через месяц после рождения Коти. Она и сейчас плохо знает, как с ним управляться, — все делает мама, которой пришлось брать отпуск по уходу за ребенком. И это за несколько лет до пенсии.

Мура просто молодец. Как же ей не лень! Я до сих пор боюсь взять Котю на руки. И не потому, что мне не нравится его мордочка в коростах и слюни, которые он роняет. Просто вот как-то не могу... А Мура его таскает. Котя Муру любит. Мяу. Она очень старается. Я специально наблюдала, как Маргарита уверенно, будто шахматы на доске, переставляла на кухонном столе перед носом Папоровой баночки с протертыми овощами и фруктами. Она их купила целую сумку и принесла среди прочих подарков младенцу и его семье. «Вводи, — все повторяла, — вводи скорее. И наладится!» Но когда Папорова, ее мама и Мура начали вводить ребенку банку пюре, я уже не выдержала и ушла к телевизору. Так и бродила между ним и холодильником.

Через два часа они втроем Котю укатали и законопатили в кроватку. Ну да, — и пришли ко мне в гостиную праздновать. Стол я накрыла знатный. Времени-то у меня о-го-го сколько было!

А девайсы в этом году стали называть гаджетами.

Отчет пятый

Арам-зам-зам, арам-зам-зам! Гули-гули, гули-гули, гули-рам-зам-зам!

Это Мура поет. Поет и пляшет. Восьмое марта мы отмечаем в Турции — Папорова, спасибо тебе!

Музыка! Бассейн! Диджей направляет стробоскоп в этот бассейн. Внимание: в бассейне Мура! Все как положено: колготки, туфли, вечернее платье, укладка и макияж. Всё, всё там. Арам-зам-зам, арам-зам-зам!

Русские, русские идут! В бассейн прыгают два молодых человека. В мелькающем свете стробоскопа все трое гонят волну и визжат. Тот, кто прыгнул с пивным бокалом в руке, поднимает его высоко и кричит, что пьет за здоровье девушки. В момент прыжка пиво в бокале сменилось водой из бассейна. Думаю, парень это заметил, потому что пить не стал, все больше орал и размахивал руками. Не кул, совсем не кул, герой бы выпил...

Папорова не терпела конкуренции — она тут же организовала заплыв в ночное море. Кому март, а кому имидж. Привязав парео на вырванный из рекламного модуля пластиковый шест, Анастасия принялась собирать женщин под знамя Клары Цеткин. Со знаменем в руке она сразу стала самой красивой, тем более что аниматоры подыгрывали ей, зная ее суровый нрав. И злопамятность, я бы добавила. Она загнала четырех клуш в море, оставив вытащенную из бассейна Муру дрожать у прибоя — Папорова знала, что Мура плавает красиво, но в такую холодную воду не полезет никогда.

Со знаменем в руке она поплыла. Аниматоры вооружились кругами и выставили в авангарде пляжного спасателя Джабраила.

— Мужчины, докажите, что вы нам нужны! — кричала Папорова из воды, игнорируя логические связи между предложениями. — Мы без вас можем все! Кто сумеет меня догнать? Я первая доплыву до буйка!

Одна пловчиха сломалась и вернулась. Муж стремительно примчался к ней с

полотенцем. Остальные барахтались в волнах. Их было хорошо видно — все пляжное освещение повернули в сторону женщины со знаменем.

Довольно быстро и азартно всех их, и Папорову первую, выловили. Папорова пригласила участников в кальянную. Среди ковров, подушек и сладкого дыма она продолжала быть царицей. Выбранные Папоровой мужчины активно доказывали, что они ей нужны. Она смеялась победным смехом, и ее вполне можно было понять.

В роскошной кальянной оказалось тепло, благостно, и затерявшаяся в массовке Мура уснула. Папорова вяло предлагала мне поддержать традицию и закрутить роман во-он с тем дядей, явно женатым, но мне было лень.

Виски, лукум, баклава, пишмание, гранатовый чай — Восьмое марта в Турции выдалось на славу. Я хочу стать гастрономическим туристом.

Отчет шестой

Мура замужем! Мура в скайпе. Мура поздравляет нас, снова собравшихся в квартире у Папоровой, с Международным женским днем.

На экране колышется довольное лицо Маргариты Мурановой. Они с мужем на международном симпозиуме молодых врачей-эндокринологов в Мюнхене, так чего же не поздравить нас из международной поездки? Вторую половину экрана занимает муж Муры, Котя. Да, его тоже, как и сына Папоровой, зовут Котей, Константином. Мур-мур, кис-кис и сплошное мяу. Сыну Папоровой завели котейку, сплошное мяу неукротимо льет в обувь и портит вещи. Котики захватили мир! Они лезут из компьютера, выскакивают на экран телефона, а вот сейчас карабкаются мне по колготкам. И — да — колготки-то мне и порвали! Убью котю! Кошачью морду.

Котя маленький человеческий еще только лезет под стул, хочет спасти своего котэ. Вместо того чтобы поговорить с молодыми эндокринологами, я прыгаю вокруг стула и пытаюсь избавиться от Коти и коти. Папорова, от которой неистребимо пахнет котом, не реагирует и продолжает спрашивать о Мюнхене.

Мура вышла замуж осенью. Муж свеж, муж врач, муж из Нижнего Тагила, и теперь прописан в ее квартире. Он любит Муру, они познакомились на аналогичном симпозиуме, им везло, их вело к свадьбе. Все вело. Во всем везло.

Свадьба была хорошая. Я второй раз в жизни оказалась на свадьбе. Будет выходить замуж Папорова, начну писать хроники свадеб и празднований годовщин. Я предложила это начать прямо с годовщины свадьбы Муры — и Папорова расплакалась. Что, какая ей свадьба, кому она нужна. Это новость. Разве Папорова правда хочет замуж? Зачем? Она только что купила большую квартиру — никого им там лишнего не надо. Даже кота этого я бы туда не повезла — ссать в тапки... Ладно-ладно, кота не трогаем, пусть ароматизирует пространство вам на здоровье.

Папорова не хотела рыдать на глазах у счастливых молодых — и выключила скайп.

Мама ее уехала к подруге в Лианозово. Мама отдыхала. Мама обычно хорошо ее утешала, мама у Папоровой золотая. Я утешала плохо. Я привезла торт. Большой «Киевский», московского производства, но Папорова худела. Пока мы это выясняли, Котя влез в него двумя руками, наелся крема, размял безе и накидал по полу орехов. Месяцы борьбы с диатезом коту под хвост.

Папорова долго его мыла, ругала и рыдала в ванной.

Так-то ничего страшного не случилось, даже весело, но все как-то глупо, вроде как ни к чему, непонятно зачем. Смеяться не хочется. Папорову жалко. Столько энергии, столько воли к победе и радости жизни. И что? И ничего... Это она так говорит, что ничего. Но у нее жива мать и есть готовый здоровый ребенок. Этого мало для счастья? А если бы у нее был любимый муж, была бы она счастлива? Счастье —

это муж? У Муры нет матери и ребенка, но есть муж. У меня нет мужа и ребенка, только родители — это много или мало? Женское счастье — это не просто человеческое счастье, а какое-то специальное? Для полного счастья в этом наборе должно быть обязательно все из перечисленного?

Почему же нет международного мужского дня? Неужели и правда потому, что все остальные дни в году — и так мужские, и мужское счастье более достижимо? Но это неправда. А в чем тогда правда?

Тоска.

Папорова несчастлива еще и потому, что Мура счастлива. Мура не бывает несчастлива от того, что другим хорошо. А я бы сказала — ровно наоборот. Мура — врач и Мура очень благородная. Но страдает-то Папорова.

Всех так жалко, так жалко...

Отчет седьмой

Я живу в айфоне. Вот как его купила, так теперь там и живу. Там у меня все. Пишу сейчас в него. Удобно. Это маленькое аккуратненькое окно в мир дает ощущение соотнесенности и сопричастности. Я все вижу, все знаю, я всегда в центре событий. Я всегда на связи — с любым человеком, местом и раздатчиком информации.

Мура пригласила отмечать Восьмое марта у них дома. Муж, очаг, умиление. Папорова ехать не хочет. И я не хочу. Во-первых, понятно, что нелепый праздник. Во-вторых, не такие уж мы подружки. Все втроем мы не виделись больше года. Что нам обсуждать? Мурочка этого не понимает, из своей счастливой норки ей хочется милоты для всех остальных. В-третьих, они даже не стали читать мою хроникальную запись, которую я им старательно разослала еще год назад. Они не читали — я спрашивала. Отмазались как-то вроде «Пока некогда», «Я обязательно», «Ну ты там круто, ага, как всегда, чётенько...», «Сейчас реально цейтнот, позже»...

Зачем я тогда это фиксирую? По привычке? Графомания неизлечима? Взять и из вредности, раз они не читают, выложить где-нибудь! Пусть люди читают и комментируют. Сейчас, я смотрю, массово переходят в Фейсбук. У меня там друзей почти шестьсот человек, из них одноклассников, думаю, пятнадцать, еще человек десять просто наших с Мурой и Папоровой общих знакомых. Но чтобы кто-то комментировал нашу историю... Вот почему-то не могу.

А на просторах Фейсбука тетки сегодня поздравляют друг друга цветами и котиками, жалуются и ругают совковый праздник, который надо убрать из календаря, подлизываются дяденьки, аккуратно втираются рекламы. Все то же самое, но прикольно. Можно не отрываться от дивана, смотреть в айфон и быть в курсе.

Так что я предложила Маргарите и Насте устроить конференцию. Будем сидеть каждая у себя дома, видеть друг друга, разговаривать, чокаться с экранами и не напрягаться утомительной поездкой, уборкой после гостей и так далее.

Я поставила свой айфон на подставку. Принесла коробку пирожных, большую кружку чая и нарезанный ананас — чтобы не так потолстеть от съеденного. Ха — Папорова стала блондинкой! А за спиной Муры пробежал муж, помахивая лапкой.

Папорова сказала, что она в отношениях. Все сложно. Отношения первые и отношения вторые. Происходят параллельно. Одни отношения живут с ней в ее новой квартире (старую она продала и положила деньги в банк). Другие отношения моложе первых на одиннадцать лет, ее саму на десять, хороши собой, москвичи, верны, но небогаты. Тогда как первые горят желанием покорить Москву и корыстно использовать в этом Папорову Анастасию. Она это чувствует. Но они дарят ощущение стабильности, надежности — за что и взяты под крышу родного дома. Эти отношения

подарили цветы и серьги, уехали по делам до вечера. За это время нужно встретиться со вторыми отношениями, так что скоро Папорова будет собираться.

Мурочка предлагала на следующий год встретиться обязательно в ресторане, обязательно вместе со своими мужчинами — чтобы получилась большая шумная компания, ведь какая разница, что праздновать, главное — вместе, потому что нет ничего приятнее общения, потому что можно не успеть, ведь люди смертны... Даже всхлипнула. Муж, который тут же примчался, ее успокаивал, холил и лелеял, по лицу Папоровой было видно, что она сейчас вот-вот выключит все на фиг. Мура успокоилась. Мы пообещали встретиться. Ах ты, Мурочка.

Но я реально не хочу встречаться. Перед Мурой было стыдно. Зачем наобещала? Вот они, все эти братства, традиции и клятвы. Тошные невыполнимые обязательства.

Или это просто вообще радость от этого всего кончилась, а общение, которое не по работе, стало бессмысленным?

Ночью в квартиру ввалились мои неугомонные родители — из гостей. Хохотали, шикали друг на друга, уронили в кухне табуретку. Почему им весело? Толстые шерочка с машерочкой. Плохо, что я у них одна. Им бы, по-хорошему, нужно было завести еще пяток таких же жизнерадостных позитивных потомков — и тогда этим позитивом они бы поделились с пятью людьми. Те вовремя и удачно женились бы на ком-то. Получилось бы еще пять дружных семей. А тут только я...

Надо погуглить, кто такие шерочка и машерочка.

Отчет восьмой

Любовь не может пройти. Страсть никуда не девается. Если это сердечная страсть, в смысле душевная. А не физиологическая. Та — да. Та проходит, и никто ее за это не осуждает. С ней все понятно.

Это я за Мурой записала. Ее разлюбил муж.

Это трындец. С Мурой такого не должно было произойти.

Они в институте давали клятву Гиппократу. В ЗАГСе давали клятву Гименею. А это точно так же нерушимо, как Гиппократу, — иначе зачем же клясться? Мура искренне не понимала. И я не понимаю.

Они собирались венчаться — давать клятву не древнегреческому богу, а Богу нынешнему. Чтобы и ныне, и присно, и во веки веков... Но потом пришли к выводу, что это лишнее. «Достаточно, — сказал муж, — нашей клятвы друг другу». Да, так и сказал: «Я — царь своему слову. Раз поклялся, значит все».

И вот теперь оно и есть — все. Укатил в Нижний Тагил. Пока в отпуск.

У нас такое вот Восьмое марта. Мы у Муры дома. И Папорова приехала. Она задвинула кого-то из своих отношений (не воспроизведу, что она рассказывала о нынешнем состоянии дел), отменила встречу со своими основными (и очень крутыми) подружками.

Вот сейчас бы забегать по комнате, заржать, завизжать — про то, как пошло оно все лесом, и жует-то оно пусть веник, вспомнить, что мы гардемарины, чокнуться черными бутылками и крикнуть: не вешать нос, мы же один за всех. Но Мура была такая убитая, что даже не она, а Папорова напомнила мне, что мы были мушкетерами. И предложила еще пиратов Карибского моря вспомнить. Они там тоже условно один за одного, и судьба и родина у них едины.

Почему не смешно? Ведь должно быть. У нас нет проблем, у нас есть деньги, собственное жилье, образование и интеллект, работа, мы способны восстановиться и быть интересными и открытыми для новых отношений. Или спокойно жить без них.

А наверное потому, что никто не застрахован от перепадов чужих желаний. Мура не изменилась и уж тем более не изменила, не стала противнее, глупее, назойливее

или равнодушнее. Она была объективно славная, светлая и добрая. Ее любят пациенты, и врачебное начальство, думаю, ценит, раз она постоянно продвигается. С ней интересно, с ней общаешься — и как будто по мозгам и по сердцу мажут кисточкой, которую окунули в солнце. Улыбаться всегда хочется. Уверена, что муж Константин на это и повелся. А теперь что, развелся? В смысле, разводиться собирается?

А вот он не знает! Не знает, что ему делать. Но вот так вот.

Ни я, ни Настя Папорова не умели успокаивать. Уверять, что рано или поздно все будет хорошо.

Никто не знает, как будет. Может, Муре повезет. Только в чем будет заключаться ее везение? Что муж передумает в обратную сторону и вернется? А надолго? И что Муре делать — жить в напряжении и ожидании, что его опять переклинит? Любить мир — но всегда быть готовой к войне, в смысле, к неожиданной смене приоритетов благоверного?

Ответа мы не знали. Долго сидели у Муры дома, практически молча. Потом Настя уехала — у Котиной няни тоже должен быть праздник.

Папорова сказала про няню. Значит, у мальчика уже няня, а бабушка отдыхает. А где же тогда мужчина для отношений? Тоже сидит дома с Котей, бабушкой и няней? Скорее всего, что никакой мужчина у Папоровых уже не живет. Вот не расспросила я...

Мура подробностей не знала.

В этот раз, как когда-то восьмого марта восемь лет назад она у меня, я ночевала у нее. С праздником, дорогие женщины!

P.S. Для фиксации истории это нужно обязательно записать. Поэтому я добавила в свой восьмимартовский файл эту запись — уже в апреле.

Мурочкин муж вернулся из Нижнего Тагила. Случай исключительный. Некая женщина, с которой очень давно он имел отношения, попала в беду. Рухнул ее бизнес, пошли долги, депрессия, страдания. Социальные сети свели ее с давним возлюбленным, о котором много-много лет она и не вспоминала. Она рассказала ему свою историю. И Котя понял, что обязан помочь. Да-да, Котя был когда-то не так пушист, не так хорош, ту женщину он оставил на раннем сроке беременности. Пусть она кричала, что воспитает ребенка сама, пусть требовала, чтобы он никогда не появлялся в ее жизни. Константин исчез — то есть уехал в Казань, где учился на доктора, а когда летом вернулся в родной Тагил, той женщины там не обнаружил. Уехала. Уехала она, как выяснилось уже много лет спустя, совсем недалеко, сделала аборт, спустя годы вышла замуж и родила двоих детей. По нелепой случайности погиб ее муж-бизнесмен, и дела, которые сразу перешли к ней, быстро покатились к краху. В момент краха она и разыскала Костю. Рядом с совестливой и принципиальной Маргаритой Мурановой он тоже стал в сто раз совестливее, а потому понял, что человеку, который когда-то из-за него сделал аборт и убил тем самым другого человека, он должен помочь. Так что теперь ему нужно ехать в Нижний Тагил и класть жизнь во благо спасения несчастной женщины с двумя маленькими детьми. Иначе он поступить не может, а потому, если к той женщине не уедет, будет себя презирать. За то, что он вынужден оставить Мурочку — в общем-то благополучную москвичку и перспективнейшего специалиста-новатора, он тоже будет себя презирать, но степень этого презрения окажется несравнимо меньшей. Жизнь-то физическая при этом ничья не пострадает! А что клятвы... Гименей и не то стерпит. Это уже я так шучу, муж Муры такого не говорил. Да — он, конечно, предлагал не разводиться, из квартиры не выписываться — вдруг та женщина так качественно встанет на ноги, что в помощи Константина перестанет нуждаться? И тогда он сможет вернуться к своей любимой. Но если любимой это неудобно, то он немедленно разводится и выписывается.

Настя Папорова сразу сказала, что это бред. И что поверить в такую версию невозможно. Только наивная Мурочка и глупая я могут поверить.

Тем не менее, Мура развелась. Доктор Котя уехал в Нижний Тагил спасать. Он же врач. Нет, этого Мурочка тоже не озвучила, это я за нее добавляю.

Отчет девятый

Мизансцена. Огромная квартира в новостройке. Здесь спокойно можно разместить хостел на сорок человек. Отличная кухня-гостиная. На большом обеденном столе гора бумажных носовых платков «Каждый день». Коробка с пакетиками черного чая байхового «Каждый день»; кое-как порезанный вафельный торт «Каждый день». За столом сидит Анастасия Папорова, она вытаскивает из пачки платочек «Каждый день», сморкается, плачет и наливает себе в рюмку коньяк «Каждый день». Так она встречает гостей.

Турфирма, в которой работала Анастасия, разорилась. Топ-менеджеров уволили. И ее, пусть не в первых рядах, но уволили тоже. Банк, в котором Анастасия хранила свои деньги, полученные от продажи старой квартиры и доходов в турфирме, попал под санацию и отзыв лицензии. Зависли на счете доллары и евро — да-да-да, на счетах Анастасии Григорьевны лежали доллары и евро, почему эта туристическая женщина не доверяла рублям? Наверное, правильно не доверяла, но вот теперь она пытается вытащить свои деньги, и с каждым днем эта надежда становится все призрачнее. Анастасия записывается в очередь, каждый день с раннего утра ходит в банк, как на работу. Что-то ей удалось снять — и она судорожно разместила деньги на рублевом счете Сбербанка. Надежней некуда. Она не сдастся, это понятно, но сколько сил и времени ей предстоит на это грохнуть...

Анастасия Папорова в ужасе экономит. Она отказала от места няне, Котя как миленький ходит в детский сад. Анастасия покупает все самое дешевое — и вот сегодня мы отмечаем Восьмое марта с горой ее сопливых платков на столе и кучей неразобранных пакетов из «Ашана» в углу кухни.

Изредка Папоровой приходят поздравления. Иногда даже раздаются звонки. О-о, какой у Папоровой телефон: ее верный аппарат «Nokia» сменился на «Kopia». Очень похож на тот, очень дешево стоит, очень. Старый не сломался, нет, но сейчас нужно с таким.

Ясно!

Папорова пьет. Закусывает бюджетным тортиком и снова наливает. Наши хипстерские закуски называет «забубонами», роется в своих пакетах, горестно вытаскивает нарочито невыразительного цвета баночки и коробочки с желто-зеленой полоской и стыдливой надписью по белому фону, просит ни в чем себе не отказывать, вытаскивать из пакетов закупленное и накрывать ее убогий стол.

Убогий стол на двенадцать персон вскоре ломится от обилия бюджетной еды и выпивки.

Анастасия закатывает глаза, ходит курить на лоджию — не реагируя на выпад Муры, почему не куплены и не продемонстрированы зрителям сигареты «Каждый день», а продолжает ею поддерживаться иностранный бренд.

И вот, забодай меня комар — но во всем этом театре чувствуется что-то живое. Даже Мурочка веселится, активно включившись в процесс приготовления еды. Я пробую водку с белой этикеткой нонейм — хорошая водка! Папорова пробует тоже — у нее, наверное, коньяк точно с таким же вкусом.

А содержимое баночек и коробочек ничем не отличается от обычной еды. Хотя из чего делают обычную еду, я точно не знаю. Да, я живу с родителями и готовить не умею. Зато хорошо сервирую стол. Думаю, навык приготовления пищи мне никогда

не пригодится — надеюсь, мои родители будут содержать меня до моей глубокой старости. Я им деньги — они мне уход и жизнеобеспечение, они мне свою пенсию — я им стакан воды...

Мы сидим далеко-далеко друг от друга. Никаких сервизов — все как хочет хозяйка, на бумажных тарелочках, а то и прямо на пакетах и упаковках. Вокруг нас бродят Котя и котя, Папоровский сын научил своего питомца не прыгать на стол и не воровать еду. Смышленый мальчик! И симпатичный какой стал. Папорова призналась, что каждый день делала ему массаж — вбивала лицо внутрь черепа, чтобы на папашу не был так похож, у ребенка-то кости и хрящи еще подвижные. На кого там был похож сам папаша-то, на сайгака? На малоазиатскую выхухоль — это Мура подсказывает.

И ведь вбила! Теперь у Коти круглое ровное Папоровское личико, как мы любим.

Почему я верила, что над всем, что происходит, уже не получается смеяться? Что впереди только тоска от ожидания подвоха и очередного предательства? Мы же сейчас вот смеемся — и нам просто весело. Мы, пожившие женщины старше тридцати пяти лет, у каждой свой социальный изъян: одна разведена, другая не была замужем, но с ребенком, третья вообще ни в чем не участвовала.

Или в генно-модифицированные овощи и выращенное на генно-модифицированных кормах мясо, которые входят в состав народных продуктов, добавляется мотиватор на бодрое отношение к жизни? Порошочек такой веселящий...

Ну потому что вот мы сидим — из всех троих я самая счастливая и процветающая, у Папоровой и Муры — пьеса Горького «На дне», эмоциональном и личностном дне, разумеется. А ничего — и сидим, и едим, и смеемся. Как будто и ничего страшного. Или это потому, что все проходит, так пройдет и это? И никакого порошочка?

Надо же, как спаслась Папорова! Сменила социальную нишу — и стало хорошо? Услышав это, Папорова сразу вспомнила, что она страдает, выскочила на лоджию с сигаретой.

Мура осталась со мной — спокойная, улыбается, пьет чай. Когда видишь, что кто-то умеет так крепко брать себя в руки, вера в человечество поднимается. Мурочкин Константин, бросив столичную работу, пропал на просторах Урала. Мура с ним связи не поддерживает, не заглядывает на аккаунты общих знакомых. Мура работает.

И Папорова будет работать — ей без работы скучно. Ее уже приглашали в несколько фирм. Она тянет время и наслаждается разрушением. Сладко, как она сказала, падает на дно.

Может себе позволить.

А я же скачала клип про гули-гули. Не тот, который пляжный арам-зам-зам, а наш старый, студенческий. Который любит исполнять Мура. Про две Марусечки мои, две лапули, которые на свиданье не пришли — обманули. Мы посмотрели. Два раза. И чего мы так раньше ржали? Ведь понятно, что самодеятельность. Ражие мужики с накладными бородами, поддельная голубятня, женщины, которым, как сказала Анастасия Григорьевна, она бы даже полы мыть не доверила. Да-да, Мура, я понимаю, это смеялась наша молодость. Да, мы сейчас пожившие, пожили-то до фига уже, неандерталки в наши годы давно проводили на последнюю охоту внуков и передохли. Но пожить-то пожили, а жизнь все еще впереди. Да, Мура, заявляю это с трибуны. И я не виновата, что ты не отличила кошачий корм «Каждый день» от сгущенки «Каждый день» и плюхнула себе на блин. Ешь теперь. Надо было не на Папорову смотреть, а на этикетку.

Мы же еще даже не начали плохо выглядеть. Ты-то, Папорова, завтра точно будешь выглядеть хуже, но тебе и можно, ибо не на работу. Да и вообще нефиг. Сделаешь биоревитализацию по скидочной системе — для кого в интернете купоны продаются? Поддержишь в этот раз китайского производителя гиалурона, а не

итальянского. Мы живы, это главное! Говорю я вам, Роза и Клара, с сегодняшней бюджетной трибуны, со всем присущим мне пафосом.

Да, дальше мы поругались. Как не ругались еще никогда. Сначала Настя с Маргаритой, потом я с Настей, потом они объединились против меня. Потом Мура вышла из коалиции и села плакать.

А мы ведь и правда не друзья. Не подруги. У Муры есть крепкая медицинская дружба, Папорова сплошь в связях разной степени значимости; и у меня есть подруги, наросли из разных сфер жизни. А с этими-то пипетками мы — од-но-класс-ни-цы! Чего мы так друг к другу прицепились? Нужна негласная демонстрация успеха? Равнение на лучшую? Да, когда-то в классе мы были три королевы: я по оценкам, Папорова по влиянию на умы и общему руководству, Мура по красоте и патронажу убогих. Да, после празднования десятилетия окончания школы мы вдруг вспомнили друг о друге, а через месяц Папорова-то, восьмимартовская страдалица, и примчалась ко мне. Вот и создали, блин, традицию, вот и придумали способ общения. Все так шатко, все неустойчиво. Мы не друзья, не друзья. Да и что такое дружба-то на самом деле? Разве была бы я такой нетерпимой к Папоровой, если бы она была моим другом? Ну поглумилась бы, поприкалывалась, но все равно поддержала бы ее в ее бредовых идеях. Раз она друг. А мне хочется навести ее на правильную мысль, заставить не поступать плохо... Друга, видимо, надо любить и поддерживать любого... Да и Папорова не станет гнать своего друга из дома и орать, что я ханжа, что поучаю ее (то есть предлагаю ей то, чего она не хочет слышать), что притворяюсь ангельской невинностью или невинным ангелом (не помню), а меня на самом деле видели с мужчиной. Муранова Маргарита тоже была недовольна моей скрытностью, тоже кричала, что я не друг, что зачем-то фальшиво взбадриваю их эрзац-надеждой (ее слова), что впереди только мрак и сожаление об упущенных возможностях, зачем издеваться над одинокими людьми, если у самой все шоколадно. Папорова еще добавила, что я эгоистка и мне одной везет...

Ну вот так это было.

А не хотела я им рассказывать. Если — по озвученному Папоровой и поддержанному Мурановой мнению — счастье заключается в наличии стационарного мужчины, то я счастливее их. Потому зачем я буду ставить себя в заведомо выигрышную позицию? Я не хотела их ранить. Не хотела вызвать зависть. Сожаление. Слезы — в конце концов!

Слезы все равно были обильные. Вот что значит — насмеялись вначале.

И я им все равно ничего не рассказала.

Да и нечего рассказывать. Все в моей жизни по-прежнему. Я надеюсь, что так.

У кого был Котя, у кого сейчас Котя и котя, а у меня Боба.

Да — это про Бобу я им не рассказала. Ну смешно же.

Отчет десятый

Сегодня Восьмое марта. Глупее этого праздника только Двадцать третье февраля и День народного единства. Мы не празднуем. Я объяснила почему, и Боба понял.

Бобу зовут Роберт. Да, Бобик, можно сказать. Кошачье-собачьи имена — надеюсь, это все, что меня связывает с Восьмым марта и мурочко-настенькиными традициями. Боба не кот, как Котя у Папоровой, и не муж, как бывший Котя Муры.

Бобой назвала Бобу его бабушка. Маме и папе Бобиным пришлось присоединиться.

Я с Бобой, и я полна фобий. Пусть так. Жениться мы не будем. Наверное, я Бобу люблю, но жить останусь с родителями. Бобе там нет места. Перед нами с Бобой весь мир, а маленькую норку счастья и уверенного покоя я хочу навсегда оставить за собой.

Я постаралась предусмотреть все. Обезопасить себя от всех страданий, которые

могут обрушиться, — это я вынесла из опыта женщин, которые любили без оглядки. Я не приобрету с Бобой никакого общего имущества, ни в коем случае не заведу ребенка. Если ребенка я захочу, то у меня будет чем платить его няне — я завела специальный депозит и перечисляю туда деньги. Гипотетический ребенок будет только мой, и с голоду мы с ним не умрем. Чтобы в нашей с ним ячейке был отец, нужно, чтобы этот отец обязательно любил меня — а где гарантия, что гипотетический же отец не сбежит или не разлюбит меня, оставаясь в семье только ради ребенка?

Нет, в ресторанах мы не платим с Бобой по счету пополам, мы с ним одинаково щедры и не мелочны. Он такой славный. Я и не знала, что можно так радоваться кому-то. Я радуюсь. И уж тем более я никогда не думала, что эгоистичное, лживое, нестабильное и подлое существо под названием «мужчина» может вызывать к себе такую приязнь. Поэтому никакого совместного быта. Мне так хочется заботиться о Бобе — но я не буду. Я должна очень постараться.

Это виновата природа, это все гендерность — думаю, Клара и Роза, чьи труды я так и не изучила, тоже это понимали, а потому призывали к равенству. Природа ради продолжения человеческого рода заставляет женщин очаровываться мужчинами, осеменяться и взращивать потомство без гарантий верности партнера и, главное, его помощи в этом взращивании. Религия назвала эти природные флюиды любовью, поставила воспроизводство на контроль и поток, снабжая население своевременными вводными — и женщины, подгоняемые заложенным природой томлением по любви и нежным чувствам, окончательно закабалились. Трепетать, ожидая, надеяться, бояться, пытаться нравиться, украшаться, молодиться, учиться не упускать любовь и быть желанной... Я не могу в этом участвовать. А нежности хочу. Радости хочу. От взаимной приязни возникает счастье. Так приятно чувствовать себя счастливой. А когда мы счастливы взаимно...

Но Боба... Ну зачем ты, Боба? Я боюсь, что в имени и кроется разгадка этого временного помешательства. Скоро очарованию наступит конец. Рано или поздно он у всех наступает. Исключения подтверждают правило, и я скорее тоже окажусь в числе тех, на кого распространяется правило, а не крошечная доля исключения. Такова статистика. Исключение — это чудо. Кто сказал, что чудо достанется именно мне? Некоторые, правда, по поводу себя именно так и думают. Что с ними произошло чудо, в их жизнь вошла великая любовь. В мою не вошла. Это случайность.

И я не путаюсь в показаниях. Я фиксирую Восьмое марта.

Без слез перечитать написанное за десять отчетных лет не смогла.

Боба никогда не видел меня плачущей, бегал за водой, волновался. Искренне, просто даже неудобно, до чего искренне. Где, где подвох? Когда Бобе надоест? Как только я расслаблюсь? Да я потому специально и не напрягаюсь, любите нас черненькими.

Всё, не плакать. Интересно, над собственными дневниками рыдают только графоманы — или все?

Какие мы с девчонками были все-таки нелепые! Хоть и веселые, если быть честной. Это такое веселье, разве нет? Почему я во всем сомневаюсь, даже в прошлом?..

Где сейчас Мура и Папорова? Не знаю. Знаю, что Папорова работает в турфирме, ориентированной на Скандинавию, буквально месяца за два до осложнения с Азией и Африкой соединив свою жизнь с горячими турами на счастливый север и не прогадав. Она умная, Папорова. Да и интуит к тому же. Не плохая, не хорошая. Папорова как Папорова. Пусть она будет счастлива.

А Мурочка хорошая. Она очень хорошая. Я тайно дружу с Мурочкой. Встречаюсь нечасто. Она такой славный человек, что, когда я о ней думаю и желаю ей счастья, мое несентиментальное сухое сердце обливается кровью. Потому что кто, как не она, большого человеческого счастья и заслуживает?!

Если бы у Бобы был клон или близнец, я подарила бы его Муре. Самого Бобу она не возьмет. Потому что мой. И останется в ее представлении моим, даже когда мы с ним расстанемся. Она так сильно желает нам с Бобой счастья, а мне не дурить, что, когда она это говорит, у нее из глаз слезы летят в разные стороны прямо-таки брызгами. Наверно, коллеги и пациенты такого за Маргаритой не замечали. Она настаивает на том, что главное счастье в жизни — это счастливый брак: только взаимная преданность, только нескончаемое очарование друг другом. Тогда ничего не страшно. Мура утверждает, что высказывание подкреплено опытом, потому что она на больных насмотрелась и сама пожила.

И еще она говорит: это неправда, что любящие люди должны смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Это боевые подруги Клара Цеткин и Роза Люксембург могут себе позволить — вместе смотреть в далекое туманное будущее, Маркс, Энгельс и Ленин на барельефе и красном флаге, ибо все они не в отношениях, а связаны по работе. А любящие — только друг на друга. Жить, жить, смотреть — и радоваться.

Мы с Бобой летим в Танзанию. Скоро первая транзитная пересадка. Я же покинула архив и теперь работаю в экологической программе. С Бобой, с Бобой работаю. Где работаем, там и знакомимся.

Пусть нашим с ним домом будет планета. Перед планетой мы равны. Чего я не могу сказать о природе, которая нашептывает известными ей способами женщинам нужные ей программы, а социум эти программы поддерживает и продолжает усиливать неравенство. Иногда мне кажется, что Боба вышел из леса — а потому, как Тарзан, не знает социальных законов. Он заботится и как будто заглядывает мне в душу, а еще потому, что не злится и терпит то, что я гоню в оборонительных целях. Как тяжело готовиться к тому, что такой дивный человек меня бросит! Пусть я все предусмотрела, вплоть до договоренности о переходе в другую команду программы, но уже заранее больно.

Боба смотрит на меня, Боба улыбается. Он ждет, пока я закончу печатать.

В самолете тоже никто не празднует. Состав у нас интернациональный. Иностранцы не знали, а наши устали. Так что Восьмое марта, помимо того что часовым поясом сменилось уже на девятое, спокойно сошло на нет.

Какой ты нежный, Боба, почему ты так смотришь, почему тебе хочется верить? Сколько женщин разбило себе сердца и поломало жизни, уверовав в то, что возможна жизнь за каменной стеной, если кто-то из твоих, Боба, собратьев, пообещал или внушил им это? Как надо вывернуться, чтобы поддерживать твое желание быть этой стеной и оплотом счастья? Где взять такой ум и талант?

Нет у меня ответа. Я тебя люблю, а себе не верю. Я готовлюсь, что ты во мне разочаруешься, я не умею бросаться с головой в омут любви и не бояться.

Но у меня есть норка, туда я уползу.

Выключаю айфон.

Дай руку, любовь!

Галина Нерпина

Пространство нежилое

Времена года

1

Луна стянула с плеч рубаху
посеребрённого шитья
из звёзд,
рассыпавшихся прахом
пристойного небытия.
Она шинкует черепицу,
всю ночь соскальзывая с крыш,
и светом обливает птицу
и след от неуклюжих лыж.

Кругла, смешлива, розовата,
стоит потом у входа в лес,
где снег, как сахарная вата
в стране немыслимых чудес...
И воздух смерти так высоко,
и непонятно почему,
ей там тепло и одиноко,
как в этом мире — никому.

2

Не поднимает солнце головы
и голубую кровь переливает
и тайный смысл
мерцает средь листвы
блестит её поверхность лицевая

И птицы как заправские вруны
высвистывают радостные звуки
кружат с восточной лёгкой стороны
невидимые солнечные мухи

Суровый сумрак палкою стучит
и страхом наполняет хор нестрогий
но быстрые горячие лучи
бегут навстречу сбившимся с дороги

* * *

Станет легче...
Откроется давняя дверь —
и наступит весна.
Станет легче, поверь!
И затеется дождь. За пустым гаражом
пузырится вода, как весёлый боржом.
Неужели возможен порядок такой,
Или нет — беспорядок,
в котором покой
безнадёжная жизнь освещает одна
ежедневно, навеки...
До самого дна.

Нерпина Галина Николаевна — поэт. Родилась и живет в Москве. Окончила философский факультет МГУ, кандидат философских наук. Автор пяти книг стихов. Лауреат литературных премий. Редактор журнала «Кольцо А».

Изобретение паруса

Он где-то долго и бесславно жил.
Покрылся пылью, что-то ел со всеми.
Почти что спятил, с птицами дружил.
Внутри него заканчивалось время.

Но человека всё ведёт к воде.
В ней, растворяясь, исчезает старость.
И вот однажды, вопреки судьбе,
он просто так изобретает парус.

Щенячье счастье ветра, корабля —
служить хозяину без страха и без слова...
Владыка паруса — прощай, земля! —
он сопределен всем стихиям новым.

На борт поднявшись, чтобы жить опять,
он капитан — теперь уже навеки.
Морская, без единой складки, гладь.
И сумасшедшая свобода в беге!

* * *

На утренний дым над водой леденящей,
на лес драгоценный за старым мостом,
на всех, в этот час по земле проходящих,
кого не слизал еще век языком —
смотри...
И прелестная, в крыльях прозрачных,
висит стрекоза... И вот-вот за углом
откроется счастье, что вовсе не значит,
что кто-то одержит победу над злом.

* * *

Розы расцветают...
В.А.Жуковский

Нетронутая, полная весна —
которой человек уже не нужен.
Он слишком вероломен и недужен —
чтоб на него обрушилась она.
Зато деревья, птицы и трава
возьмут себе её тепло живое.
А человек — пространство нежилое:
он просто нижет временно слова.
Вот он стоит с заточкою в руке —
и словом равнодушно точит слово.
И ничего не замечает снова...
И розы расцветают
вдалеке.

Дмитрий Шеваров

Тень проходящего Петра

Странички из дневника

> ...так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
>
> *Книга Деяний свв. Апостолов. Деян. 5:15.*

Светотень Петра

Почему-то хорошо представляю, как стремительно шел Пётр, рассекая толпу, как люди бежали за апостолом, догоняя его целительную тень и падая в пыль, ложась на песок или на мостовую.

Жизнь Петра представляется теперь сложенной из камня, недвижной. Про его тень мы давно забыли. Лишь в редкие мгновенья мы вдруг чувствуем: и тень может быть светом. И как же нам хочется тогда хоть на несколько минут удержаться в этой спасительной светотени. А когда проходит время, то мы прижимаемся памятью именно к этим мгновеньям необъяснимой полноты бытия.

Запечатлеть эти мгновенья в слове — напрасный труд, но мы совершаем этот напрасный труд, потому что в нем наше упование, наше сопротивление смерти. Мы верим, что Господь договорит недоговоренное нами, подберет оброненные слова, как собирает он далекие звуки, гаснущие в сумерках. И тогда обломки нашей речи войдут в плоть юного, как свежая глина, бытия.

Нараспашку

Я бы хотел смотреть на мир удивленно, широко открытыми глазами. Но жизнь сложилась так, что «в кадр» попадает все больше уродливого, грубого, а бывает — и просто мерзости. От этого мы начинаем инстинктивно зажмуриваться. Привыкаем жить с почти закрытыми глазами. Оставляем себе лишь щелки, в которые испуганно наблюдаем за жизнью. Но так хочется вернуть себе доверчивость и открыть глаза нараспашку. Помоги нам, ключарь благодати, Петре апостоле!

До войны

Это мне не пригрезилось, нет. Я застал еще эти маленькие городские усадебки, осколки довоенного бытия. Толкнешь серую калитку — и оказываешься в «до войны».

Не мне судить — я родился через семнадцать лет после Победы — но отчего-то

Шеваров Дмитрий Геннадьевич — прозаик. Родился в Барнауле в 1962 году. Окончил журфак Уральского университета в Свердловске. Автор нескольких книг художественной прозы, очерков и эссеистики. Последние публикации в «ДН»: повести «Петрофит» (2009, № 3), «Приключения книжного мальчика» (2015, № 11). Лауреат ряда литературных премий. Живет в Подмосковье.

кажется, что запах дождя и сирени, извести и сырых опилок — это такой главный довоенный запах.

И легко представить, как на ветхой расшатанной веранде у круглого стола собираются вечером домочадцы — старушка с пасьянсом, женщина с вязанием, девочка с лото и я с книжкой. Поскрипывают во дворе качели, потрескивает плетеное кресло-качалка. И чем гуще сумерки, тем светлее сирень, белее платья и книжные страницы.

Осыпаются капли дождя. В бочке, до краев наполненной, качается темная вода со звездами. И первый раз кружится голова от близости любимых глаз. Девичьи руки мелькнут, обовьют, и шепот пройдет по липовым кронам, и тревожно загудит где-то далеко паровоз.

И тогда двор вдруг раздвинется до мирозданья, и тайной наполнится каждый уголок сада, и тропинка от веранды к калитке станет отражением Млечного пути. И возникнет в груди счастливое расширение сердца.

Так ты узнал, что любишь, любишь и будешь любим непременно, потому что одному не вместить эту любовь.

Какая-то птица воркует в рыхлой и влажной глубине сада. Вокруг лампочки вьются белесые ангелоподобные мотыльки. Ты то уходишь в сад, вздрагивая и смеясь от падающих за ворот капель, то возвращаешься, притихший и смущенный, на веранду. Как хорошо сидеть вместе на плетеном диване, подобрав ноги. Сброшенные туфли беззащитно и растерянно ждут хозяйку. Душа замирает от жалости.

И хочется вновь убежать, держась за руки, в сиреневую глубь сада, и навсегда прижать к себе это родное, бесконечно родное существо, а потом глядеть и глядеть друг другу в глаза, лишь спиной чувствуя медленное движение милых теней на веранде, и благодарить, благословлять весь этот защитительный, стариковский уют. Еще вчера из него хотелось бежать. Казалось, что ты вырос из него, а теперь ты понимаешь, что только это место на земле встанет перед глазами, когда скажут «родина...», и загремят шаги, и повестка задрожит в руке у мамы, как бабочка сейчас дрожит, облетая лампу.

Как хочется длить эту теплую ночь, задержать ее, чтобы подольше помолчало радио, чтобы не гремел рукомойник, чтобы еще хотя бы час любимые губы бродили у моего виска и зеленая звезда глядела на нас.

Звенят чашки. Убирают посуду. Кто-то сходит с веранды со свечой, близоруко вглядываясь в темноту сада, окликает. Это меня зовет мама.

Фиалки

Дед Леонид Иванович не был сентиментальным человеком. За войну он получил орден Красной Звезды. Почти до восьмидесяти лет ездил в экспедиции в такие места, куда иногда и вертолетом трудно было долететь. Он привык и к тяжести рюкзаков, и к бремени ответственности.

Но при этом его душа была невероятно восприимчива к нежному миру растений. Никогда более я не встречал человека, который бы так понимал цветы. Они любили деда так, как редкого хозяина любят собаки. Комнатные цветы цвели у него почти круглогодично.

Однажды зимой бабушка Вера заметила, что дед тоскует и ничто его не радует. Не зная, что и придумать, чем его отвлечь от грустных мыслей, она вспомнила о своей знакомой, которая жила в Сочи. Бабушка написала ей письмо и попросила прислать фиалки — любимые дедушкины цветы. В эту пору (а был февраль) они уже начинали цвести на юге. А в Свердловске еще стояли морозы, и весну можно было только воображать...

И вот спустя две-три недели дедушка получил посылку из Сочи. Принес домой, открыл ящик, а там — четыре букетика фиалок! Он поставил их в комнате и стал звонить всем знакомым и с восторгом рассказывать, какой изумительный человек живет в Сочи, какое чудо произошло!

А бабушка глядела на него и была счастлива.

На даче

Вечером за дачным поселком золотится сосновый бор. В сухой траве, на взгорке, мы с бабушкой Тасей собираем землянику. С каким-то новым чувством я оглядываюсь на проселочную дорогу, чуть видную в поле, на весь этот длинный-длинный день. Я хочу вспомнить, когда же было утро, и не могу.

Мы возвращаемся в дощатый домик. Тени от сосен легли на забор. У кого-то яичница скворчит, и радио «Маяк» обещает, что все будет хорошо.

Даёшь оладушки!

У теста было плохое настроение. Оно не поднималось.

— Что-то сегодня со мной неладно, — вздыхала бабушка Тася.

А это просто батареи еще не топили, и в доме было холодно. Тесто — оно нежное, не любит холода. Вот и настроение у теста было так себе.

А у меня в тот день настроение было приподнятое. Потому что я знал, что даже из некудышного теста бабушка сделает что-нибудь вкусное. Не пирожки, так оладушки, не оладушки, так блинчики... И сразу очень вкусно запахнет. Тепло с кухни согреет весь дом. А еще к оладушкам бабушка обязательно достанет варенье.

И я закричал:

— Даёшь оладушки!

Но тут бабушка попросила меня не кричать попусту, а слетать в пирожковую за тестом.

В пирожковой всегда тепло, и тесто там всегда пышное. Надо только не застудить его на улице, а поскорее принести домой.

А мне что-то неохота было лететь в пирожковую. Я как раз собирался считать марки. Мы с Мишкой еще вчера договорились, что пересчитаем свои марки и у кого больше — тот победил.

И тут это тесто. Настроение у меня упало. Но что делать?

Я собрался, включил третью космическую и через пять минут стоял в пирожковой перед поваром. Я запыхался и ничего не говорил, а только помахивал бабушкиным пакетом.

Повар в белом колпаке тоже выглядел запыхавшимся, на лбу у него блестели капельки. За спиной у него тепло вздыхала огромная кастрюля с тестом.

Повар подмигнул мне, посыпал себе на руки мукой, а потом ловко запустил одну руку в кастрюлю и как фокусник выхватил оттуда килограммовый увалень теста. Увалень как колобок покрасовался на широкой ладони повара, а потом шлепнулся в мой пакет и затих.

Я отдал деньги, сунул пакет с тестом за пазуху, включил первую космическую и через четыре минуты стоял перед бабушкой. В доме пахло оладушками!

— А к вечеру сделаю пирожки, — сказала бабушка, принимая от меня пакет с тестом.

Тесто хоть и не само бежало, но выглядело запыхавшимся. Бабушка полюбовалась им и завернула пакет в старую кофту, а сверху положила дедушкин ватник.

В доме было как-то особенно уютно и тепло. Часы тикали. На столе стояла банка с вареньем.

Я ел оладушки за обе щеки, а думал о пирожках.

Анютины глазки

Помню, в конце прошлого лета я забрел во двор маленького старинного храма и присел на лавку у цветника (кстати, вы заметили, что в наших городах полноценные цветники уцелели лишь у храмов?) Никого вокруг не было, потому что и службы в тот день не было. Правда, тут же выпрыгнул из травы рыжий котенок и сел рядом. Котенок

умывался, а я смотрел на флоксы — они дробным малиновым цветом горели на солнце.

Потом я заметил, что от флоксов тянутся вверх паутинки — они пронзали кроны лип и мимо колокольни струнами уходили в небо. Это было так непонятно и удивительно — за что же эти паутинки цепляются там, в небе?

Иногда с липы падали листья, и котенок бросался ловить их. Потом я заметил, что из зарослей длинноногих флоксов, растрепанных ночным дождем, на меня кто-то смотрит тихо и ласково. Это оказались анютины глазки. Они напомнили мне брошку с бабушкиного платья. Анютины глазки были любимыми цветами бабушки Таси. Она сажала их каждый год на клумбе под окном.

И тут я вспомнил, что на календаре — день, памятный печалью.

Так мы сидели с котенком и анютиными глазками, поминали бабушку, а золотые паутинки тянулись в небо.

Первый ручей

Однажды в конце зимы я жил в деревне. По ночам еще морозило. Днем снег так сверкал на солнце, что казалось: вот-вот он начнет таять. Но снег не таял.

Я вышел на берег и сел на перевернутую деревянную лодку. Было так хорошо, так тихо. Вдруг я услышал какие-то хитрые звуки, они шли из-под лодки. Это были еле уловимые переливы колокольчиков. Иногда они сменялись тонким шелестением фольги.

Я встал на корточки и прижался ухом к оттаявшей щелке между сугробом и лодкой, и понял, что где-то там, на глубине, течет первый весенний ручей. Еще никому невидимый, он торит себе дорогу, поет, хотя услышать его пока никто не может.

Весенний вечер в храме

Низкое солнце сквозь окно падает на иконостас, высвечивая то апостола Петра, то апостола Павла. Люди, проходя в этом свете, кажутся бесплотными. Потом свет бережно окутывает Богородицу и начинает гаснуть, гаснуть под «Свете Тихий...».

Я подошел к клиросу, и тут маленькая девочка вдруг взяла меня за руку. Я присел на корточки рядом с ней. Она взяла другую мою руку. Потом сказала: «Я думала, что вы дядя Паша, а вы не дядя Паша?»

— Нет, я дядя Дима.

Но она так и не выпустила мои руки.

Пасхальное утро

Про Пасху нам никто не говорил, но словом *Пасха* дышал весенний воздух, шелестел и похрустывал, как подарочная бумага. Вот-вот развернется перед тобой что-то такое...

Помню особенный свет в доме, особенное солнце на лице («играет»), особенное чувство невесомости в теле, необъяснимую радость, витающую меж людей и предметов, между небом и землей.

Выхожу на площадку нашего второго этажа, чтобы бежать во двор, и тут на секунду слепну от солнца, бьющего в низкие окна, замираю от предвкушения купания в свете, окунания в свет, как в купель. И воздух, залетающий в форточки, из дверей подъезда, — он не снеговой уже, а травный. Хотя никакой травы еще нет. Только на бугорке в саду, на первом припеке — свечные огоньки мать-и-мачехи.

В углах двора, в тени еще угрюмо глыбится старый снег. Дедушка Коля берет лопату, раскидывает его по двору, чтобы быстрее стаял.

Скамейка под липой высохла и даже прогрелась, приятно приложить ладонь к серым, морщинистым доскам. Вот и играем на скамейке, возим машинки туда-сюда,

а ветер приятно трогает виски, щеки, хочется дышать глубже и глубже. Хочется стянуть шапку и ловить головой ветер, солнышко.

Кошка пришла на нашу скамейку, растянулась блаженно, пришлось нам с машинками потесниться.

Тоненькие облачка, почти призрачные, как оренбургские платки, пролетают по синеве неба.

Хозяйки окна моют, туда-сюда створками водят. Солнце прыгает от окна к окну, падает в лужи и отскакивает от них, как мячик.

На огородах костерки занимаются. Земля курится. Скоро и яблони задымятся белым цветом.

Я пошел проведать небо

Под калиткой лежит вода, а в ней — небо. Еще пустое, чистое, как холст на подрамнике.

Оно возвращается раньше облаков и птиц. Поначалу просто небо, а потом все остальное: облака, птицы, одуванчики, ледоход...

На земле идет подробная жизнь. Сочится рыхлый снег, опадают последние сугробы, бьются частым птичьим сердечком маленькие ручьи... Но главное происходит в небе. В нем происходит синева.

Как хорошо бы сейчас проведать вологодское небо. Оно совсем не такое, как в Москве. Оно пониже будет. А по цвету — под стать куполам вологодского Софийского собора, серо-серебристым, полным благородной тишины.

Если забраться на колокольню собора, то небо будет рядом. И видно, что земля похожа на домашний пирог, кругла по бокам и бока пропечены прощальными лучами вечерней зари.

Небольшое небо, а вот тянет проведать. Слышу, будто кто ворчит на меня: «Небо, небо... лучше бы посмотрел, что на земле творится...»

Но, слава Богу, — есть небо.

Зимняя лампада

Фиолетовые тени лежат в поле.

Солнце низкое обходит дозором снежные владения, обманчиво горячо горит в окнах, на куполах храма, ласкает черно-белые ветви старого дуба. Какая-то маленькая птаха вдруг завьется в небе и нырнет под невидимую мне стреху.

Розовеет снег. Тащится рыбак в толстых валенках на резиновом ходу. Дымки белые ветер сносит с севера на юг.

Лампада в такой зимний вечер горит как-то радостно, тем особенным светом, который веками обнадеживал твоих предков. И тянет долго-долго смотреть на этот свет, не отрывая глаз и души.

Тепловозные гудки

Где-то в ночи загудел тепловоз, и я проснулся, недоумевая. Какой это был горестный и одинокий звук!

Тепловоз давно ушел, а я остался сидеть на диване. Тикали часы в коридоре, ночное безмолвие вновь сомкнулось над моей головой.

А тепловоз летел где-то сквозь тьму, среди дмитровских лесов, и уже на других переездах раздавался его сиплый гул, более похожий на плач.

Зачем он позвал меня? О чем хотел мне напомнить?

Я вспомнил, как в отрочестве тепловозные гудки звали меня на вокзал, я толкался у касс, бродил по перрону или протискивался между чемоданов, котомок и рюкзаков в зале ожидания. Люди спали, дремали или сидели в той смиренной задумчивости, какую я больше нигде не встречал.

Я возвращался домой счастливый и грустный, растерянный от возвращения к самому себе. После сутолоки вокзала уединение было особенно сладким. И книжка на столе, и стукоток бабушкиной швейной машинки в соседней комнате, и шуршание дедушкиной газеты, и тихое бормотанье радио...

Ни с кем я тогда на вокзале не знакомился и даже не заговаривал. Ну, быть может, краешком глаза любовался на какую-нибудь девочку-ровесницу, которая шла по перрону или на мгновенье появлялась в окне поезда. Взгляды для меня значили больше, чем слова, а сердце было так затаенно счастливо, как будто я с кем-то очень близким и любимым проговорил до утра.

Первый снег на Третьем Околотке

Первый снег первым увидел Юра.

А я сидел, уткнувшись в раскраску, и по заданию Юры раскрашивал волку хвост синим фломастером. Кроме этого хвоста я ничего и не видел. Иногда Юра строго говорил мне: «За хвост не вылезай».

— Не вылезаю, — говорил я.

Юра смотрел в окно и ел печенюшку. Вдруг он схватил меня за локоть, и мой фломастер тут же вылез за границы хвоста.

— Это что? — тихо спросил Юра.

Я посмотрел в окно.

— Это снег.

— Зачем?

— Не знаю, — сказал я честно.

...Мы познакомились утром, когда оказались в одном купе. В тот момент, когда на станции Пермь-главная в купе вошел трехлетний Юра с мамой, я читал газету. С тех пор я больше газету не читал, потому что у меня появилось много новых обязанностей: рисовать ежей, зайцев, бочонки с медом и машины-эвакуаторы. На такой машине работает Юрин дедушка. Живут они (Юра, его мама, папа, дедушка и сестренка Поля) в городе Красновишерске, за триста шестьдесят километров от Перми. В Красновишерске есть лес, пилорамы, ягода морошка, нефть и даже алмазы, но нет такого медицинского оборудования, чтобы лечить маленьких детей. Даже в Перми его нет. Поэтому Юру два раза в год направляют на лечение в Москву, в главную детскую больницу. Они живут там с мамой три недели, а потом едут обратно.

Прошлая зима для Юры — это что-то очень далекое, поэтому он так удивился первому снегу. Если бы за окном вдруг отряд пионеров пронес лозунг «Экономика должна быть экономной», я бы, наверное, так же удивился.

Итак, мы с Юрой оставили волка с синим хвостом и, сплющив носы об стекло, стали глядеть на снег. Хлопья снега тоже норовили прижаться к нашему окну. А прижавшись, таяли и превращались в капли дождя.

Поезд ехал среди гор потихоньку, с опаской, и мы успевали примечать много интересного.

Снеговой заряд пролетел вместе с тучей, и нам открылась маленькая станция с новогодним названием «Морозы». Желтый домик. Рядом сарай. На его крыше лежат пригоршни свежего снега. Около сарая, под навесом — поленница, сложенная из березовых дров. На дровах сидит кошка.

— Как ее зовут? — спрашивает Юра.

— Наверное, Ласка, — предполагаю я.

— А у нас кошек зовут Фрося и Муся. А собаку — Муха.

— Не у нас, а у бабушки, — поправляет Юру мама. Пока мы смотрим в окно, она вяжет. Из мотка веселой оранжевой веревки — такую же веселую оранжевую мочалку.

А вот летит сорока. Она летит в ту же сторону, куда едет поезд, обгоняет нас, и это как-то обидно.

Мы проезжаем совсем близко от горы. На ее северном склоне травы склонились на восток, заиндевели празднично, будто это священники вышли из алтаря в белых

облачениях, помахивая кадилами. Но вот выехали мы из тени, и травы сняли сияющие одежды, выпрямились под солнцем, вспоминая свой летний бурный рост, свое майское младенчество.

С горы нам открылся какой-то городок или поселок. Сначала пошли брошенные цеха с крышами, поросшими лесом и бурьяном. Потом пошли домики с огородами. Огороды пусты и черны. Редкие дымки из труб мечутся от ветра.

У меня с детства эта первая сиротская зима вызывает дрожь, почти сотрясение души. Запах подмороженной ботвы, брошенного капустного листа. Мокрый снег на изнанке забора. Столбы телеграфные тоже обметаны снегом с одной стороны, с севера.

Первый хрупкий ледок на лужах. Снег на ребрах раскатанной трактором дороги. Тишина.

Все проселки усыпаны палым листом — будто сусальным золотом. И лужи, где стоит вода, кажутся драгоценными сосудами — особенно когда синие снежные тучи раздвигаются и небо в просвете вдруг заголубеет по-весеннему. Но только набежит туча — глохнут, тускнеют краски. Будто невидимый художник уносит свою картину в чулан, в запасники. И пока он думает, какую еще картину вынести на свет, вся природа стоит, как пустая мастерская. И лишь только какой-нибудь черный засмолевший, когда-то телеграфный, столб стоит посреди поля.

Но не успеем мы заскучать, как художник выносит нам новый свой пейзаж: солнце, кажется, навсегда укрытое тучами, все-таки умудряется послать нам свет сбоку, от горизонта, в узкую щелку между землей и тучами. И этот боковой вечерний свет похож на дольку мандарина.

Когда я приеду в город, то зайду в «Овощи-фрукты» и куплю абхазские мандарины — они забавные, в листьях и на веточках. От листьев пряно и грустно будет пахнуть теплым морем, какими-нибудь разомлевшими Гаграми.

А пока за окном корова бродит по оранжевой от солнца траве, выискивая зеленые былинки, а другая корова вышла к дороге, смотрит на поезд — любопытная. Пастух греется у костра.

На рябинку в овраге слетелись воробьи — будто тоже греются; гроздья ягод горят на солнце, как маленькие костры.

Далеко-далеко, за облетевшими лесами, вдруг вырастают синие горы, а вылетит поезд на простор, и окажется, что это все те же тучи — притворились горами.

Станция «Черная речка». Собака проснулась, вылезла из конуры и удивленно смотрит кругом: уснула в осень, а проснулась — зима.

И снова серый плат неба, уже не изысканный, без вышитых облаков на голубом фоне, а просто полотно. Просто поле. И просто первый снег летит и застревает в мокром ворсе земли. И почему эта неприглядная картина милее мне, чем сияние небес, чем простор реки, чем пестрядь лесов?

Юре надоело смотреть в окно, он умчался в коридор, бегает с пистолетиком. А я все не могу оторваться от этого бескрайнего поля. Когда-то в октябре мы уезжали из студенческого колхоза, убрав двести гектаров картошки, и, оглядываясь на пустое поле, чувствовали не торжество, а необъяснимую тоску, словно оставляли на этой земле и под этим небом такую дружбу и такую любовь, которой никогда не будет в городе.

В купе заглядывает наша проводница — полная добродушная женщина. Предлагает сыграть в лотерею по номерам железнодорожных билетов. «А вдруг повезет удача?» — заманчиво спрашивает она то ли себя, то ли нас.

Юрина мама осторожно интересуется подробностями. За участие в лотерее надо заплатить сто рублей, а потом два месяца ждать результатов розыгрыша.

— Мы так долго ждать не можем, — говорит Юрина мама, — я-то думала — шмыг и выберем билетик.

— Нет, у нас не шмыг, — обижается проводница, — у нас все капитально. Вот посмотрите.

Проводница показывает нам журнал с фотографией какой-то женщины и подписью «Она выиграла миллион». Юрина мама вздыхает и возвращается к вязанию.

Тут я догадываюсь, почему на зеркале в туалете наклеена была странная надпись: «Возможно, на вас смотрит миллионер». Это реклама все той же лотереи.

Вечером на станции «Третий околоток» нам меняют электровоз на тепловоз. Юра спит, уткнувшись в мамины колени. Я выхожу в тамбур и спрыгиваю на платформу. Ветер несет по ней сухую снежную крупу. Старушка продает теплые носки из ангорской шерсти. Я выбираю для годовалой внучки самые маленькие и кладу в карман. Трогаешь рукой и кажется, что это не носки, а котята.

Пассажиры вышли покурить и допрашивают проводницу, почему из Москвы поезд идет на час дольше, чем в Москву. Проводница загадочно отвечает:

— От Ельнича до Котельнича шесть часов, а от Котельнича до Ельнича пять часов.

Вдруг поднимается тревожный ветер, старые березы дрожат, будто в ознобе. Чаща ближнего леса темнеет и становится именно чащей.

Тепловоз прицепили, проводница загоняет нас в вагон и закрывает тамбур. Потом она начинает готовить чай, звенеть стаканами. Худой общительный мужик, который ко всем обращается на «ты», рассказывает: «Помнишь, как при Горбачёве трудно было сдать бутылки? В Сургуте их вовсе не принимали, и народ всю реку бутылками закидал. Так вот один мужик все их выловил и сдал целую баржу. Разбогател в один день, а сейчас в думе заседает. Смышленый...»

Тепловоз протяжно загудел, разогнался и полетел сквозь снежную ночь, как вихрем перевернутая сова с горящими глазами.

«Надо нарисовать Юре перевернутую сову», — успел подумать я, прежде чем уснул.

А Юрочка видел, наверное, уже десятый сон.

Лошадь в яблоках

Зимой мне часто снится наш маленький сад. Стоило мне закрыть глаза, и я видел, какой он стоит заброшенный и глухой. Как падают яблоки в высокую траву, а корявые ветки качаются им вслед.

Сад во сне был осенним—таким, каким я его видел последний раз. Однажды мне приснилось, что через провалившийся штакетник в наш сад забрела лошадь. Она услышала, как падают яблоки, и опустила в траву свою темную голову.

Трава обняла лошадь за шею, спуталась с гривой. Лошадь брала яблоки аккуратными большими губами и неслышно ела.

Сад чувствовал себя маленьким рядом с лошадью, и ему это нравилось. Он хотел, чтобы лошадь жила здесь: сидела бы на крылечке заколоченного дома, жгла бы костер на плешинке против окна и рыхлила бы иногда землю под деревьями.

Яблочный дух волновал лошадь, она о чем-то вспоминала, иногда поднимая голову и глядя в глубину сада.

Осенний жухлый туск плыл вокруг лошади, и только ее восточные раскосые глаза блестели в сумерках.

Лошадь чувствовала себя виноватой. Ей хотелось извиниться перед кем-нибудь за то, что она ела чужие яблоки, и за то, что она, такая большая, забрела в такой маленький сад. Но никого вокруг не было. Только паучок торопился на ночлег, поднимаясь у самой морды лошади по невидимой паутинке. Лошадь вздохнула, и паучок, поднятый ее теплым дыханием, улетел на яблоню.

Ночь упала в траву, и яблоки утонули в темноте. Теперь яблоки легко было спутать с ежами. Поэтому голова лошади вынырнула из травы и поднялась к небу.

Небо шелохнулось, заметив лошадь, но тут же смирно и ровно занялись три первые звезды — молочные и свежие.

Три последних яблока, уцелевших на самой дальней ветке, сперва поплыли над садом, над землей, а потом с деревянным стуком попадали на крышу старой дачи.

Но лошадь уже не видела этого. Она прошла по узкой улочке дачного поселка, кивая заколоченным окнам, потом вышла в сухое поле и поскакала по нему, взрывая солому.

Скоро лошадь спустилась к реке и стала пить, закрыв глаза. Когда она открыла глаза, вода еще дрожала от больших лошадиных губ, от звезд, просыпавшихся именно в это место реки и медленно уплывавших по течению.

Ночная студеность быстро сгладила реку до прежней зеркальности. Лошадь увидела в воде другую лошадь — всю в яблоках.

До утра они гуляли вместе вдоль реки — просто лошадь и лошадь в яблоках. Жаль, не видно было маленькому саду.

Облака

Облака плыли, а я стоял на берегу. Они так быстро текли надо мной, подсвеченные солнцем — левитановские, будто только написанные на холсте. Я долго-долго так стоял, задрав голову, окунув лицо в это небо. И если бы мне надо было рассказать кому-то, как выглядит *благодать Божия*, то я бы сказал, что это летние облака на закате.

Покров

В день Покрова Пресвятой Богородицы с утра всегда тихо. Так никогда не бывает — только в этот день. Мороза и снега не было и в ночь. Небо с утра затянуто мягкой поволокой серых облаков и туч.

Богородица наше сердце обволакивает, обнимает тишиной, чтобы оно хоть отдаленно могло почувствовать радость вечной жизни.

Дверь

В подъезде моего детства была фанерная дверь. Потянув за ручку, косо, не без изящества, прибитую с внешней стороны, в подъезд легко мог войти и старый, и малый. Ручка была теплая, деревянная. Стоит подержаться за нее — и на душе веселее.

В том доме у нас уже давно никто не живет, но иногда я приезжаю в Вологду и прихожу к нашему подъезду, чтобы просто подержаться за родную ручку. Правда, прикручена она уже к новой, железной двери. Рядом домофон, как везде теперь.

Поезд приходит рано утром, и, когда я подхожу к дому, все еще спят. И это замечательно. Можно спокойно постоять, ощущая в руке тепло старого дерева.

Не знаю, сколько я так стою у закрытого подъезда, держась за ручку. Увидит кто, подумает, что это бомж стоит и держится, чтобы не упасть. Кстати, слова «бомж» не слышал в детстве. А пьяненьких мы любили, потому что они были всегда добрые.

...Тут из соседнего подъезда вышел человек с собакой. Собака зевнула, равнодушно глядя на меня. Потом и человек заметил меня и тоже зевнул. Мне стало неудобно, и я отпустил ручку двери. Посмотрел на наши окна на втором этаже и пошел обратно на вокзал — грустный и счастливый. И чего было в душе больше — грусти или счастья — знал лишь Господь.

Свобода

На раскаленном асфальте сидел лягушонок — размером меньше наперстка. Он был не зеленый, а коричневый. Спекся от жары, бедняга. Его легко было принять за кусочек сосновой коры, упавшей на дорогу. Но моя жена узнала в этом кусочке коры живое существо. Я посадил его на ладонь, закрыл пальцы-двери, получился домик. Пока я нес его к реке, лягушонок стучал во все двери: мол, свободу мне, свободу!

Я спустился к реке и выпустил его на мокрый песок.

Под вологодскими звездами

Как легко отринуть дневную мороку, когда дышит над тобой океан небесный. Господи, как сладко молиться под твоими звездами! Всю бы ночь так простоял. И вспоминается такой же вечер много-много лет назад, когда впервые захотелось плакать от счастья, а не от горя...

Сумерки сгущались, вчитываться в пожелтевшие страницы было уже трудно. Осыпались где-то в кустах переспелые ягоды малины. Откуда-то музыка доносилась, и женский голос пел грустно, а что — не разобрать.

Дядя Толя ставил мотороллер в сарай; дядя Шура, полив огород, сворачивал шланг; баба Клава неслышно, как привидение, собирала белье, и в сумерках казалось, что белье само плавно покидает веревку и укладывается в таз.

Все игры и рассказы утихают, как только кто-то из девочек вскидывает голову к небу: «Ой, звезда!..» Это Полярная глядела на нас своим материнским оком.

За воротами, по улице, стуча каблучками, шли с танцев взрослые ребята и девушки, светлые платья и белые рубашки мелькали в щелках забора. Кто-то напевал: «На Большой Медведице дышится легко — От звезды до звезды — недалеко...»

Девочки вздыхали, мальчишки сопели, все о чем-то думали, глядя в небо. Потом каждый выбирал себе звезду:

— Чур, вон та, желтенькая, моя!

— Какая?.. Ха! Это нечестно! Я давно на ней живу!

— Ой, девочки, а моя звездочка летит!

— Эх ты — «звездочка»! Это же спутник!..

Все, что мы узнали о звездах потом, в старших классах, — это крохи астрономических знаний, почти ничто в сравнении с тем, что открывалось нам летними вечерами. Было ощущение всей Земли — как родного двора. Было чувство любви, льющейся с неба. Мы ничего не знали о Библии, большинство из нас и не ведало о ее существовании, но глаголы вечной жизни падали в наши сердца. Никто почему-то не говорил, как на уроке: «Я буду космонавтом!..» Просто даже такая высокая мечта под звездами казалась уж очень привычной, а хотелось говорить непостижимыми, особенными словами. Не находя их, мы переглядывались.

Потихоньку ряды звездных мечтателей таяли. Через открытые окна доносилось: «Марина, домой!», «Миша, ну сколько тебя звать!..», «Дима, где ты? Ночь на дворе...»

В конце концов мы остались на скамейке с Ларисой — тоненькой, как былинка. Ей, наверное, было зябко в сарафане. Мне хотелось что-то набросить ей на плечи, но под рукой ничего не было. И в эту минуту вдруг такая нежность на меня нахлынула, что я даже дышать перестал.

Потом и Лариса убежала домой, а я остался наедине с неразгаданными тайнами космоса.

Портрет мальчика с белым отложным воротником

На выставках и в картинных галереях нас почему-то больше всего манят к себе портреты неизвестных. «Незнакомка», «Портрет неизвестного в треуголке», «Портрет неизвестной с сыном», «Портрет неизвестной в голубом платье», «Портрет неизвестной с цветами в волосах», «Неизвестный в шляпе», «Портрет мальчика с белым отложным воротником»...

Перед этими портретами хочется задержаться, к ним возвращаешься, они что-то говорят нашему сердцу. Этот молчаливый диалог может длиться годами. Возможно, с героями портретов нас роднит то, что и мы для них — неизвестные. Будто на соседних путях встретились два поезда, пассажиры смотрят друг на друга через окошки. Минута, другая — и поезда разойдутся навсегда, умчатся в противоположных направлениях...

Спасательная станция

Было это много лет назад. Нам с женой было чуть больше двадцати лет, мы только поженились и сразу поехали в свадебное путешествие. А путешествие наше состояло в том, что мы ездили из одного среднерусского города в другой, любуясь стариной и радуясь всему, что встречали в пути.

В один из дней мы оказались на пристани в Тутаеве, ждали возможности перебраться на противоположный берег. Летний день стоял в зените. Мы укрылись от зноя в тени тополей. Это были такие старые деревья, что кора их окаменела, а корни обнажились, поражая своей мощью и запутанностью.

На другом берегу стоял храм, колоколенка сияла свечкой — глаз не оторвать. Над белокаменным крыльцом храма висела какая-то вывеска, а что написано — не разобрать.

Кроме нас, ни древним тополям, ни белой церкви, кажется, никто не удивлялся; люди равнодушно шли мимо с пристани и на пристань.

Скоро к пристани подполз паром, но оказалось, что на нем перевозят только лошадей и коров. А нам надо ждать катера. Утешало то, что билеты для людей были намного дешевле, чем для парнокопытных, — всего по пять копеек. А билеты были серьезные, на них строго и торжественно значилось: «Минречфлот. Волжское объединенное речное пароходство ПЕРЕПРАВА» и штамп с датой «2 августа 1984 года».

Народу на берегу собралось много. Вскоре к пристани подошел маленький катерок с открытой палубой. У трапа началась толкучка. Мы приготовились ожидать следующего рейса, но каким-то чудом все разместились на катерке.

Последним на борт вошел босой старик с всклокоченной бородой и мохнатыми бровями. Штаны у него были подвернуты почти до колен, выгоревшая рубаха надувалась парусом.

«До чего живописный старик, — подумал я, — просто древняя Русь».

Не был ли то отец Павел Груздев? — думаю я сейчас. Недавно, читая книгу про знаменитого старца, я узнал, что именно в ту пору, в начале 1980-х, батюшка жил в Тутаеве. Он не только служил в храме и помогал людям, но и писал стихи для детей. Например, такие:

Ветер с дуба листья рвёт,
дням осенним счёт ведёт.
На ветвях один листочек,
до зимы один денёчек.

...Мы не успели оглянуться, а катер, маневрируя и отчаянно тарахтя, чалил к берегу. И можно было разглядеть, что за вывеска над входом в церковь.

Написано там было: «Спасательная станция».

Снег с дымком

Ночью выпал первый снег, а потом наступил день. Наступал он неохотно, будто кто-то медленно, зевая, раздергивал шторы. Отодвинет немного штору, потом поглазеет на синиц, поковыряет в носу.

И все-таки день наступил. Из окна он выглядел пасмурно, но вот вышел я во двор: белый-белый-белый снег в глазах и ничего больше. И даже когда я зажмурился — снежный свет все равно пробивался в щелки. Так летом в закрытый погреб через щели между досками пробивается солнце.

И пахло тоже снегом — свежим, рассыпчатым.

Это очень вкусно — когда пахнет снегом. Но чего-то в этом запахе мне не хватало. Я открыл глаза, попривык к свету и заспешил по своим делам. Шел и все думал: чего же мне так не хватает в запахе снега?

И вдруг вспомнил: не хватает дымка. Ведь когда я был маленький, в такую пору в каждом доме топили печи березовыми дровами и снег, прежде чем упасть на землю, смешивался с дымом из труб.

Вы даже не представляете себе, как важно, чтобы свежий снег был с березовым дымком! Это веселый дымок, от него щекотно в носу и уютно на душе.

Но откуда в городе взяться березовому дымку? Вот бензинового дыма — сколько угодно, но он хоть и невидимый, а тяжелый, унылый. К тому же бензиновый чад совершенно перебивает запах самого снега.

Я свернул на тропинку, которая вела на станцию, к электричке. Шел мимо понурого забора, который давно завалился набок, и вдруг — веселый запах березового дыма! Я остановился от неожиданности, потом осторожно снял шапку и понюхал ее. Мне почему-то подумалось, что шапка могла каким-то образом проникнуться моими детскими воспоминаниями и от этого возник яркий мираж обоняния. Нюхал я шапку, нюхал — ничего особенного: шапка спортивная, серенькая, пахнет стиральным порошком «Ворсинка».

Тут я поднял голову и увидел: дымок курится над забором, и в нем дрожит тусклый желток зимнего солнца.

Откуда же этот дымок — из трубы? Никакой трубы не видно.

Я посмотрел в щелку забора: двое мальчишек — один постарше, другой помладше — жгут костерок на пустом огороде. Они бросают в него кору, содранную с сырых дров, и старые газеты. Черные хлопья от газет разлетаются по огороду, от них весь снег в пятнышках и крапинках — как ствол берёзы.

Поющая липа

В начале лета я проходил тенистым парком и вдруг услышал, как поет старая липа. Эта липа, должно быть, помнила Пушкина. И вот она совершенно несолидно для своих двухсот лет пела, щебетала, попискивала.

Вы скажете, что быть того не может, липы не поют, а пели, верно, птицы где-то среди листвы. Да, и я так в первую минуту подумал и, задрав голову, выискивал птиц в пестрой солнечной зелени. Но ветви липы были высоко в небе, а пение шло от ствола липы — морщинистого и почти окаменевшего от древности.

Я в изумлении стал обходить липу и вдруг заметил узкую расщелину. Тут, чуть не задев меня крылом, в расщелину нырнула синица. Вот чьими голосами пело дерево! Старушка-липа приютила синицу с птенцами.

Я тихо отошел от липы и пошел дальше, представляя, как уютно, наверное, там, у синиц, какие толстые и теплые стены у липового дома — настоящая дворянская усадьба!

...На обратном пути я вновь замедлил шаг у старой липы. Прислушался. Все молчало, лишь где-то в кронах шептались листья. Очевидно, в синичьей усадьбе был тихий час.

Глоток света

Побежали титры, погасла музыка, и в тишине повисло слово «конец». Потом задрожал и погас экран. Стало так темно, как будто мы упали в черные чернила. Захотелось крикнуть «спасите!», но тут дежурная тетя Шура отдернула тяжелую штору, закрывавшую выход, и толкнула дверь.

С улицы косо хлынул свет, повис ослепительным облачком.

Народ потянулся, стуча по деревянному настилу каблучками, шурша сандалиями и громыхая сапогами. Так, наверное, муравьи по весне, отворив первую дверцу, тянутся к свету из густой темноты муравейника.

Какой бы интересный фильм мы ни смотрели, а все-таки главным счастьем было вот это: выйти на свет Божий из киношной тьмы, зажмуриться от солнца и, вдохнув осенний или колкий зимний воздух, побежать домой.

Неоконченный рассказ о любви

За окном шел снег, а мне вдруг вспомнилось лето.

Так бывает — когда на дворе зима, вспоминаются самые блаженные летние дни. И обычно — далекие-далекие. Когда тебе двенадцать или тринадцать лет, а может, и того меньше. Когда ты влюблен первый раз и так сильно, до немоты и дрожи, что ничего другого нет в сердце и ты ничем другим заняться не можешь, как только быть влюбленным. То есть можно только искать на пустырях цветы, собирать их, приносить к порогу, искать встречи, придумывать клятвы, смотреть вечером в одно окно, ходить по карнизу, стоять под дождем, петь песни на языке, которого не знаешь — например, на итальянском...

Мне захотелось написать обо всем этом, пока шел снег. Казалось: вот кончится мельтешение снега за окном — и я больше не услышу запаха того лета, когда за соснами лежало море, а в море, на рейде, стояли пограничные сторожевые корабли. Мы гуляли босиком по песку, а сторожевики сторожили нас.

Я не знал, получится ли у меня рассказ о любви. Очень хотелось, чтобы получился. Я написал несколько строк, но отчего-то испугался их вида, их реальности на бумаге, строгой определенности букв. Ложась на бумагу, слова теряли свою воздушность, текучесть, таинственную невесомость.

Так я бросил начатое, и снег прошел за окном даром. Осталось досада на самого себя.

Иногда мне жаль тех брошенных строчек, и я дописываю еще несколько и опять прячу в стол тетрадь.

А на море меня привез дедушка Коля.

Поздно вечером я возвращался в нашу комнату на первом этаже через окно, потому что дедушка уже спал. А мне было не до сна, я бродил как лунатик за своей любовью, мне надо было видеть ее все время. А если строгая мать уже загоняла ее домой, мне надо было видеть дверь, за которой она скрылась, ступеньки, по которым она шла, скамейку, на которой она только что сидела...

Удивительно, как дедушка все это понимал. Он не только не пытался загнать двенадцатилетнего мальчишку домой, он даже не требовал, чтобы тот непременно явился к такому-то времени. Хотя, конечно, не мог уснуть, пока не заскрипит оконная рама и я не спрыгну в комнату. Тогда меня это не удивляло. Мне казалось, что если я влюблен, то и дедушке не может не нравиться эта девочка. Он должен обожать ее.

Ни разу, ни единым словом дедушка не усомнился в достоинствах моей избранницы. Ни одного упрека по поводу моего полуночного образа жизни. Ни одной насмешки над моей рассеянностью, бессмысленной улыбкой или внезапными слезами...

Он не просил и не требовал от меня ничего рассказать, понимая, что есть вещи, где слова беспомощны, где объяснения (или, как сейчас говорят, «выяснения отношений») опасны, если не убийственны. Я только видел, что он счастлив вместе со мной. А когда она уехала, он был несчастлив так же, как я.

И в последние дни перед отъездом я возвращался в нашу комнату через окно. Створки были приоткрыты доверчиво, как всегда. Дедушка, подложив под щеку ладонь, притворялся, что он спит. Все по-прежнему, только ее не было.

Я сел на подоконнике и вспомнил, как две недели назад шел дождь и я сидел вот так же, свесив ноги на улицу, рядом сверкала и грохотала водосточная труба. И глядя тогда на дождь, я понял, что люблю. Это был проливной дождь — быстрый, смешанный с солнцем. Не знаю, отчего я тогда не взлетел.

А познакомились мы так — вместе ухаживали за одним котенком. Потом ходили на танцы — нет, не танцевали, просто стояли рядом, смотрели, как взрослые танцуют. Мне тогда захотелось немедленно научиться танцевать. В школе мы разучивали только полонез. Я побежал в соседний корпус. Под музыку из радиоточки какая-то тетенька учила меня вальсировать. Я не доставал ей и до плеча, но мужественно взял

этот снисходительный урок. Краснел, загребал ковер, наступал на ноги даже самому себе...

Танцы в клубе тем временем кончились.

Спустя два дня мы вместе с дедушкой проводили ее на автобус. Она все жалась к своей маме, и я, подавая вещи, только успел пожать ей руку. Она вскинула на меня ресницы, и я покраснел до кончиков ушей. Мы даже ничего не сказали друг другу. Она уехала.

А я взял в библиотеке «Капитанскую дочку». Нам задали на лето. Стал читать и вдруг увидел одну строчку, которую Пушкин написал о нас. Обо мне и о девочке, которая уехала навсегда: «Мы оба молчали от полноты сердца».

...Нельзя рассказать о любви. И просить рассказать о ней тоже, наверное, нельзя. Ведь это не проза и даже не стихи... Это — любовь. Она так наполняет сердце, что о ней можно только молчать.

И все-таки я иногда достаю старую тетрадку и вписываю туда еще несколько приснившихся мне строк.

Осенняя песня скворца

В начале осени в Москве на Савёловском вокзале поселились скворцы. Они сидели на проводах и пели, подняв к небу тонкие оранжевые клювики, улавливая ими последнее солнце.

Я специально придумывал себе какое-то дело в Москве, чтобы поехать из своего Подмосковья на вокзал и послушать скворцов, полюбоваться на их черное оперение с изумрудным отливом.

Скворцы бесстрашно ходили под ногами у пассажиров, другие уселись на проводах и выводили такие рулады, какие и весной не всегда услышишь.

Однажды все скворцы вдруг исчезли. Остался один. Он сидел на хлебном киоске, смотрел в небо и самозабвенно пел. Из-за этого скворца я даже на свою электричку опоздал. Электрички еще будут, а скворец улетит, и когда еще я его увижу?

Вот стоял я, и слушал скворца, и смотрел, как у него булькает и топорщится горлышко.

Шум, гам, репродуктор объявляет платформы, а скворец закрыл глаза и поет себе, как на опушке. Странно, что никто этому не удивляется. Люди спешат мимо, уткнувшись в свои сотовые телефоны, айпеды и айфоны.

Интересно, а если вдруг завтра на Савёловский вокзал прилетят, к примеру, магеллановы гуси или вьюрковые ткачики — неужели и этому мы не удивимся?..

А потом пришла еще одна электричка в мою сторону, и поток людей увлек меня на платформу. Перед тем как запрыгнуть в вагон, я оглянулся, нашел черное пятнышко на крыше хлебного киоска: «До свидания, скворушка!»

Галоша

В середине октября бывает такая неделя, когда вдруг так прояснится, что ни облачка не набегает на небо и эта небесная ясность замерает над землей, над нами. И вот тут-то мы не прозевали, не замешкались, к счастью, а поехали в Плёс, куда давно мечталось попасть в осень.

Мой товарищ фотограф катил за собой тележку с аппаратурой и улыбался в усы, в бороду, про себя. Но я видел, что он улыбался, и тоже не отставал, улыбался. И так мы шли с автостанции под горку, за спиной звякала на камнях тележка, а под горой лежал Плёс: маленький, рассыпчатый, весь в крышах. А небо над нами — пустое, как река. А река пуста, как небо.

И дом отдыха, в котором мы решили поселиться, тоже был пуст. В сопровождении дежурной мы бродили по этажам, выбирая комнату окнами на Волгу, но не совсем застуженную.

Пока мы устраивались, наступила ночь. Окна нашего номера тут же запотели. А за ними — черно. Но я выключаю свет и вижу огни Серково — села, что стоит на том берегу. А над селом устроились Медведицы — Большая и Малая.

Под окном плёсские девицы смеются, курят. Но и это не смущает нашего торжества и наших возвышенных мыслей. Мы не видим, но слышим, как движется большая река, как эта исподняя глушь вздыхает и каждый вздох отдается короткими шлепками воды то ли по причалу, то ли по мосткам.

На другой день мы узнали, что причал увезли до весны. Навигация закончилась. Остался на реке только катер по прозвищу «галоша». Несколько раз в день он не совсем уверенно пересекает остывшую Волгу, переправляя на своей открытой палубе случайных и неслучайных пассажиров. Капитан худ, молчалив и обветрен, как и положено капитану. По «галоше» узнают время те, у кого нет часов.

Нам надо было пойти по плёсским музеям, поснимать, поговорить с научными сотрудниками. Но мы что-то все стояли у реки, смотрели, как «галоша» одолевает ее со старческим покряхтываньем. Рядом, на деревянном рыночке, две бабушки продавали творог и три головки чеснока. Когда мы появились, они умолкли, и теперь все глядели на нас.

«Пора купить что-нибудь... — сказал мой товарищ. — А то неудобно: стоим, ничего не покупаем». Он купил головку чеснока, мне пришлось купить полкило творогу.

На катере мы решили потом прокатиться, оставили этот праздник на то время, когда мы его заслужим. Когда устанем от людей, от разговоров — вот тогда и поедем в Серково. Мы же в командировке, от нас ждут не вздохов, а фактов. А на снимках должна быть не одна лишь заиндевевшая трава — вся в белой бахроме, она отходит под солнцем и днем ее щиплют козы, — нет, не трава и не козы должны быть на снимках, а что-то серьезное, весомое.

Паутина над нами летит — невесомая! — и я кричу своему товарищу: «Володя, улетит, снимай скорее!..» И он догоняет паутину, снимает ее в полете и тут же фотографирует дым от тлеющих опавших листьев. Дым лениво плывет, застилая солнечный свет. Кошка морщится от дыма и покидает забор в таком медленном — сквозь дым и свет — прыжке, что я успеваю поймать ее. И она засыпает у меня на руках, а Володя фотографирует меня на память с чужой кошкой.

А дела ждут нас, неотложные дела, и командировочные идут, неприметно тают, и я думаю об этом. Не хочу расстраивать Володю, но оставляю в покое кошку, и мы идем в гору. Володя прячет камеру под курткой на груди — чтобы объектив не запотел от холода. И кажется, что там не фотоаппарат, а кошка.

Вечером, завершив все командировочные дела, мы возвращались домой. Воздух подстывал. Лениво перетявкивались собаки за рекой, на спасательной станции слушали радио, и последние новости долетали до нас по реке бессмысленными обрывками. Мы уловили только обещание снега в средней полосе, но и в это не верилось.

Пока мы шли, на реке зеленый огонек катера то приближался, то удалялся. Наконец он стал решительно приближаться. Мы обрадовались, будто кого-то ждали с этим катером.

«Галоша» осторожно пристала, бросили мостки, кто-то сошел в сапогах, пролетела в воду искорка папиросы.

— Нет, ребята, завтра приходите. У меня последний рейс был...

Капитан гремел каким-то железом, запирая свое хозяйство. Мы пошли дальше по набережной, ступая в желтый свет от окон и снова окунаясь в темноту. Но хорошо было даже в темноте. Городок остался позади, а впереди чернел скалой наш дом отдыха, и дежурная лампа вахтера напоминала, что там жилье, там казенное, но все-таки тепло.

Мы говорили о теплоходах и лошадях, о том, что скоро зима и как хорошо, наверное, будет кататься здесь на лыжах. И еще о многом мы говорили в предвкушении уюта и сна.

Оказавшись в своей комнате, я, не включая света, сел у окна и отчего-то вспомнил о другой ночи. О том, как несколько лет назад, плывя на океанском корабле, я вдруг проснулся, выглянул в иллюминатор, а там ночь непролазная, южная, и только в одном месте брошена горсть огней. И удивительно: пахло почему-то нашей осенью, дачным костром. Тем последним костром, который жгут перед отъездом, когда все вещи уложены и дети отрешенно глядят на костер, на его слабый огонь и медленный дым, застилающий сад... И долго не мог я оторваться от иллюминатора, от этого обманно знакомого воздуха, от огней на чужом берегу. Я не знал, где мы плывем, но откуда-то сверху кто-то сказал звонко: «...Дардарнеллы...» И кто-то еще повторил это слово, и оно покатилось по палубе, как будто рассыпанная мелочь.

...Утром, наскоро подкрепившись, мы с Володей пошли на катер. Плес тонул в тумане. Там, в тумане, звякали ведра, скрипели калитки, пробовали горло петухи, кто-то сладко зевнул и зашебуршал веником по крыльцу. А еще кто-то влажно фыркнул мне в ухо. Я испугался и отбежал на всякий случай: вдруг это корова или лошадь. Не хочется попасть под корову или лошадь таким чудесным утром.

Мы с Володей так и не поняли, кто мне фыркнул в ухо. Возможно, просто кто-то шлепнул белье на мостках.

Самый густой туман стоял над рекой. Из тумана вышла жена капитана, взяла с нас по две тысячи за билеты, и вот под нами забурчал мотор. Мы отвалили от берега.

А где-то над нами летят журавли

На окраине городка Кимры есть роща. Посреди нее — лужайка, где летом мальчишки гоняют в футбол. Сейчас все в школе, не до футбола, и нетронутая паутина тянется меж высокой травы, как провода особо секретной связи. У деревянных футбольных ворот скучает в одиночестве стреноженный конь Беслан. Почему его так назвали — не знаю. Может, потому, что у него печальные глаза.

Серый с проседью конь иногда встряхивает мордой и поглядывает в переулок — не идет ли Мишка. Ушастый и конопушистый пятиклассник Мишка по дороге из школы всегда приносит Беслану кусочек сахара, конфету или кусок хлеба. И главное: Мишка всегда поговорит с Бесланом, погладит его.

Я познакомился с Мишкой еще в августе, когда после ночного ливня с грозой мы оба пришли поутру в рощицу за грибами. Мишка, узнав, что я приезжий, показал мне грибные места. «Тутошним не выдал бы, — степенно сказал он, — а вы все равно не запомните...»

Пока мы выглядывали в траве подберезовики, Мишка рассказывал про ночную грозу: «Я бы и не проснулся, да Юлька-сестренка разбудила. Маленькая она, боится. "Глянько, говорит, чего там в окне моргает?" — "Да не бойся, это гроза". — "А почему грому не слышно?" — "А гром не поспевает..." И тут как грохнуло!»

Пока я вспоминал этот летний разговор, на переулочной тропинке появился сам Мишка, и, завидев его, Беслан стал охлестывать себя хвостом и просительно шевелить губами. Мы поздоровались, и Мишка достал из рюкзака припасенный кусок хлеба.

На осеннем солнце Миша казался еще рыжее, чем летом. Загорел в каникулы. Мишкины уши обрели цвет спелой облепихи.

Мишка кормил Беслана, хлопал его по гриве и рассказывал нам, что нового в школе:

— У нас с Сашкой проблема! Он новенький. У него родители запили. Ни учебников, ни тетрадей ему к школе не купили. Сидит на уроках и балду гоняет. Сегодня Мария Сергеевна сказала нам всем принести завтра по рублю сорок, чтобы Сане купить учебник...

Вдруг Мишка наклоняется и поднимает невесть откуда слетевшее белое перышко. Невесомое, нежное, просто сказочное перо. «Журавль потерял, — сказал Мишка, — я такое перо в прошлом году нашел. Вот так же, осенью. Мы на огороде с Юлькой, а они — курлы-курлы. А где — не видать. Высоко летят. А потом вот перо упало. Мы его бабушке подарили, а это, хотите, вам подарю?»

Я открыл книжку, которая была у меня с собой и вложил перо между страниц.

Тут на лугу появилась целая стая мальчишек.

— Эй вы, лесная братва, погодите! — окликнул их Мишка. Он похлопал на прощанье Беслана и по-мужски пожал мне руку: — Мы костер пойдем на речку жечь. А потом мне дом надо докрасить...

Он забросил за спину рюкзак и побежал догонять друзей.

По дороге, переваливаясь на ухабах, тащился автобус. Провода вдоль дороги золотились как паутина. На отставленной деревянной ноге телеграфного столба сидели и грелись стрекозы. Столб был старый, весь в морщинах и трещинах, и теплый-теплый от солнца. Мне тоже захотелось прижаться к нему щекой.

Беслан вдруг замер, к чему-то прислушиваясь. Уши его чуть вздрагивали.

Где-то над нами летели журавли.

Читают ли стихи деревья?

Уезжал в командировку и пошел на станцию через старый дачный поселок. Когда-то тут располагалась усадьба двух сестер, совершенно чеховских героинь. Они посадили липовый парк, построили первую в округе школу и учили там детей. В советское время усадебный парк поделили между дачниками. Москвичи выращивали огурчики и окучивали картошку под мирной сенью дворянских лип.

Теперь место скромных дощатых дачек заняли неприступные коттеджи. Немногие из уцелевших лип оказались окончательно разлучены — их отделили друг от друга высокие заборы, увитые колючей проволокой. Теперь никто не догадается, что сто лет здесь была тенистая аллея, ведущая к храму.

И вот я шел узкой тропинкой между этих глухих заборов, как вдруг моего лица и слуха коснулось какое-то особенное движение воздуха — такое отрадное, свежее и торжественное, какое бывает у моря. Где-то высоко надо мной пробежала волна. Я поднял голову: это шумели под облаками кроны лип-сестер. Разлученные на земле, липы соединились в небе. Молодая листва сомкнулась в одно изумрудное море; в нем радостно плескались встающие на крыло маленькие стрижи и ласточки.

Шум листвы звучал как столетие назад — единым оркестром. Будто к живым липам присоединились и те, что давно вырублены.

Я стоял и слушал, забыв на несколько минут о своем поезде, о командировке. Душа что-то жадно вспоминала-вспоминала, пока не узнала в этом зеленом шуме ту первую музыку, что мы слышим в младенчестве — лепет листвы над детской коляской. Тогда язык листвы и веющего ветерка был нам куда понятнее, чем человеческая речь.

Сейчас мы не отличим веселого говора берез от строгой проповеди дуба, испуганного бормотанья осины от морского шелеста лип. Интонации и смысл языка деревьев для нас потеряны, но сам зеленый шум — разве не освежает он душу, разве сердце не признает его чем-то самым утешительным на свете?..

Удивительно, но на поезд я не опоздал. А добравшись до Урала, иногда вдруг вспоминал напутственный шум подмосковных лип.

Улыбка истины

Лето в начале 1980-х. Маленький город с лодочной станцией и заброшенными церквушками. Я забрел в библиотеку и, покопавшись в картотечных ящиках, обнаружил сочинения Владимира Сергеевича Соловьева 1909 года издания. Неужели это тот самый философ, заклейменный в учебниках словом «идеалист» и «мистик», таинственный чудак, длинноволосый, как нынешние хиппи?

И вот мне приносят два старинных тома. Заглядываю в первый. «Истина есть сущее всеединое...» И дальше что-то совсем туманное, да еще в старой орфографии. А за открытым высоким окном — июнь, липы цветут, велосипеды звенят.

Я уже хотел вернуть книги, но решил на всякий случай заглянуть и во второй том. «Дорогая Катя! Отвечаю тебе прямо: я люблю тебя, насколько способен любить...»

Катя Романова — 17-летняя кузина Владимира Соловьева, отличавшаяся «жуткой и губительной красотой». Они влюбились друг в друга летом 1871 года. Двадцать лет спустя в автобиографическом рассказе «На заре туманной юности...» Владимир Сергеевич вспомнит: «Мне было тогда 19 лет, это было в конце мая, я только что перешел на последний курс университета и ехал из Москвы в Харьков, где должен был иметь чрезвычайно важное объяснение с одною своею кузиною...»

Не знаю, сколько часов я просидел над этими письмами, столь непохожими на то, что люди привыкли называть любовной перепиской. Но эта далекость от тривиальности и пленяла. Мне тут же захотелось быть таким же умственно пылким, всезнающим, с такими же мучительными и головокружительными идеалами, к которым я звал бы свою девушку. Она бы, конечно, не вполне меня понимала, но не смогла бы меня не полюбить за столь редкоземельные мысли и слова.

После скучных прописей научного атеизма было радостно найти у Соловьева подтверждение собственным догадкам: «Все великие мыслители были истинно и глубоко верующими... Атеистами были только пустые болтуны». Вообще все, что внушал Владимир Соловьев своей кузине, — все это было так необычно, странно и свежо, и высказано было с таким жаром, что кровь приливала к лицу. Особенно меня воодушевляло то, что Соловьев в ту пору, когда он писал письма очаровательной кузине, был моим ровесником.

Ясно, что после Соловьева моя жизнь должна была совершенно измениться. Как она изменится — я еще не понимал, но чувствовал твердую решимость кому-то заявить об этом. Время от времени я оглядывался на тенистый читальный зал в поисках той единственной, которая могла бы оценить мою решимость и найденные мной у Соловьева идеалы. Но позади меня сидели только два старичка-краеведа и один замученный аспирант. В который раз я искренне недоумевал: отчего девушки обходят стороной такое укромное, прелестное во всех отношениях место, как библиотека.

Очнулся я, только когда библиотекарь прикрыла окно и сказала, что читальный зал через пять минут закрывается.

Я вышел на улицу. Длинные тени от тополей тянулись через дорогу. Прохлада холодила виски. Я прижимал к груди тетрадку, полную выписок из Соловьева. Последнее, что я успел выписать, было чуть ли не самым ценным: «Что касается моего мнения о способности женщины понимать высшую истину, то без всякого сомнения — вполне способна... Но дело в том, что по своей пассивной природе она не может сама найти эту истину, а должна получить ее от мужчины. Это факт...»

Июньский вечер, как мне казалось, был лучшей порой для того, чтобы где-нибудь на скамейке поделиться высшей истиной с какой-нибудь родной душой. Но где она, родная душа?

По улице Герцена девушки спешили на танцы в парк ДК железнодорожников. Им было весело и без высшей истины. Они, скорее всего, и о Соловьеве ничего не слышали. Но им весело, потому что в парке уже играет музыка и работает киоск с лимонадом.

Бедные, они совсем не понимают, в чем их счастье. А счастье вот здесь, в этой тетрадке. Так я убеждал себя, пока шел домой. Но сам уже никакого счастья не чувствовал, и внутренний голос сердито выговаривал мне: а ведь ты, парень, дурак — потерял такой красивый день неизвестно на что, а мог бы пойти на пляж или в кино.

Проходя мимо решетки парка, я остановился и долго смотрел на кружащиеся в теплых сумерках пары. Где ты, родная душа?

Осенью нас отправили на картошку в деревню Подгорную. Картошка там действительно росла между горами, а кое-где и прямо на склонах. Урожай был отменный, погода отвратительная. Каждый день простуда уносила из наших рядов лучших товарищей. Товарищи уезжали в город. В конце концов осталась чуть ли не треть от всего отряда. Логично было бы предположить, что битву за урожай продолжили самые здоровые — дюжие парни и девчата «кровь с молоком». Но на утренней поверке

почему-то стояли в основном дохлые очкарики в штормовках и перевязанные бабушкиными платками бледные девочки.

Сейчас не все и догадаются, почему так происходило. А тогда все понимали: судьба перебирает людей, как совхозный агроном по фамилии Ком перебирает картошку. «Стандарт» в одну сторону, «нестандарт» — в другую. Нормальных молодых людей трезвого рассудка судьба отправляла обратно в город, а людей в чем-то странных, задумчивых идеалистов или восторженных фантазеров, она для чего-то оставляла в передовом совхозе «Красноуфимский». Очевидно, не только для того, чтобы они убрали двести гектаров картошки, заработали мозоли и хронический цистит, но и для чего-то другого.

Может быть, для того, чтобы они посмотрели на звезды — таких в городе не увидишь.

...Мы возвращались с поля в кромешной тьме по размытой дороге. Чтобы не сбиться с пути, не оторваться от своих, надо было все время слышать друг друга, а значит, надо что-то рассказывать. И вот тут я вспомнил суждение Владимира Соловьева по поводу девушек — что и они вполне способны понимать высшую истину. Я горячо забормотал что-то о трансцендентальном идеализме, о том, что наступит эра безусловной любви. Однокурсницы, еще на семинарах привыкнув к моей болтовне, дремали на ходу от усталости, а девушки-первокурсницы испуганно и сочувственно слушали меня, как слушают домашние бред несчастного больного, страдающего от высокой температуры.

Вдали моргал огонек совхозной столовки. Он моргал оттого, что дорога шла по холмам и мы то ныряли в овражки, то поднимались в гору. Иногда казалось, что этот огонек — единственная звезда, уцелевшая во Вселенной, а мы — последние жители Земли. И так нам хорошо было идти вместе — то поджидая отставшего товарища, то окликая забежавшего вперед, то подхватывая запнувшегося — так хорошо бывает только братьям и сестрам. И верилось: родная душа — та единственная и давно любимая — она рядом. Завтра я наберусь храбрости и возьму ее за руку.

Шляпы

... — Пора уже шляпы прятать.

Это голос дочки из коридора. И сразу мне послышалась осень, ее шуршание по окнам. «Шляпы прятать... шляпы...» Почему-то представилось, как ежи снимают шляпы и прячут их в листья. И туда же, в листья, прячутся грибы, цветы, трава, облака, бабочки, щенки, маленькие дети и летние вещи — панамки, косынки, воланчики, сандалии... А все зимнее будет постепенно вываливаться из шкафов и кладовок. Последними вывалятся валенки, да так и останутся в коридоре до весны, хотя их никто не носит.

Евдокия Осиповна

Люди уходят и оставляют домам, в которых они жили, свое выражение лица. Один дом мне помнится в сугробах, зимой. Другой, с крышей, усыпанной листьями, — осенью. Третий для меня всегда под летним дождем. Будто в светлых слезах. Его зовут Евдокия Осиповна.

Дороги

Несколько лет назад в деревню, где мы живем летом, приезжал мой племяшик Митя. Племянник то есть. Ему было тогда десять лет. Однажды мы вместе поехали на велосипедах. И там, где дорога сворачивает к соседней деревне, Митя вдруг запел: «Эх, дороги, пыль да туман...» А мы подхватили: «...холода, тревоги, да степной бурьян!» И так ладно мы запели — два девчоночьих голоса, один мальчишеский и мой никудышный.

Так хорошо нам было тогда, что с тех пор, когда мы вновь проезжаем этим проселком, то ровно в том месте, где Митя запел, мы тихонько затягиваем: «Эх, дороги, пыль да туман...»

Под яблоней

Мальчик сидит под яблоней и читает книгу. На свитер ему падает кленовый лист, горит золотом на солнце, но мальчик зачитался и ничего не видит. Не замечает, что осень наградила его орденом Почетного легиона.

Тихий час

Столько детского вспоминается, когда сквозь сон слышишь, что кто-то заботливый встал раньше тебя и ходит осторожными шагами, скрипя половицами, шелестя в коридоре и торкаясь на кухне.

А на улице еще густые сумерки, тишина, только дворники на соседней улице шабаркаются. Сколько сладких младенческих минут было когда-то связано с этим утренним брожением взрослых, их хлопотами и заботой о том, чтобы ты еще поспал... Тихий час любви.

Листья

Запах подмерзших листьев вдруг бросился мне под ноги, когда я возвращался с почты. И сразу захотелось вспомнить, отчего он мне такой горестно-родной. То ли у нас во дворе так пахло осенью, то ли у школы, а может, у реки... Я стоял над листьями и вспоминал. А воздух тоже совсем по-осеннему стоял, не шелохнувшись. И что-то звенело в нем отдаленно, как охотничий рожок.

Эпиграф с обратной стороны

«...— Как вы полагаете, мистер Смит, удастся ли нам выбраться из беды? — спросил моряк.

— Безусловно, Пенкроф.

— Ну, как сказать! Шестеро против пятидесяти!

— Вы правы, шестеро... если не считать...

— Кого? — спросил Пенкроф.

Сайрес молча указал рукой на небо».

Жюль Верн. Таинственный остров

Лиана Алавердова

Как поживают Белинский и Гоголь по ту сторону Атлантики

Оговорюсь для начала, на тот случай, если среди моих читателей найдется негодующий философ. Использовать понятие «культура» в узком смысле, то есть делить его по профессиональному (музыкальная культура, театральная и т. п.) или по национальному признаку, а тем более по ее воплощению (материальная или духовная), когда к культуре относят все, что создано человеком, — настолько распространенная привычка, что и я невольно пошла по этому скользкому пути «просвещенчества». Пуриста-философа я тоже пойму: культура в широком смысле слова — это любое проявление сущностных сил человека, включая их воплощение в продукте любой деятельности, технология отношения к действительности, зафиксированная в информации, — словом, человеческое измерение всего сущего. Тем не менее в рамках этой статьи я все же буду использовать понятие культуры в распространенном смысле, а именно: литература и искусство, язык и манера поведения, то есть преимущественно духовные и социальные аспекты культуры, хотя и от материальных никуда не денешься: любая книга нуждается в материальном воплощении, будь то бумага или компьютерный чип.

Внимание, вопрос: Кто они, рыцари культурного фронта, а именно носители русской культуры в США?

Имя им легион. К примеру, American-Russian Cultural Cooperation Foundation. Организация была основана известными американцами совместно с российским посольством в Вашингтоне в 1992 г. и с тех пор успешно здравствует: устраивает музейные выставки, раздает награды видным деятелям культуры (награждены были в свое время Мстислав Ростропович, Игорь Моисеев, Ван Клиберн, Валерий Гергиев, Евгений Евтушенко и другие).

Или Russian American Foundation (RAF) под председательством широко известной в узких русских эмигрантских кругах Марины Ковалевой (http://www.russianamericanfoundation.org). Основанная в 1997 г., эта организация призвана способствовать развитию понимания и интереса к русскому культурному наследию со стороны всех американцев, включая русскоговорящих, сохранению русского языка среди иммигрантов из России и бывших союзных республик, экономическому процветанию и прогрессу нашей эмиграции и так далее. Поддерживает эту организацию, судя по той информации, которую она афиширует, нещадно

Лиана Алавердова родилась в Баку, закончила исторический факультет АзГУ. Работала в Институте философии и права Академии наук Азербайджана. С 1993 года живет в США, работает в Бруклинской публичной библиотеке. Является автором поэтических сборников, эссе, статей, переводов с английского и азербайджанского языков, которые неоднократно публиковались в журналах, газетах и альманахах в Азербайджане, России и США.

демонизируемый российскими СМИ американский госдеп. Зачем ему это нужно? Представьте, в США все еще пропагандируется мультикультурализм как ценность, и русская культура не составляет исключения. Спонсорами регулярных русско-американских фестивалей, которые устраивает RAF, являются многочисленные американские и российские компании и организации, включая Большой театр и газету «Нью-Йорк пост». Сходная миссия и у другой организации — Russian American Cultural Center (RACC), — основанной в 1998 г. (http://www.russianamericanculture.com). Центр в основном располагается в трех штатах, где проживают огромные русские общины (Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут). Организуются выставки, литературные чтения, просмотры кинофильмов, интеллектуальные симпозиумы на русском и английском языках и другие полезные мероприятия...

Существует также Russian Center New York, который занят сотрудничеством предпринимателей, ученых, интеллектуалов, созывает ежегодно российско-американские форумы в Нью-Йорке и Вашингтоне, а также сотрудничает с Российским обществом рассеянного склероза, соединяя его с аналогичной американской организацией и фармацевтическими компаниями.

Russian American Cultural Heritage Center (RACH-C) помогает обеспечить преемственность русской культуры в эмиграции, способствует сохранению русского языка за границей. Концерты и выступления, детский фестиваль русской культуры, публикации, семинары, помощь родителям, которые усыновили или удочерили детей из России, и многое другое (http://www.rach-c.org). Ведь многие американцы, у которых есть приемные дети из России, хотят, чтобы эти дети не были оторваны от своего культурного наследия, и стараются или поддерживать их русский язык или развивать его с нуля — в зависимости от того, насколько им владеет ребенок.

Но я бы замучила вас, если бы решила перечислить все организации, имеющие отношение к русскому языку и культуре в Америке. Достаточно сказать, что поиск зарегистрированных некоммерческих организаций в базе данных guidestar.org, проведенный по ключевым словам «Russian American», выдал 132 результата, а по словам «Russian culture» — аж 175. Многие ли знают, к примеру, о Музее русского искусства в Миннеаполисе, штат Миннесота?

И все же не слишком обольщайтесь. Некоторые из организаций при ближайшем рассмотрении имеют опосредованное отношение к русской культуре, как, например, Бруклинская публичная библиотека или Интернациональный центр для журналистов (International Center for Journalists, Inc.). Русская культура и язык если и включены в круг их интересов, то находятся явно на периферии. Зная нравы нашей иммиграции, могу предположить, что некоторые из русско-американских организаций финансово небезупречны. Любят ловить рыбку в мутной воде иные наши люди, ничего не поделаешь. Но все же примем во внимание, что организаций, занятых русско-американским культурным сотрудничеством, довольно много. При этом речь идет только о формально зарегистрированных организациях. Незарегистрированных и неформальных гораздо больше — просто пруд пруди!

А русскоязычные СМИ? Тут есть чем похвастать. В каждом большом американском городе, где живут русские иммигранты, а русские сейчас везде и всюду, издаются газеты на русском языке, звучат радиоголоса. К примеру, в Нью-Йорке (хотя Нью-Йорк не характерный для Америки город, а особый культурно-исторический феномен, город иммигрантов) выходит целый ряд газет на русском языке: «Русский базар» и «Вечерний Нью-Йорк», «Русская реклама» и «Еврейский мир», «Форум», «Новый меридиан», «Русский бизнес» и «Община», «В Новом Свете», «Бульвар Гордона» и другие, а также журналы «Теленеделя» и «Интересно». Для телезрителей — множество каналов на русском языке, и российских, и местных (RTN, RTVi). Для радиослушателей — русское радио. И «Радио Дэвидзон», и радио «ДаНу» с неугомонным Севой Капланом. И все для русских эмигрантов и на русском языке. На русском или?..

Каков он, этот русский язык?

Америка давно обрусела в местах компактного проживания русских эмигрантов. В некоторых организациях начальство тщетно взывает: «Говорите по-английски!» Русскоязычные сотрудники сбиваются на родную речь, как только за начальником захлопывается дверь. Что касается чистоты языка — это вопрос особый. Если в России стенают по поводу засорения русского языка англицизмами, то что говорить о переселенцах, находящихся под каждодневным воздействием американской культуры и речи? История доказала: борьба за чистоту языка непременно будет проиграна. Это начинание столь же бесполезное, сколь и древнее. Еще Цицерон жаловался на своих современников, что они искажают латынь.

И тут за дело берется ячейка общества

Сохранение русской культуры в семье — вопрос не долга, а сознательного выбора. Многие родители понимают, что знание русской культуры, как и любой иной, обогащает духовный багаж личности, а владение дополнительным языком еще и развивает способности и помогает потомкам русских эмигрантов в будущем обрести работу там, где требуется двуязычие. Такие родители и читают детям по-русски, и отдают их в русскоязычные детские сады.

Некоторые семьи не хотят, чтоб их дети говорили по-русски, возможно, опасаясь, что это помешает им овладеть английским, или выражая таким образом протест против обид и преследований, которым они или их предки подвергались в России. Каковы бы ни были причины, решение принимается родителями, которые не думают о том, как оценят это решение их дети, когда повзрослеют и осознают, что недополучили то, чем могли бы легко и свободно овладеть в свое время. Один мой знакомый художник был приглашен в семью русских эмигрантов, чтобы давать частные уроки рисования их детям, малышам. Вскоре, однако, ему отказали в работе на том основании, что, дескать, он не говорит по-английски, а родители не хотят, чтобы с их детьми говорили на русском языке. Зато некоторые родители, коренные американцы, у которых приемные дети из России, напротив, озабочены тем, как дать им возможность приобщиться к русскому языку и культуре.

В нашей семье мы старались сохранить русский язык и культуру, хотя дети, что греха таить, в малом возрасте стеснялись «русскости» своих родителей: русской шапки, платка и дубленки, русского акцента... Мы понимали, что это преходящий этап, так как все дети хотят быть «как все», что по сути дела неосуществимо — ведь классических американцев из глубинки в Нью-Йорке меньше, чем представителей этнических и расовых меньшинств. С годами наши дети оценили преимущество, которое дает им знание русского языка, и непременно указывают при приеме на работу знание иностранных языков (одна из наших дочерей говорит по-итальянски, другая по-испански, и обе говорят по-русски).

В своем пристрастии к русской книге мы неодиноки. Кто не знаком с клише о самом читающем народе в мире? В 90-е годы в США хлынула мощная приливная волна русской эмиграции. Кто-то вез книги с собой в чемоданах, кто-то отправлял их посылками, контейнерами. Приехав и оглядевшись, иммигранты обнаружили, что они не на необитаемом острове и что здесь существуют специализированные магазины русской книги. Но тратить деньги на книги, особенно когда быт еще не устроен и есть много других нужд, не всем по карману. Да и не по душе. И вот народ потянулся в библиотеки. Книгооборот отечественных книг в библиотеках долгие годы внушал законную гордость русскоязычным библиотекарям. Помимо привозной продукции, в Америке издаются сотни эмигрантских авторов — стихи, рассказы, романы,

воспоминания; устраиваются творческие вечера, и т.д., и т.п. Казалось бы, все хорошо и можно гордиться.

И все же, что читают русские люди, оказавшись в Новом Свете?

Как выяснилось, этот вопрос занимал не только меня, но и Керен Дали (Keren Dali), доктора наук из Western University, Канада. К вящей моей радости, предметом изучения профессора некоторое время являлась русскоязычная иммиграция. На основе опросов и многочисленных интервью с приехавшими из бывшего Союза у доктора Дали были опубликованы статьи в журналах по библиотековедению и славистике.

Хоть США — не Канада, можно с достаточной долей уверенности допустить, что русские эмигранты, где бы они ни жили, обладают определенным сходством в своих читательских вкусах и предпочтениях. Доктор Дали, изучив читательские вкусы русскоязычных иммигрантов, сделала вывод, что, когда речь идет о чтении для удовольствия, книги на русском языке для большинства из них предпочтительнее, чем книги на английском. Почему?

Чтение на родном языке снижает уровень беспокойства и психологического дискомфорта и позволяет глубже проникнуть в суть прочитанного благодаря знанию родной культуры и языковых нюансов. Юмор, который, несомненно, намного легче воспринимается на родном языке, служит психологической «подушкой», смягчающей проблемы и неприятности, сопровождающие иммигрантский опыт, особенно поначалу. Чтение на русском языке позволяет иммигрантам более интенсивно ощущать свою культурную принадлежность, холить и лелеять «русскость» в душе, сознавать принадлежность к «русскому миру», а более продвинутым из них — и к так называемому «русскому безрубежью» в его невинно-экспансионистской трактовке.

Люди избегают мрачной (в интеллектуальном и психологическом смысле) литературы, предпочитая легкие жанры и юмор. Этот вывод соответствует и моим наблюдениям — и как библиотекаря, и как неоднократно выступавшего автора. Юмористические стихи и пародии пользуются, как правило, большим успехом и вызывают благодарную реакцию аудитории, в то время как серьезная поэзия, независимо от ее авторства, воспринимается с гораздо меньшим энтузиазмом. В то же время, на мой взгляд, есть определенная ирония в том, что 70% любимых книг и книг, читавшихся респондентами во время одного из исследований доктора Дали, были переводными с английского. Не признак ли это того, что русская литература утрачивает свои позиции в борьбе за внимание читателя?

Согласно данным доктора Дали, когда русские иммигранты начинают читать по-английски, они в основном читают жанровую литературу или что попало. Книги Сидни Шелдон, Джона Гришэма, Даниэллы Стил, Николаса Спаркса и других авторов легко и непринужденно завоевывают сердца наших читателей. Бестселлеры и есть бестселлеры. Иногда русские иммигранты хватают с полки второсортные книги и формируют на основании прочитанного неблагоприятное мнение о современной англоязычной литературе в целом, приходят к скоропалительному выводу, будто ничего стоящего и интересного на английском нынче и не публикуется. Сегодняшние иммигранты имеют доступ к гораздо более обширному жанровому разнообразию литературы, чем некогда у себя на родине. Там на их читательский выбор оказывало влияние и окружение (советы друзей и родственников), и мнение признанных литературных авторитетов. На легкую литературу принято было смотреть с презрением, классика почиталась, запрещенные властями книги были желанными плодами. Сегодня все изменилось, в том числе и подход к выбору книг для чтения. Каждый выбирает книги, руководствуясь собственными предпочтениями и интересами. Любовные

романы, фантастика, боевики и ужастики читаются без зазрения совести — кому что нравится. Все же, по моим наблюдениям, такие авторы, как Стивен Кинг, не пользуется популярностью у нашей публики, большую часть которой составляют пожилые люди. Популярны исторические романы и детективы, книги по психологии и самопомощи, а вот религиозных философов, некогда запрещенных советской властью, читают редко. Книги по истории, биографии и мемуары остаются популярными, а книги, написанные авторами-эмигрантами об эмигрантской жизни, как ни странно, не столь востребованы. Отчего? Некоторые читатели объясняли отсутствие интереса к такой литературе тем, что эта жизнь им и так слишком хорошо знакома и читать о ней им не хочется. Исключение, пожалуй, — Довлатов.

Когда участников исследования, которое проводила Керен Дали, опрашивали на предмет критериев отбора литературы для чтения, то чаще всего они называли такие: жанр, репутация автора, ситуация в личной жизни читателя и язык, на котором написана книга. Хотя «качество» книги по старой традиции и упоминалось, но ушли в прошлое влияние окружения, чувство стыда или неловкости, что не читал тот или иной шедевр либо что он не пришелся по вкусу. В целом все же русскую классику, старую или новую, продолжают не только почитать, но и читать. Керен Дали связывает это с фундаментальной привычкой советского читателя оценивать литературные произведения по заданной шкале «объективных» критериев, а именно: «качество» текста и — добавлю от себя — еще место того или иного произведения в истории литературы. Исходя из собственного опыта, скажу, что, если русскую и зарубежную классику и читают, то все же значительно реже, чем популярную переводную и жанровую литературу.

А.К.Толстого и М.Е.Салтыкова-Щедрина, а также советскую классику, к примеру, «Два капитана» или «Живые и мертвые», не читают, хоть ты лопни. А на «Канарейку» Дины Рубиной записываются загодя. Что ж, повыбрасывать все книги и оставить только Рубину и Улицкую? Не дождутся! Временный выход из положения — перебрасывать нечитаемые, но почитаемые книги из одних библиотек в другие. Авось все же будут прочтены!

Стихов никто не берет, будь их авторами даже Катулл или Петрарка, о наших современниках я и не говорю. Лауреаты Нобелевской премии по литературе 2006—2008 годов. Вы знаете их имена? О других премиях и упоминать не стоит. Читают не из-за премий. Скажем, Д.Быкова читают потому, что он мелькает на экране телевизора. Или: умер Валентин Распутин — и возродился интерес к его книгам, которых, увы, в библиотеке осталось не густо. Лежит недвижной томиной книга Музиля «Человек без свойств». А ведь ее Бродский хвалил. Между тем книги, лежащие мертвым грузом, безжалостно списываются, чтобы дать место другим, новым. Борьба за выживание и естественный отбор в чистом виде. А есть еще американская классика, от которой избавиться совесть не позволяет.

Но вернемся к нашим читателям.

С одной стороны, русские читатели в моей библиотеке — самые активные. По циркуляции русские книги у нас больше в ходу, чем английские. Наша библиотека находится в районе, где много русских эмигрантов, и большинство наших читателей — пожилые люди, читающие по-русски.

С другой стороны, все чаще наши читатели обращаются к литературе на английском языке. Романов на любовные темы — пруд пруди, и написаны они простым доступным языком, как раз на уровне недавно освоивших язык иммигранток. Кто б мог подумать, что романы о любви захотят читать восьмидесятилетние бабушки, а ведь читают, да еще взахлеб! Хотя Чингиз Абдуллаев еще и популярен среди русских читателей, но те, кто читает по-английски, уже открыли для себя Джона Гришэма и иже с ним.

Отдельный вопрос — это популяризация русской литературы среди американцев и перевод ее на английский язык. Кого читают, кроме Толстого и Достоевского, Чехова и Булгакова, Набокова и Бродского? Сегодня на продвижение русской литературы за рубежом расходуются немалые средства. Достаточно упомянуть проект Read Russia, спонсируемый, в числе прочих, Российским федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Фондом Бориса Ельцина. Однако, как напомнила г-жа Дали, переводная литература (и это вся литература, включая русскую) составляет только 3% книжной продукции США.

Что ж, получается, что для русских писателей, стремящихся пробиться на американский рынок, дело почти безнадежное — «оставь надежду всяк сюда входящий»? Время покажет. По моим наблюдениям, американская литература большей частью самодостаточна. Американцы переводную литературу с любых языков, в том числе с русского, читают менее охотно, чем свою. Положим, Бабель вызывает интерес у еврейской общины, да и то у немногих избранных, а вот Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Василь Быков, Чингиз Айтматов, Варлам Шаламов, Фазиль Искандер, Василий Гроссман... Кто из американцев или канадцев их знает и читает? Да единицы! Лион Фейхтвангер, который был неимоверно популярен среди советских евреев, американскому читателю, причем даже образованной американской еврейской публике, практически неизвестен.

Между тем наш читатель остается космополитичным в своих интересах и разнообразным во вкусовых предпочтениях. И... продолжает читать книги на русском языке. Значит, у русской культуры и языка в эмиграции дела обстоят прекрасно?

Не все так просто...

Читала недавно книгу Захара Прилепина «Книгочёт», где первая глава категорично названа «Русский язык без почвы не жилец», и задумалась. Прилепин сопоставляет мнения двух любимых им писателей: эмигранта Гайто Газданова и оставшегося в России Леонида Леонова. Казалось бы, Газданов должен был бы ратовать за эмигрантскую литературу, а Леонов — клеймить ее, как и положено советскому писателю. Ан нет! Газданов утверждает, что в эмиграции стали раздувать значение тех эмигрантских писателей, которые в России никогда не были на первом плане, а Леонов убежден, что все мастера слова, кроме Горького, оказались за рубежом. Прилепин солидарен с Газдановым; я, скрепя сердце, — с Прилепиным. В самом деле, послереволюционная эмиграция не так уж много может предъявить. Бунин, Куприн, Цветаева, Алданов, Набоков, Шмелев, Зайцев, тот же Газданов. Можно набрать еще десяток имен. Но разве это сопоставимо с тем числом талантливых поэтов и писателей, которые остались? Для их перечня одной страницей не отделаться!

Более того, в эмиграции ныне живут миллионы русских людей, многие из которых пишут на родном языке, кто на пенсии, кто в свободное от работы время. Но что происходит с их детьми и внуками? Прилепин пишет: «Вполне можно взглянуть из дня сегодняшнего, чтобы убедиться: на русском пишут только эмигранты в первом поколении. Только они! Здесь, наконец, надо произнести одну невеселую истину. Русский — не иврит. Он в неволе не живет».

А ведь он прав! Как ни горько это признавать. Горько, потому что за долгие годы жизни в эмиграции и я, и мои друзья, поэты и прозаики, много всего посвятили русской литературе: стихи, прозу, статьи, выступления, презентации, юбилейные вечера... И что же? Дети наши, хоть и говорят по-русски, глубоко равнодушны к тому, что делают их родители. Много ли молодежи вы видите на литературных вечерах, будь то даже приезжие знаменитости из Москвы? Седые головы вокруг...

С детскими книгами на русском ситуация еще плоше. «Алиса в стране чудес» лежит нетронутой уже семь лет! Как невеста из известной песни. Все русские

библиотекари знают: если книги на русском для взрослых так или иначе востребованы, то русских детей не заставишь читать по-русски. Вот и стоят недвижимо великолепные книги классиков: тут и Киплинг, и Распэ с бессмертным бароном Мюнхгаузеном, и Вальтер Скотт в переложении для детей, и Андерсен, и многое другое. Малышам еще бабушки и дедушки читают «Курочку Рябу» и «Колобка», но как пошли дети в школу да столкнулись с английской речью — пиши пропало! Если дома не говорят по-русски (а есть, как я уже сказала, и такие русские семьи, которые намеренно не хотят культивировать в семье русскую речь), то дети объясняются с акцентом, а их словарный запас «сшагренивается» до минимума. Не только научная терминология, но и простые слова русского языка звучат непривычно для тех, кто давно не читает по-русски. Но в данном случае речь идет даже не о детях, а об их родителях. С какой стати подобная публика пойдет на литературный вечер или возьмется читать книги наших иммигрантов?

Волна русской эмиграции отхлынула, и... барахтаются на берегу магазины русской книги, заполняя полки сувенирами всех мастей: матрешками и платками, посудой, да чем угодно, лишь бы сохранить прибыток. А наш язык постепенно контаминируется чужой грамматикой и лексикой, превращаясь в гибрид. Итак, прав Прилепин! Не живет язык в неволе! Поставить точку?

Не могу. Хочу быть честной

Как же не живет? А наши авторы? Пишут, выступают, издаются.

Журналы и альманахи, клубы и литературные объединения. Перечислю только несколько наименований, да не будут на меня в обиде те, кого оставила за бортом. Старейший в США русский эмигрантский «Новый журнал», журналы и альманахи: «Слово/Word», «Чайка», «Побережье», «Гостиная», «Интерпоэзия», «Стороны света», «Встречи», «Связь времен», «Времени голоса», «Нам не дано предугадать», «Альманах Клуба русских писателей Нью-Йорка» и т.д. Кружки, общества, объединения, клубы поэтов и писателей, включая такие как ORLITA, Клуб русских писателей Нью-Йорка, Бруклинский клуб поэтов, Пушкинское общество и даже, представьте себе, Союз писателей (однофамилец, не родственник, как любит повторять по случаю популярный в русскоязычных СМИ журналист Владимир Козловский)!

Только пиши!

А примкнувшие к ним графоманы? Кому они причиняют зло? Признаться, вреда от них не больше, чем от тараканов, даром что рифмуются. Еще Довлатов недоумевал: чем провинились древние насекомые? «Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство?» При этом он заметил: «Таракан знает свое место и редко покидает кухню».

Графоманы своего места не знают и стремятся к захвату новых территорий. Активности им не занимать: печатный станок напечатает столько, сколько вы захотите. Каждый может учредить собственное издательство, не выходя из кухни, назвать его как угодно: «Зеленый плющ», «Красный самовар» — твори, выдумывай, пробуй! — заплатить типографии и затем раздавать свои сочинения друзьям и знакомым, продавать их на творческих вечерах, предлагать библиотекам, просить окружающих о благоприятных отзывах, критических статьях etc — на что хватит энергии. Можно договориться с престижным столичным издательством, которое в современных условиях не прочь сорвать куш с тщеславных авторов и, оплачивая полностью весь процесс публикации, тешить себя тем, что тебя читают и почитают неизвестно кто и где. Можно заручиться поддержкой некоторых здешних журналов, следуя известному принципу «ты мне, я — тебе», который стар, но действует безотказно, когда петухи и кукушки распевают вовсю, вознося друг друга до небес. Можно публиковать себя в интернете, создавать собственные сайты или атаковать френдов своими стихами,

размещая их в безотказном фейсбуке. В России и в Америке предлагают множество совместных сборников, издание которых оплачивают сами авторы. Иногда туда включают знаменитые имена, чтобы повысить шансы книги на продажу. Порой объявляется конкурс с условием, что победители будут опубликованы бесплатно, что значит: пусть проигравший платит! Никогда еще в истории не было столь благоприятных возможностей для распространения авторами своих творений.

Привлекает позиция Дмитрия Быкова, полагающего, что поэтическая речь есть ценность сама по себе, поскольку она сложно организована и в этом качестве противостоит мировой энтропии. А энтропия, по его мнению, есть единственное бесспорное и абсолютное зло. Поэтому любой, кто пишет в рифму, уже делает благое дело, гармонизируя мир. Даже — продолжу от себя — и безотносительно к поэтическому качеству текста. Что в вульгарно-социологическом смысле значит: «Все лучше, чем по улицам собак гонять!» — как нередко нам говаривали в допионерском детстве. Рискну самочинно распространить быковские рассуждения и на прозаический текст, который ведь тоже организован, пусть и не столь ритмически.

Какой же тут вред? Пусть люди радуются, пусть борются с энтропией, в конце концов, пусть «расцветают сто цветов», и да будет много поэтов «хороших и разных». Однако большая часть графоманской братии пишет стихи, которые ни читать, ни тем более запоминать не хочется. И я бы выделила слово «разных»: большая часть злосчастной продукции удивительно однообразна, а редкие находки встречаются в гомеопатических дозах, растворенные в тоннах банальщины. Возникает стойкое ощущение, что эти авторы чужих стихов не читают, а только пишут свои. Иначе они бы устыдились.

Мне могут возразить: в каждом писателе сидит графоман, обожающий процесс письма как таковой. Даже у талантливого писателя бывают творческие неудачи: кому-то не удаются стихи, кому-то — пьесы, кому-то — проза. Что ж, всех будете зачислять в графоманы? И среди людей, публикующих свои творения за свой счет, есть люди талантливые. В чем же дело?

Мы живем во времена невиданного информационного взрыва. Каждую минуту на Youtube загружается 48 часов видео, пользователи электронной почты посылают более 204 миллионов посланий, создается 571 новый интернет-сайт, в общем, есть от чего закружиться головам пользователей интернета. В то же самое время растет количество печатных и электронных книг, причем электронная книга заявляет о себе все увереннее. Но не стоит ожидать смерти печатного станка в ближайшем будущем: подавляющее большинство читателей предпочитает традиционную книгу и не заинтересовано в электронном эквиваленте.

Сколько издается или переиздается книжных наименований за год? В 2013 году эта цифра в США равнялась 304 912 (книги, опубликованные за счет издательств), а более 450 000 составило число книг, опубликованных за счет авторов, причем количество их выросло с 2008 по 2013 год на 437% (более чем в 4 раза!). Свыше 75% наименований в американском самиздате представлены продукцией трех компаний: CreateSpace, Smashwords и Lulu. Есть немногие весьма успешные авторы, которые могут существовать за счет продаж своей продукции. Для большинства же такое положение остается мечтой. В России тоже печатается масса книг, и в 2013 г. число их составило 121 тыс. наименований. Я не смогла раздобыть цифры по России, касающиеся авторов, публикующихся за свой счет. Полагаю, что в условиях рыночной экономики число их растет по экспоненте. Вдумайтесь в эти цифры: в 2013 г. в США было издано или переиздано 754 тыс. наименований книг!

Станислав Лем вывел три закона: «1.Никто ничего не читает. 2.Если читает, то не понимает. 3. Если читает и понимает, то сразу же забывает, хотя бы потому, что должен освободить место в голове для очередной информации».

Немудрено, что чем больше стараются писатели и поэты прорваться к своим

читателям, тем им труднее. Поэт в России, который, по словам Евтушенко, больше чем поэт, приобрел тот статус, который ему и положено иметь, то есть снял с себя ризы пророка, оставшись в лучшем случае служителем муз. Что высветило простую истину: поэзия удел немногих, а великих поэтов вообще единицы. Последним великим, на мой взгляд, был Иосиф Бродский, который по-настоящему являлся не просто поэтом, но властителем дум. С его мнением считались, им интересовались, его книги до сих пор раскупают, а литературу о нем сметают с полок. Уже почти двадцать лет как не стало последнего гения русской поэзии, и нет никого сравнимого с ним по мощи и притягательности. Зато энергия самодеятельных творцов несокрушима и неостановима. Неутомимо трудясь над созданием собственного имиджа и раздуванием своей популярности, они создают тот фон, на котором труднее пробиться и более талантливым. Графомания страшна не сама по себе, а тогда, когда она превращается в «публикоманию», когда авторами овладевает зуд публикаций любой ценой и жажда популярности.

К тому же мы живем во времена массовой культуры и всепроникающего китча, который не миновал и литературу. Библиотеки постоянно пополняют книжные полки популярными книгами, которые по большому счету являются произведениями успешных графоманов. Не скрою, среди них масса того, что я взяла бы в руки только по профессиональной необходимости, но многим такая литература нравится и, как все бюрократические учреждения, библиотеки вынуждены реагировать на читательский спрос. Итак, с одной стороны, поток самиздата, с другой — литературный шлак популярного китча, с третьей — коррупция знакомств и связей, проникшая в здешние журналы, литературные конкурсы, на телеэкраны. Профессиональная критика девальвировалась, будучи заменена услужливыми и заранее обговоренными отзывами друг на друга. «Суета сует и томление духа»...

И все же не буду столь сурова. Китч нужен постольку, поскольку приносит радость массам. Все же лучше читать плохую литературу, чем не читать никакой.

Но русская культура в эмиграции отнюдь не сводится только к литературе.

А русские бани и магазины, рестораны и кафе; а русские театральные труппы и певцы, поющие по-русски; а беспрерывным потоком едущие из России знаменитые артисты; а студии, музыкальные школы, детские сады, где говорят на русском, выставки современного русского искусства, организуемые художниками-иммигрантами? Остановлюсь. И так ясно, что вопреки, благодаря, постольку поскольку, временно, но постоянно русская культура в эмиграции существует и, пока ручеек эмигрантов из России не прервется, будет существовать. На том и стоим.

Александр Тимофеевский

«Стихи часто приходили во сне...»

Стихи я начал писать с тех пор, как себя помню, примерно с четырех лет. Тетка записывала их в синенькую тетрадочку. Во время войны тетрадочка, понятное дело, пропала. Будучи взрослым, спрашивал у тетки: «Когда же я писал лучше, теперь или тогда?» — «Разумеется тогда», — отвечала тетушка. И невозможно было понять, серьезно она говорит или нет. (Тетка моя, Екатерина Павловна Тимофеевская, русская поэтесса и художница, стихи при жизни не публиковала. После смерти вышел сборник ее стихотворений «Бог видимый», а также подборка в журнале «Фома».)

Когда писал, на меня «накатывало», и я испытывал ощущение неизъяснимого восторга, не сравнимого ни с какими земными радостями. Только неподумайте, уважаемые читатели, что меня приводили в восторг мои собственные сочинения. Я ликовал, как говаривал Пушкин, от того состояния, в которое впадал. В юности я что-либо сочинял постоянно в течение дня, но «накатывало» далеко не всегда, в основном в эти молодые годы. Особенно ярко в пятьдесят пятом году — стихотворение «Слово»:

«Стёртой монетой упало слово,/ А я хочу поднять его снова,/ Чтоб все увидели блеск металла,/ Для этого жизни, должно быть, мало./ Родилось слово, как правда, голо./ Оно трепетало, как в небе голубь./ И шли за ним на смерть и на голод,/ Звучало слово в сердечном стуке,/ И вдруг попало к убийце в руки...» и проч...

Стихи часто приходили во сне: «Ты, как за тысячу веков,/ Ты страшно далека./ Ты из приснившихся стихов/ Последняя строка.// Строка, которой мне не в труд/ Любых певцов забить,/ Строка, которой поутру/ Не вспомнить, не забыть». (Последние слова этого стихотворения цитирует А.А.Ахматова в эссе о Модильяни.)

Один раз все же запомнил приснившееся стихотворение. Проснулся ночью, быстренько записал и снова лег спать. Вот вам стихи, сочиненные, нет, вернее, доставшиеся мне без всякого труда, на халяву: «Когда ночную темь итожа,/ Чуть-чуть затеплилась заря,/ Как оказались мы похожи —/ Два одиноких фонаря.// Под нами спал огромный город,/ Звала нас даль одних дорог,/ И одинаково был дорог/ Нас раскачавший ветерок.// Одни в нас лампочки горели,/ Одною искрой нас зажгли,/ Но говорить мы не умели,/ Прийти друг к друг не могли».

Механизм этого феномена мне совершенно не понятен. Предположение, что я что-либо подобное сочинял днем, а потом забыл — отпадает. Ничего похожего у меня и в мыслях не было. Но это единственный случай. Во всех остальных стихотворение в момент пробуждения забывалось.

В 1961 году в моей жизни произошло великое несчастье, погибла моя первая жена Ирочка. Я решил бросить писать стихи. Владимир Яковлевич Мотыль увез меня на

Памир, это как на Луну, где я был редактором и помогал ему в работе над фильмом, и действительно целый год ничего не писал. Потом мне множество раз снился «памирский цикл». Стихи лежали в канцелярской папке, написанные карандашом или ручкой на отдельных листочках. Во сне я перебирал эти листочки, думал: а ведь неплохие стихи, кое-что можно отобрать для печати. Утром вскакивал с постели, торопился отыскать папку и не сразу понимал, что «памирского цикла» никогда не существовало.

Как всякий человек, я могу ошибаться, и следующее мое высказывание не стоит принимать на веру. Однако сам я глубоко убежден в том, что великие стихи диктуются поэтам свыше. Такие, например, как ода «Бог» Державина, «Вакхическая песнь» Пушкина, «Рождественский романс» Бродского... Подобных шедевров, естественно, немного. Остальное — более или менее удачная версификация.

«Хочешь, я покажу тебе чудо?..»

В Международном детско-юношеском литературном конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето Господне», учрежденном в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участвуют школьники 6—12-х классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей России, стран СНГ и Зарубежья, а также воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования.

Сегодня победители конкурса 2016 года — гости журнала «Дружба народов».

Ирина Артемьева, 11 класс Гнилицкой православной гимназии (г.Нижний Новгород).

«Но здесь мой дом, здесь я родился...»

Открываешь глаза и ловишь лучи утреннего солнца на переплетах книг. Жмуришься, невольно смеясь. И в душе — радость. И столько в ней нездешнего света, окутывающего тепла, что замираешь — лишь бы сохранить, не расплескать. Но откуда она?.. И вдруг (хотя и знаешь, что совсем это не «вдруг», не случайно) осознание приходит — я дома. У меня есть дом на огромной, прекрасной и странной Земле. Я чувствую, знаю его... Он в книгах, знакомых с детства, вошедших в меня с голосом мамы, книгах, которые полюбила сначала за буквы, потом за слова, а потом за душу, живую и неповторимую.

Дом — в наших с папой прогулках по старинному Нижнему, когда я, маленькая, шестилетняя, держала папу за руку и слушала его, всегда глядевшего вдаль и будто бывшего незримым очевидцем того, о чем говорил. Все мои знания о слове и любви Христа, о святых, о русской истории, об Александре Невском, о царской семье — оттуда. И крепкое, держащее до сих пор чувство, что я — не потерянная, оторванная, блуждающая комета, а часть пусть и невыразимо маленького, но глубокого и великого течения — тоже оттуда.

Мой дом — и в Дивеевском монастыре. В три года я бродила среди могучих соборов и думала, откуда столько цветов на Земле? Я иду уже долго-предолго, а они все не кончаются. Теперь же приезжаю и думаю — откуда такой покой? Мои бесконечные страхи, метания словно стыдятся выползать со своей суетливой приземленностью. И, вернувшись оттуда, знаешь, что вся наша жизнь — тоска по этой тишине, горячее стремление и тяжелый путь к ней.

Еще дом мой — в открытых на Троицу окнах нашей гимназической церкви и в душистом и терпком аромате трав, покрывающих пол. В маленьких детских головках, притягивающих июньское солнце, в березовых букетах, в лицах друзей-одноклассников. И в ощущении того, что эти люди, стоящие рядом, охвачены радостью и благодатью Троицына дня и связаны с тобою этим светом с самого далекого детства на всю жизнь.

Мой дом — в музыке. В возносящемся пении церковного хора, в беспрестанно

стремящемся и уводящем в небо Бахе, в Моцарте, который радуется и благодарит за эту радость, в открывающем душу Рахманинове. В музыке, одаривающей меня мыслью и вдохновением.

Где же еще мой дом? Он в ликующей пасхальной радости, серых вербочках, развалившемся деревенском доме и печальных полях вокруг, в трепетании свеч и разговорах с папой, в чистой бумаге и готовящейся к бою ручке, в слепящей ясности мартовского неба и любви...

Мне, наверное, и дня бы не хватило, чтобы пересказать, где же все-таки мой дом. И, может быть, я вижу его так только из своего немудрого возраста, но я твердо верю, что, только поняв свой дом как родной мир добра и света, я ощутила детскую, дающую возможность полета радость.

Александр Данилов, 8 класс лицея № 128 (г.Екатеринбург)

«Я покажу тебе чудо»

— Хочешь, я покажу тебе чудо? — Худенький русоволосый мальчишка лет пяти, хитро улыбаясь, смотрит на меня. Большой кленовый лист плавно спускается к ногам моего неожиданного собеседника.

Легкий ветерок нежно щекочет мне уши и ноздри. Душистый запах черемухи навевает ощущение умиротворенности. Легкая нега, словно мягкой вуалью, окутывает меня, унося мысли далеко-далеко. Лилово-багряный свет солнца, уходящего за горизонт, и плавно покачивающиеся макушки цветов сливаются в одну невероятно красивую картину, которую разрывает тонкий детский голосок.

— Хочешь, я покажу тебе чудо? — повторяет паренек. Его давно не стриженные волосы напоминают мне кудри Маленького принца из сказки, которую я недавно прочитал.

— Закрой глаза и не подглядывай, — говорит мальчишка и прикрывает мои глаза своими горячими ладошками. Проходит всего мгновение, но я чувствую, как меняется все вокруг. Запах черемухи сменился ароматом чего-то знакомого, манящего и загадочного.

— Посмотри наверх! — не скрывая радости, говорит мальчишка. — Разве ты не видишь, как это чудесно!

Он указывает мне в сторону большого Храма, в золотых куполах которого отражаются звезды. На небе множество звезд, но отражаются лишь самые яркие.

— Посмотри! Звезды, как люди, правда? — доверчиво заглядывая мне в глаза, говорит паренек. — Людей много, но прикоснуться к Божьему свету удается не каждому.

Я с удивлением разглядываю этого маленького мудреца. Кто он? И почему именно мне он говорит столько непонятных слов?

Паренек ловко, босой ногой, поднимает кленовый лист и подает его мне. Я с удивлением разглядываю странный подарок.

— Знаешь, я обязательно стану здоровым, ты только верь! — с недетски серьезным выражением лица говорит мальчик.

Его последние слова хлестко ударяют меня по лицу, потому что только сейчас я понимаю, кто стоит передо мной. Вздрагиваю и открываю глаза...

Сон... Это был всего лишь сон... Который раз он уже снится мне! Впервые я увидел его, когда вся наша семья ждала рождения моего младшего брата. Я много раз представлял, каким он будет, как мы будем с ним играть и дружить. Но приговор врачей был неумолим: порок сердца и киста в голове. Возможно, он никогда не сможет быть таким, как все. В то время все мы молили о чуде — выздоровлении малыша. Детский

плач не умолкал в нашем доме ни днем, ни ночью. Сразу постаревшая мама не спускала ребенка с рук круглые сутки. Так прошли сорок дней, по истечении которых мой брат был окрещен. И на следующий же день случилось чудо. Впервые за долгое время малыш самостоятельно уснул в своей кроватке. С того самого дня детский плач в нашем доме слышался все реже и реже.

— Это чудо, — говорила мама.

— Это чудо, — говорили врачи, которые после очередного обследования заметили, что мой брат чудесным образом идет на поправку.

Вскоре он догнал в развитии своих сверстников, а поступив в школу, стал учиться на отлично, радуя всю нашу семью и удивляя врачей тем, что от болезней не осталось и следа. И только мы знали, что это чудо дано нам Богом, потому что все мы в него верили.

В современном мире считается, что чудо — это то, что нельзя описать с точки зрения науки. Врываясь в нашу жизнь, чудо поражает и восхищает, переворачивая наш привычный ритм. Почему же именно в детстве ребенок с большим доверием относится к чуду?

— Будьте, как дети, — говорил Иисус Христос, тем самым совсем не уча нас той детской наивности, но показывая нам, с какой любовью нужно относиться к другим людям.

Детство — это время, когда ребенку не нужно объяснять, что вокруг нас находится воздух, что сахар сладкий, а соль соленая. Мир принимается ребенком как своеобразное чудо. Он верит в него, оставляя решения своих жизненных проблем взрослым.

Однако, становясь взрослее, мы все чаще рассуждаем и ищем объяснения тем вещам, которые в детстве кажутся нам простыми и понятными. Нам кажется, что мы могли бы укрепиться в вере, если бы смогли увидеть чудо своими глазами. Так ли это? Скорее всего, нет, потому что в таком случае мы уподобляемся тому, кто искушал Иисуса в пустыне, предлагая ему совершить чудо, чтобы доказать свое божественное начало.

«Не искушай», — отвечал Иисус, тем самым уча нас не требовать чуда ради развлечения, тем более — принуждения к вере. В евангельских притчах я видел, что чудеса не происходят сами по себе. Чудо происходит лишь по истинному доброму желанию человека. Именно поэтому мы так редко видим божественные чудеса. Однако порой именно безбожие играет ключевую роль в истории православного чуда. Все мы знаем такое чудо, как «Стояние Зои», которое в свое время привело к вере множество людей.

Однако гораздо чаще мы видим чудеса исцеления по молитвам близких и помощи святых. Такие чудеса называют сверхъестественными. О них снимают фильмы, пишут в газетах. Такие чудеса воспринимаются нами как единственно правильные. Однако если посмотреть вокруг, в казалось бы самых обычных вещах можно увидеть настоящее чудо: в горячем солнце, радости и грусти, а главное, в жизни самого человека.

«Просите, и дано вам будет», — говорил Иисус Христос.

— Господи, пусть на все будет воля твоя, — говорит истинный христианин.

Я считаю, что это самая верная позиция настоящего человека...

За окном поздний вечер. Лунный свет покрывает макушки деревьев. Тихий шелест первой листвы напоминает журчание речки. С наступлением темноты все словно засыпает. Не слышно пения птиц, аромат цветов дополнился запахом таинственности. Приоткрыли одеяло пушистых облаков первые звезды. Смотрю я на эту картину, и в моей душе поднимается волна тепла и любви.

— Хочешь, я покажу тебе чудо? — раздается над самым ухом тонкий детский голосок. Я поднимаю голову и вижу рядом с собой моего брата. В его давно не стриженных волосах запуталась маленькая соломинка.

— Хочешь, я покажу тебе чудо? — повторяет он, закрывая мои глаза своими горячими ладонями...

Даниил Лапин, 8 класс школы №1 имени П.А.Маркова (поселок Локоть Брасовского района Брянской области)

Нечаянная радость

Что такое дом? Каждый человек на этот вопрос ответит по-своему. Для кого-то это место, где человек рождается, где проходит его детство, а для некоторых — это тот уголок, куда его влечет сердце, место, где он обретает радость и покой.

Я поведаю вам историю о том, как совсем еще юный подросток обрел свой духовный дом.

Нудный дождик барабанил в окно. Капли стекали вниз, оставляя на запотевшем стекле длинные бороздки. Полторы дюжины учеников создавали в классе веселое многоголосое гудение, которое всегда бывает в классе в отсутствие учителя. Лишь один мальчик на задней парте сидел спокойно. Он подпер голову руками и смотрел на серое, тяжелое небо. Было слышно, как вода шумит в водосточной трубе, стекает и образует огромную лужу. Со скрипом подъехала телега и остановилась у школьного порога. В класс вошел учитель и начал перекличку:

— Вася Федотов! — сказал учитель, обводя глазами класс. Тишина. — Вася Федотов! — на этот раз голос был громче, и мальчик у окна резко встал и ответил:

— Я!

— Тебе к доктору надо, — сказал учитель с усмешкой на губах.

— Н-н-не надо, — ответил, запинаясь, мальчик.

— Ну, ты же меня не услышал, когда я тебя звал, вот сегодня же с отцом сходи к доктору!

— А у него отец пьянствует, я его сегодня с Гринькой Косым видел! — сказал драчун и самый большой недруг Васи.

И сразу в мальчика полетели комочки жеваной бумаги. Вдруг кто-то крикнул на весь класс: «Безотцовщина!», и все подхватили обидное слово с улюлюканьем и прибаутками. Васе стало настолько обидно, что на глаза навернулись слезы. Он выбежал из класса, вдогонку неслось: «Мамин плакса!», но Вася уже не слышал.

Мальчик бежал по улице, не обращая внимания на дождь. Порывы ветра трепали его волосы. Он не боялся даже собак, которые, выглядывая из-за заборов, провожали его яростным лаем. Остановился он на краю деревни. Не спеша, хлюпая по лужам, он пошел домой. Куртка прилипла к спине. Ботинки тоже были насквозь мокрые.

Он сидел один в темной, холодной комнате. На стене мирно тикали ходики. Под застрехой копошились воробьи. Вася сидел и вспоминал, как они с отцом ходили на рыбалку. Сидели на мостках, весело болтали ногами в воде. Как он рвал удочку на каждой поклевке, вспугивая рыбу. А вечером папа учил его кататься на велосипеде. Прошлым летом они были на сенокосе. Засыпали, глядя на яркие звезды в ночном небе. А вечером ели хлеб, завернутый в мокрую после росы тряпочку. Ели хлеб и ощущали горьковатый запах травы...

— Вася, Василек, проснись! — Кто-то теребил его за плечо. Это мама пришла со смены на хлебопекарне. От ее поношенного пальто пахло горячим, недавно испеченным хлебом. Она разогрела ужин, но Вася ничего не стал есть. К ночи у него заболела голова и поднялась температура. Мама от соседей вызвала доктора из райцентра.

Приехал старичок весьма ухоженной внешности, от которого пахло лекарствами и хвоей. После осмотра он по-дружески подмигнул мальчику и вышел в другую комнату. Всплеснув руками, к нему кинулась мама. Разговор был отчетливым, но Вася не мог уловить смысла слов. Он проваливался в небытие. Вдруг вспомнил наказ бабушки: «Внучек, если тебе будет туго, молись. Господь не оставит». Тогда мальчик с детской простотой прошептал: «Господи! Помоги, спаси моего папу». — По щеке ребенка скатилась слеза и осталась на подушке серым пятнышком. Лучи света из окон под самым куполом храма скользили по иконам и росписям, придавая краскам особенную яркость и насыщенность. Огоньки от лампад играли в позолотах икон,

колебались даже от слабого дуновения ветра. Вася стоял в центре огромного храма. Мальчик завороженно смотрел на все это великолепие. Вдруг на месте, где только что никого не было, возник старец.

На нем были ослепительные, словно сотканные из света одежды. Небесно-синие глаза излучали неподдельную доброту и любовь. Вася увидел в этих глазах что-то родное. Радость всколыхнулась в сердце мальчика. Старец подошел к нему и тихо сказал: «Василек, Господь услышал твою молитву. У тебя чистое сердце, по вере твоей будет тебе».

Вдруг где-то наверху сначала робко и несмело, но со временем нарастая, множась и вторясь эхом Храма и, наконец, заполняя пространство, излился величественный и торжественный колокольный звон. Этот звук пробудил в душе мальчика странное чувство. Он почувствовал, что обрел свой дом. Он поднял глаза, словно надеясь увидеть, где рождается чудо. Оглянувшись, он понял, что снова стоит один посреди огромного храма. Вдруг луч солнца скользнул по иконе, Вася поднял голову и увидел знакомого старца с синими глазами. С холста святой смотрел на него и улыбался доброй улыбкой.

Васю разбудил солнечный лучик, который пробился между штор. Мальчик приоткрыл глаза в предвкушении чего-то доброго. Около него, похудевший и небритый, сидел отец. Его любимый папа.

Динара Мамедова, 7 класс ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава (Самарская область)

Тихое сияние святости

В небольшой деревушке Катах жили муж с женой, Ризван и Фатма. Жили они счастливо и дружно, росли у них трое детишек: отважный Абдулладжалиль, красивая девочка Хурояс и младший Вахид. Скоро семья ждала пополнения... В яркий весенний день Фатма, подарив мужу близнецов, умерла. Ризван был омрачен горем: он так любил свою Фатму!

Но мужчина понимал, что детям нужна мать. Младенцам, Захиду и Химсет, особенно. Через месяц Ризван привел в дом женщину. Сказал детям, что она их мать. Все снова стало налаживаться. Хуруй, так звали женщину, воспитывала детей, взвалив на свои хрупкие плечи всю работу по дому.

Через неделю началась война. Ризван был одним из первых добровольцев, вызвавшихся пойти на фронт. Хуруй осталась одна. На плечах висело тяжкое бремя: воспитание чужих детей. Эта храбрая женщина, не раздумывая, взяла их под свое крыло. Она устроилась работать сборщицей налогов. Как можно больше времени Хуруй старалась уделять младшим близнецам. Они стремительно росли и развивались. Женщине было очень тяжело. Она разрывалась между домом и работой. Растила ребятишек строго, но любяще. Дети это видели и старались поддержать мать.

Больше всего ей помогали письма Ризвана, приходившие регулярно раз в три месяца. Время от письма до письма казалось вечностью. Хуруй проклинала войну.

В соседнем доме осиротели дети. Хуруй их усыновила, мальчика и девочку. И любила как своих. И она была не одна такая: вся деревня договорилась не отдавать детей в детдом.

В апреле 1945 года пришло очередное письмо от Ризвана. Муж писал о том, что победа близка, что он в шестидесяти километрах от Берлина. Это было последнее письмо. Больше не пришло ничего, даже извещения о гибели. Хуруй не могла поверить, что Ризван погиб.

Прошло много лет... Дети обзавелись семьями. По традиции младший сын с семьей остается жить с родителями. Захид, ставший уже известным актером, построил большой дом, в котором жила и Хуруй. Жена Захида Фатма хотела получить образование. Для этого надо было ехать в Баку. Ей пришлось оставить полугодовалую дочь Тарану

и сорокадневного сына Парвиза. Но Хуруй успокоила Фатму, мол, не переживай, пригляжу. Больше всего она любила Парвиза, который был так похож на Ризвана... Хуруй до сих пор ждала его, не верила, что муж погиб...

В 1986 году Хуруй умерла. Ее последние слова были:

— Если Ризван придет, покажите ему мою могилу...

P.S.

Я сегодня счастливо живу в поселке Петра Дубрава Самарской области, с удовольствием хожу в любимую школу, у меня много друзей, люблю читать, немножко пишу и очень тревожусь о происходящем в мире.

Азербайджан, деревня Катех... Моя дорогая прабабушка Мамедова Хуруй Мухума гызы всю свою любовь, нежность, заботу отдала таким родным неродным детям. Тихое сияние ее святости всегда оберегает нашу семью.

Деревни, поселки, города России, в них русские, армянские, азербайджанские, грузинские женщины растили своих детей. Великие наши прадеды одержали Великую Победу. Великие наши прабабушки ковали Победу в тылу, растили детей и внуков, ждали сыновей и мужей... Они умели любить... Тихое сияние их святости до сих пор согревает наши сердца.

И где бы ты ни жил, в России или Сирии, Турции или Иране, в деревушке Катех или в Париже, какой бы веры ты ни придерживался — учись у мудрых наших предков быть Человеком. Пусть всех нас согревает тихое сияние их святости...

Николай Рыжов, 8 класс школы № 2 г.Волоколамска (Московская область)

Родовые истоки

Маленькая Нина сидела на лавке и прижимала к груди соломенную куклу. Она не понимала, почему мама плачет, а ее старшая сестра Лида жалостно к ней прижалась. В дом то и дело заходили люди, но на Нину не обращали внимания. Подойдут к маме, поговорят и уйдут. От частого распахивания дверей дом остыл, но никто не обращал на это внимания, и только четырехлетней девочке было холодно, и она, желая согреться, перешла ближе к печке и стала крепче прижимать к себе куклу.

Раздался скрип саней, и Нина подумала, что приехал папа, и он, как всегда, возьмет ее на руки, прижмет к себе и поцелует холодными губами. Она подбежала к окну, чтобы посмотреть, но ничего не было видно. Все стекла замерзли, приобретя красно-золотой оттенок от лучей заходящего солнца. Дверь распахнулась, и она увидела, как в дом вносили папу. Она хотела броситься к нему, но ее удержала тетя Маша и сказала: «Папа умер».

Нина стояла, ее руки опустились, кукла упала на пол, и по щеке сбежала слеза. Она подняла куклу, снова прижала к себе и подумала: «Это папин подарок, и для меня нет ничего дороже».

Через день папу отвезли в город Лальск, отпевали в Благовещенской церкви и похоронили на городском кладбище. Лальск был районным центром, а Белополье в то время было небольшой деревней, состояло всего из тридцати дворов и находилось в шести верстах от Лальска.

Для Нины с похоронами папы жизнь в деревне Белополье как будто изменилась. Стало меньше веселья, даже на праздник Пасхи не было радости. Как обычно, они с мамой красили яйца в отваре из луковой шелухи, приготовили пасху и испекли кулич, но за столом было скучно. Раньше было интересно с папой стукаться крашеными яичками.

Без кормильца маме, Елизавете Николаевне, с двумя маленькими детьми было тяжело. Всем приходилось больше работать. Она почти все время проводила в колхозе.

Старшая сестра стала заниматься домашним хозяйством, а оно было большое — корова, свинка с тремя поросятами, овцы, куры, гуси.

Когда сошел снег, мама сказала Нине: «Теперь и тебе работа есть. Будешь пасти гусей».

Нина обрадовалась, что и она теперь будет деятельно участвовать в жизни семьи. На этом безмятежная радость детства у юной Нины закончилась. Лето 1932 года оказалось засушливым, на огороде почти все выгорело, и, несмотря на то что в деревне у каждого был свой огород, голод зимы 32-33 годов коснулся каждого в Белополье.

В семь лет Нина пошла в школу, но проучилась в ней всего пять лет. Началась война, мужчины ушли на фронт, а все, кто остался в селе, в том числе женщины и старшие дети, работали в колхозе или на лесоповале. Елизавета Николаевна, обладая крепким здоровьем и силой, работала на заготовке леса, с ней пошла и 12-летняя Нина. Женщины валили деревья, а маленькая, хрупкая Нина с топориком в руках обрубала ветви. Некоторые из них были толщиной с дерево...

Работая в лесу, Нина надорвала здоровье, но, когда до деревни донеслось радостное слово «Победа!», она с гордостью почувствовала, что и все они, жители Белополья, стали участниками этой победы.

После войны она поехала к своей тетке в Москву. Но впечатления были не из лучших: за время войны Москва значительно обеднела и была опустошена. Город только начинал отстраиваться. Находясь в столице, Нина все время вспоминала о своем Белополье и время от времени порывалась вернуться в родные места. Но она не знала, что домой к себе в деревню она уже никогда не попадет. Она поселилась в поселке Удельная под Москвой и устроилась работать в детский сад. В поселке был храм в честь святителя Николая, который она регулярно посещала. Несмотря на атеистические гонения, в их семье сохранились вера и наши православные обычаи.

Нина Васильевна — это моя бабушка, и я с любовью и трепетом слушаю ее рассказы о своем детстве, о тех красивых местах, где она выросла. А когда она рассказывает о своих жизненных испытаниях, которые пережила, о трудных годах нашей истории, у меня бегут мурашки по коже. Какую надо было иметь силу и выдержку, чтобы пережить все эти трудности и сохранить веру в Бога!

Вдохновленный рассказами своей бабушки, я прошедшим летом поехал на родину своих предков. Побывал на Великорецком крестном ходе и в родной бабушкиной деревне.

Накануне долго собирались, переживали и молились за благополучную поездку. Утром встали, посидели на дорожку и тронулись в путь. Дорога была долгая, но 16 часов пути прошли для меня незаметно. Мы ехали на двух машинах, нам предстояло вначале посетить Киров, а затем ехать в Лальск.

Приехали в Киров уже на рассвете следующего дня. Немного отдохнув, посетили храмы города, были в областном архиве, где рассказали о нашей родословной, а затем зашли в Свято-Преображенский женский монастырь. Про него мне бабушка тоже рассказывала. Дело в том, что в этом монастыре до его закрытия жила ее тетка, монахиня Клавдия, которая с закрытием монастыря переехала в Лальск и там трудилась при храме, а бабушка ее навещала.

Утром были в Свято-Успенском соборе Трифоновского монастыря. Там был отслужен акафист святителю Николаю, а затем начался Великорецкий крестный ход. Его возглавляли три архиерея. Ход обычно длится 6 дней, за это время участники проходят 160 километров. Если подумать, какая большая вера на Руси у людей! И стар, и млад идет дорогой крестного хода. Куда идет? К Богу. В напряженных и добродушных лицах паломников видно превосходство нравственных качеств, и в первую очередь в них сияют любовь и радость.

Во время крестного хода постоянно совершаются богослужения, и в нем участвует множество народа. В первый день крестным ходом шло 35 тысяч человек, и было радостное у всех настроение. Мы прошли восемь километров до первой остановки у Троицкого храма. Там немного подкрепились и на машинах продолжили путь на малую родину моей бабушки.

Дорога заняла еще 10 часов. Она была красивой: мы проезжали много деревень, все дома в них большие, рубленые, с резными наличниками. Правда, некоторые из них

были заброшены, и в них никто не жил. Как жаль, что люди оставляют свои родовые места! Ведь их отцы и деды несколько веков осваивали эти земли, отвоевывали каждый метр у тайги, строили дома, а сейчас они пустуют, да и поля заброшены...

К вечеру мы приехали в город Лальск и остановились в крестьянском доме. Ужин был простой, но очень вкусный. Больше всего понравился хлеб, испеченный в русской печи. В Москве я такого никогда не ел. Аромат его необыкновенный, он пахнет настоящим хлебом! После ужина мы вышли к машинам, чтобы забрать вещи, и хотя уже было давно заполночь, на улице было светло. В это время здесь белые ночи.

Утром мы побывали в храмах города и посетили Музей русского быта. Там я воочию увидел прялку, чесалку, коромысло, керосиновую лампу, утюги на углях — те предметы, о которых мне много рассказывала бабушка. Для нас это экспонаты, а для нее это были орудия каждодневного труда.

Затем мы поехали на грузовом автомобиле к бабушкиной деревне, но не везде этот вездеход мог проехать, так как в некоторых местах дорога была заросшей и ее пересекали большие промоины. Нам пришлось пересесть на квадроциклы, и с помощью этой современной техники мы стали пробираться через лесную чащу и неглубокие речки к месту, где раньше была деревня.

Через час пути были на месте, где раньше была деревня Белополье — родина бабушки и где на протяжении более трехсот лет жили мои предки. Самой деревни как таковой нет. Все, что от нее осталось, это заросшее поле, несколько засыпанных колодцев и холмики от бывших домов, но все равно сердце мое наполнилось радостью. Мои мысли были устремлены туда, в глубь истории — к моим родственникам. Я был уверен, что здесь ходил мой прадед. Вот куст смородины, который посадила моя прабабушка. Вот речка, истории о которой я слышал от бабушки. На ней бобры соорудили большую плотину, значит, там есть рыба. Вот только жаль, что никто не сидит на ее берегу с удочкой! Жаль, что не слышно детского смеха! Жаль, что не нашел я там себе друзей!

Некая грусть была на сердце, когда я уходил из деревни Белополье. Там нет домов, но деревня Белополье есть в моем сердце! Я унес частичку этого места в своей душе.

Анастасия Агафонова, 8 класс школы № 7 г.Михайловка (Волгоградская область)

Степная трава

Наш родовой хутор — Кривой Суходол. Его святой покровительницей считается великомученица Параскева Пятница. Святая оберегает семьи и дома, поля и скот, помогает девушкам найти хороших мужей.

Нашу прабабушку в честь нее звали Прасковья. Судьба ее была не из легких. Прасковья рожала десять раз. На каждого сына на Дону давали надел земли. Казачонок вырастал казаком и за этот надел щедро поливал чужую землицу своей кровью. Семья жила по старой вере. Работали дружно, «до упаду», но и жили справно.

Прасковья учила историю России по своим потерям. Германская забрала двух сынов, революция — трех. Во время расказачивания родилась дочь. Раскулачивали их семью свои же — самые бедные казачишки: пьянь да брехуны. Мужа Игната со старшим сыном сослали в Сибирь; там они и пропали.

Новые власти забрали новый, построенный своими руками дом, быков и лошадей, весь хлеб. Прасковью с младшими детьми переселили в старую избушку с земляным полом и дырявой соломенной крышей.

Так мне рассказывали: ночью, как вор, женщина пробралась в свой двор. Отвязала скулящую собаку, вошла в распахнутую дверь дома, затеплила свечу. Дом был пуст, но в углу стояли родные иконы. Быстро сняла их, прижала к груди и ушла, не оглянувшись.

Пока доилась корова, были свекла да тыквы — жить было можно. Весной

посадили огород и бахчу. Пятеро «помощников» заставляли мать жить, а уставала она так, что на слезы времени не было.

Молилась Прасковья привычно, но не светло, а яростно. Громко и четко повторяла она древние слова, то ли пытаясь до кого-то докричаться, то ли показывая кому-то, что она не сдалась. Дети запомнили все дословно, и мне кажется, что те слова ее горячих молитв слышу и я.

Потом загнали Прасковью в колхоз, работала, как все, за трудодни, то есть бесплатно. Три страшных года была засуха, но все дети выжили.

С зимы мать прятала по одному яичку в солому под крышу. Она решила, что у детей будет праздник Пасхи.

Пришел чистый четверг. Перемыв всех детей в корыте у русской печки, Прасковья бросила в чугун щепоть степной травы, ею всегда на Пасху яички красили. И послала дочку по чуть живой лестнице под крышу, приказав собрать в подол платьишка яйца. Та бросилась бегом, но спускаясь — упала: то ли с голода, то ли ветхая ткань порвалась, то ли лестничка подломилась.

Девочка лежала, не открывая глаз, ей хотелось умереть, а Прасковья нашла-таки среди разбитых яиц одно целое.

Его-то и покрасили, оно сияло и алело как чудо. И праздник — пришел, и Христос — воскрес.

На пасхальной неделе дальняя родня из-за реки привезла муку.

Пришел сосед — нелюдимый бобыль — принес горох да редьку. В школе стали давать чай с кусочками хлеба, его дети несли домой. И тут отелилась отощавшая, чуть живая корова. Ее кормили соломой с крыши...

На Великую Отечественную войну мать проводила четырех сыновей. Послала защищать Родину: сухую степную землю, заречную родню, старого бобыля.

А как защитить мать, они и сами знали.

С войны вернулся один Петр. Я — его правнучка. Когда прадед рассказывает о бабушке Прасковье, я спрашиваю: какой памятник она заслужила?

— Да есть ей памятник, — отвечает он. — Родина-мать на Мамаевом кургане. Ей и тете Кате — соседке, и Анне Львовне — врачихе, и Моте, и Марфе, и всем женщинам, чьи сыновья с войны не вернулись.

На Радуницу наша большая семья собирается на том месте, где раньше был хутор Кривой Суходол. По печным кирпичам находим свой дом. Там густо растет та самая безымянная степная трава, которой пасхальные яйца красят.

Прадед громко и четко молится, а после рассказывает историю нашего рода. Чтобы помнили. Чтобы не повторилось! Я знаю, что наша семья, как та самая простая степная травка. Нас нельзя уничтожить ни засухой, ни морозом, ни подлым наветом, ни вражьим сапогом.

Мы не сдадимся.

Как Прасковья.

Ксения Тюкина, 11 класс школы № 3 г.Суровикино (Волгоградская область)

Судьба человека

Вспоминая железный XX век, я думаю не о научно-техническом прогрессе, не о громадных фабриках и заводах. Само слово «железный» навевает мысль о тюремных решетках, наручниках и оружии. В своеобразные кандалы была заключена и Святая Христова вера.

Страшно представить, сколько людей погибло только за то, что они веровали. Недавно узнала, что к лику святых новомучеников в июле прошлого года был отнесен мой земляк Николай Попов. Будучи иереем, он, находясь в тяжелом болезненном

состоянии, исправно вел церковные службы. За это его и расстреляли в песчаном карьере. Да и мало ли еще подобных примеров!

Нелегко приходилось и тем, кто держал свою веру в тайне. Именно они смогли сохранить и передать будущим поколениям этот священный дар.

На днях бабушка Тамара рассказывала мне о своем детстве. Одним из самых запоминающихся дней в году была Пасха. Весь хутор отвлекался от работы, гулял. Семья Тамары отмечала этот праздник не как все. Дело в том, что ее мать работала учительницей, и потому все семейство не должно было веровать в Бога, иначе — большие неприятности. Может быть, запреты советской власти и подействовали бы, если бы не старейший член семьи, баба Наташа. Она всю жизнь была со Христом и не собиралась поддаваться пропаганде советской власти.

Каждый год на Пасху баба Наташа красила яйца, пекла пироги. Семья разговлялась, закрывая входную дверь на крючок. В гости никого не звали, чтобы слухи не пошли. После застолья дети бежали на улицу встречать знакомых, идущих на кладбище навестить родных.

— Христос Воскресе, бабушка!

— Воистину Воскресе, мои хорошие! Какие умницы! Вот вам по яичку.

Счастливая детвора принимала гостинцы, старалась их как можно быстрее спрятать, так как знала, что сейчас не то время, чтобы спокойно разговаривать в церковный праздник с крашеным яйцом: матери еще нужна работа.

Поститься тоже было опасно. Это делала только баба Наташа, ведь на пожилого человека мало кто обращает внимание: ест одну кашу — старая, зубов нет; шепчет что-то в уголке — старая, умом помешалась. Так, не привлекая внимания, баба Наташа и молилась по нескольку раз в день, и икону за занавеской берегла, и детей крестить в город носила.

Не понимали ее многие, осуждали. В школах активно внушали, что Бога нет, поэтому и дочь скептически относилась к верованию матери, и внуки часто смеялись над ее «бредовыми» идеалами. Трудно сносить обиды от ближних, но баба Наташа как будто их не замечала. Дочь свою всегда поддерживала советом, дивилась, как из крестьянской семьи девочка в люди выбилась, образование получила. Внукам всегда конфетки с праздников берегла, учила доброте и справедливости.

Давно уже нет бабы Наташи. Нет и той иконки, что стояла за занавеской. Теперь ее внуки горько жалеют о том, что смеялись над ней. «Она нас покрестила, показала пример поста и молитвы, а как любила-то, как жалела! А мы лишь с насмешкой смотрели в ее добрые, наполненные верой глаза и думали, что ее убеждения слишком стары. О, как же мы ошибались!»— этой фразой был закончен наш диалог с бабушкой Тамарой. Казалось бы, что могла изменить баба Наташа, этот «маленький» человек? Может быть, она не поменяла ход истории, не кинулась в горящий дом спасать людей. Но вся наша семья верующая, и это ее заслуга. Всю жизнь она молилась о своих детях и внуках, о будущем поколении России. Мне кажется, она продолжает молиться за нас и на небесах. Именно поэтому вся наша семья живет со Христом. Она смогла спасти этот небольшой огонек веры, уберегла его от советских ветров, и теперь этот огонек достигает размеров огромного костра. И все это — благодаря только ей, нашей молитвеннице, бабе Наташе.

По России немало подобных случаев. В XX веке нельзя было полностью освободить веру Христову из оков, но попытки все же были. Общими, почти незаметными относительно каждого усилиями «маленькие» люди не дали ей умереть. Каждый священник, не боявшийся вести службы в храме, каждая бабушка, тихо молившаяся ночью, каждый родитель, носивший в храм на крещение ребенка, — все эти люди заслуживают звания героя. Они спасли веру, спасли Россию, без веры нашей священной державы попросту бы не существовало.

Писатель и читатель в мире, потерявшем будущее

Литературные итоги 2016 года

В этом номере — размышления Николая АЛЕКСАНДРОВА, Ольги БАЛЛА, Ольги БРЕЙНИНГЕР, Бориса КУТЕНКОВА, Ольги ЛЕБЁДУШКИНОЙ, Александра ЛЮСОГО, Юлии ПОДЛУБНОВОЙ, Алексея САЛОМАТИНА.

Мы предложили участникам заочного «круглого стола» три вопроса для обсуждения:

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Николай Александров, литературный критик, радио- и телеведущий (г.Москва)

«Сегодня литература и история как бы меняются местами...»

1. Если судить по литературным текстам, взяв хотя бы лауреатов и финалистов премий, то сразу бросается в глаза один неоспоримый факт. История (и как следствие этого — хроникальность, традиционная повествовательность) доминирует сегодня в беллетристике, хотя вряд ли можно считать это новой тенденцией. Просто в этом году акцент на историю как-то уж совсем резко бросается в глаза. И Алешковский, и Юзефович, и Улицкая, и Водолазкин, и Минаев и др. написали исторические романы. Год завершился «Тоболом» Иванова — который тоже исторический роман. Не история вообще, а частные судьбы, исчезающая материя, фактура прошлого (показателен с этой точки зрения замечательный сборник «Москва — место встречи»), растворенная и утраченная в небытии былая реальность — вот, что оказывается в центре внимания. Литература как бы берет на себя роль истории (историографии), восполняет недостаток исторической рефлексии, тягу к подлинному, пытается понять, какое отношение к настоящему имеет исторический опыт и в чем он собственно состоит. Забавно, что сегодня литература и история как бы меняются местами. История (если учесть государственный заказ) выступает за миф, а литература — за факты и правду («Зимняя дорога» Юзефовича — наиболее показательный пример). Современность как будто не позволяет говорить о себе просто так, отторгает синхронный дискурс и явно предпочитает

Окончание. Начало см.: «ДН», 2017, № 1.

диахронию. Исключений немного. Из тех, которые показались мне заслуживающими внимания, отмечу небольшой роман Анны Козловой «F20», яростно-откровенный, с подчеркнуто субъективным повествованием (безо всякой исторической «объективности») и по-настоящему современный (См.: «ДН», 2016, №10. — *Прим.ред.*). Ну и скажу еще об одном авторе, Сергее Солоухе, которого очень ценю. Правда, от его «Рассказов о животных» я ждал гораздо большего.

Знаю, что Антон Уткин написал новый роман (и читал его). Надеюсь, он выйдет в этом году. Во всяком случае, мне бы очень хотелось.

2. Следил только за «Русской премией», но она вряд ли дает представление о том, что происходит в национальных литературах.

3. Воспоминаний, биографий вышло в прошлом году множество. И здесь опять-таки история доминирует, что бы мы ни взяли (даже если говорить не об описательно-ретроспективной, а об аналитической литературе), филологически-публицистическое «Кривое горе» Александра Эткинда или окрашенную в цвета такого современного барокко, с намеренно вычурным языком книгу Алексея Иванова «Вилы». Да, кстати, замечательный учебник «Поэзия» вышел в издательстве «О.Г.И.».

Ольга Балла, литературный критик (г.Москва)

«Появилось множество прекрасных и важных книг»

1. 2016-й был счастливым и интенсивным читательским годом.

Что касается тенденций, то мне — и не одной мне — показалось, что укрепляется интерес, авторский и читательский, к жанру большого, многообъемлющего романа, собирающего разные времена и пространства, — романа, повествующего в первую очередь о прошлом (таков «Калейдоскоп: расходные материалы» Сергея Кузнецова (АСТ, «Редакция Елены Шубиной»), забирающий в себя весь — притом всемирный — XX век, начиная от его глубоких корней в XIX). Но есть и исключение — по меньшей мере одно: это большой роман об иммигрантах в Риме «Аппендикс», написанный Александрой Петровой (М.: Новое литературное обозрение), охватывающий Европу, Африку, Латинскую Америку последних десятилетий XX и начала XXI века.

Кстати, стоит заметить, что в обоих упомянутых романах русское литературное внимание выходит за пределы отечественной истории как таковой и занимается миром вообще, поверх барьеров, человеком в разных его исторических и культурных вариантах. Мне хочется видеть в этом свидетельство универсализации русского культурного внимания.

Обязательно надо назвать «Записки любителя городской природы» Олега Базунова (1927—1992), вышедшие в петербургском «Издательстве Ивана Лимбаха» только теперь, спустя 24 года после смерти автора. Я почему-то очень боюсь, что этот текст пройдет незамеченным из-за неприметности его названия, между тем это — проза совершенно особенная: целиком монологичный роман о внутренней жизни. По-русски такого писано крайне мало.

Не могу не упомянуть одного из самых интересных для меня авторов — Андрея Левкина, издавшего в этом году две книги: «Битый пиксель» (М.: Коровакниги) и «Города как камни и представления» (Казань: Центр современной культуры «Смена»). То, что он делает (упомянутые книги — лишь небольшие фрагменты его работы), я бы назвала исследованием принципиальной непонимаемости мира при постоянном же — от ситуации к ситуации, точечном — понимании внутри нее, о том, как это непонимающее понимание устроено. Самого же Левкина назвала бы я странником по структурам (не)понимания — пристального, как теоретик, однако с подчеркнутой (и это тоже принципиально) антитеоретичностью.

О поэзии. В этом году было много сильных поэтических книг. Наверняка что-то важное пропущу, но самые яркие впечатления вспомнить постараюсь.

Во Владивостоке, в неназванном издательстве, вышла совсем маленькая книжечка «Мы и глаза» Василия Бородина — поэта с особенным зрением, зрением-вообще, исходящим ниоткуда и отовсюду, подстерегающим вещи в их первозданной явленности. Бородину я вообще не устаю удивляться. Он говорит о мире как первоописатель, размечает мир первичными линиями, выращивает для речи о нем новый адамический язык. Прежний язык, орудие прежней оптики, не годится, сковывает — и плавится, образуя формы, чуткие к новому видению.

Три книги (на самом деле четыре; но четвертой — большого сборника эссе разных лет — я еще не видела) издал один из самых интересных русских поэтов нашего времени Андрей Тавров: это сборник стихотворений «Державин» («Русский Гулливер»), книга стихотворений в прозе «Снежный солдат» (Кыштым: Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ») и сборник эссе «Поэтика разрыва» (серия «Гуманитарные исследования» того же «Русского Гулливера»). Все это, несомненно, части одного большого дела, которое в первом приближении и с неминуемыми огрублениями я бы назвала выстраиванием (скорее — выращиванием?) личной мифологии и метафизики, выщупыванием образными средствами мирообразующих связей.

Поэтический сборник чрезвычайной интенсивности и событийной плотности — «Потеря ненужного» — выпустила в издательстве «Время» Елена Зейферт. Подобное на русском языке мало кто делает: этой речи удается быть напряженно-чувственной и метафизической одновременно — чуть ли не в каждой строчке, плотно там упакованное, выговаривается общее представление об устройстве мира и позиции в нем человека. В этом же году в московско-барнаульском издательстве, название которого в книге не указано, вышла ее книга прозы «Сизиф и К», которую правильнее всего читать вместе с поэтическими текстами автора. Но особенно интересной ее работой — и в смысле темы, и в смысле работы с языком — кажется мне ее повесть «Плавильная лодочка» о двухсотлетней истории российских немцев. Этот текст, соединяющий в себе возможности прозы и поэзии (более всего — последней), пока не издан и вообще, кажется, находится еще в состоянии становления, но на протяжении всего этого года он читается мною в фейсбуке — и интенсивен так, что, будь написан на бумаге, право, прожигал бы ее.

Сергей Соловьев издал поэтическую сумму своей жизни (формально — стихи 2013—2015 годов) «Ее имена» (М.: Новое литературное обозрение), которую я вижу как продолжение и перерастание того, о чем рассказано в вышедшем три года назад его романе «Адамов мост». Столь же сильной, сколь трудной и спорной книгой видится мне совсем небольшой его сборник «Любовь. Черновики» (Книжное обозрение (АРГО-РИСК) — книжный проект журнала «Воздух»), в которой автор работает со смыслами телесности, расширяет область речи, давая, во многом наперекор русским языковым привычкам, имена тому, что обычно не выговаривается.

Мне кажется важным, что впервые было собрано в книгу и издано поэтическое наследие Яна Никитина, руководителя музыкальной группы «Театр яда», умершего в 2012 году 35-летним (Избранные тексты: 1997—2012. — М.: PWNW). Теперь, наконец, Никитин может быть прочитан целиком и осмыслен — он несомненно этого достоин как очень своеобразное поэтическое явление.

Отдельным подпунктом — о переводах.

Значительным событием должно быть признано издание русских переводов сразу двух прозаических книг великого португальца Фернанду (у нас его чаще называют «Фернандо»; во второй из этих книг он назван правильно) Пессоа: «автобиографии без фактов» одного из его гетеронимов, Бернарду Суареша, — «Книги непокоя» («Ад Маргинем пресс») и сборника его малой прозы «Банкир-анархист и другие рассказы» (М.: Центр книги Рудомино). До сих пор проза Пессоа оставалась русскому читателю неизвестной, и мне хочется думать, что, будучи внимательно прочитана, она стронет в нашей словесности с места какие-то пласты.

Кстати, в этом же году был издан русский перевод «Морской оды» и «Триумфальной

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

оды» Пессоа (писанных им в облике Алваро де Кампуша), сделанный Натальей Азаровой и Кириллом Корчагиным («Ад Маргинем»). К сожалению, я, не зная португальского, могу оценить только русский текст. Знающие португальский отзываются о переводе противоречиво. Мне же видится важным, что этот текст вообще появился на нашем языке.

Меня очень обрадовал выход в «Новом издательстве» переведенных с немецкого «Колец Сатурна» В.Г.Зебальда и в издательстве «Текст» — перевода Аси Фруман с английского одновременно остроумной, легкой, точной и глубокой книги Амоса Оза и его дочери Фани Оз-Зальбергер «О евреях и словах» — о роли письменного и устного слова в еврейской культуре. (Это, скорее, к третьему вопросу о нон-фикшн, но не будем педантами.)

2.Сборник переводов из Сергея Жадана «Все зависит только от нас», изданный в Озолниеках (Латвия) в серии «Поэзия без границ», — одно из сильнейших моих поэтических впечатлений этого года. В этом же году был прочитан вышедший в конце 2015-го сборник рассказов украинской писательницы Тани Малярчук «Лав-из» в переводе Елены Мариничевой — умная, чуткая, тонкая, грустно-ироничная, иронично-грустная проза о чуде и тайне жизни. Среди важных книг, способствующих крайне насущному сейчас русско-украинскому взаимопониманию и взаимослышанию, необходимо назвать общий сборник пишущих по-русски украинских поэтов Бориса и Людмилы Херсонских «Вдвоем» («Совпадение»), датированный 2017-м, но вышедший в декабре.

В последние годы, в частности и в этом году, у русского читателя появилось сразу несколько возможностей составить себе представление о поэтической работе одного из значительнейших литовских поэтов Томаса Венцловы. Не очень поворачивается язык говорить о Венцлове как о человеке «ближнего зарубежья», поскольку он, много лет живущий в Америке, все-таки, по большому счету, гражданин мира, — с другой стороны, он никогда не переставал быть литовцем и, конечно, должен быть понят как событие литовской литературы. В 2016-м я читала изданный в 2015-м сборник стихотворений Венцловы «Искатель камней» в очень хорошем (просто по качеству русского текста; не знаю, насколько адекватном оригиналу) переводе Владимира Гандельсмана (Новое литературное обозрение) и вышедший уже в 2016-м двуязычный, литовско-русский, сборник «Похвала острову: Избранные стихотворения. 1965—2015» (Издательство Ивана Лимбаха).

Еще необходимо вспомнить соотечественника Венцловы, философа Леонидаса Донскиса, чей сборничек совсем маленьких эссе, напряженных, приближающихся по концентрации к афоризму, а иногда и просто афоризмов, текстов-формул — «Малая карта опыта» — выпустило в начале этого лета Издательство Ивана Лимбаха. К великому несчастью, Донскис, которому было чуть больше пятидесяти, внезапно умер в этом сентябре, когда мы едва-едва начали общаться. Я очень грущу о нем, это был мощный и значительный человек. Буду продолжать мысленный разговор с ним: в этом же году, уже после смерти автора, в том же издательстве вышла небольшая диалогическая книжка его и Томаса Венцловы «Поиски оптимизма в пессимистические времена: Предчувствия и пророчества Восточной Европы» в переводе Георгия Ефремова.

Киевское издательство «Лаурус» издало на русском языке совершенно магическую книгу Алексея Гедеонова «Случайному гостю» (не знаю, многим ли она достанется в России, — было несколько экземпляров на ярмарке Non fiction), о которой я надеюсь еще написать.

Стоит также назвать Евгения Абдуллаева — Сухбата Афлатуни, пишущего по-русски, живущего в Узбекистане. Его роман «Поклонение волхвов» (РИПОЛ-классик), в связи с которым я его вспоминаю, вышел в 2015 году, но читала я его (и писала о нем в «ДН») в 2016-м.

Я бы еще упомянула в этом пункте о литературных событиях, так сказать, *внутреннего* «ближнего зарубежья»: о событиях литературы, пишущейся хотя и по-

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

русски, но представителями других российских народов, то есть носителями другой (иной раз — сильно отличающейся от нашей) картины мира. Подчеркиваю, это — события именно русской литературы и языка, но — расширяющие наш и языковой, и смысловой опыт. Тут должен быть назван Амарсана Улзытуев с вышедшим в поэтической серии «Времени» сборником «Новые анафоры» (отчасти эти стихи я уже читала и раньше, когда выходила существенно более тоненькая его книжечка «Анафоры»). А кроме того — огромная антология литературы российских немцев второй половины XX — начала XXI века «Навстречу недоверчивому солнцу», составленная трудами Елены Зейферт и вышедшая в издательстве «РусДойч Медиа». Она открывает русскому читателю едва, если вообще, известный нам и еще меньше того осмысленный нами пласт опыта. Это большое событие в книгоиздании минувшего года.

3. В этом году в едва обозримом поле нон-фикшн появилось множество прекрасных и важных книг. Было много хорошей эссеистики, что мне, с моими читательскими предпочтениями, радостно особенно.

Непременно надо назвать вышедший в начале года учебник «Поэзия» (О.Г.И.). Это чрезвычайно любопытное интеллектуальное предприятие — тем более любопытное и важное, что оно уже вызвало много споров. Естественно, эта книга вобрала в себя представления о поэзии, свойственные коллективу ее авторов (кстати, она дает неплохую картину современной поэзии, поскольку снабжена множеством примеров, то есть это одновременно и хрестоматия.) Но претендует она на общекультурность, на то, чтобы задать основу именно общим представлениям (учебник же! основы — по замыслу — закладывает, матрицы восприятия задает), объединяющим многих. Появление такой книги видится важным прежде всего потому, что дает стимул к рефлексии, к спорам и обсуждениям, к тому, чтобы и те, кто не разделяет взглядов авторов на предмет разговора, продумали собственное видение поэзии, а то и проговорили его.

В начале лета появилась интереснейшая книжка Андрея Балдина «Новый Буквоскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина» (М.: Бослен), обозначенная автором как «книга эссе», хотя это скорее книга-эссе — цельное, связное построение: в ней автор с помощью некоторого набора родственных друг другу метафор старается понять, каким образом европейское путешествие Карамзина на рубеже 1780-х—1790-х годов, известное нам по «Письмам русского путешественника», не только изменило мировосприятие самого Карамзина, но — благодаря самому факту перемещения писателя в пространстве — породило новый русский язык и заложило основы всей последующей русской литературы. Я бы назвала область, в которой работает автор, созданию которой он способствует этой книгой, *художественной антропологией*, с основным акцентом на слове «художественная». Эта мысль, заявляющая себя как исследование (и в какой-то мере являющаяся им), несомненно — разновидность искусства и обладает убедительностью эстетического порядка.

И вот это как раз к разговору о тенденциях: по-моему, русскоязычный нон-фикшн продолжает размывать косные формы «художественного» и «документального», проницать границы между ними, давая жизнь новым небывалым формам, ни к тому, ни к другому не сводимым; балдинский «Буквоскоп» — ярчайший пример.

На языках, звучащих к западу от наших границ, этот процесс начался раньше, и мы получили в минувшем году очередные возможности узнавать о том, как это происходило. Наконец-то перевели у нас — и в 2016 году она вышла — знаменитую биографию Дуная, написанную итальянцем Клаудио Магрисом еще в начале 1980-х (Клаудио Магрис. Дунай / Перевод с итальянского А. Ямпольской. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха). Впрочем, мы никуда не опоздали, это вполне вневременная книга: портрет реки вместе со всеми странами от Германии до Румынии и Украины, которые Дунай вокруг себя собирает и объединяет, задавая тон всему, что происходит по его берегам. Сам автор настаивает, что написанное им — чистое художество, торжество

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

вымысла, все совпадения с фактами случайны. Невозможно исключить, что именно так оно и есть: лишь художественное способно быть таким волнующим и цельным.

В этом году сразу несколько литературных критиков — очень разных, осуществляющих разные критические стратегии — издали сборники своих текстов. Это — «Великая легкость» Валерии Пустовой (РИПОЛ-классик), «Тексты в периодике: 1998—2015» Людмилы Вязмитиновой (М.: НП Елена Алексеевна Пахомова), «Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе» Галины Юзефович (Редакция Елены Шубиной) и «Мультиверс: Литературный дневник. Опыты и пробы актуальной словесности» Евгения Ермолина (М.: Совпадение; формально — 2017, но вышла в этом декабре). Думаю, знакомство с этими книгами — именно со всеми, в комплексе — способно быть очень полезным тому, кто хочет составить себе объемное представление о происходящем в современной русской словесности и о том, как эта словесность осмысливает сама себя.

Чрезвычайно значительным событием — ждущим еще подробного осмысления — стоит признать русский перевод с французского оригинала первого тома «Европейского словаря философий», он же «Лексикон непереводимостей». Киевское издательство «Дух і літера» издало его, правда, в 2015-м, но попала мне в руки и стала моим читательским событием книга только в 2016-м. Будучи одновременно корректным, академичным, педантичным рассмотрением того, насколько по-разному (и почему по-разному) в основных европейских языках понимаются некоторые ключевые философские термины и куда это заводит мысль на соответствующих языках, эта книга одновременно — утверждение важнейших ценностей европейской цивилизации. Это — ценности единства без унификации, постоянной выработки такого единства; ценности взаимопонимания, рационального самоанализа, постоянного «отдания» себе отчета в основах и корнях собственных мыслей и действий — самопрояснения; и не в последнюю очередь — ценности историзма: понимания каждого предмета в его историческом становлении.

Крайне интересную книгу «Пир — это лучший образ счастья: Образы трапезы в богословии и культуре» выпустило издательство Библейско-Богословского института имени Апостола Андрея под редакцией Светланы Панич и Ирины Языковой: о том, как телесное событие еды собирает вокруг себя смыслы, далеко превосходящие все телесное, о символизме по видимости «простых» вещей.

Большой радостью для меня был выход сборника «средневековых» статей Кирилла Кобрина — «Средние века: Очерки о границах, идентичности и рефлексии» (М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. — MEDIAEVALIA [series minor]), — давно хотелось рассмотреть его как медиевиста.

Фантастическую (это оценка, а не определение жанра) книгу написал лингвист Александр Пиперски — о принципах, по которым придумываются несуществующие языки: «Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского» (М.: Альпина нон-фикшн, серия «Библиотека "ПостНауки"»). Датирована 2017-м, но на Non fiction уже была и начала потихоньку читаться. Ни одному закрученному сюжету не дано быть таким захватывающим, честное слово.

Среди важных чтений этого года стоит упомянуть книгу избранных эссе Ива Бонфуа «Век, когда слово хотели убить» (М.: Новое литературное обозрение). Вообще, «НЛО» издало в этом году много «нехудожественных» книг, воспламеняющих воображение никак не менее художественного. Тут можно вспомнить — всего точно не перечислю — книгу Мишеля Пастуро «Черный: История цвета», сборник «Музей 90-х: Территория свободы», книги Всеволода Багно «"Дар особенный": Художественный перевод в истории русской культуры», Юрия Манна «Гнезда русской культуры (кружок и семья)» (о первой половине XIX века), «Поэты в Нью-Йорке. О городе, языке, диаспоре» — книга разговоров Якова Клоца с живущими в США поэтами из России и Восточной Европы... — нет, надо прерваться, иначе никогда не остановлюсь.

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Очень важная и сильная книга — тоже датированная 2017-м, но вышедшая в декабре — перевод дневника за 1942—1944 год юной французской еврейки Элен Берр, погибшей в Берген-Бельзене за несколько дней до освобождения, свидетельство о жизни и смерти в оккупированной Франции, о судьбе и достоинстве человека в катастрофе (перевод Натальи Мавлевич, М.: Albus Corvus).

В некотором родстве с этой книгой представляется мне и вышедший одновременно с нею двухтомник «Тетрадей» за 1933—1942 годы соотечественницы и современницы Элен — Симоны Вейль в переводе Петра Епифанова (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха).

Под самый конец года вышел сборник «Писем о Рембрандте» Ольги Седаковой («Путешествие с закрытыми глазами», СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, в не виданной мною до сих пор серии — может быть, только что появилась? — «Orbis pictus») и одновременно — еще одна книга, посвященная смыслам поэтической и, шире, культурной работы автора «Писем». Едва начав ее читать, я уже чувствую эту книгу очень существенной — это сборник научных статей «Ольга Седакова: стихи, смыслы, прочтения. Сборник научных статей / Ред. Стефани Сандлер [и др.]» (М.: Новое литературное обозрение). Датирована она, правда, тоже 2017 годом, но появилась в этом декабре и стала читательским событием 2016-го. На этом примере будет интересно, дочитавши, продумать, как поэт своим присутствием в культуре стимулирует смысловые процессы, изменяет систему равновесий и тяготений (Седакова, безусловно, фигура такого масштаба, что делает именно это — сопоставим с нею в этом отношении разве что Мандельштам, продолжающий расширяться корпус толкований которого составляет отдельный и самоценный пласт нашей культуры).

И это еще далеко не все интересное и важное, прочитанное в 2016 году. Просто в том порядке, в каком вспомнилось — и в таком количестве, чтобы не (слишком) выходить за пределы заданного объема.

Ольга Брейнингер, прозаик, критик, переводчик (г.Бостон, США)

«Наша задача — начать говорить на глобализированном языке»

1. Пожалуй, главными событиями 2016 года для меня стали расцвет «нового самиздата» и появление значительного количества новых медиа, которые как предоставили площадки для публикаций новым авторам, чей доступ к более официальным платформам был ограничен в силу разных причин, так и дали возможность «перегруппироваться» и проявить себя в новом качестве авторам, ранее известным нам в рамках знакомых профессиональных институций. К существовавшим ранее «Транслиту», «Носорогу», «Литературе» в последнее время добавились и такие платформы, как Gorky.media, и отдельные узкоформатные издания («Fleurs et Larmes», «Pollen»). Некоторые из них вводят в культурное пространство новые дискурсы и темы («Археология русский смерти», «moloko plus»), другие проекты ставят перед собой конкретные идеологические и дисциплинарные задачи («Последние-30»). Пожалуй, главное, что я вынесла для себя, поучаствовав в последнем проекте, — это невероятный творческий заряд и драйв, то, чего так давно не хватало и что особенно важно для амбициозных, молодых проектов, главная задача которых — «отвоевывать» свое пространство. Новые медиа хотят создавать другие проекты, давать голоса другим авторам, делать вещи по-другому — и радикально диверсифицируют наше представление о том, какими могут быть литературные издания.

Мой личный праздник 2016 года — анонсирование русского перевода «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса, на мой взгляд, главного романа последних десятилетий.

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

Почти так же сильно, как выхода самого романа, я жду появления вокруг него критических публикаций, где, надеюсь, будет поднята тема новых средств и форм художественного выражения, от которых русская литература в каком-то смысле была изолирована на протяжении нескольких десятилетий — разрыв, который нам необходимо преодолеть, и опыт чтения «Бесконечной шутки» должен в этом помочь.

Кроме того, в этом году вышли русские переводы Bleeding Edge («Край навылет) Томаса Пинчона и «A Little Life» («Маленькая жизнь») Ханьи Янахигары. Надеюсь, что в ближайшее время появится и русский перевод «Swing time» Зэди Смит.

2. Продолжая разговор о Дэвиде Фостере Уоллесе и этапах развития литературного мышления, которые нам еще предстоит пройти (или, скорее, преодолеть рывком), скажу, что одна из категорий, которая, как мне кажется, должна уйти в числе первых — это «географическое» мышление. Литература на русском языке рождается в самых разных точках мира, и, где бы она ни создавалась, она должна быть вписана одновременно и в глобальное культурное пространство, и в локальные культурные контексты. Именно сопряжение этих категорий — глобального и локального — как мне кажется, и является определяющим вектором развития современной культуры, и главная наша задача сейчас заключается в том, чтобы преодолеть географические линии, ограничения и начать говорить на глобализированном языке. На мой взгляд, в прозе наиболее интересно это делают Андрей Иванов и Игорь Вишневецкий.

Среди новых произведений писателей, живущих за пределами России, интересными мне показались романы Максима Матковского «Попугай в медвежьей шкуре», Романа Кохужарова «Кана», проза таких авторов, как Лена Элтанг, Улья Нова, Полина Жеребцова.

3. Грани жанров фикшн и нон-фикшн становятся все более размытыми — и это тоже закономерно. Книги Светланы Алексиевич или Леонида Юзефовича — пока более понятный для нас пример того, как документалистика или архивная работа сочетаются с экспрессивными средствами фикшн. С другой стороны, например, в 2016 году мне довелось взять у Линор Горалик интервью, в котором она охарактеризовала свои тексты как фикшн, маскирующийся под документальный жанр. Вот это обратное направление писательской работы кажется мне чрезвычайно захватывающим, и я жду появления новых текстов, демонстрирующих возможности такой работы на грани жанров.

Что касается «классического» нон-фикшн, то три главные книги года для меня — это «The Depths of Russia» Дугласа Роджерса, «Writers and Rebels» Ребекки Гулд и сборника «Postcolonial Slavic Literatures After Communism» под редакцией Клавдии Смола и Дирка Уффельмана. Это три смелые, новаторские книги, раскрывающие не только новые темы (нефть и национальное самосознание; литература Северного Кавказа и постколониальная методология применительно к постсоветской литературе), но и новые способы мышления о, казалось бы, знакомом нам мире.

Борис Кутенков, поэт, литературтрегер, редактор отдела критики и публицистики журнала «Литерратура» (г.Москва)

«Стремление к литературной социализации не угасало»

1. На первый взгляд — год не принес революционных изменений. Выходили журналы, затевались литературные проекты разного толка. Проекты становились еще более бесплатными (кажется, ситуация, когда все больше текстов пишется, а мероприятий проводится вне коммерческой основы, стала в литературе естественной — при нашей, к сожалению или счастью, этой ситуации молчаливой поддержке). Вмешательство

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

государства в литературу вроде бы пока не привело к драматическим последствиям: итог размышлений на эту тему подвели участники круглого стола «Русская литература после 2012 года» на «Gefter.ru» — власть, поддерживая «патриотический» сегмент, тем не менее книги прочих изымать из книжных магазинов не собирается, предоставляя «свободным» право на самостоятельное выживание. Общее настроение этого «выживания» в литературной среде с горьким сарказмом обозначил Данила Давыдов на презентации книги Анны Маркиной: «Денег не будет, счастья все равно не будет — зато очень возможно, что будет вторая и третья книжка». По сути — афористическое переложение пушкинского «На свете счастья нет, но есть покой и воля» в современных условиях...

Радует, что в ситуации, когда не стоит особо рассчитывать на поддержку меценатов или власти, не стало меньше энтузиазма. Произрастающего словно бы без внешней подпитки. Стремление к литературной социализации — как среди условной «стихиры», так и среди профессионального поля — не угасало и создавало впечатление пестрой, мелькающей, дискретной, абсолютно не отрефлексированной, но все же *литературной* жизни. Что интересно: прекращение проекта «Современная литература online», существовавшего под моим руководством в библиотеке Жуковского четыре месяца (администрация довольно скоро поняла коммерческую убыточность литературных мероприятий...), воспринял с облегчением. Пока делал все эти презентации — ощущал избыточность своих усилий по сравнению, например, с проходящими одновременно вечерами «Культурной инициативы». Мероприятия пользовались успехом, иногда собирались немаленькие залы. По прекращении — словно бы ничего не изменилось, и это состояние общего равнодушия к любой сколь угодно востребованной, но внезапно аннигилировавшейся затее стало нормой. Жизнь продолжается. Тем не менее в Москве количество мероприятий было даже излишним по отношению к запросам публики, разрывающейся между несколькими вечерами, и — особенно — по отношению к уровню критической рефлексии.

В этой связи — недостаток критической рефлексии вокруг мероприятий — закономерно, что не наблюдалось возрождения жанра аналитического репортажа. Под конец года возникла обнадеживающая попытка: книга Людмилы Вязмитиновой «Тексты в периодике. 1998—2015» — труд, славный именно умением вывести тенденцию из разрозненных наблюдений за литературными событиями. Что характерно — последний обзор Вязмитиновой был написан в конце 2015-го; альтернативы ее деятельности в современном литпроцессе словно бы нет. Фактически исчезли люди, имеющие профессиональную привычку пролистывать ежедневно всю (или почти всю...) периодику — мотивации для этого занятия становится меньше и меньше. Ровно две премии за жанр репортажа о событии («Московский наблюдатель», о мероприятиях «Культурной инициативы», и премия клуба «Стихотворный бегемот» — обе, к сожалению, замкнуты в рамках своих сообществ), еженедельная полоса в «НГ-Ex Libris» и обзоры Ольги Логош на «Piterbook», ситуативно возникающие заметки в «Литературе» — этим список и исчерпывается, что не свидетельствует о перспективах жанра. Отчасти это происходит ввиду отсутствия социального заказа, отчасти — усиливающейся разобщенности, когда попытки объединить в одном тексте непохожие, а иногда и полярные явления приводят к дискретности критического взгляда — и анализ окружающего тебя «мира буковок», вне попытки охватить все поле целостным взглядом, выглядит наиболее продуктивным. Статьи же этого года, стремящиеся к такому «целостному охвату», порой напоминали телефонные справочники. Из критиков, нацеленных на продуктивные обобщения с четким артикулированием своей позиции, назову, чтобы не делать обзор безразмерным, только Евгения Абдуллаева. Его замечание в одном из наших опросов об усиливающемся «непрофессиональном поведении» («Профессионал всегда интересуется тем, что происходит в соседней команде...») и о «распаде», вызванном «ослаблением профессионально-цеховой идентичности», кажется мне симптоматичным.

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

Из неожиданных радостей (попытка построить литературный проект с внятной культурной политикой, перспективами и коммерческой основой) — появление нового сайта «Горький» в начале сентября. Интерес к толстым журналам становится все более замкнутым в границах литературного сообщества; сами журналы постепенно сливаются в одно «издание Журнального Зала» даже в глазах постепенно отдаляющегося от дел профессионала. В этой ситуации существование как минимум трех литературных ресурсов, открытых коммуникации с «широким читателем», — вклад в развитие диалога современной литературы и публики. Да, публики, как ни удивительно это слово звучит: нефилологической, еще интересующейся современной литературой и желающей внятных ориентиров, — таковая, по моим наблюдениям, сейчас сосредоточена в основном в провинции, вне московской пресыщенности (см. об этом в нашем интервью с Александром Гавриловым в «Литературе», № 79). Сайты — разноплановые, и трудно сказать, какой из них наиболее значимый: «Горький» — направленный на популяризацию чтения, «Rara Avis» — посвященный критике, наше богоспасаемое издание — попытка скрестить аналитику «толстяка» с интерактивностью сетевого портала.

Из героических усилий нельзя не упомянуть работу Марины Волковой и Виталия Кальпиди, направленную на продвижение уральской литературы: поездки, конференции, ежедневная неугасающая деятельность... Изданная ими в конце года антология «Русская поэтическая речь» (не замкнутая на уральском сегменте — что, впрочем, еще впоследствии выяснится: тексты в антологии представлены анонимно) и прошедшие в рамках ее обсуждения «круглые столы» дали новый виток дискуссиям об анонимности текста и постмодернистской «смерти автора» в наши дни.

Касательно книг и публикаций — скажу о том, о чем наиболее уверенно могу судить, — о поэзии. Вышедший в новом украинском издательстве «Лоція» сборник верлибров севастопольца Дмитрия Аверьянова (см. о нем мою рецензию в «Homo Legens», № 2, 2016) — сказочный, полный деталей, увиденных детской оптикой, с лукавым подмигиванием наблюдателя. Подборка Дмитрия Гаричева (Ногинск) в «Воздухе» (№ 1, 2016) — новое слово в регулярном стихосложении, та «социальная поэзия», которой многие ждали. Алексей Чипига из Таганрога — его поэзия и эссеистика, уникальная отношением к слову и совершенно ни на что вокруг не похожая, заслуживает отдельного разговора.

2. Ирина Евса, харьковчанка, стала в этом году лауреатом «Русской Премии»: о ее сборнике «Юго-Восток» мне приходилось писать в прошлом году. Отмечу поэзию Ольги Злотниковой (Минск), за новыми стихами которой ревностно следил с начала знакомства (июнь 2015), ожидая прорыва, — и этот прорыв случился: ее подборка в «Литературе» №86, пронизанная «родовой болью» и заметно наследующая эстетическому опыту старшей тезки автора, Ольги Седаковой, — очень сильная.

3. Год порадовал сразу несколькими сборниками в жанре нон-фикшн. В лидерах — серия «Лидеры мнений» издательства «РИПОЛ-Классик», где после «Фейсбучного романа» Сергея Чупринина и сборника статей Валерии Пустовой вышли «Клудж» Льва Данилкина (информативные эссе о культурных впечатлениях путешественника) и сборник Евгения Лесина о Венедикте Ерофееве. Блогопись иногда радовала едва ли не больше, чем журнальные и книжные публикации, и все чаще наблюдались попытки их сближения. В этой связи стоит отметить Ольгу Балла (ее «Упражнения в бытии» летом были опубликованы отдельной книгой) и заметки Дмитрия Бавильского, публикующиеся в его Живом Журнале (рецензии — в ЖЖ и на The Art Newspaper.ru). Тенденция же неутешительна: отношение к блогописи со стороны многих по-прежнему презрительное — этому литературному жанру, уже давно самостоятельному, еще предстоит доказывать свою легитимность. Из характерных примеров такого отношения — сердитая рецензия Максима Алпатова на книгу той же Балла («Литература», № 85), спровоцировавшая плодотворную дискуссию о существовании жанра, и вызвавшая много споров дневниковая подборка Кирилла

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Зацепина в следующих номерах журнала. В жанре эссе о классиках продолжала интересно работать Светлана Михеева из Иркутска; ее «юбилейные» тексты, публикующиеся в «Литературе», кажется, складываются в отдельную книгу — будем надеяться на выход оной.

Ольга Лебёдушкина, литературный критик (г.Балашов)
«Затишье — мнимое...»

1. Что касается отечественной прозы, то здесь урожай, на первый взгляд, скромный, особенно в сравнении с 2015 годом, когда отметились большими романами Николай Кононов, Мария Галина, Петр Алешковский, Леонид Юзефович, Сухбат Афлатуни, и не случайно в 2016-м именно эти книги определяли премиальные сюжеты, а в самом этом году русская литература, казалось бы, сделала передышку. Впрочем, затишье это мнимое.

Во-первых, вышли две очень значительные книги Алексея Иванова. Про «Вилы» — ниже, а «Тобол» (М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016) — многолинейный, многолюдный, многонациональный эпос — вышел в самом конце года, и, думаю, этому роману принадлежит весь 2017-й, так что разговор о нем пока откладываю на будущее.

Во-вторых, сделала для себя два абсолютных открытия, а это значит — год не зря прошел. Первым стоит назвать роман «Здесь живу только я» (СПб.: Пятый Рим, 2016) петербуржца Александра Пелевина. Это такой жанровый, языковой, культурный микс из всего на свете — новеллы ужасов, советских детских сказочек про дедушку Ленина и храбрых красноармейцев, из обэриутов и интернет-мемов, а главное — это круговерть пространств и времен, Петербурга и Ленинграда, так что не всегда успеваешь понять, когда одно становится другим.

Еще один дебют — Валентина Назарова, автор еще более молодой (Александру Пелевину, если верить Интернету, двадцать восемь, Назаровой — чуть больше двадцати). И здесь, может быть, даже немного становится обидно, что с молодыми сейчас перестали носиться и такого ажиотажа, как, скажем, лет 15 назад, больше нет. С другой стороны, «юниоры» сейчас выступают в одной группе со «взрослыми», и это для них большой плюс. Хотя и больший риск остаться незамеченными, о каких бы важных вещах они ни писали. «Девушка с плеером» (М.: АСТ, 2016) — интеллектуальный роман, умело ряженный в одежку детектива. Девушка Ника приезжает в Лондон — учиться и искать сестру, которая пропала там восемь лет назад. Все, что осталось от сестры, — плеер с коллекцией дисков и страница на фейсбуке. Ника слушает ее музыку и пишет ей сообщения в личку, сообщения остаются непрочитанными, а оглавление романа превращается в плейлист. В общем роман сохраняет все признаки модной молодежной прозы, но при этом он обращен к неопределенному читателю, то есть к каждому из нас. Это история о хрупкости и уязвимости человеческого бытия, которое постоянно, казалось бы, подтверждается и утверждается тем, что все мы зачекинены и залогинены, размножены в сотнях сэлфи и роликов на ютьюбе, пойманы тысячами видеокамер. Но эта жизнь у всех на виду в любой момент может оборваться, и окажется, что музыка в плейлисте — едва ли не самое подлинное из всего, чем был человек на этом свете, и роман Валентины Назаровой в первую очередь об этом.

Если говорить не об открытиях, Сергей Лебедев — тоже из «юниоров», давно играющих на одном поле со «старшими». Роман «Люди августа» (М.: Альпина Паблишер, 2016), попавший в шорт-лист «Русского Букера-2016», — третий по счету. А свой первый роман «Предел забвения» автор написал, когда ему не было еще и

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

тридцати. Случай Сергея Лебедева в каком-то смысле уникален для современной русской литературы, потому что его проза имеет гораздо большую известность за рубежом, его очень активно переводят, в частности, «Люди августа» вышли в немецком переводе раньше, чем были изданы на родине. В качестве аналогии на ум приходит разве что Андрей Курков, но Курков — все-таки по части умной развлекательной литературы, а проза Лебедева — чтение очень нелегкое, он пишет о травмах исторической памяти и современности, которые наше общество в последние годы всеми силами стремится вытеснить и забыть. «Люди августа» — глубокая и честная книга о 90-х, не о лихих и не о прекрасных, а о тех, которые мы еще и не осмыслили по-настоящему.

Кстати, герой Сергея Лебедева выполняет частные поручения по поиску пропавших родственников, а заодно ищет следы своего деда, затерявшиеся во время Великой Отечественной войны. И, наверное, такое оживление «вечного сюжета» о поисках и обретении потерянных родных в современной отечественной прозе последних лет вряд ли случайно.

Та же обостренная тоска по неведомому (а где — и вполне «ведомому») родству отличает и книгу рассказов Анны Матвеевой «ЛолОтта и другие парижские истории». (М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016). Это сборник совершенно замечательных человеческих историй, которые объединены темой Парижа, причем Париж может быть столицей Франции, а может быть и кафе с таким названием или уральской деревней. И места, и люди, как всегда у Матвеевой, очень разные, но соединенные множеством человеческих связей.

2. Пожалуй, вспомнить могу только пишущего по-русски украинца Максима Матковского. Его «Попугай в медвежьей берлоге» (М.: «Э», 2016) — этакий постсоветский «кампусный роман» и одновременно — шпионский триллер о похождениях молодого университетского преподавателя-арабиста.

3. Нон-фикшн становится уж слишком безразмерным понятием.

Если речь о документально-художественном расследовании, то это, конечно, «Вилы» Алексея Иванова (М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016) — потрясающая книга о пугачевском бунте и о русском бунте вообще, написанная так, как у нас еще не писали, — с невероятным размахом и богатством культурных ассоциаций. То, что для Алексея Иванова «история — это территория», ясно было и из других его книг, но здесь какое-то особенное ощущение России — с ее пространствами, многоликостью и многонациональностью, с ее красотой и жутью. Иванов — мастер открывать читателю его собственную страну, объяснять, что все мы — жители terra incognita. И в этом отношении невымышленная проза Алексея Иванова — настоящая литература без всяких скидок на жанр. Еще одно событие года — выход в русском переводе знаменитых «Тетрадей» французского философа Симоны Вейль (Симона Вейль. Тетради. 1933 — 1942. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016). Вейль у нас переводили мало и с опаской: слишком уж ярким и неудобным мыслителем она была. Так что отдельно стоит отметить работу Петра Епифанова — переводчика, составителя и комментатора двухтомника.

Радовала научно-популярная литература, которой, несмотря на все трудности, много, и, что особенно замечательно, в этом жанре все чаще появляются работы российских ученых. Достаточно вспомнить продолжение «Книжных проектов Дмитрия Зимина» — серию «Primus», в которой уже вышли «Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать» (М.: АСТ: CORPUS, 2016) одного из лучших отечественных научных журналистов Бориса Жукова и «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаила Никитина (М.: Альпина нон фикшн, 2016).

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Александр Люсый, литературный критик, культуролог (г.Москва)

«В ожидании текста — как в ожидании спирта»

1. «Спирт?» — уточняет герой незабываемого фильма «Кавказская пленница» в исполнении Юрия Никулина перед уколом, и мнимые медики спешат подтвердить присутствие именно этого ингредиента. Аналогичным образом современный читатель ищет в произведении именно текст, который, по выражению современного французского философа Юлии Кристевой, «не произведение, но производство». А писатель старается не просто написать произведение, но учредить посредством него некий текст.

Я тоже пытаюсь думать предельными текстами во всей их локальности. Их иногда называют — сверх- или супертексты. Продолжаю читать художественную литературу сквозь призму «Московского текста», как называется моя последняя книга. Кстати, о таком типе чтения — философская новинка итальянского социолога Франко Моретти «Дальнее чтение», вышедшая в этом году в издательстве Института Гайдара стараниями многограннейшего издателя Валерия Анашвили. Что касается традиционных жанров, современный роман, пишет Моретти, возникает не как самостоятельное изобретение, а как «компромисс между западными формальными влияниями (обычно французскими или английскими) и местными материалами». При этом в категорию «материалов» попадают не только темы или места действий, но и стилистические особенности: из-за тесной связи с национальными языками они трудно поддаются заимствованию. Связь заимствованных форм и местного стиля часто приводит к наиболее интересным литературным изобретениям, которые, по мнению Моретти, чаще всего появляются в зоне полупериферии (в качестве примеров он приводит латиноамериканский магический реализм и русский «роман идей»).

Итак, вот дважды герой двух последних в этом году книжных ярмарок — ностальгический сборник «Москва. Место встречи». Да, и авторы здесь предстают в облике героев особой московской ностальгии. Людмила Улицкая («Моя Москва: сороковые — шестидесятые») и Дмитрий Быков в своих воспоминаниях (не ждали?) не признают постсоветских переименований, демонстративно называют места своего детства по старому — Каляевская улица, Ленинские горы. «Мне нравилось это название — какой-то "каляй-валяй-катай" в ней присутствовал, а террориста Каляева в школе едва-едва проходили, но это будет еще не скоро... Про Каляевскую теперь забыли, она снова стала Долгоруковской, а из окраинной превратилась почти в центральную... И трамвай к Савеловскому вокзалу по ней давно не ходит, и станция метро "Новослободская" — помню открытие! — обветшала и давно ждет реставрации. И про Ивана Каляева забыли».

На фоне реалий современного террора фигура этого террориста вполне даже симпатичная. «А ведь какие славные были революционеры в добольшевистское время — пошел взрывать генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, подстерегал с бомбой в ситцевом узле у Никольских ворот, у выезда из Кремля, заглянул в карету, а там, кроме приговоренного революционерами князя, сидели его жена Елизавета Федоровна и детки. И дрогнула рука, убрался вместе с ситцевым узелочком. Шахиды всех времен руководствуются принципом "Убивший да убьет себя!" А этот деток пожалел и себя сам не взорвал, а казнен был через два года в Петропавловской крепости, "через повешание", после того как добрался-таки до генерал-губернатора...»

Ольге Трифоновой («Миуссы») ландшафты московской памяти видны сквозь знаменитые руины Пиранези. Храмы Третьего Рима строили итальянцы, и руины храмов в советское время тоже рассматриваются сквозь итальянскую призму. На месте руин построенного в честь отмены крепостного права собора Александра Невского хотели построить крематорий, но в итоге возвели скучной архитектуры Дом пионеров.

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

Московский текст цитирует сам себя, обогащаясь ассоциациями. Пиранези дополняется и памятью о Дейнеке, поскольку теперь Миуссами владеют троллейбусы, которые тут отстаиваются, с плоскими, как у восточных божков, лицами, немного похожие на аэростат, который некогда тоже спал среди дня на Миусском сквере, а к вечеру приходили девушки в военном и уносили его на дежурство.

Вполне пиранезевские, и тоже не без авангардистской прививки, ассоциации и у Евгения Бунимовича в рассказе «Неглинка: украшения одной жизни и одной реки». «Украшением помойки на заднем дворе автобусного парка был вросший в землю скелет брошенного автобуса — наша ржавая беседка без окон и дверей, наш клуб по интересам. С дырявой крыши того автобуса можно было дотянуться до открытой фрамуги и с целью поиграть в прятки залезть в закопченный, зачуханный, насквозь провонявший бензином и соляркой Бахметьевский гараж, позднее оказавшийся шедевром мировой архитектуры XX века, который проектировали сразу два гения — гений русского авангарда Константин Мельников и гений русской инженерной мысли Владимир Шухов».

Воспетый Окуджавой Арбат живьем теперь не почитаешь, а вот улица Сретенка, не нашедшая себе своего певца, по свидетельству Юрия Гаврилова («Банный день Сандуны») остается — наилучшим образом сохранившаяся московская слобода, жители которой кормились многочисленными ремеслами. И автор в буквальном смысле вписывается в это урочище с рядом переулков со стороны Рождественского бульвара, который начинается слободой печатников, т. е. типографщиков, построивших себе каменную церковь Успения Богородицы в 1695 году на месте деревянной 1631 года, в которой одно время размещался музей Арктики, а затем — Морского флота СССР. Так суждено было креститься Арктике и флоту, так в церкви прописывались иконы новых подвигов. «Заметьте, что в это время я сам уже был матерым типографщиком, и не было ли здесь знака судьбы?» Заканчивается Сретенка у Сухаревской площади церковью Троицы, что в Листах, где торговали продукцией печатников — листами: церковной литературой, печатными иконами и лубками. «И моя жизнь заканчивается вот этими листами — еще один знак»... Впрочем, это не конец. Я открыл для себя ложащееся на отмываемое здесь понятие текста, как на банную лавку, слово ПРОСТРАНЩИК. Так назывался работник бани, обслуживающий посетителей в раздевальном зале (от устаревшего — пространок, одна из частей такого зала). Аристократы бани, умевшие держать мхатовскую паузу на каждую просьбу, прежде чем сказать: «Сделаем», бесстрастно взиравшие на парад увечий послевоенных посетителей (аналогичный сон снился раньше герою «Сивцева вражка» Михаила Осоргина). Так получается на выходе чистый в своей *пропечатанности* текст.

Такое вот дальнее чтение Москвы, которая Владимиру Березину кажется с высоты похожей на древесный спил («Чернила февраля. Тверские-Ямские»). Кольца этого спила позволяют зреть в корень прочих текстов, топография позволяет уточнить биографию. «Сарнов, например, упоминает в "Случае Мандельштама" такую историю: "Как-то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюдную окраину города в районе Тверских-Ямских, звуковым фоном запомнился Пастернаку скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочел ему про кремлевского горца. Выслушав, Пастернак сказал: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому»". Я не знаю, откуда эта цитата, но в любом случае тут натяжка. Пространство между нынешней площадью Маяковского и Белорусским (ранее — Брестским) вокзалом во времена сталинских строек уже не воспринималось окраиной. Да и для Пастернака она была родной. Сюда он поселил своих героев...»

Впечатления бесконечной мясорубки руин и новостроек, каковой в масштабах Московского текста предстает метафора «машины письма», замкнула выставка в

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

ГМИИ им.Пушкина «Пиранези. До и после. Италия—Россия. XVIII—XXI века», выходя из которой я потратился на дорогущий одноименный увесистый каталог. Урны, мавзолеи, надгробия, похожие на книги камины, напоминающие архитектурные сооружения книги и даже «Воображаемые темницы» умиротворяют память, погружая в состояние текстологического сна.

Как ни реформируй тут общепит, но Москва всегда оставалась и, надеемся, будет оставаться — котлом, в котором варились не только руины с новостройками, но и «русские слова». Она остается центром нашего самоговорящего пространства. Об этом пишет Андрей Балдин в своей новой книге «Новый Буквоскоп, или Запредельные странствия Николая Карамзина»: «Во времена Карамзина ее словесная похлебка была мутна. Старое наречие мешалось с новым; язык пребывал как будто в недоумении. И вместе с тем он ждал обновления, прояснения словесного бульона». И Москва отправила Карамзина в Европу — «за буквами, за новым рецептом слова», поскольку на восток язык не был допущен катастрофическим пугачевским бунтом. Он там наблюдает за английским языком как неким *сторгованным* устройством, результатом торговой сделки между Лондоном, когда-то более говорившим по-французски, и окрестностями, изъяснявшимися на наречиях саксов и бриттов.

Конечно, это не единственный из возможных видов чтения.

«Текст?» — «Текст!» — по нюху опознал бы сейчас Юрий Никулин любую книгу Виктора Пелевина, который и сам себе текст, непрерывно самообновляющийся, как компьютерная система. В этом году писатель самовозродился романом (самим автором жанр определен как *большой полифонический нарратив*) «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Борис Гройс чуть ранее задумывался, как можно передать на экране работу философа, не демонстрируя его самопогруженный вид в виде экранной скульптуры Родена «Мыслитель». И пришел к выводу, что первым шагом к изображению самой мысли философа стали кун-фу фильмы. Ведь у того, кто овладел искусством кун-фу, мысль совпадает с движениями, а движения неотделимы от мысли. Самый же философский фильм — это «Матрица», в котором узнает себя практически любая теоретическая концепция, от читателей Лакана до приверженцев Франкфуртской школы. Для стартового героя «Лампы» сущность бытия свелась к прыгающему на экране компьютера черно-зеленому графику колебания курсов валют, который теперь «посильнее и "Фауста" Гете, и Бхагавад-Гиты вместе взятых». Ведь эмоции и ум вовлекаются в бдение над его зигзагами куда сильнее, чем в сопереживание всяким художественным «характерам» (которых «люди искусства» и придумывают-то лишь ради того, чтобы и самим когда-нибудь нырнуть в акции, золотишко или открыть патриотический фастфуд-фэшн). Именно так, представляется пелевинскому герою, и работает любой человеческий мозг. Ставя перед ним противоречащие друг другу задачи, делают заметными его глубины, скрытые от сознания, само закулисье бытия.

Интересно, а можно ли по аналогичной схеме мыслить и локальными текстами литературы, северным, южным, сибирским, крымским (представленным у Пелевина — *Крымом Сергеевичем*), разработав и дня них специальную компьютерную программу? «Когда молния била с севера на юг, я занимался любовью. Когда она била с юга на север — напивался вдрызг. Когда с запада на восток, становился цивилизацией. Когда с востока на запад — ватой. Утрирую, конечно, но совсем немного».

2. «Поднимите мне веки», — прошу я парней в камуфляже, чтоб заглянуть сквозь блокпосты и окопы в дышащие неизменным вполне деревенским спокойствием недра Киевского текста. Говорят, невоенная современная украинская литература относится сейчас к разряду маргинальных. Впрочем, «столичные» тексты украинской литературы никогда особенно не самодовлели, литературная «передовая» традиционно располагается на окраинах. Но я читаю сугубо киевский текст Анатолия Днистровского «Дрозофила над томом Канта» с образом классической (анти)вечности): «От большого мира меня отделяет лишь мертвое пространство с неподвижными тельцами мух,

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

больших и малых, совсем высохших и отсыревших, которые спокойно лежат на пожелтевшей и *полущеній когда-то* свежо-белой поверхности, — и вспоминаю тебя. Когда ты ко мне приехала, то ужаснулась от моего заброшенного быта, а потом засмеялась:

— Мужчины без женщин медленно превращаются в свиней!

— Почему?

— Взгляни сюда, — ты показала пальцем на внутреннее пространство окна между стеклами, где лежат дохлые мухи, сдохшие еще при предыдущей владелице квартиры, противно скривилась и попросила до следующего своего приезда раскрутить окно и тщательно вымыть изнутри. — Здесь работы — непочатый край. А если я куда-то исчезну? Ты же пропадешь». Невольно приходит на ум не попавшее пока в руки, издержки дальнего чтения, «Про падение пропадом» Дмитрия Бакина.

А дальше, в дальнем зарубежье, скажем, в Вене? Вроде бы уже нет резона возвращаться к Венскому тексту, в котором я, казалось, поставил точку? Но вот новинка динамичнейшего в освоении новейших интеллектуальных тенденций и новых форм их подачи издательства «Ад Маргинем» — «Гитлер в Вене» Бригитты Хаманн. Старт биографии нациста дает тут тоже городоведческая коллизия. Город рождения Линц для Гитлера — место упорядоченной, чистой, мелкобуржуазной юности, рядом с любимой матерью, а Вена, напротив, — свидетель его одиноких, неудачных, грязных лет, которому он, придя к власти, начинает мстить. Пространственно Гитлер, как свидетельствуют мемуары его архитектурного соратника Шпеера, «так и остался провинциалом, который чувствовал себя в больших городах одиноким и потерянным». «В области политики ему была присуща навязчивая гигантомания, а социальным его прибежищем оставались небольшие города вроде Линца...» Любовь, смыкающаяся с эскапизмом. Здесь, в горах, предполагалось и завершение жизни наедине только с Евой Браун и собакой...

Спирт явно возгоняется до подавляющего морфина.

3.Художественные фантазии Пелевина о возможных переформатированиях мира рождаются в среде реальных дизайнерских попыток последовательного переустройства вещей и их порядков. Пространщик, пространствователь нашего времени — дизайн. По мнению теоретика современного искусства Хэла Фостера, изложенному в книге «Дизайн и преступление», дизайн — пораженческое искусство без заложенного внутри смысла или Духа времени. Дизайн — это тотальное произведение искусства, которое не просто объединяет архитектуру, искусство и ремесло, но смешивает субъект и объект. Начав с ослабления границ между архитектурой и информацией, дизайн внедряет универсальную семантизацию окружения, в которой все становится предметом исчисления функций и значений. Это тотальная функциональность и тотальная *семиургия*. Дизайн в первую очередь связан с желанием, но сегодня это желание парадоксальным образом кажется бессубъектным или, по крайней мере, в нем отсутствует какой-либо элемент нехватки. Можно сказать, что дизайн формирует новый тип нарциссизма, связанный исключительно с образом и не имеющий внутреннего измерения, — апофеоз субъекта, чреватый его же исчезновением. Поединок образа и знака замыкается в самом себе.

В ожидании текста — как в ожидании спирта. «Прошу тебя дать следующий ответ Пушкину, — писал Сергей Шевырев Михаилу Погодину 20 июня 1830 года, — его строки были электрическими в Риме; читать Пушкина — что-то неизъяснимо сладко, душевозбудительно; он мне прислал спирту русского против неги полуденной, ослабляющей нервы...» Жду с нетерпением, на прилавках вот-вот появится биографическая книга о Шевыреве Игоря Вишневецкого с использованием массы неизвестного архивного материала.

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Юлия Подлубнова, литературный критик (г.Екатеринбург)

«Честное слово, хочется уже чего-то нового…»

1. Для меня очевидно, что 2016 год прошел под знаком консервативного поворота в общественной жизни и в литературе — такая долгоиграющая тенденция, вышедшая на первый план в последние годы. Не так давно Ольга Славникова, похоже, закрывшая проект «Дебют», констатировала, что молодые снова стали реалистами. С этим сложно не согласиться, добавив лишь, что — уже никакими не новыми, а самыми кондовыми. Почитайте, например, «Трубач у врат зари» Романа Богословского — начало немного затянуто, но в целом хороший роман про 1990-е, реалистический. Правда, никуда не деться от ощущения, что 1990-е изображены сильно в духе нынешнего консервативного времени. Выбрала лучший пример, что же тогда говорить про остальное?

Посмотрим на вялый премиальный процесс этого года: прекрасные книги Людмилы Улицкой и Анны Матвеевой, женская проза, работающая с реалистическими моделями. Женская картина мира, общечеловеческие ценности, в том числе ценность культуры — все замечательно, я люблю прозу этих авторов, но печально, что это все от них ожидаемо. Плюс семейные ценности (в которых нет ничего плохого) — они тоже совпадают с тем же общим консервативным трендом.

Критики уже второй год говорят о «новой лагерной литературе»: вслед за «Обителью» Захара Прилепина крупные премии взял роман «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, а в этом году тема лагерей поднята в романе «Авиатор» Евгения Водолазкина, также попавшем в разнообразные шорт-листы. Соглашусь, что тема раскрывается в каждом случае по-новому, но дело отнюдь не в теме, а в шкале ценностей каждого автора. «Обитель» — о том, что чекисты вовсе не плохие, «Зулейха открывает глаза», но феминисткой не становится, из чулана не выходит, «Авиатор» сильно претендует на лавры православного романа, правда, написанного гораздо хуже предыдущей премиальной книги Водолазкина.

Что остается? «Травля» Саши Филиппенко? Простите, это не роман, это сценарий. «Ненастье» Алексея Иванова? Так тоже ведь книга о том, что пацаны и их понятия — это правильно. Тоже по-российски консервативная книга.

Я не против консерватизма как такового, я, к примеру, люблю лучшую прозу Романа Сенчина, но, честное слово, хочется уже чего-то нового. Хочется, скажем, побольше Вячеслава Ставецкого или Алексея Сальникова. «Квартира» Ставецкого ведь тоже про общечеловеческие ценности, просто — без клише. «Петровы в гриппе и вокруг него» Сальникова — еще одна удача вне трендов. В романе завораживают загадочная, какая-то внеземная атмосфера и при этом свирепая точность в деталях, которую можно сравнить с тем, что некогда делала в прозе та же Ольга Славникова.

Собиралась еще сказать про тенденции в поэзии, но поняла, что не хочется повторять очевидное, стоит отметить лишь продолжающуюся тягу к созданию поэтических антологий — «Русская поэтическая речь», «Уйти. Остаться. Жить» и т. д., что отражает коллективную сущность современного поэтического процесса, но не отменяет авторской индивидуальности, даже если ее отменяют сами составители антологии («Русская поэтическая речь»).

Важным событием 2016 года считаю запуск нового литературного сайта «Горький». Хорошая новость после того как Colta.ru в литературном отношении деактивизировался.

2. Как-то так получилось, что пристальнее всего слежу за эстонской литературой. В поэзии в первую очередь — за тем, что пишет Яан Каплинский. В этом году его подборки опубликовали журналы «Интерпоэзия» и «Homo Legens» (перевод Елены

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

Пестеревой). Такое ощущение, что поэт преодолевает границы видимого, границы бытия. Прозаик Андрей Иванов выпустил в этом году новый роман «Аргонавт» — тонкая психологическая, я бы даже сказала психосоматическая, проза, на грани модерна и постмодерна.

В основном в центре моего внимания — русскоязычные авторы зарубежья. Приведу еще два примера. Удачные публикации были у минчанина Андрея Фамицкого:

так по-русски красива
так по-русски страшна
полынья и трясина
тишина тишина

В связи с поэзией Белоруссии рекомендую монографию 2016 года «Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси» (авторы — Нина Барковская, Ульяна Верина, Лилия Гутрина, Вера Жибуль).

Кроме того, всегда радуюсь стихам Александра Кабанова — в этом году увидели свет несколько подборок в разных журналах. «После Освенцима — преступление — не писать стихи».

В целом, мне кажется, что «Дружба народов» и другие журналы, которые посвящают номера национальным литературам, справляются с общей ознакомительной миссией: представление о литературе «ближнего» зарубежья мы имеем или можем получить, хотя без самостоятельной системной работы оно будет поверхностным.

3. Вряд ли открою что-то новое, назвав главной книгой года в жанре нонфикшн «Зимнюю дорогу» Леонида Юзефовича — монументальную историческую реконструкцию, в которой какое-то очень правильное отношение к Гражданской войне и войне в целом: главное — не борьба за идеи и ту или иную политическую силу, главное — сам человек и его личные качества, которые как раз и проверяются на войне. Если вслед за «Зимней дорогой» появятся подобные — антропоцентричные — книги о трагедии 1941—1945-го или 1939—1945-го, мне кажется, после них уже сложно будет что-то фальсифицировать в отечественной военной истории. «Блокадная книга», впрочем, уже есть, как есть и книги Светланы Алексиевич.

Еще одним прорывом года называют «Тень Мазепы» Сергея Белякова. И здесь соглашусь, книга современная и своевременная. Безусловная удача автора.

Из не столь очевидного — в 2016 году появилось несколько интересных книг в жанре травелога. Здесь, конечно, сложно определить: фикшн перед нами или нонфикш, поскольку травелог, как правило, не сводится к каталогизации путевых впечатлений, но являет своеобразные поиски идентичности путешественника, а если путешественник обладает фантазией, то художественности в таких текстах не меньше, чем фактографии, — читайте венецианскую повесть «Разбитое зеркало» Дмитрия Бавильского. Назову еще «почти документальную повесть» «Темная сторона света» Андрея Пермякова, поэта, критика и, ко всему прочему, автостопщика со стажем. Пермяковская книжка — это своеобразный фейсбучный роман (да простит меня Сергей Чупринин), то есть написана как бы путем копипаста постов ЖЖ или Фб. В свете сказанного, возможно, есть смысл наметить эволюцию современного травелога, пытающегося преодолеть наработанные за длительное время клише и конвенции. Травелоги, по моим наблюдениям, либо теряют детализирующую составляющую и превращаются в путешествие сознания / путешествие по сознанию / путешествие в подсознательное, либо, сохраняя признаки нонфикшна, начинают граничить с жанром записи в соцсетях. Посмотрим, что будет дальше.

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Алексей Саломатин, литературный критик (г.Казань)

«Что есть закономерность, как не совокупность частностей?..»

Из года в год инспектируя по долгу ремесла изрядную массу выходящего non-fiction и просматривая в силу неизбывного любопытства авторов зарубежий разной степени близости, позволю себе остановиться на первом вопросе, благо есть о чем поговорить.

Главными литературными событиями в этом году для меня стали четыре вышедшие поэтические книги, и тенденции, в связи с появлением некоторых из них забрезжившие, на мой взгляд, весьма отрадны. При этом из четырех лишь одна имеет отношение к тому, что принято называть текущим литературным процессом. С нее и начнем.

Олег Чухонцев. выходящее из — уходящее за. — М.:ОГИ, 2015. — 86 с.

Новая книга главного русского поэта наших дней — забавно, что единственное в перечне издание современного автора и то формально датировано годом прошлым, — не могла не стать событием. Несмотря на то что бо́льшая часть вошедших в нее стихов была уже известна читателям (а некоторые стихи — и в разных редакциях, благодаря в том числе сборникам избранного, зачастившим на правах первых звезд, предваряющих восход луны, накануне выхода книги), книга оказалась способна преподнести немало сюрпризов даже внимательно следящим за творчеством поэта — начиная с названия (билингвального, к слову, хоть это и не отображено в выходных данных) и композиции, в равной степени отсылающей к архаичной, «досумеречной», традиции выстраивания стихотворных сборников и не оставляющей от этой традиции камня на камне... Чухонцев, как и подобает подлинному поэту, остается непредсказуемым.

Неспроста некая растерянность ощущается как в немногочисленных рецензиях, так и в повисшем благоговейном молчании, которым встретило книгу большинство критиков.

Гуннар Экелеф . Мельнская элегия (перевод Надежды Воиновой). — М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. — 64 с.

На языке оригинала magnum opus шведского модерниста увидел свет шестьдесят без малого лет назад. Теперь и у русскоязычного читателя появилась возможность познакомиться с ярким образцом поэзии «после Освенцима», исполненным на стыке реквиема и гимна, а на русском оборачивающимся и своеобразной одой искусству перевода — ведь переложение такой формально непростой и многоуровневой вещи сопряжено с решением массы нетривиальных задач.

Значимость события переоценить трудно, однако даже фаталиста во мне, стоящего на том, что все, включая приход тех или иных книг к читателю, происходит в свое время, нет-нет да и тянет задуматься о том, какой была бы не знающая сослагательного наклонения история русской поэзии, появись этот перевод в *другое* время...

Впрочем, по сравнению с тем, сколько ожидали своего часа произведения двух следующих поэтов, шестьдесят лет кажутся не таким уж большим сроком. А ведь посредничества переводчика в их случае не требовалось.

---

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

Анна Бунина. Неопытная муза: Собрание стихотворений. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2016. — 560 с.

Появление отменно подготовленного увесистого собрания позабытой поэтессы в ситуации, когда демонстративное пренебрежение своей культурой почитается хорошим тоном, выглядит едва не пощечиной общественному вкусу.

Насколько звонкой она вышла, судить пока трудно, но, так или иначе, у небезразличного читателя появилась возможность составить собственное, а не подсказанное голословными формулами мнение о стихах Буниной (меня лично в них всегда поражала — при чуть ли не декадентском внимании к болезни и смерти — какая-то удивительная витальность, пульсирующая в каждой строчке), а заодно прояснить для себя некоторые причинно-следственные связи и преемственности в русской поэзии XIX века.

Василий Петров. Выбор Максима Амелина. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2016. — 384 с.

Петров, не удостаивавшийся отдельного издания более двух веков, вышел не в пример скромнее. Учитывая масштаб фигуры автора, небольшая книжка тянет на пробник, зато представлен очередной российский стихотворец завидного дарования и незавидной литературной судьбы возможно многогранно — то изобретательным одописцем, то мастером едкого и меткого стихотворного афоризма, то чутким лириком, то, наконец, виртуозом комического слова в уморительном «Густаве». Для полноты картины не хватает лишь фрагмента-другого из петровского перевода «Энеиды».

Хотелось бы пару слов сказать и о серии, в которой книга вышла, и которая, как мне кажется, позволяет с осторожностью надеяться на то, что наметившаяся робкая тенденция к возвращению из небытия забытых поэтов и устранению белых пятен в истории литературы не сойдет на нет в наступающем году. (Кто-то, конечно, может резонно возразить, что никакой тенденции нет, а есть лишь удачное совпадение на коротком отрезке времени независимых частных случаев, но что есть закономерность, как не совокупность частностей?)

«Книги серии "Поэты Москвы" — гласит издательская аннотация — составляют современные поэты, представляющие избранные произведения тех поэтов предшествующих эпох, чья жизнь и творчество были непосредственно связаны с Москвой». Чем не шанс донести до относительно широкой публики неформатных авторов, которым печатный станок — в ближайшее, во всяком случае, время — не светит? Того же Петрова при ином раскладе ждать бы нам еще пару столетий. Словом, раз под Новый год полагается не только подводить итоги, но и загадывать желания: да принесет нам год грядущий поэтическое избранное Ивана Долгорукого!

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Евгений Абдуллаев

Литература при минус тридцати

Если точнее — было минус тридцать два.

Для кого-то это, может, привычно; для меня же, потомственного южанина... Но в машине работала печка; ледниковый минус ощущался только по какому-то оцепенению, в котором замер пейзаж за стеклом, по безлюдью и безмашинью дороги, по идеально круглому солнцу, вставшему за березняком.

Мороз почувствовался в короткой пробежке между машиной и сельской библиотекой. И еще — на обратном пути, когда, согретые библиотечным чаем, фотографировались возле Пушкина. Классик казался безразличным к морозу и снежку на металлических кудрях и благосклонно улыбался...

Дорога между Новосибирском и поселком Мошково, куда мы ездили на встречу с читателями, занимает на машине чуть более часа. Есть время и поговорить с водителем об охоте в местных лесах и о том, чем живут-кормятся местные жители, и поглядеть на ледяное солнце, и подумать о современной русской литературе. Поскольку постоянно о ней думаю — по роду деятельности.

...Перечитывая, сам себя ловлю на том, что такая вот интонация — уверенная, чуть поверхностная — немного напоминает писательские травелоги тридцати-сорокалетней давности. Когда труженики пера регулярно колесили по стране и встречались с читателями. В местных библиотеках, в домах культуры — так полагалось. Но сама по себе идея устроения таких встреч, думаю, нужная. Несмотря на все казенно-советское «послевкусие». Нужная не столько писателям: писательство — ремесло одинокое, частые встречи ему скорее вредят. А вот читателю хоть иногда предъявлять писателя все же стоит. Писатели, как правило, умнее поп-звезд, совестливее политологов и образованнее служителей культа. Могут что-то толковое сказать, важное.

Стоит добавить еще крайне неравномерное «распределение» литературы по России, ее «плотности» в разных регионах. Где-то густо, где-то — пожиже, а куда-то — и не обязательно в «медвежьи углы» — современная литература вообще не доходит. «Густо» — это, понятно, Москва. Бросишь камень — попадешь в литератора. Петербург. Дальше... Дальше не так очевидно. Скажем, в «Рейтинге "Журнального зала"», о котором писал в позапрошлом «Барометре» («ДН», № 9, 2016), с августа стали отслеживать аудиторию читателей толстых журналов. Появилась рубрика «Пять самых читающих городов России». Расклад ожидаемый: Москва стабильно держит около 19 процентов всех просмотров, Питер — около девяти... Потом, с огромным отрывом: Екатеринбург — чуть больше двух, Новосибирск и Нижний Новгород — чуть более одного...

Собственно, об этом я и думал в перерывах между разговорами по дороге из Новосибирска в поселок Мошково. Пока солнце медленно поднималось и освещало придорожный снег, густо натоптанный зайцами. Шел третий день

новосибирского литературного фестиваля «Белое пятно», часть участников вывезли из города в область — на встречи в местных библиотеках. Анна Матвеева отправилась в город Обь, Роман Сенчин — в поселок Колывань, я же — как и было сказано — в Мошково...

Но если по порядку, то до Новосибирска был Красноярск. Красноярская ярмарка книжной культуры, со 2 по 6 ноября, буквально за десять дней до Новосибирска, едва успел перевести дыхание. О ней тоже сказать; тоже — Сибирь, тоже далековато от литературных центров.

Опускаю известное (или то, что легко добыть в Сети): что организует Фонд Прохорова, цели, задачи и проч. Делюсь только впечатлениями — а КРЯКК впечатляет. И разнообразием книг, и плотностью программы. Уходил из номера утром — дополз обратно вечером; день пролетал между одной, второй, третьей встречами и дискуссиями. О состоянии современной критики, о проблемах книгоиздания, о формировании школьного литературного канона... Было кого послушать: Елена Костюкович, Вера Мильчина, Галина Юзефович, Алиса Ганиева, Мария Галина... Перерывов едва хватало на перекус, чашку кофе с кем-нибудь из коллег и фланирование между стендами. Последнее впечатляло более всего. Где-то встретил цифру: тридцать три тонны книг. Все тридцать три тонны были равномерным слоем «размазаны» по нескольким павильонам, вызывая у меня как человека книгозависимого даже чувство передозировки.

Но главное — не столько полные стенды, сколько полные павильоны. Люди шли, раздевались в гардеробе внизу, поднимались, рассекались между стендами, застывали с книгами в руках, присаживались на «круглых столах» и поэтических чтениях, стояли в рядах... Студенты, пенсионеры, мидл-эйдж. Это, собственно, и есть сегодняшний Активный Читатель. Готовый потратить часть своего свободного времени и часть своего бюджета на литературу.

Погода, кстати, тоже была не слишком споспешествующей. Не новосибирские минус тридцать — но тоже не тропики. Минус десять, минут двенадцать. Гололед. Не центр города. Но это никого, похоже, не смущало. Народ шел.

Здесь хорошо было бы оперировать социологической цифирью. Но людей, раздающих анкеты, на ярмарке не заметил. Приходится довольствоваться простым «включенным наблюдением». И оно подсказывает, что разговоры о «смерти читателя» несколько преувеличены. Либо же на наших глазах происходит какое-то незапланированное «восстание мертвых». Или правильнее сказать — живых. Поскольку жизнь и чтение в сознании человека разумного почти тождественны. Неслучайно у древних греков «жизнь» и «книга» звучали так похоже: *биос* и *библос*.

Читатель жив, и литература становится все более востребованной.

Парадокс: книжные закрываются, число читателей падает, тиражи съеживаются — интерес к литературе растет. Сужу и по КРЯККу, и по новосибирскому «Белому пятну», о котором пора уже сказать подробнее.

Итак, все тот же ноябрь, 17—19-е, но уже — Новосибирск. Тоже город-«миллионник», хотя этот статус в плане литературной и читательской ситуации мало что говорит. Например, в другом сибирском «миллионнике», Омске, где мне тоже доводилось бывать, она скорее в спячке, в режиме stand-by. Есть отдельные авторы, есть отдельные читатели; нет того, что бы все это как-то катализировало, заставляло дышать и двигаться: книжных ярмарок, фестивалей, чтений. Ничем заметным пока не заявили о себе на литературно-читательской карте «миллионники» Волгоград, Уфа, Челябинск...

В Новосибирске — если говорить о ежегодном «Белом пятне» — таким катализатором стала Областная научная библиотека. Финансы выделило местное Министерство культуры.

Что запомнилось? Опять-таки, читательский интерес. Отсутствие пустых мест;

живые лица, живые вопросы. Встреча в самой Областной библиотеке, на которую, как подсчитали организаторы, пришло более семидесяти человек. Без всякой «обязаловки». Встреча в великолепном книжном магазине «Капиталъ»; встреча в лицее... Лицеисты, правда, были малость сомлевшими от ожидания (мы задержались на предыдущей встрече, плюс пробки). Но после вопроса о возможности включения «Гарри Поттера» в школьную программу немного оживились.

И естественно, встреча в поселковой библиотеке в Машково, с которой и начал. Нет, ничего экстраординарного на ней не было. Вначале отогрелись чаем, потом неторопливо поговорили о современной литературе. О чем она, кого читать. Встреча как встреча. В конце прошлись по просторной, недавно отремонтированной библиотеке; ощущение жилого, живого духа. И не только оттого, что за толстыми бревенчатыми стенами царил минус тридцать или чуть меньше, а внутри было тепло и пахло книгами...

Нет худа без добра (это уже я думал на обратном пути). Развал прежней библиотечной системы, экспансия интернета и электронных книг выбили библиотеки из состояния анабиоза. Или пан — или пропал; или летаргия с последующим закрытием, или борьба за читателя, превращение из «кладбища книг» во что-то живое. Скажем, как в некоторых зарубежных странах, где местные библиотеки являются также и community centers, центрами местной культурной и интеллектуальной жизни. А также через контакты с издательствами, литературными журналами, писательским цехом...

И тут уже не важно, при какой температуре воздуха все это происходит. В литературно-читательском процессе своя шкала; и, похоже, ртутный столбик на красноярской книжной ярмарке и на новосибирском «Белом пятне» показывал почти оптимально благоприятную температуру...

Илья Фаликов

Пятнадцатый?..

Василий МОЛОДЯКОВ. Георгий Шенгели: биография: 1894—1956. М.: Водолей, 2016.

Георгий Шенгели дожил до признания. Увы, посмертного. То есть речь о явлении «Георгий Шенгели», а не о живом человеке. Но Василий Молодяков написал книгу как раз о последнем — Георгии Аркадьевиче Шенгели. Ему удалось воссоздать эту жизнь, показать личность, истоки ее свойств, этапы судьбы. Наряду с главным героем книги чуть не равным ему персонажем является время. Главы так и называются — «Ранние годы», «Годы учения», «Годы странствий», «Годы признания» и так далее вплоть до «Годы замалчивания». Человек ушел, время длилось. Из стихотворений Шенгели взяты эпиграфы ко всем главам биографии. Собственно, это книга о взаимоотношениях поэта с временем.

Тут много истории с географией. Крымское происхождение героя неожиданно стало актуальным. Угол авторского зрения перемещается на гору Митридат. Оттуда довольно ясно просматривается и эта человеческая судьба, и все, что происходило со страной давно и недавно, тогда и сейчас. Курортного, райского, роскошно-климатического немного, лишь по пути. Намного больше — гражданской войны, Макса Волошина, Эдуарда Багрицкого, керченских каменоломен.

Однако время Шенгели началось в годы на редкость удачного деторождения относительно русской поэзии — рождались те, кто подхватил ее белое знамя («Я не предал белое знамя», Блок). Шенгели стал младшим в таком ряду — Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский. Его грела идея равенства своему ряду. Более того. Он резонно посягал на причастность к кругу тех, кто предшествовал ему и его ровесникам. Здесь точкой притяжения и отталкивания был Брюсов.

Но мы — опять — о стихах, а надо — о жизни. Она была такова. Семь кровей — русская, турецкая, далматинская, украинская, грузинская, еврейская, польская; мифология по материнской линии — «екатерининский генерал» Чернявский, которого, похоже, не было; неопределенных занятий — то ли «частный учитель», то ли присяжный поверенный — отец, однако оставивший некоторое наследство; дед, поп-расстрига, задним числом узаконив сыновство Аркадия, передал ему дикую фамилию Шенгелиофэ, происшедшую от связи деда с замужней дамой по фамилии Иоффа (не Иоффе); рождение в Темрюке — на другом берегу Керченского пролива; раннее сиротство; произрастание в Керчи под крылом бабушки, профессионального педагога («хорошее знание языков, прекрасные манеры, безупречная русская речь»); керченская Александровская гимназия, откуда — ранние дружбы, оставшиеся на всю жизнь, прежде всего — с Сергеем Векшинским, будущим физиком, академиком; раннее сотрудничество в газете «Керченское слово» («первая статья — о неблагоустройстве городских окраин»); расстрелянные в годы красного террора братья — офицеры

Владимир и Евгений. Шенгели еще в молодости сказал: «У меня потомства покуда нет и, надеюсь, не будет». Так и оказалось.

Он считал своей родиной Керчь, которую его будущий друг и учитель Игорь Северянин в 1914 году назвал «смрадной». В торжественном сонете «Порт св. Иоанна» сказано:

Забытый порт Святого Иоанна...
В долине — церковь, где молчит осанна;
Безмолвный храм Тезея на Холме.

И выше всех, в багряной мгле заката,
Над пропастью, на каменном ярме,
Гранитный трон — могила Митридата.

Это время в контексте вечности. Боспорское царство, Пантикапея. Постоянная тяга ввысь, любовь к авиации, планеризму, имя летчика Уточкина на устах и в сердце. Юность как юность, любовная драма — отказ возлюбленной, скорая компенсация — женитьба на кузине Юлии Дыбской. Той, что отказала (Евгения Доброва), посвящен первый сборник «Розы с кладбища» (1914). Тираж книжки автор уничтожил.

Множество искушений, «томления и тревоги», и это мощно выразил Брюсов в своем стихотворении, равном поэме: «Искушение», от которого Шенгели «сошел с ума». Шенгели потянулся именно к нему, выразившему невыразимое. Запойное чтение того времени — Верлен и Бодлер, Верхарн и Готье, Ницше и Пшибышевский. Но еще гимназистом (январь 1914-го) он навещает в южной гостинице гастролеров от футуризма — Бурлюка, Северянина, Маяковского, происходит разговор, Бурлюк благожелателен, Маяковский тоже, но высокомерен, хвалит через губу...

Именно в тот день Шенгели уверовал в то, что он поэт.

1914-й. Начало пути. Заметим вскользь, в том же году вышли «Чётки» Ахматовой, подтвердившие ее несравненное реноме. А на земле — Первая мировая.

Итак, футуризм. Именно так. Это эго-футуризм в лице Северянина. Провинциальный гимназист, напичканный декадентами, становится вестником нового искусства — головокружительный вольт. Пишутся поэзы (северянинский термин), сочиняется и читается перед зрителями лекция «Символизм и футуризм» — в пользу футуристического превосходства, порыв к новому органичен, цепляния за уходящую эстетику нет, и это чем-то напоминает Бенедикта Лившица — тоже футуриста на символистическом субстрате.

Летом того же 1914-го он приезжает в Москву для поступления в университет, но покидает столицу — видимо, по причине безденежья. В Москве же посещает Бурлюка, пикируется с Маяковским. («Беседы наши неизменно переходили в полемику...») Он уезжает в Харьков, где поступает в университет на юридический факультет. Завязывается пожизненная дружба с Евгением Ланном. Это надо запомнить.

Надо ли столь подробно пересказывать ранний период? Надо. Все узловое начиналось тогда. Тем более что в книгу щедро внедрены документы, впервые публикуемые, найденные автором, эпистолярий героя, дневниковые записи, богат и нов иллюстративный материал. Но монополизировать тему автор не намерен, широко ссылаясь на дружественных исследователей, в частности — на Вадима Перельмутера, Михаила Шаповалова, Бориса Романова (редактора его книги).

В 1916 году выходит книга «Гонг», затмившая предыдущие сборнички «Зеркала потускневшие» и «Лебеди закатные» не только простотой названия, но и объемом (81 стихотворение, 96 страниц). Четверть века спустя Шенгели счел достойным включить в «Избранное» такие стихи:

Угасал тёплый вечер, грациозный и печальный,
дико грохоты улиц раздавались и неслись;
я бродил по бульварам и смотрел, как в газ венчальный —
в облака — одевалась голубеющая высь.

И гремели трамваи, быстро прыгая по рельсам,
драгоценные камни обжигали провода,
сети проволок, точно в сказках, созданных Уэльсом,
властно спутали город — безнадежно, навсегда.

Это было откровенным ученичеством у Брюсова. Брюсовский стих, брюсовский город. В частности, «Конь блед»:

Улица была — как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались омнибусы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
Вывески, вертясь, сверкали переменным оком
С неба, с страшной высоты тридцатых этажей;
В гордый гимн сливались с рокотом колёс и скоком
Выкрики газетчиков и щёлканье бичей.

В 1916 — 1017 годах Шенгели разъезжает с Северяниным по стране, в основном по Югу, их концерты сопровождаются успехом, и не только в копилку Северянина — порой публика предпочитает его молодого спутника. Он читает доклад «Поэт вселенчества (О творчестве Северянина)» и стихи из «Гонга». Это похоже на езду на подножке триумфаторской колесницы.

Эволюция Шенгели стремительна, броски от символизма к футуризму, от авангарда к «пушкинству», «назад к Пушкину» — это нормально. Время летит, на дворе май 1917-го, Шенгели в Коктебеле, а это — Волошин и Мандельштам, очерк «Киммерийские Афины» (хвала Волошину); возникает «новый классицизм»: Мандельштам, Ходасевич, С.Соловьев, и это тоже нормально. Шенгели — «математик», сводит несводимое, ищет синтез, а не наоборот. Попутно он получает юридический диплом. Ни дня не отработав его в будущем. Ну, если не считать писание газетных заметок на судебные темы.

В эти годы он знакомится с Бальмонтом и профессором Венгеровым, Мережковским и Сологубом. В Тенишевском училище читает доклад «Верхарн», резонанс которого тем более значителен, что в конце 1916-го бельгийский поэт погиб под колесами поезда.

Тем не менее самая, возможно, заметная вещь Шенгели той поры — брошюра «Два памятника», месть Брюсову. За что? «...я, задним числом, обозлился за мои детские восторги». При первой встрече — 17 января 1918-го — Брюсов сказал ему, что он талантлив, но «Гонг» еще не книга. Хвалит стихи южанина, но больше надеется на его будущие успехи. Они горячо поспорили на стиховедческие темы. В «Двух памятниках» Шенгели сравнивает пушкинский горацианский шедевр с брюсовским стихом на ту же тему (подсчеты, таблицы и графики), и недавний кумир меркнет, не выдерживая конкуренции с солнцем русской поэзии. «Пушкинство» Шенгели видит в Северянине. Между тем, по жизни Шенгели выступает в роли «дипломата», примиряя Северянина — с Брюсовым, который на удивление легко преступает несущественные обиды, неизбежные в общении поэтов между собой.

Нарождается харьковская группа поэтов, имена коих ныне прочно позабыты, кроме самого Шенгели и Льва Пеньковского (романс «Мы только знакомы. Как странно»). Это в далеком будущем там появятся Слуцкий, Чичибабин, Евса. А тогда на юге пробрезжила «левантийская», или «юго-западная», школа (термин

В.Шкловского). В неопубликованной вещи романно-мемуарного типа с большой долей вымысла «Чёрный погон» говорится о существовании «Южно-Русской Академии Разврата». Через Харьков проехал Федор Сологуб, Шенгели встречается с ним, но не восхищен. Шенгели оказывается в Одессе, совместно с Багрицким пишет водевиль «Влюблённого рука, или Месть Калиостро», причем Багрицкий хочет играть Калиостро. В 1918-м написаны, в будущем году опубликованы «Еврейские поэмы» (на манер Гейне — «Еврейские мелодии»). Торжествует романтизм.

Самого романтического из южнорусских романтиков — шумного в Одессе и неизвестного Москве Багрицкого — Шенгели в близком будущем будет водить по московским редакциям на предмет знакомств. В Москву он переехал 28 марта 1922 года. Это был год его первого признания.

Сделаем остановку. Речь о Цветаевой. Доселе подробный и основательный, в этой части повествования Молодяков говорит бегло и невнятно. Автор сомневается в свидетельстве П.Зайцева о том, что, по словам Цветаевой, Мандельштам был чересчур импульсивен, а Надежда Яковлевна была влюблена в Шенгели и муж ревновал. Ну, Марина Ивановна и не то еще говорила, о книге некогда «молодого Державина» «Шум времени» под горячую руку высказалась и так: «Книга баснословной подлости». У Молодякова — ни слова о том, что Шенгели некоторое время жил в Борисоглебском переулке, дом 6. У Цветаевой. Там, где чуть больше чем за год до того обитал — три недели — его друг Евгений Ланн и потом вдохновенно переписывался с хозяйкой своего пристанища.

Можно предположить: на цветаевский адрес его вывел именно Ланн. Опустим подробности, там были свои сложности, но вот что существенно: Шенгели почти прошел мимо фигуры Цветаевой. Исключение будет, но намного позже. В этом смысле Молодяков идет след в след за своим героем. Это важно — автор всецело зависит от своего героя. На все на свете смотрит его глазами. Не спорит, не возражает, принимает его целиком и полностью.

Голая апологетика? Не совсем. Это личная книга, от первого лица. Личная обида за большого человека, попранного временем. Личное восхищение его достижениями, эрудицией, талантами, свойствами характера. Сокровенность книги для автора подчеркивается посвящением: «Памяти моей мамы Эльгены Васильевны Молодяковой».

Без пафоса не обойтись. Высокая нота — достояние шенгелиевского творчества. «Классицизм есть поэзия революции». Шенгелиевские стихи той поры — хорошо усвоенный багаж предшественников, отечественных и иностранных. Мировая культура, европейский вектор.

Наступает активная переводческая пора. В поле его интересов появляется Ж.-М.Эредиа — собственный сборник он называет «Раковина» (1918) а ля сонет парнасца, издает «Избранные сонеты» Эредиа (1920). Сонет становится чуть не основным жанром. С этих высот он обрушивается на имажинистов, никчемных поголовно от Шершеневича до Есенина. Чужд ему и Пастернак, причем навсегда. «Жеманный чиж» — характеристика 1945 года, в связи с шекспировскими переводами Пастернака.

На этих высотах он навечно пересекается с Верхарном. Там уже побывал Брюсов. Новая инвектива Шенгели — «Валерий Брюсов между двумя стульями». Шенгелиевский перевод из Верхарна и брюсовское стихотворение «Дом видений» соперничают на верхарновской почве, это видно невооруженным глазом. Столь же очевидно, что Шенгели — ученик Брюсова, средствами учителя воюющий с учителем. Повторяется история примирения Брюсова с Северяниным в изумительной форме: Брюсов приглашает своего ругателя-ученика вторым профессором на кафедре стиховедения

в Высшем литературно-художественном институте (ВЛХИ) своего имени. Душевная щедрость? Безусловно. Но и прагматика. Они сближаются.

Это время брюсовского заката. Происходит разговор о вере в жизнь после смерти. Брюсов верит: «...буду жить как личность после смерти». Неофит большевизма оставался символистом. Великолепна фраза сурового мэтра: «Страшно думать, что целую вечность будешь с самим собой».

Брюсов ушел. Шенгели размышляет у брюсовского гроба: «Я в какой-то мере становлюсь наследником Брюсова. <...> Меня не покидает странное чувство: мне давно говорили о каком-то сходстве, внутреннем, между мной и Брюсовым; я перешиб у него Верхарна; я нес его гроб; — какая-то связанность жизней». Академик М.Л.Гаспаров подтверждает шенгелиевское самосознание: «Шенгели в советской поэзии оказался чем-то вроде исполняющего обязанности Брюсова». Надо учитывать высочайшую оценку Гаспаровым творчества Брюсова. Сам Шенгели, верный друг брюсовской вдовы Иоанны Матвеевны, в 1945 году в отклике на «Избранные стихотворения» Брюсова говорит с горделивым подтекстом: «Все нынешние поэты — ученики Брюсова, хотя бы они были совсем на него непохожи». Очень близко к цветаевской оценке той же фигуры. Поперек всем и всему.

Впору сказать о взаимосвязанности двух книг Молодякова, имея в виду его книгу о Брюсове[1]. В этих слитых книгах — почти сто лет русской поэзии, ее вершинный взлет. Вместе с тем герои Молодякова — поэты, по-своему пр***о***клятые. Нелады с современностью, цеховая нелюбовь, непонятость и отчуждение, собственная конфликтность. Шенгели и сам мог подвергнуть разгрому кого угодно — скажем, Волошина, еще вчера обожаемого. Как это ни странно, трагедия Шенгели — логичное последствие его наследования Брюсову. На него свалились все антибрюсовские шишки.

Пишет он так:

О, магия слова! Игрушка ночей!
Вот скулы камфарные вдвинуты в гроб.
А ну-ка, попробуй под крапом лучей
С крахмальной подушки поднять этот лоб!

И вьются летучею мышью слова
Под крапом затянутых накрепко ламп,
Крошится мышиною косточкой ямб,
В гробу — парафиновая голова.

Чем-то похоже на Пастернака, но больше — на Мандельштама. Ср. стихи последнего на смерть Андрея Белого:

Голубые глаза и горячая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость.

Между этими стихами — десять лет, в критике отмечали шенгелиевское подражательство Мандельштаму, ан получается вроде бы наоборот. Заметим, что и пастернаковские стихи, посвященные Брюсову, еще живому, соответствуют общему с Шенгели ощущению брюсовского образа:

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка — улыбаться, мучась?
……

[1] *Василий Молодяков.* Валерий Брюсов: Биография. — СПб.: Vita Nova, 2010.

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Нет, он не был врагом своего времени. Революцию принял, одно время был комиссаром искусств в Севастополе, о расстрелянных братьях не распространялся. Жизнь шла своим чередом, брак с Юлией распался, в 1924 году он женился на Нине Леонтьевне Манухиной и с ней прошел до конца жизни. Нина была поэтессой, автором сборника «Не то...» Название, характерное для эпохи нэпа, принесшей разочарование многим, не обязательно просоветски настроенным людям.

Познакомились в объединении «Литературный особняк», все-таки *особняк*, а не, например, «хижина» или «лачуга».

Ты ушла, сказала мне — «Спасибо!»
Нина, ласточка, — зачем?
Это я был счастлив, счастлив, ибо —
Для тебя не стал ничем...

Пролетарским духом там не пахло, это было одно из именований Всероссийского союза поэтов, просуществовавшего с 1919 года более десяти лет. Шенгели долго возглавлял его, не лишенный организаторского темперамента. Был он и деятельным участником «Никитинских субботников» во главе с Евдоксией Никитиной. И вообще — в Москву он врос быстро, даже без особой связки с другими представителями южнорусской школы, хотя в газете «Гудок» одно время поработал, занимаясь тем же, чем и многие его земляки-южане — Ильф, Петров, Катаев, Булгаков, Олеша: фельетоны, заметки, статейки на всяческие темы злободневщины. Но Первопрестольную не полюбил, обозвав ее «первосовнаркомовской».

Он умел дружить с женщинами. Эпистолярный роман с Марией Шкапской протянулся на всю жизнь. Это ей он писал о Волошине: «Его сверстники уже разучились писать, он же не научился до сих пор, — до седых волос, подагры и Марьи Степановны (волошинской жены. — *И.Ф.*)...» Ей же — еще жестче: «...нельзя символиста и антропософа, учившегося по гнусным образцам Бодлера и Верхарна (так! — *И.Ф.*), заставить усвоить материалистическую формальную честность Пушкина и современности...» Вскоре он дарит Волошину книгу «Норд» (1927) с инскриптом: «Учителю и другу». Но и Шершеневичу, преподнося ему своего переводного Гюго — «Избранные стихи» (1935), надписывает: «Дорогому».

Он был красив, об этом все говорили. Высок, ладен, оливково смугл, большеглаз, элегантен, одевался щегольски. Рядом с ним лохматый Багрицкий, ведомый по редакциям, выглядел босяком. Его любили многочисленные женщины. Взаимно. Были страсти, жена Юлия при расставании прокусила ему руку. На многих других смотрел свысока, многих коллег именовал «млекопитающие». Москву посетил Павел Лукницкий, первый биограф Гумилева, Шенгели имел случай через него выразить почтение Ахматовой. Позже он надпишет ей переводного Гюго: «Первой в мире поэтессе». В стихотворении памяти Гумилева он сказал, что приговор поэту писали «накокаиненные бляди». Превозносил стихи Бориса Садовского, обитателя муравейниковой коммуналки в Новодевичьем монастыре, разбитого параличом. В обществе Андрея Белого оскорбительно отозвался о Максиме Горьком, Белый возмутился, выскочил из комнаты и собирался покинуть Коктебель, где все это происходило, но вместо него оттуда уехал — Шенгели. Это было его обыкновение — уезжать.

ВЛХИ ликвидировали в 1925-м, литературные курсы при Московском совете профессионально-технического образования, ставшем вузом, где преподавал Шенгели, закрыли в 1929-м. За эти годы он воспитал юного Тарковского (не только) и написал брошюру «Как писать стихи»», затем — «Как писать статьи, стихи и рассказы». Эту работу, адресованную рабкорам и прочим самодеятельным авторам, поддержала сестра Ленина Мария Ильинична, занимавшая высокие партийно-государственные должности. Еще в 1921-м он издал в Одессе «Трактат о русском стихе» (одновременно с книжкой «Изразец»).

Апогеем шенгелиевского стиховедчества той поры стала книжка «Маяковский во весь рост» (1927). Шенгели задирал первых. Начался турнир неравных, что-то вроде Давида и Голиафа. Маяковский пишет «Как делать стихи» в том же году, огрызается по адресу своего зоила почти на всех выступлениях. Намечалась встреча лицом к лицу, Шенгели уклонился, уехав в Ленинград.

Вообще говоря, вызов Маяковскому был им сделан давно, еще тогда, когда в полемике Маяковского с Северяниным он выбрал Северянина, который ему нравился и как человек сдержанный, непроницаемый, себе на уме, и то был ум глубокий и независимый, «демонический». Этот человек — «Александр Раевский, ставший стихотворцем» — резко отличался от своего громокипящего автогероя. Объяснять атаку Шенгели на Маяковского только обидцей, полученной мимоходом в гостиничном номере или где-то еще, слишком просто. «Левантийцу» Шенгели претило в Маяковском все — видимая мощь и внутренняя слабость. Инфантилизм, ипохондрия, агрессивность, неврастеничность, расхлябанность формы, бескультурье, «люмпен-мещанство» — весь набор изъянов, присущих, на его взгляд, тем же имажинистам.

Шенгели отмел пустячок — лирический гений разбушевавшегося апаша. То, что ясно понимал Мандельштам, в 1930 году потрясенный «океанической вестью» о гибели Маяковского. Ни чья-либо эрудиция, ни чей-либо вкус, даже вкус Ходасевича, написавшего своего анти-Маяковского — памфлет «Декольтированная лошадь» (1927), — ни чьи-либо добродетели в этой ситуации ничего не значат. На самом-то деле все, может быть, проще: «И знал лишь бог седобородый, что это животные разной породы» (Маяковский). Кстати сказать, в 1927-м написаны две гениальные вещи шенгелиевских земляков — «Контрабандисты» Багрицкого и «Зависть» Олеши.

Позднейший труд Ю.Карабчиевского «Воскресение Маяковского» (1985) писался по лекалам Шенгели — Ходасевича. Сама по себе эта пара достойна высших похвал и несет немало общих черт, в частности — сочувственное внимание к поэтам не первого ряда, незамеченным и забытым. Между прочими и Б.Садовскому.

Существует племя стражей традиции. Функция стража традиции чаще всего бывает востребована в бурные или смутные времена. Его положение нередко незавидно. Он прямо-таки монстр, враждебный прогрессу. В такое положение попал Шенгели. И надолго. Можно сказать, ему никто не виноват. Его выбор. Никто не предполагал, что Сталин возлюбит и превознесет Маяковского. Шенгели попал в капкан. В принципе это было закономерно. Юрий Карабчиевской покончил жизнь самоубийством. Это не аналог судьбы Шенгели. Но жизнь его была исковеркана. В нее вторглись поистине высшие силы. Драма Шенгели гнездилась в нем самом — время реализовало ее.

Внесенные в ткань биографии поздние стихи производят двоякое впечатление — матерый мастер подчеркивает незрелость прежнего, еще растущего. Но не отменяет его. Подкупает этот закатный счет Шенгели (8 ноября 1955 года):

Он знал их всех и видел всех почти:
Валерия, Андрея, Константина,
Максимилиана, Осипа, Бориса,
Ивана, Игоря, Сергея, Анну,
Владимира, Марину, Вячеслава
И Александра — небывалый хор,
Четырнадцатизвездное созвездье!..

На мой взгляд, гипотеза В.Резвого относительно имени «Владимир», под которым подразумевается Владимир Нарбут, а не Маяковский, лишает Шенгели воистину поэтического великодушия. Нет, масштабность Шенгели — именно в этом благородном шаге навстречу исторической истине. Маяковский. Во весь рост. И Марина на месте.

Его, мастера словесной живописи и тонкого ценителя стихового звука, обладателя богатого голоса, которым он прекрасно владел, отталкивало актерское чтение стихов, даже в варианте Качалова или Станиславского. Это другое искусство было назойливо лишним, как вагонное радио, за отключение которого он готов был платить проводнику. Он стал нервен, его многое раздражало, тем более что возникали и вовсе анекдотические ситуации, когда студент по фамилии Спиртус (псевдоним?) строчит смехотворный донос о пьянстве профессора со студентами. Кратковременный побег в Симферополь или Самарканд приносил облегчение, но жить вне Москвы при его трудах, переводческих или педагогических, не представлялось возможным. Литературная Москва бурлила, середина тридцатых годов коренным образом переменила обстановку на литературном фронте. С июля 1934 года Шенгели — член новообразованного Союза советских писателей, цитадели соцреализма, в следующем году у него выходит книга «Планер», довольно объемистая: 200 страниц. Имя его весомо, он на виду, однако он — при всем при том и тем не менее — «партизан, одиночка» (по слову В.Полонского).

Шенгели считал, что удачное стихотворение и без даты удачно. Но вещь, не опубликованная вовремя, теряет много. Ее качество зависает, не подкрепленное звуком времени. Своего времени. Стихам нужна литературная судьба, в столе они консервируются. Но, когда качество очевидно, то бывает, что оно резонирует с другим временем. Начинается ее новая жизнь.

Мячик футбольный тиская,
Выкруглилась фанера, —
Тело супрематистское,
Веретено планера.
Гнутся, как брови умные,
Вздрагивая от страсти,
Крылья его бесшумные,
Кинутые в пространстве.
Это не рёв и ржание
Конных бригад мотора, —
Ветреное дрожание,
Пульс голубой простора.
Небо на горы брошено,
Моря висит марина
Там, где могила Волошина,
Там, где могила Грина.
Именно над могилами
Тех, кто верил химерам,
Скрипками острокрылыми
Надо парить планерам.

Жива ли эта вещь ныне? Конечно же. Однако на словаре, на подборе имен и на самом стихе лежит печать определенного — прошлого — времени. Само слово

«план***е***р» — откуда-то оттуда. Звук «е» звучит как «э». Более того — слышен некий крымский акцент этой речи. Это вообще его стилистика — заметный налет архаики плюс тот самый южный оттенок.

Как-то он признался собеседнику, похвалившему достоверность его зарубежной фактуры:

— Я вообще не был за границей.

— Это замечательно!

Тем собеседником был Мандельштам. Отсюда шенгелиевский стих, похожий на формулу: «Мировая тоска и дурная бездомность асфальта...»

Он продолжал спор с первыми. Не будет натяжкой сказать, что его поэма «Пятый год» была полемикой с Пастернаком («Девятьсот пятый год»), его «Гаммельнский волынщик» перекликался (как минимум) с цветаевским «Крысоловом», а свод поэм «Сталин. Эпический цикл»» был ответом «Владимиру Ильичу Ленину» Маяковского. В последнем случае сам метод изложения истории, беременной героем, обличает в авторе общую с соперником установку на создание эпоса времени. Охваченный грандиозным замыслом (15 поэм), Шенгели достиг безрассудно огромных объемов своего детища, оказавшегося не востребованным ни тем, ни нашим временем. На будущий успех рассчитывать не приходится.

О сервилизме поэта, которого мало печатают, говорить трудно. Коллизии «поэт и царь» — прямых отношений Шенгели со Сталиным — попросту нет. В этом смысле и опалы как таковой нет, или она — метафора: на него опалилось само время. Его правительственным патроном был В.Молотов, ему помогавший, как Бухарин Пастернаку и Мандельштаму. Он писал «Сталина», когда время уже добивало Мандельштама. Его друг Векшинский уже посетил места отдаленные. Поэма «Проблема вождя» удивительно смахивает на «Оду» Мандельштама (пища филологам, пусть сравнивают). Сверхзадача «Сталина» не пришлась ко двору. После смерти Сталина он и сам не предлагал этот цикл к публикации. Невозможно заглянуть в глубину души художника, столько сил положившего на заведомый провал. На дне той души лежал и пепел сонета «Имя»: о Сталине. Пять лет ухлопать на поэму «Повар базилевса», это «исполинское упражнение в трудных ритмах и редких словах» (Гаспаров)!

С Байроном, Шекспиром, Гюго и Гейне дело обстояло получше, но и там приходилось пробивать и пристраивать. Речь, разумеется, о переводах. Трудолюбие и плодовитость Шенгели ошеломляют. Он ворочает сотнями тысяч строк, оригинальных и переводных. Враждебное лицо времени обретает черты секции переводчиков Союза писателей. Это была война не на живот, а на смерть. В секции переводчиков, которую он возглавлял в 1938—1941 годах, постепенно власть захватила группа во главе с Иваном Кашкиным. Место у кормушки дорого стоило. Спорили о «буквализме», а дело было в деньг***е***. Самое ужасное, что в боевых действиях принимали участие люди больших дарований и твердых художественных принципов. Шенгели прекрасно разбирался в переводческом ландшафте, поскольку с 1933 года служил редактором в Гослитиздате по направлениям «Творчество народов СССР» и «Сектор западных классиков». «Лучшими нашими переводчиками» он считал Тарковского, Липкина, Марию Петровых, Аркадия Штейнберга. В самобытном Павле Васильеве, еще не убитом, он учуял богатые переводческие возможности. С 1939-го профессорствуя в Литинституте, он видел и знал многих молодых. Война за место под солнцем продолжалась, и здесь самое болевое — перевод байроновского «Дон Жуана», в борьбе за приоритет на этом поле в конечном счете победила Т.Гнедич. Шенгели вышел из секции переводчиков (1950). Еще в 1941 году он написал жене: «Надо мужественно признать свое поражение в борьбе за первоклассное литературное имя. Не вышло». Он жаждет уединения вдалеке, лучше всего в Крыму.

Где-нибудь — белый на белой скале —
Крохотный домик в Еникале!

Нет, он не пропадал в неизвестности. Его ученик А.Белинков в 1943-м говорил ему о его популярности, равной пастернаковской, в контексте верленовских переводов. В 1947-м вышел его «Дон-Жуан» (написание Шенгели. — *И.Ф.*): 520 страниц, тираж 55 000. Впрочем, его оригинальных книг, выпущенных советскими издательствами, было немного — восемь. Молодяков выделяет курсивом информацию Шенгели: «*...две трети моей продукции я кладу в стол, никому не показывая*».

Молодяков пишет открыто, невзирая на лица. Приоткрываются предметы и обстоятельства, о которых мало кто знал или не знал вообще. Было всякое. За помощью в литературных делах Шенгели обращался и к небезызвестной Розалии Землячке, расстрельщице Крыма зимой 1920–1921. Но темным местом, однако, так и остается связь Шенгели с НКВД. Известно его письмо к Берии (20 мая 1950), в котором он просит Лаврентия Павловича сообщить Иосифу Виссарионовичу о том, что его «Эпический цикл» — «не панегирик, а *исследование* (курсив Шенгели. — *И.Ф.*)». В то время с этой организацией — так или иначе, по преимуществу односторонне — были связаны практически все. Задачей людей порядочных было найти способ минимизации отношений. Шенгели нашел свой вариант — годами не покидал дома, дабы нечего было сообщать на Лубянку. Он неколебимо сидел у рабочего стола, безбожно много курил, на прогулки выходил по ночам. Но гости у него бывали, Ахматова и живала. В октябре 1939-го ему дали квартиру в хорошем доме на Первой Мещанской, это стало полной рифмой давнему его адресу — улице Мещанской в Керчи. Правда, ту и другую переименовали.

Косвенной составной энкавэдэшной тематики можно счесть непростую ситуацию, когда летом—осенью 1941 года Шенгели был вызван куда надо, где ему было велено остаться в Москве с заданием — на случай занятия немцами столицы: организовать коллаборационистское издание, где выявят себя внутренние враги. В те лихорадочные дни власть сама не знала, как ей относиться к проблеме эвакуации, клеймя позором то убегающих из города, то, напротив, остающихся: значит, ждут захватчика. В обстановке тотальной неразберихи Шенгели уехал в Среднюю Азию, его никто не держал, про него забыли. Во Фрунзе 31 июля 1943 года появилась вещь редкостная:

Мы живём на звезде. На зелёной.
Мы живём на зелёной звезде,
Где спокойные пальмы и клёны
К затенённой клонятся воде.

Мы живём на звезде. На лазурной.
Мы живём на лазурной звезде,
Где Гольфштром извивается бурный,
Зарождаясь в прозрачной воде.

Но кому-то захочется славой
Прогреметь навсегда и везде, —
И живём на звезде, на кровавой,
И живём на кровавой звезде.

Средняя Азия еще с тридцатых годов дала ему новый импульс — разворот в сторону ее поэзии, начиная с эпоса. Достижением стал его Махтумкули, туркменский классик. Шенгели привел за собой в те горы и пустыни лучшие переводческие перья. «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова» (Тарковский).

За его работой пристально следили старые мастера — Асеев, Антокольский,

Шервинский, В.Рождественский, последние двое — вполне сочувственно. Филологическая братия, через не хочу признавая его догадки и обретения, тормозила его публикации. Науке не понадобился его словарь пушкинского языка. Теория стиха обошлась без его публичного присутствия.

В 1954-м, когда отмечали тридцатилетие смерти Брюсова, руководство Союза писателей не очень-то охотно поминало память символиста — скорей всего отражая общий партийный подход к намечающейся опасной тенденции почитания бывших корифеев, но соответствующее собрание все-таки состоялось, и усталая вдова поэта пишет в письме чете Шенгели: «Он (В.Гольцев, главред альманаха «Дружба народов». — *И.Ф.*), ко всеобщему ужасу, был пьян так, что не мог произнести ни слова». Отчего напился этот хороший человек, не совсем ясно, но имя его надо бы не забыть хотя бы потому, что он очень помогал в предвоенную пору — Цветаевой, обеспечивая ее переводческой работой. В этой связи Шенгели опять-таки никак не проявляется, но можно предположить, что он по крайней мере не препятствовал недавней эмигрантке в ее заработках.

Он сказал: «Я двадцать лет молчал, противоречьями язвим и разрываем». Это привело к инсульту в мае 1956 года, а через полгода — к смерти. Мучительная жизнь. Василий Молодяков не убоялся трудностей темы, на которую будут и еще говорить, потому что Георгий Шенгели дождался звездного часа. В качестве пятнадцатой звезды? Ну, это решает небесная механика.

Точка взлёта

Рубрику ведет Лев Аннинский

Не умею падать вниз,
Только вверх умею.

Елена Исаева. «Точка обзора»

Десяток поэтических книг за десяток лет обеспечили Елене Исаевой прочное место в новейшей русской поэзии. Тонкость проблемы состоит в том, что это место обозначено такими живыми штрихами и лицо обрисовано такими воздушными линиями, а судьба светится сквозь такие неожиданные точки, что мне как критику доставляет профессиональное удовольствие эту лирическую исповедь прослеживать, определять и оценивать. Начиная с той поворотной точки, которую судьба определила последнему советскому поколению, чтобы вспоминалось ему октябрятско-пионерское детство-отрочество, — комсомольская же юность оборвалась в эпоху крахов-распадов. Что удержала память из предраспадной эпохи? Да ничего официозного. Пролетающие детали.

«Вот дерево, вот голубь, вот дворняжка... Как странно, что не страшно и не тяжко, а только пусто. Мир как будто гол, — хоть промолчать, хоть в голос заорать, — как в детстве, где во двор ты выходила, — и первый одиночества укол: мел и асфальт — все под рукою было, но только не с кем в классики играть».

Что это? Предчувствие одиночества? Страх одиночества? Что с этим делать? Промолчать? Заорать? Если вслушиваться в «гул стиха», то подголоски значат у Исаевой больше, чем внятные мелодии. Внятных определений, проклятий или славословий эпохе — чего полно в газетной лирике, у Елены нет. В последней ее книге я с трудом нашел парочку определений, сквозь нейтральность которых слышна тоска.

Ну, вот это:

«Мое сгорело поколенье — нас предали, как младших, без труда».

Или вот это, где тоска отдается горечью:

«Отголоски бывшей страны — карточки, значки, ордена — никому теперь не нужны, и моя ли в этом вина?»

Вины, может, и нет, но ощущение нелегкой судьбы сквозит в стиховой мелодии, и ощущение это возникает не от общих определений, а от пролетающих отголосков, от едва проступающих квадратиков — мелом на асфальте во дворе... Перестройку, похоронившую молодость, лирическая героиня тоже не берет в оценочные определения: смысл концентрируется опять-таки в какой-нибудь проходящей детали.

«Вы, может, кофе мне нальете?»

Кроме кофе обнаруживается в том же кафе... кошка. «Брысь ее!» Обнаруживается собака, дружелюбная и голодная. И ее можно шугануть, если дать нечего. И опять маячит «чашка кофе» — на каждом шагу и при каждом повороте настроения.Так эти повороты настроения, сквозящие поверх и помимо деталей пейзажа и быта, — главное в стихе. И в судьбе. Это то, что вынесено из поворотов и переворотов. И что остается загадкой смысла. Готовность к беде. Неотвратимость беды. Опознание беды. При непременной чашечке кофе... Несколько поразительных откровений:

«Мертвой быть не хочется, а живой быть больно...»

«Я — как пепел из древних амфор, можно с ветром меня вдохнуть... Сколько разных еще метафор не утешат меня ничуть...»

«Есть ли место мне в раю? Каяться позволь: я терпела жизнь свою, как зубную боль...»

Судьба — страшнее, сильнее, неотвратимее всего, что можно ей противопоставить. Фатум! Об этом лучше молчать. А если говорить, то спасаясь иронией. А если любовь — то не от страсти, а от жалости... от ужаса неизбежного разрыва. Счастливая любовь безнадежна.

«Того, кого любила, нет. Летишь одна среди планет, летишь, сожженная дотла. Опять... космическая мгла».

Какой обзор во мгле? Только интуитивный.

Сборник «Точка обзора», который я цитирую, опубликован в рамках Седьмого международного фестиваля славянской поэзии. В редакционных комментариях прямо и остро охарактеризована «сложная международная обстановка — она сказывается прежде всего на славянских странах». Газетные новости без конца подтверждают эту ситуацию. Так о ней прямо в стихах Исаевой — ни слова. Но горечь пережитого и готовность к беде, явленная в стихах, — сам выстраданный склад души куда сильнее очередных новостей: он свидетельствует о потрясениях, перенесенных всеми нами в эпоху развалов и крахов.

Лирика Елены Исаевой — тихий стон об утрате идеалов, оказавшихся химерами. Попытка взлететь над космической мглой. И вынести неизбежную муку — с улыбкой.

«Страна, вплывающая в кризис, все равно отчаянно хохочет....»

Этот тот самый кризис, о котором все кричат? Он самый. Страна хохочет, а ты — молчишь? А ведь болит, саднит душа даже тогда, когда можно спрятаться в повседневность. С чашечкой кофе в руках. Нет покоя! Муза Сальватора Дали влюбилась в какого-то «бродвейского мальчика». Смешала Божий дар с яичницей.

Божий дар? Да ведь «Боги смеются. Им море везде по колено». А ты барахтайся в этой современной яичнице. Не зная, что потом. Потом — ничего.

Как это ничего? Можно чашечку? Можно. Да вот Равиль Бухараев не дает расслабиться... Равиль Бухараев. Давний собеседник, великий ученый и публицист, до последнего своего часа испытывавший стороны в диалоге мирного, мудрого татарского ислама и всеотзывчивого русского православия.

Вспоминая о нем, всматривается Елена в то, как светятся церкви и мечети. Ловит эти лучи, мысленно взлетая. Просит Всеведующего Собеседника:

«Объясни, пошли знаменье, луч направь в мое окно. Чувство умиротворенья мне надолго ли дано?..»

Надолго ли? Да ведь мировой кризис!

«...Засверкает новой гранью все, что строишь на крови. И над городом Казанью разрыдаюсь от любви».

Такие вот вспышки и есть Откровение Поэзии. Они сохраняют жар души от тленья. Только бы не спутать верх и низ в шаге от водопада.

Вот это замирание души в таинстве продолжающегося Бытия:

Не зови меня туда,
Не веди, не надо...
Сверху падает вода —
Шаг до водопада,
Где слюда холодных брызг
Обжигает шею...
Не умею падать вниз,
Только вверх умею.

Нет точки финала. Есть точка взлета.

Summary

There are neither novels nor long stories in this issue — short stories only. What do they all — funny if not sad stories by Andrey LADOGA, phantasmagoric — by Teimuraz TVALTVADZE and Vadim SHAMSHURIN, realistic — by Igor KUZNETSOV, Alexei IVANOV and Polina IVANUSHKINA, queer — by Azamat GABUEV, Igor KORNIENKO and Elena SMORYADOVA and also short stories by Roman BOGOSLOVSKIJ, Elena NESTERINA, Valerij PISKUNOV, Artem ROGANOV, Anton SEKISOV, Dmitrij SHEVAROV, Adel HAIROV — have in common? Of course it's love. The authors' love for their protagonists and the world they are living in.

Poetry

Alexander KABANOV is a well-known poet from Kiev writing in Russian. We are glad to present the new poems of our regular author whose books are known in many countries.

Also presented in this issue are philosophical poems by Galina NERPINA and new works by Zoya MEZIROVA — one of the latters is dedicated to the memory of the poet Jaroslav Smelyakov who used to be the chief of the poetry department in our magazine.

Liana ALAVERDOVA. Belinskij and Gogol Beyond the Atlantic

Who and how is keeping and promoting the Russian language and culture in the USA? What organizations and media exist there to do it? How is it going in the families? What part do the libraries take in it? Liana Alaverdova who has been living in the USA for a long time and working for the Brooklyn Library is telling all about it.

«Literary Barometer» (the title of our regular rubric) is a unique and maybe even miraculous thing. In this issue it is functioning as a thermometer. Eugenij ABDULLAEV shares his impressions on the meetings at the last book fairs. «What has stuck in my mind? The readers' interest. The absence of empty seats; lively faces, keen questions... There is its own scale in the literary-readers process and it seems that the mercury column at the Krasnojarsk Book Fair and at the Novosibirsk "White Spot" was showing nearly optimal favourable temperature».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

на его странице в Живом журнале

http://drujba-narodov.livejournal.com/

и в Журнальном зале

http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8

Верстка Елены ЖИРНОВОЙ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»